

Василь Быков

ВАСИЛЬ БЫКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



Василь Быков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1985

84Бел7
Б 95

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Б $\frac{4702120200-199}{078(02)-85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985.



ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Все. Спорить не будем, стройте людей! — сказал Ивановский Дюбину, обрывая разговор и выходя из-за угла сарая.

Длинноногий, худой и нескладный, в белом обвисшем маскхалате, старшина Дюбин смолк на полуслове; в снежных сумерках быстро наступающей ночи было видно, как недовольно передернулось его темное от стужи и ветра, изрезанное ранними морщинами лицо. После коротенькой паузы, засвидетельствовавшей его молчаливое несогласие с лейтенантом, старшина резко шагнул вперед по едва обозначенной в снегу тропинке, направляясь к тщательно притворенной двери овина. Теперь уже притворять ее не было надобности, широким движением Дюбин отбросил дверь в сторону, и та, пошатываясь, косо зависла на одной петле.

— Подъем! Выходи строиться!

Остановившись, Ивановский прислушался. Тихо звучавший говорок в овине сразу умолк, все там затихло, как бы загипнотизированное неотвратимостью этой, по существу, обыденной армейской команды, которая теперь означала для всех слишком многое... Через мгновение, однако, там все враз задвигалось, заворошилось, послышались голоса, и вот уже кто-то первый шагнул из темного проема дверей на чистую белизну снега. «Пивоваров», — рассеянно отметил про себя Ивановский, взглянув на белую фигуру в новеньком маскхалате, выжидающе замершую у темной стены сарая. Однако он тут же и забыл о нем, поглощенный своими заботами и слушая хозяйское покрикивание старшины в овине.

— Быстро выходи! И ничего не забывать: возвращать-

ся не будем! — глуховато доносился из-за бревенчатых стен озабоченно-строгий голос Дюбина.

Старшина злился, видно, так и не согласившись с лейтенантом, хотя почти ничем не выдавал этого своего несогласия. Впрочем, злиться про себя Дюбин мог сколько угодно, это его личное дело, но пока здесь командует лейтенант Ивановский, ему и дано решать. А он уже и решил — окончательно и бесповоротно: переходить будут здесь и сейчас, потому что сколько можно откладывать! И так он прождал почти шесть суток — было совсем близко, каких-нибудь тридцать километров, стало шестьдесят — только что мерил по карте; на местности, разумеется, наберется побольше. Правда, в конце ноября ночь долгая, но все же слишком много возлагалось на эту их одну ночь, чтобы неразумно тратить столь дорогое теперь для них время.

Лейтенант решительно взял прислоненную к стене крайнюю связку лыж — свою связку — и отошел с тропы в снег, на три шага перед строящейся в шеренгу группой. Бойцы поспешно разбирали лыжи, натягивали на головы капюшоны; ветер из-за угла сердито трепал тонкую бязь маскировочных халатов и стегал по груди длинными концами завязок. Как Ивановский ни боролся со всем лишним, груза набралось более чем достаточно, и все его десять бойцов выглядели теперь уродливо-неуклюжими в толстых своих телогрейках, обвешанных под маскхалатами вещевыми мешками, гранатными сумками, оружием, подсумками и патронташами. Вдобавок ко всему еще и лыжные связки, которые были пока громоздкой обузой, не больше. Но все было нужно, даже необходимо, а лыжи, больше всего казавшиеся ненужными теперь, очень понадобятся потом, в немецком тылу; на лыжи у него была вся надежда. Это именно он предложил там, в штабе, поставить группу на лыжи, и эту его идею сразу и охотно одобрили все — от флегматичного начальника отдела разведки до придирчивого, задерганного делами и подчиненными начальника штаба.

Другое дело, как ею воспользоваться, этой идеей.

Именно эта мысль больше других занимала теперь лейтенанта, пока он молчаливо, со скрытым нетерпением ждал построения группы. В снежных сумерках разбирали лыжные связки, глухо постукивая ими, сталкивались на узкой тропинке неуклюжими, нагруженными телами его бойцы. Как они покажут себя на лыжах? Не бы-

ло времени как следует проверить всех их на лыжне, выдвигались к передовой засветло, согнувшись, пробирались в кустарнике. С утра он просидел на НП командира здешнего стрелкового батальона — наблюдал за противником. Весь день с низкого пасмурного неба сыпал редкий снежок, к вечеру снежок погустел, и лейтенант обрадовался. Он уже высмотрел весь маршрут перехода, запомнил на нем каждую кочку, и тут пошел снег, что может быть лучше! Но как только стало темнеть, ветер повернул в сторону, снегопад стал затихать и вот уже почти совсем перестал, лишь редкие снежинки неслись в стылом воздухе, слепо натыкаясь на бревенчатые стены сарая. Старшина предложил переждать часа два, авось опять разойдется. В снегу бы они управились куда как лучше...

— А если не разойдется? — резко переспросил его Ивановский. — Тогда что ж, полночи коту под хвост? Так, что ли?

Полночи терять не годилось, весь путь их был рассчитан именно на полную ночь. Впрочем, старшине нельзя было отказать в сообразительности — если переход сорвется, не понадобится и самая полная, самая длинная ночь.

Правофланговым на стежке стал сержант Лукашов, из кадровых, плотный молчаливый увалень, настоящий трудяга-пехотинец, помощник командира взвода по должности, специально откомандированный из батальона охраны штаба на это задание. Во всем его виде, неторопливых, точных движениях было что-то уверенное, сильное и надежное. Подле устраивался на тропке тоже взятый из стрелков боец Хакимов. Хотя еще и не было никакой команды, смуглое лицо его со сведенными темными бровями уже напряглось во внимании к командиру; винтовка в одной руке, а лыжи в другой стояли в положении «у ноги». Рядом стоял, поправляя на плечах тяжеловатую ношу взрывчатки, боец Судник, молодой еще парень-подрывник, смышленый и достаточно крепкий с виду. Он один из немногих сам попросил взять его в группу, после того как в нее был зачислен его сослуживец, тоже сапер, Шелудяк, с которым они вместе занимались оборудованием КП штарма. Ивановский не знал, какой из этого Шелудяка подрывник, но лыжник из него определенно неважный. Это чувствовалось в самом начале. Суетливый и мешковатый, этот сорокалетний дядька, еще не

став в строй, уже развалил свою связку, лыжи и палки разъехались концами в разные стороны. Боец спохватился собирать их и уронил в снег винтовку.

— Не мог как следует связать, да? — шагнул к нему Дюбин. — А ну дай сюда.

— Вы на лыжах как ходите? — почувствовав недоброе, спросил Ивановский.

— Я? Да так... Ходил когда-то.

«Когда-то!» — с раздражением подумал лейтенант. Черт возьми, кажется, подобрался народец — не оберешься сюрпризов. Впрочем, оно и понятно, надо было самому всех опросить, поговорить с каждым в отдельности, каждого посмотреть на лыжне. Но самому было некогда, два дня протолкался в штабе, у начальника разведки, потом у командующего артиллерией, в политотделе и особом отделе. Группу готовили другие, без него.

Быстро темнело, наступила зимняя холодная ночь, снегопад постепенно затихал, и лейтенант заторопился. Дюбин, казалось, слишком долго провозился с лыжами этого Шелудяка, пока связал их. В строю с терпеливым ожиданием на темных под капюшонами лицах стояли его бойцы. За Шелудяком переминался с ноги на ногу важный красивый Краснокуцкий в островерхой, как у Дюбина, буденовке, за ним застыл молчаливый Заяц. Последним на стежке стоял, наверно, самый молодой тут, земляк лейтенанта и также артиллерист Пивоваров. Да, лейтенант недостаточно знал их, тех, с кем, видимо, придется вскоре поделить славу или смерть, но выбора у него не было. Разумеется, было бы лучше отправиться на такое дело с хорошо знакомыми, испытанными в боях людьми. Но где они — эти его хорошо знакомые и испытанные? Теперь трудно уже и вспомнить все деревеньки, погосты, все лески и пригорки, где в братских и одиночных могилах погребенные, а то и просто ненайденные, поооставались они, его батарейцы. За пять месяцев войны уцелело не много, неделю назад с ними вместе пробились из немецкого тыла лишь четверо. Двое при этом оказались обмороженными, один был ранен при переходе у Алексеевки, до самого конца с ним оставался вычислитель младший сержант Воронков. Этот Воронков очень бы сгодился нынче, но Ивановский не смог разыскать его. Вычислителя отправили в стрелковый батальон на передовую, откуда, к сожалению, не всегда возвращаются...

— Так... Равняйсь! Смирно! Товарищ лейтенант...

— Вольно, — сказал лейтенант и спросил: — Всем известно, куда идем?

— Известно, — пробасил Лукашов. Остальные согласно молчали.

— Идем к немцу в гости. Зачем и для чего — об этом потом. А теперь... Кто болен? Никто? Значит, все здоровы? Кто на лыжах ходить не умеет?

Коротенький строй настороженно замер, темные, истомленные ожиданием лица строго и покорно смотрели из-под бязевых капюшонов на своего командира, который теперь безраздельно брал под свое начало их солдатские судьбы. Все, притихнув, молчали, наверно, еще не во всем, что им предстояло вскорости, разбираясь сами, но ничего, кроме как целиком положиться на него, командира, да на этого вот долговязого старшину, который второй день опекал группу, им не оставалось.

Ивановский через прорезь в маскировочных брюках запустил руку в карман и вытащил увесистый кубик часов, когда-то снятых им с подбитого немецкого танка. Часы живо и радостно затикали на его ладони, засияв фосфоресцирующим циферблатом. Было без десяти минут семь.

— Итак, в нашем распоряжении двенадцать часов. За это время, конечно, минус час-другой на переход боевых порядков противника, нам предстоит отмахать шестьдесят километров. Ясно? Кто не способен на это? Говорите сразу, чтоб потом не было поздно. Потом некуда будет отправить. Ну?

Он выжидательно обвел взглядом строй, в котором ничто не шелохнулось, и было так тихо, что послышался шорох сдуваемых ветром с крыши снежинок. Но снова никто не отозвался на этот его такой далеко не пустячный теперь вопрос.

— Тогда все. Старшина — замыкающий. Группа — за мной марш!

Их никто не провожал тут, вся торопливая подготовка по переходу была закончена раньше. Час назад на КП командира стрелкового батальона они условились, что батальон будет молчать, чтобы не настораживать немцев, и они постараются прошмыгнуть незамеченными в самых первых, только что наступивших сумерках. Впрочем, если бы и потребовалась помощь, то чем мог помочь батальон, который лишь именовался таковым, а на деле состоял из стрелковой роты, не больше, да и командовал им недавний командир роты, старший лейтенант, пулемет-

чик. Он пообещал прикрыть их в крайнем случае огнем, хотя это и было вынужденное обещание по требованию капитана из разведотдела штарма, который присутствовал там. Но капитан побудет и скоро уйдет, а батальону воевать дальше, боеприпасов к тому же у него не густо, и начальство потребует беречь их для более важного случая.

Правда, капитан совсем не настаивал, чтобы он переходил именно здесь и сегодня. При виде того, как стал утихать снегопад и перед ними очень уж открыто и пустынно раскинулась эта широкая речная пойма с извилистой полосой кустарника посередине, представитель штаба заколебался.

— Да, действительно. Как на пустой тарелке. Впрочем, решай сам, лейтенант. Тебе виднее.

— Пойду, — просто сказал Ивановский.

— Что ж, твое дело. Может, оно и к лучшему: сунуться туда, где не ожидают.

«Черт его знает, где они не ожидают. Не спросишь», — озабоченно подумал лейтенант. Но он не мог больше откладывать — в том деле, на которое они отправлялись теперь, промедление действительно было смерти подобно. А он и так уже промедлил сверх меры, хотя, конечно, и не по своей воле.

Проваливаясь по щиколотку, а где и по колено в снег, бойцы гуськом поднялись на пригорок. Ивановский оглянулся и впервые остался доволен — коротенькая колонна его послушно подобралась, никто не отстал, не замешкался; остановился он, и почти одновременно остановились все остальные. Дальше следовало подождать, может, передохнуть даже, залечь — с вершины холма их могли уже заметить немцы. Над поймой и на склонах, где расположился батальон, стояла тишина, дальние отзвуки боя докатывались лишь из-за леса справа, там же что-то неярко отсвечивало в темном и мутном от низких облаков небе. Наискось уходила в темноту пойма с тусклыми мазками кустарника, пятнами присыпанных снегом зарослей камыша над речкой, гривками бурьяна, вылезшего из-под снега. До речки было полкилометра, не меньше. Это пространство надо было преодолеть на четвереньках, потом изрядный отрезок придется ползти по-пластунски, а дальше уже и трудно определить как, только бы побыстрей оказаться по ту сторону поймы в спасительном, совершенно не видном отсюда лесу.

— Ложись! За мной марш! — вполголоса скомандовал лейтенант и опустился локтями в снег.

Снег был глубокий, рыхлый, как вата, и морознопекучий. Он безбожно набивался во все щели маскировочного халата, в рукавицы, рукава, за пазуху и голенища сапог и подтаивал там, холодной, противной мокрядью расплываясь по телу. От этой смешанной с потом мокряди то бросало в озноб, то становилось душно, парно, удушливая горечь распирала грудь. Ивановский зубами содрал с руки трехпалую рукавицу и мокрыми пальцами дернул за тесьму капюшона. Лицу стало прохладнее и свободнее, а главное — отпустило уши, он услышал шорох ветра в бурьяне и невнятные разрозненные звуки сзади.

Проползли они, наверное, с полкилометра, пригорочек с сосняком едва серел сзади на краю мрачного ночного неба, которое в серых сумерках почти что сливалось с заснеженным полем. Следа-борозды, проложенного их десятью телами, к счастью, не было видно даже вблизи, как и самих бойцов. Правда, это лишь в темноте. Ивановский знал, что стоит взлететь ракете, как, словно на ладони, станет виден в снегу весь проложенный ими след, да и они сами тоже.

Покамест, однако, было темно и тихо. Бой тяжелой глухой ворко̀тней едва докатывался сюда из-за леса, там же с вечера гуляли по небосклону широкие огневые сполохи — отсветы дальней канонады, и промерзшая земля под локтями глухо, глубинно подрагивала. В той же стороне, за лесом, изредка вспархивали в небо желтые звезды ракет, которые тут же гасли в мутной мешанине света и тьмы.

Надо было как можно скорее одолеть эту пойму: переднего края они еще не прошли, еще предстоял самый опасный путь вдоль речушки. Но и так уже все притомились, группа начала заметно растягиваться. Ивановский вдруг спохватился, что не слышит дыхания Лукашова, который полз следом. Лейтенант оглянулся и минуту выждал, сам переводя дыхание, хотя и знал, что медлить здесь нельзя ни минуты. Но усталость, видно, притупила осторожность, поодаль уже второй раз что-то несильно стукнуло — наверно, винтовкой о лыжи, и лейтенант нервно напрягся, впившись в снеговой полумрак обостренным злым взглядом. Разгильдяи, иначе не назовешь! Ему так не хватало теперь возможности покрыть их крепким злым словом. Действительно, сколько ни твердил, что

лыжи надо держать в левой, а винтовку в правой руке, но вот, наверно, кому-то понадобилось сгрести все в одну кучу, и теперь стучит...

Сзади зашевелился в темноте серый сгорбленный ком в маскхалате, шумно дыша, он подполз и замер у самых ног лейтенанта. За ним шевелился еще кто-то, а дальше уже невозможно было и разглядеть — мешали сумрак и снег. Ивановский спросил осиплым усталым шепотом:

— Ползут?

— Ползут, командир, — также шепотом ответил сержант.

— Передай — шире шаг!

В низинке снег стал еще глубже, люди зарывались в нем по самые плечи. Под намокшими коленями прощупывалась мерзлая колючая трава, наверно, начиналось болото. Ивановский не смотрел на компас — как и обычно, направление он угадывал по характерным изменениям рельефа, который здесь был знаком ему по карте. Тут все время следовало держаться низинки, по ней выйти к кустарнику на берегу речки и дальше ползти под кустарником. Путь ползком предстоял еще длинный, он, конечно, вымотает их как следует. Но только бы не напороться на немцев, на какой-нибудь их замаскированный ночной секрет. Тогда уже незамеченными не пройти, и все может кончиться скверно в самом начале.

Ивановский, однако, отогнал от себя эти мысли и сквозь окончательно сгустившуюся мглу вгляделся вперед. Вроде совсем уже недалеко темнел кустарник, за ним была засыпанная снегом речушка. Это место — он помнил по карте — располагалось как раз посередине нейтралки, дальше по пригорку начиналась небольшая, разбитая минами деревенька, в которой засели немцы. Правда, их первый окоп был и еще ближе — через какую-нибудь сотню метров за речкой; там группе надлежало повернуть вдоль русла и попытаться проскользнуть в кустарнике между этим окопчиком и другим — в стороне, на мыске остроносого, словно большая опрокинутая ложка, пригорка.

Тем временем снег не только стал глубже, но и сделался совсем рыхлым, под руками шуршала пересыпанная им мерзлая, не скошенная летом трава. Они ползли по болоту. Ивановский неосторожно надавил коленом и проломил непрочную еще корку мха, из-под которой туго плюхнуло на снег водой. На секунду он остановился,

чтобы прислушаться, не выдал ли себя этим неосторожным движением. Но тут начинался кустарник, рукой подать топорщились ветки ольшаника, заросли красной лозы, что непролазной стеной торчала из снега. Ивановский еще немного прополз под кустарником, чтобы дать своей растянувшейся таки группе подобраться поближе и разместиться под спасительным его укрытием. Кустарник надежно укрывал их со стороны деревни, тут им уже не страшны были и ракеты. Правда, оставался еще открытый и опасный пригорок-ложка с другой стороны, но этот пригорок все-таки был на некотором от них отдалении. Оттуда их могли не заметить даже и при свете ракет.

Все время лейтенанту не терпелось встать и оглянуться, как там, в хвосте, не слишком ли растянулись последние. Теперь очень важно было держать всех в одном кулаке, в такой ситуации разобщенность граничит с бедой. Правда, в случае чего там есть кому распорядиться: последним полз Дюбин, кажется, в общем неглупый человек, раза в полтора старше самого лейтенанта. Но Дюбин был из запаса, и хотя характером его бог не обидел, но хватит ли у него чисто фронтового умельства? Ивановский, сам кадровый командир, испытавший все муки войны с ее самого первого июньского дня, несколько не доверял запасным и, чтоб было вернее и надежнее, обычно старался часть возложенной на них ноши переложить на себя. Сегодняшняя его короткая стычка со старшиной, предложившим повременить с переходом, оставила неприятный осадок у обоих. Лейтенант не терпел делить свою власть с кем бы то ни было да еще в таком деле, где он целиком полагался лишь на себя, свою сообразительность и решимость. Пока, в общем, все обходилось, повезет — обойдется и дальше, и тогда он как-нибудь при случае напомнит Дюбину...

Сзади в борозде рыхлого снега сипато зашептал Лукашов:

— Теперь куда, товарищ лейтенант?

— Тихо! Как там сзади?

— Да ползут. Шелудяк вон отстает только...

Опять Шелудяк! Этот Шелудяк еще в батальоне именно своей мешковатостью вызвал недовольство лейтенанта, но в суматохе скороспешной подготовки Ивановский просто выпустил его из виду, подумав, что человек он здоровый, выдюжит. К тому же группе необходим был сапер, и выбора никакого не было, пришлось брать пер-

вого попавшегося под руку — этого вот немолодого и мешковатого дядьку. Но война в который уж раз убеждала в необходимости, кроме обыкновенной силы, еще и умения, тренировки. Впрочем, тренировки у них не было никакой, на нее просто не хватило времени.

Целый день начальник разведки с начальником особого отдела пересматривали и утрясали списки, подбирали людей, и, когда наконец составили группу, ни о какой тренировке нечего было и думать.

Оставив на месте лыжи, Ивановский обошел Лукашова и пополз по его следу назад. Шелудяк действительно оторвался от сержанта и теперь устало и грузно гребся в снегу, задерживая собой остальных. Лейтенант встретил его тихим злым шепотом:

— В чем дело?

— Да вот вспотел, чтоб его! Скоро ли там, чтоб на лыжи?

— Живо шевелитесь! Живо! — подогнал он бойца.

Покачивая задранным задом, навьюченный под маскхалатом тяжелым вещмешком со взрывчаткой, Шелудяк на четвереньках пополз догонять сержанта. За ним подались и остальные. Лейтенант пропустил мимо себя Хакимова, Зайца, Судника, еще кого-то, чьего лица он не рассмотрел под низко надвинутым капюшоном, и дождался старшину Дюбина.

— Что случилось? — спросил тот, ненадолго задерживаясь возле Ивановского. Лейтенант не ответил. Что было отвечать, разве не видно старшине, что группа растянулась, нарушила необходимый порядок, к которому имел определенное отношение и старшина как замыкающий.

— Кто стучал в хвосте?

— Стучал? Не слышал.

Ну, разумеется, он не слышал. Ивановский не стал продолжать разговор, замер и прислушался. Поблизости, однако, все было тихо, наши на пригорочке с сосняком настороженно молчали, молчали впереди и немцы. Девять бугристых тел в белых, пересыпанных снегом халатах ровно лежали в разрытой ими снежной канаве.

— Надо слушать, — коротким шепотом заметил Ивановский. — Сейчас переход. Чтоб мне ни звука!

Старшина промолчал, и лейтенант на четвереньках быстро пополз вперед, обходя бойцов. Он не видел их лиц, но почти физически ощущал их настороженные, полные ожидания и тревоги взгляды из-под капюшонов. Все мол-

чали. Обгоняя Шелудяка, который, виновато сопя, распластался в борозде, Ивановский строго потребовал:

— Изо всех сил! Изо всех сил, Шелудяк! Понял?

Лейтенант выполз в голову своей, теперь уже подтянувшейся пластунской колонны и снова пополз в самом глубоком снегу на краю кустарника. Одною рукой он волочил по снегу лыжи, другой — автомат; сумка с автоматными дисками сбивалась с бедра под живот, и он то и дело отбрасывал ее за спину. В снегу он напоролся на какую-то кучу хвороста, который звучно затрещал в ночи; зацепившись за что-то, порвался маскхалат; застряли в снегу лыжи. Чертыхаясь про себя, лейтенант минуту выпутывался из этой ловушки, потом взял в сторону, несколько дальше от кустарника. Где-то тут недалеко должен был повстречаться ручей, впадавший в речушку; от ручья начинался самый опасный отрезок пути в разрыве немецкой линии.

До ручья, однако, он еще не дополз, когда впереди и совсем близко звучно щелкнуло в воздухе, засипело, заискрилось, и яркая огненная дуга прочертила по краю неба. Разгоряченный борьбой со снегом, Ивановский не сразу понял, что это ракета. Несколько не долетев до них, она торжественно распустилась вверху букетом ослепительно сияющего пламени, и снежная равнина с кустарником затаилась, замерла, сжалась, залитая ее лихорадочной яркостью. Потом что-то там пошатнулось, дрогнуло и все ринулось в сторону; по пойме метнулась путаница стремительных теней. Ракета упала на снег за кустарником и еще несколько секунд сверкала остатками своего холодного пламени.

Ивановский затих, где лежал, почти не дыша, грудь его распирало от нехватки воздуха, возле лица на ветру крутилась снежная пыль. Лейтенант ждал выстрелов, криков, следующих ракет, но в сгустившейся темноте ночи стояла прежняя напряженно-зловещая тишина. Тогда он прикрыл на секунду глаза, чтобы скорее преодолеть ослепление, и снова всмотрелся вперед. Он недоумевал, откуда тут могла появиться ракета, ведь в том направлении, откуда она взлетела, немцев не должно было быть — там болото, речушка, кустарник. Туда ведь как раз предстояло ему ползти. Теперь получалось, что тот путь им закрыт.

Сзади его тронул за сапог Лукашов, но лейтенант не оглянулся даже и не отозвался, обеспокоенный един-

ственным теперь вопросом — заметили или нет? Если заметили, то, наверное, их сегодняшняя попытка на том и окончена. Если нет, следовало побыстрее убираться с этого злополучного места.

Прошла еще минута, но не было ни выстрелов, ни ракеты, и Ивановский подумал, что, по-видимому, там сидит высланный на ночь ракетчик, которого разумнее обойти. Лейтенант круто повернул в кустарник, на четвереньках достиг невысокого берега речки, над которой клонилось несколько черных кряжистых ольх, и решительно перевалился с берега на ровную поверхность присыпанного снегом льда. На другом берегу заросли оказались пореже, неширокой полосой они тянулись вдоль берега, а далее начинался пригорок с деревней и немецким окопом под скособоченным сараем на отшибе.

Сержант Лукашов не отставал ни на шаг, и когда лейтенант остановился в нерешительности, тот пополз рядом и шепнул в лицо:

— А давайте речкой...

— Тих...

Положение усложнялось. На этой стороне они оказались слишком близко к противнику, пробраться мимо него было возможно лишь вдоль самого берега. Куда как соблазнительно было податься на гладкую ровность замерзшей речушки, но она здесь петляла, словно запутанная чертом веревка. «Это сколько же понадобится времени, чтобы выползать все ее петли? — уныло подумал Ивановский. — Опять же, а если где плохо замерзла?»

Ему показалось, что прошло чересчур много времени, что он непростительно долго провозился в этом кустарнике и запаздывает уже в самом начале. Вздрогнув от охватившей его тревоги, лейтенант оглянулся, но сзади уже все перебрались через речушку и ждали, чтобы двинуться дальше. В сером сумраке ночи поблизости невнятно темнело несколько лиц, остальных и вовсе не было видно, и он с новой решимостью пополз по снегу.

В этот раз он прополз очень недолго, снова и с того же места вспорхнула ракета, с ней вместе долетел щелчок выстрела. Лейтенант вжался в снег, изо всех сил вглядываясь в черно-белую путаницу ветвей на ярко освещенной белизне снега. Нет, ракета пошла в прежнем направлении, на ту сторону поймы, откуда они ползли. Значит, их все-таки не заметили. Дождавшись, когда ракета сгорела, он с облегчением дернул лыжную связку и

сам, на локтях и коленях, стремительно рванулся вперед. В наступившей глухой темноте он несколько долгих секунд не видел перед собой ничего, только греб и греб снег и тащил лыжи. И вдруг снова ослеп от невероятно яркого света, который прямо с небес мощно обрушился на пойму — снег засиял, заискрился, тени от кустарника широким полукругом быстро повернулись на пойме, ярко отпечатавшись на снегу, и замерли. Замер и он, с каждым мгновением чувствуя трескучие пулеметные очереди. Как всегда в минуту наибольшей опасности, мысль его среагировала с предельной быстротой, он понял, что это от пуньки, значит, совсем уже близко. Ракета вся без остатка сгорела в вышине, но по-прежнему было тихо, и он снова стиснул веки, чтобы переждать ослепление. Если заметили, то надо подаваться назад, за речку, под защиту ее бережка, а если нет... Тогда быстрее надо ползти вперед, подальше от этого проклятого места, где тебя так нагло подсвечивают с обеих сторон.

Выстрелов все не было, значит, еще не заметили, и он с дерзкой решимостью рванулся вперед, вдруг ощутив в себе новый порыв риска и удачливости. Быстрей, быстрей! С неожиданной силой и ловкостью он полз вдоль берега, весь закопавшись в снегу, который нещадно забивал лицо, рот, не давал дышать и слепил глаза. Когда же зрению возвратилась прежняя способность различать в темноте, он вдруг отметил, что слева от деревни его прикрывает какой-то бугорок высотой по колено, — наверно, обмежек на границе нивы и покоса. Это его куда как обрадовало, теперь он уже не страшился ракет: вся его воля устремилась к единственной цели — вперед!

Он полз долго и быстро. Под одеждой на груди и спине уже все стало мокрым от пота и снега, на своих сзади он не оглядывался, то было без пользы: теперь он не мог подогнать их. Он лишь полагался на власть своего примера, на силу солдатского правила — равняться по командиру.

Когда в небе опять загорелась ракета, он замер с занесенной вперед рукой и низко над снегом оглянулся: так и есть — бойцы опять растянулись, опять за сержантом образовался разрыв этак шагов на двадцать. Обмежек, как на беду, тут же окончился, теперь их ничто не прикрывало от переднего окопа немцев. Одно хорошо — сарай на пригорке остался сзади, уже ракета летела в тыл. Впереди же опять расстилалась широкая ровность с

рядами негустого, исчезавшего в сумерках кустарника по одному ее краю.

Ракета погасла, и на душе у него отлегло, самое трудное вроде бы миновало. Это было так хорошо почувствовать, — коротенько и сдержанно-радостно, — но не успел он опять двинуть вперед связку лыж, как совсем близко сзади неожиданно гулко бахнул винтовочный выстрел. Почти ужаснувшись, Ивановский пружинисто обернулся, рука привычно ухватилась за шейку обмотанного бинтами автомата, но ни сзади, ни по сторонам он не обнаружил решительно никакого движения. Все окрест будто обмерло, один только выстрел — и больше ни звука, и нигде никого поблизости. Спустя несколько секунд, однако, ярко засветило сразу в двух местах над кустарником. Лейтенант из-за плеча проследил за полетом ракет — они, как и предыдущие, упали сзади, но тут же взвились еще две по обеим сторонам речки. В их ярком свете густым пронзительным треском залился пулемет от сарая, огненные трассы стегнули по кустам возле речки, несколько пуль срикошетило от бугорка, за которым они только что прятались, и зелеными брызгами разлетелось в сторону. Пулемет слепо, но верно нащупывал их при свете ракет и так близко шарил струями пуль, что их спасал лишь обмежек. Ивановский лежал и скрежетал зубами от немого отчаяния — так все шло хорошо и, на́ тебе, срывалось из-за какого-то нелепого выстрела...

Наверно, они так пролежали долго, лейтенант начал вздрагивать от озноба, мокрое его белье ледяным панцирем облипало тело. Вверху сгорело с десяток ракет, пулемет возле пуньки вроде бы стал затихать. И тогда сзади раз и другой его потрогал за сапог Лукашов. Ивановский на снегу вывернулся лицом назад.

— Кудрявцева ранило.

— Сильно?

Вместо ответа сержант пожал плечами и тоже обернулся назад, наверно, ожидая разъяснения оттуда.

Было от чего выругаться, но Ивановский лишь судорожно сжал в рукавицах по пригоршне снега. Что и говорить, начало было испорчено, но вскоре могло произойти и еще худшее — их запросто могли обнаружить в поле. Тем не менее разбираться, ползти назад теперь не было времени, и он приказал первому, кого различил в темноте за сержантом:

— Шелудяк, марш назад. Забрать раненого и назад.

По лицу сапера скользнуло что-то растерянное, тем не менее он разгреб телом снег, развернулся и исчез в темноте. Ивановский тут же спохватился при мысли, что с раненым лучше бы послать не его, а кого-нибудь более для того способного, но возвращать Шелудяка теперь уже не стал. «Пусть живет!» — с чувством неожиданного великодушия подумал он. Не каждому выпадает такое, но этот старик, наверно, больше других имеет право выжить, — все-таки отец семейства, дома трое детей, а это что-нибудь да значит.

Немцы возле сарая молчали, так ничего, наверно, и не обнаружив; стало тихо, только за лесом все урчала, ворочалась и вздыхала далекая орудийная канонада. Ивановского снова охватило беспокойство за время, которое, невзирая ни на что, мчалось дьявольски быстро, и лейтенант даже испугался, что вконец опоздает. По правде, он не предвидел столько неожиданностей в самом начале и теперь подумал невесело: а что еще будет!

Ивановский рванулся вперед, но не прополз и десяти шагов, как опять замер от потока стремительно метнувшихся в его сторону трасс. Распластавшись на снегу, лейтенант вгляделся в ту сторону, где едва заметным бугорком темнел в отдалении сарай, и живо попятился назад под защиту все того же маленького, едва заметного вблизи обмежка. Все-таки, наверно, их обнаружили. Вверху с шипением и треском жгли небо ракеты, а пулеметные трассы, огненно сверкая в темноте, секли, низали, взбивали снег как раз на их предстоящем пути из-за пригорка. Во что бы то ни стало надо было выскользнуть из этой проклятой западни, но проползти по ярко освещенному полю нечего было и думать.

Кажется, они застряли прочно и надолго. Хорошо еще, что слева попался этот обмежек, словно посланный богом для их спасения, — только он укрывал их от пулеметного огня с пригорка. Но сколько же можно укрываться?

Тем временем все неподвижно и молча лежали, ожидая его решения и его командирского действия. И он решил единственно теперь возможное: заставить замолчать пулемет. Очевидно, лучше всего подползти к нему со стороны фронта, от речки; сделать это, разумеется, с наибольшим успехом мог только он сам. Только одному, в

крайнем случае двоим еще можно рискнуть подобраться к нему незамеченными.

— Передайте: старшину — ко мне!

По цепочке быстро передали его команду, и Дюбин приполз, молча лег рядом.

— Вот что. Надо снять пулемет, — сказал Ивановский и, встретив в ответ молчание, пояснил: — Иначе не вылезем. В случае чего возьми карту, поведешь группу.

— Не годится так, — помолчав, сказал Дюбин. — Надо бы другого кого.

— Кого другого? — сказал лейтенант. — Попробую сам.

Лежа расстегнув телогрейку, он достал из-за пазухи смятый, во много раз сложенный лист карты, подвинул ближе к старшине свои лыжи. Пулемет молчал, догорала на снегу настильно брошенная немцем ракета, стало темно и тихо. Но он знал: стоит лишь высунуться из-за обмежка, как немцы снова поднимут свой тарарам; видно, они здесь что-то просматривают.

— Лукашов, за мной, — тихо позвал лейтенант и не оглянулся, знал, что Лукашов не отстанет. В наступившей затем кромешной тьме он с автоматом в руке и тремя гранатами в карманах брюк пополз под обмежком. Надо было торопиться, иначе вся его вылазка теряла смысл. Разумеется, это было не самое лучшее, может, наоборот даже, но другого выхода из затруднения он не находил. Другим было разве что возвращение восвояси, что, впрочем, тоже теперь сделать не просто. Он зло про себя ругался и твердил, разгребая снег: «Ну бей же, бей, гад! Шуми побольше...»

Ему надо было, чтоб пулемет вел огонь. Когда пулемет работает, тогда пулеметчик глух и слеп, тогда бы уж лейтенант как-нибудь подобрался к нему. И пулемет действительно скоро ударил — сразу, как только засветила ракета. Но, к удивлению своему, в первый момент Ивановский не увидел ни одной из его трасс. Короткое недоумение лейтенанта, однако, тут же исчезло — пулеметные очереди уходили в их тыл, в сторону поймы и речки, в то место, где они недавно переползали ее в кустарнике. В этот раз немцы всполошились всерьез и надолго. Над поймой заполыхал настоящий ракетный пожар, вокруг стало светло как днем, на луговину с пригорка неслись, перехлестываясь, сходясь и разлетаясь, густым веером пули; несколько пулеметов из разных мест остервенело

секли кустарник. Сначала Ивановский инстинктивно втиснулся в снег, немногое видя из своей борозды и только напряженно вслушиваясь в густое сверкающее завывание вверху. Но и не глядя, он скоро понял, что это не так себе, что это все Шелудяк. Значит, все-таки заприметили, высветили и теперь расстреливают.

Но поняв это, Ивановский вдруг содрогнулся от радостной счастливой мысли: Шелудяк отвлекал огонь на себя, надо немедленно этим воспользоваться. Лейтенант тут же развернулся в снегу, на четвереньках проскочил в голову своей замершей под обмежком колонны, схватил лыжи.

— За мной, — вслух скомандовал он, уже не остерегаясь в этом грохоте быть услышанным немцами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Последние метры до леса они не ползли, а, пригнувшись, устало бежали, пока один за другим не попáдали в реденьком низкорослом кустарнике. Распластанные на снегу судорожной горькой одышкой, минуту ошеломленно молчали, не в состоянии вымолвить слова. У каждого в такт с сердцем билась единственная теперь мысль — вроде удалось, прошли, худшее осталось позади. Немцы с пригорка как будто их проворонили. Увлеченные пальбой по луговине, ослепленные сиянием ракет, они, вероятно, не слишком оглядывались по сторонам, пока не расстреляли у реки Шелудяка. «Спасибо вам, дорогие бойцы», — растроганно думал Ивановский, лежа на снегу и в одышке хватая ртом воздух. Первая плата за его успех была внесена, каков окажется итог? Как бы то ни было, светлая тебе память, боец Шелудяк, посланный на верную гибель, хотя в тот момент с какой-то подспудной завистью лейтенант думал, что — в жизнь...

Еще не совсем отдышавшись, он приподнялся и сел на снегу. Редкие огненные светляки пуль низали снежные сумерки уже далеко позади, навстречу им летели другие из сосняка за поймой — это вступил в бой батальон. Здесь же, возле кустарника, было спокойно, перед ними лежал голый, не очень заснеженный склон с гривками бурьяна по межам. Ивановский достал часы — было половина десятого.

— Кто стрелял? — сдержанно, с запоздало вспыхнув-

шим гневом спросил лейтенант, вспомнив тот злополучный выстрел.

Невдалеке среди пластом лежащих тел в белом кто-то заворошился и сел на снегу, по острию, выпиравшему под капюшоном, командир узнал Дюбина — старшина был в буденовке.

— Выстрелил Судник.

— Я выстрелил, — виновато и глухо подтвердил простуженный голос, и Судник расслабленно поднялся на ноги.

— Почему стрелял?

Боец двинул у ноги винтовкой.

— Да вот, с предохранителя соскочила.

Ивановский вгляделся в замотанное бинтом оружие, и его передернуло от злости — у бойца была СВТ, эффектная с виду десятизарядка, сложная по конструкции и не очень надежная в бою. Просто беда, как он перед выходом недосмотрел, разве можно было с таким оружием отправляться в тыл к немцам?

— Черт бы вас побрал! — не сдержав гнева, с тихой злостью заговорил лейтенант. — Что у вас за оружие?

— Винтовка.

— Какая винтовка?

— Самозарядная Токарева номер эн эм шестьсот двадцать четыре.

— «Эн эм»! Вы похуже не могли найти?

Видно, только теперь поняв свою оплошность, боец виновато потупил голову. Лейтенант почти с ненавистью глядел на его придавленную тяжестью вещмешка фигуру, мокрый, обвисший на коленях халат. Однако весь его неказистый вид выражал теперь лишь вину и покорность. Эта его покорность и непрестанно подстегивающее лейтенанта время скоро заглушили вспышку командирского гнева; Ивановский понял, что бесполезно взыскивать с бойца за дело, о котором тот не имел представления. Тем не менее он не мог игнорировать тот факт, что этот Судник едва не погубил всю группу.

— Вы понимаете, что вы наделали?

— Черта он понимает! — вдруг сидя заговорил Лукашов. — Разгильдяй он. Зачем было брать такого?

Судник по-прежнему стоял молча, уронив голову.

— За такое дело вот кокну тебя к чертовой матери! — угрожающе прошептал лейтенант. — Понял?

Голова бойца склонилась еще ниже, но он, видно, ре-

шительно не знал, что сказать в свое оправдание, и, похоже, готов был ко всему.

— Ладно. Потом мы с ним потолкуем, — наверно, почувствовав нерешительность в голосе командира, примирительно сказал Дюбин.

— Я еще разберусь с тобой, — пообещал Ивановский и скомандовал: — На лыжи!

Все враз зашевелились, разбирая лыжи и пристегивая к сапогам крепление, — задерживаться тут не годилось. Лейтенант ухватил за концы палки и оглянулся, дожидаясь готовности группы.

— Я бы его проучил! Мне он не попался, сопляк, — натягивая рукавицы, ворчал поблизости Лукашов.

— Ладно, все! — громким шепотом оборвал его Ивановский. — Готовы? Судник — за мной! Марш!

Лейтенант резко взял с места, направляясь в прогал кустарника, однако в рыхлом снегу лыжи скользили плохо, проваливаясь в глубокие колеи, из которых торчали лишь загнутые концы. Ветки кустарника цеплялись за маскхалат, срывали с головы капюшон. Наверное, четверть часа лейтенант продирался через кустарник, пока наконец не вырвался в поле. Тут его сразу охватил порывистый ветер, но стало просторнее. Ивановский нащупал лыжами более твердый участок снега и оттолкнулся палками. Взгляд его был устремлен вперед, лейтенант не оглядывался, он слышал шорох лыж сзади и мерное привычное дыхание бойцов. Его гнев против Судника стал понемногу спадать, наибольшая беда миновала, и Ивановский начал свыкаться с тем, что их осталось восемь. Правда, полностью примириться с этим было нельзя, завтра ему очень нужны будут люди, и Судник заслуживал строжайшего наказания. Но как его наказать?.. На гауптвахту здесь не посадишь, придется отложить все до возвращения. К тому же, в общем, им повезло. Если разобраться, так еще неизвестно, как бы оно обернулось, если бы Судник не выстрелил, не ранили Кудрявца и он не отправил с ним Шелудяка, который отвлек на себя огонь немцев. Вполне возможно, что до утра им бы не удалось прорваться из-за того обмежка, а по светлому времени их бы легко расстреляли из минометов. Много ли нужно для десяти человек? А так вот проскочили, и теперь только бы не нарваться в ночи на какие-нибудь тыловые части.

Вскоре на снегу наметился небольшой спуск, лыжи

пошли вперед легче, рукам стало свободнее, и лейтенант оглянулся. Судник прилежно шел следом; за ним, слегка оторвавшись, тянул в сумерках Лукашов. Остальные тоже как будто подравнялись, и в ветреном ночном сумраке слышался сплошной шорох снега под лыжами. Лейтенант еще увеличил темп. Дорога была дальняя, даже слишком дальняя для одной ночи, и очень надо было спешить. Тут он еще помнил маршрут, изученный накануне по карте, и знал, что скоро опять пойдет пойма все той же речушки. Далее и следовало все время ее держаться.

После кустарника бойцы вошли в ритм, и группа споро двигалась в серых ночных сумерках. Беззвездное небо сплошным пологом накрыло зимний простор, в котором тускло темнели размытые пятна кустарников, деревьев, бурьяна и множество еще чего-то неясного и загадочного. Ракеты на передовой светили далеко сзади, отсюда видны были лишь их мигающие отсветы за пологим холмом.

Постепенно Ивановский стал успокаиваться — хотя и не совсем гладко, но поначалу вроде бы обошлось: они прорвались. Правда, все время не выходил из головы Шелудяк, так несуразно с ним вышло, пожалел, называется. Наверное, пригодился бы завтра, все-таки сапер и пожилой человек, не какой-нибудь несмышленыш, как этот Судник. Да, с саперами ему не повезло, хотя больше других были нужны именно саперы. Но тут ничего не поделаешь. В то время как группа лежала в свете ракет, казалось, вернул бы назад половину, лишь бы другая половина прорвалась.

А теперь вот обидно и жалко.

Лейтенант уже слишком хорошо знал, что далеко не все в жизни получается так, как надо, тем более на войне. Чтобы не остаться внакладе, порой приходится из последних сил добиваться намеченной цели, до последней возможности драться против коварной силы обстоятельств, иначе провалишь дело и пропадешь сам. Вообще война беспощадна ко всякому, но первым на фронте погибает трус, — именно тот, кто больше всех дорожит своей жизнью. Впрочем, достаточно гибнет и храбрых. Война удивительно слепа к людям и далеко не по заслугам распоряжается их жизнями. Как нигде в мирной жизни, здесь изменчива и капризна судьба человека, которому, чтобы жить, ни на минуту нельзя выпускать из рук ту-

гих вожжей обстоятельств при любых, самых невозможных условиях надо стараться управлять ими.

Горечь от первой и довольно нелепой утраты не оставляла Ивановского. Ненадолго лейтенант забывался, поглощенный ночными заботами, но она опять возвращалась щемящей, слишком знакомой на войне болью. И сколько он ни переживал ее за пять месяцев, эту раздирающую сердце боль, и какой бы обыденной она порой ни казалась, совершенно привыкнуть к ней было нельзя. Скольких уже он потерял навсегда за это время войны, думалось, пора бы уж и привыкнуть к самим потерям и свыкнуться с сознанием их неизбежности. Но, как ни привыкал, нет-нет да и находило на него такое отчаяние, что, казалось, лучше бы подставил под ту роковую пулю собственную голову, какой дорогой она ни была, чем навсегда укладывать в могильную глубь близкого тебе человека.

А своего лучшего друга, разведчика капитана Волоха, он даже не смог закопать. Просто у них не нашлось лопаты и каких-нибудь пятнадцати минут времени — от шоссе уже мчались на мотоциклах немцы. Отстреливаясь, они с Погребняком завернули тело капитана в палатку и наспех забросали ее перемешанной со снегом листвой. Так и остался их командир на лесной опушке того далекого смоленского урочища. А следующего за ним, сержанта Рукавицына, даже не удалось унести с пригорка, на котором его настигла пуля, и спустя десять минут его там подобрали немцы.

Вообще Ивановскому везло в войну на хороших людей, и самым большим везеньем был, конечно, капитан Волох. Каким-то необъяснимым чутьем лейтенант понял это сразу, как только увидел его на подернутой утренним туманом просеке в Боровском лесу. Стоя на коленях, капитан что-то вытряхивал из карманов в брошенную на мох фуражку, рядом лежала разложенная карта, а вокруг сидели и лежали его разведчики. Все были в зеленых маскировочных халатах со снятыми капюшонами и в пилотках, лишь у одного капитана была фуражка, по которой лейтенант безошибочно признал в нем командира и, подойдя, отдал честь.

— Товарищ командир, разрешите обратиться?

— Пожалуйста, — запросто, без тени командирской строгости улыбнулся капитан. — Обращайтесь, если есть с чем. А то у нас вот одна пыль.

Видно, он не прочь был пошутить и, может, даже

угостить махоркой, но махорка у него вся вышла, как вышла она и у лейтенанта. Правда, лейтенанту теперь было не до курева, он бы больше обрадовался сухарю или куску хлеба, так как два дня почти ничего не ел. После разгрома в ночном бою под Крупцами он отбился от полка, попал в окружение, выйдя из которого с двенадцатью бойцами плутал по лесам в поисках своей части. Но нигде он не мог набрести хотя бы на остатки полка или даже дивизии, иногда попадались бойцы из неизвестных ему частей, но никто ничего толком не знал, в прифронтовой полосе все смешалось, перемешались и наши и немцы. Еще через день вокруг остались одни только немцы, он всюду натыкался на них самих или на свежие следы их пребывания и неделю метался по перелескам в поисках какого-нибудь выхода. У него не было карты, и совершенно неясной была обстановка, встреченные в пути красноармейцы давали самые противоречивые сведения. Ясно было одно — наши отошли далеко, немцы устремились к Москве. В нескольких случайных стычках он потерял еще трех человек, двое исчезли в ночи: может, отбились в темноте и пристали где к другим группам, а может, и того хуже. С ним осталось лишь четверо, они забрели в какую-то лесную глухомань, где уже не было ни немцев, ни наших, и вдруг эта случайная встреча с группой разведчиков на лесной просеке.

Капитан все-таки что-то натряс из карманов и свернул тоненькую куцую цигарку. Остальные молча и, как показалось лейтенанту, с затаенной грустью наблюдали за своим командиром.

— Как зажигалка, цела? — спросил капитан, вправляя в синие брюки вывернутые карманы.

— Какая зажигалка? — удивился Ивановский.

И вдруг он все вспомнил.

Действительно, месяц назад под Касачевом, где они стояли тогда в обороне, как-то перед рассветом начальник разведки полка привел на батарейный НП незнакомого командира в фуражке и с орденом Красного Знамени на габардиновой гимнастерке. Как чуть рассвело, они стали что-то рассматривать в стереотрубу на немецкой стороне, что-то отмечая на карте. Потом вместе позавтракали. Капитан еще угостил Ивановского «Казбеком» и, прикуривая, обратил внимание на его трофейную зажигалку — фигурку буддийского монаха. Зажигалка действительно была занятная: при легком нажатии на

пружину у монаха отскакивала часть черепа и появлялся огонек пламени.

Зажигалка оказалась цела, теперь Ивановский достал маленькую черную фигурку, большим пальцем нажал на пружину. Но в этот раз огонек не появился, наверно, вышел бензин.

— Забавно, забавно, — сказал капитан. — Жаль, курить нечего.

— У нас тоже ни табачинки, — сказал Ивановский.

Их лица стали серьезными, капитан натянул на плечи свою изодранную куртку. В ощущения враз ворвалась невеселая фронтовая действительность.

— Давно бедствуете? — спросил капитан.

— Да вот с семнадцатого. Как смяли тогда под Касачевом.

— Ясно. Что ж, пойдем вместе. Вот тут на моей карте обозначен стык, сюда и попробуем сунуться.

Они пробирались еще четверо суток, но никакого стыка в немецкой линии фронта не обнаружили, как, впрочем, не обнаружили и самого фронта. Стояла глубокая осень, листва на деревьях вся облетела, после холодных затяжных дождей наступила ранняя промозглая стужа. Дороги были забиты обозами, автомобилями и вездеходами наступающих и тыловых немецких частей. Бойцы устали от многодневной ходьбы по бездорожью, от голода. Некоторых начала донимать простуда, кашель. Лейтенанта не переставали мучить чирьи по всему телу. А потом в группе появился раненный в ногу разведчик, который не мог идти сам, и они по очереди несли его на самодельных, изготовленных из жердей и плащ-палатки носилках. По этой причине они не могли идти быстро, но командир не хотел оставлять разведчика. Это был действительно ценный разведчик, свободно говоривший по-немецки, голубоглазый и светловолосый атлет по фамилии Фих. Ранило его случайно, когда они днем заскочили в деревню, чтобы расспросить о дороге и разжиться чем-нибудь из еды, и уже в самом начале улицы напоролись на немцев. Первого вышедшего из двора немца капитан свалил ударом ножа в шею. Это оказался офицер, и Волох по старой привычке разведчика первым делом схватился за его полевую сумку. Но следом за офицером шли еще двое, один из них выстрелил из пистолета и угодил Фиху в бедро. Хорошо, Балаенко дал очередь, немец упал, и они все бросились наутек, подхватив раненого, кото-

рый после этого выстрела не сделал уже ни одного шага по земле. Наверное, немецкая пуля повредила у него какой-нибудь важный нерв, нога обвисла, как плеть. К тому же началось какое-то осложнение, поднялся жар. Длительные переходы причиняли неимоверные страдания раненому, повязка все время сбивалась, рана кровоточила; Фих, сжав зубы, страдал, все больше мрачнел и уходил в себя.

Так прошло несколько дней.

Однажды они остановились передохнуть на заросшем дубняком пригорке. Лиственный лес весь уже стоял обнаженный, лишь корявые низкорослые дубки продолжали шелестеть на ветру своей сильно пожухлой, но еще полетнему густою листвой. Здесь было относительное затишье, дубняк надежно укрывал их от чужих глаз. Как только остановились, разведчики попадали наземь, с молчаливой отрешенностью на изможденном лице лежал на носилках Фих. Волох сидел возле и соломиной задумчиво колупал в зубах. Есть было нечего, курить тоже. Двое разведчиков ушли на поиски жилья, чтобы раздобыть какой-нибудь кусок хлеба для раненого.

— Слушай, Фих, — вдруг сказал капитан. — Ты не беспокойся, мы тебя не оставим. Мы тебя вынесем, и все будет ладно. Главное — не падай духом.

— Отдай мне пистолет, — слабым голосом протянул Фих.

Два дня подряд он непрестанно требовал свой пистолет, который, заподозрив неладное, у него вынул из кобуры Волох. Теперь всякий разговор с раненым начинался и кончался его требованием вернуть пистолет.

— Ну вот, ты опять за свое! Отдам я тебе пистолет. Но сначала надо тебя донести до своих.

— Отдайте мой пистолет! Зачем взяли? Зачем эти заботы? Для оправдания вашей совести? Плюньте, капитан...

Уговорить его было невозможно, капитан понимал это и особенно не уговаривал. Их положение не оставляло места иллюзиям, да они и не нуждались ни в каких иллюзиях. Безнадежность состояния Фиха была очевидной как для него самого, так и для всех восьмерых в группе, включая старого его дружка сержанта Рукавицына, всю дорогу выхаживавшего раненого как только было возможно. Беда, однако, состояла в том, что возможности его были весьма ограниченны. Фих таял на глазах, и Ру-

кавицын, по существу, ничем не мог ему пособить. С убитым видом он сидел над товарищем и грязным платком вытирал холодную испарину с его бледного лба.

— Да-а, дела, — сказал капитан. — Что же нам с тобой делать?

Вопрос был почти риторический, никто не мог и не пытался на него ответить. Впрочем, капитан и не ждал ответа, он просто размышлял вслух. Однако на этот раз долго размышлять ему не пришлось — вернулись двое разведчиков и сообщили, что деревень нигде нет, а обнаруженная поблизости сторожка стоит пустая, ничем съестным поживиться там не удалось. Но на обратном пути разведчики видели, как по дороге в соседний лесок одна за другой шли груженые немецкие машины, которые быстро там разгружаются и налегке возвращаются прежней дорогой. По всей видимости, в лесок перебазируется какой-нибудь крупный немецкий склад.

Они, разумеется, знали, что склады могут быть разные: с фуражом, боеприпасами, горючим, вещевым, инженерным или даже химическим имуществом. Но могут быть также и с продовольствием. Наверно, вероятность последнего предположения показалась изголодавшимся бойцам наибольшей, и капитан живо вскочил на ноги.

— А ну где? Далеко?

— Да километра два отсюда.

Они снялись с места и скоро прошли дубнячок, потом обошли по краю овражек, перешли мокроватую луговинку, снова вошли в колючий густой кустарник, на выходе из которого по команде Волоха все разом замерли. Сквозь чащу ольшаника было видно, как по ухабистой, разбитой дороге в редкий сосновый лесок тащились тяжело груженные семитонные «бюссинги», где-то там они разгружались и скоро бежали вниз, наверно, за новой партией груза. Капитан сразу сел, где стоял, достал из-за пазухи бинокль. Разведчики опустили на землю носилки с Фихом.

— Ух ты, что там наворочено! Вот это да! — удивился капитан. — Проволокой обносят, так, так. А подходы, в общем, хорошие. Вот бы, когда стемнеет. На-ка, прикинь, — сказал он, передавая бинокль Ивановскому. Лейтенант, отыскав в голых ветвях прогалину, направил на лес бинокль. Отчетливо было видно, как там разгружали машины. Работали, кажется, пленные, в некотором отдалении от них маячили темные фигуры в длинных шине-

лях с винтовками в руках. Под высокими редкими соснами на пригорке вытянулись длинные ряды каких-то громоздких зеленых и желтых ящиков. Несколько ранее сложенных штабелей были укрыты брезентом.

— Интересно, что? — рассуждал капитан. — Но все равно. Устроим фейерверк на всю Смоленщину. Рукавицын, у тебя противотанковая граната цела? Хорошо. А тол ты еще не выбросил, Погребняк? Ракеты надо приготовить тоже. Пригодятся.

Он тут же, в ольшанике, наскоро изложил свой план нападения на склад, распределил обязанности между горсткой усталых, голодных людей. Присматривать за раненым поручил сначала двоим, а потом только одному Рукавицыну. Своим заместителем назначил его, Ивановского. Решили выступать, как только стемнеет.

— Веселенькая будет ночь! — радовался капитан, потирая озябшие руки. — Закурить бы теперь, да нечего.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наверное, лучше будет взорвать. Под проволокой протащить заряд со шнуром, подложить под штабель. Часового отвлечь куда-нибудь в сторону. Как это сделать — Ивановский знал, когда-то учил капитан Волох. Есть несколько способов. Лучше бы, разумеется, вовсе снять часового, но, если объект большой, часовых будет несколько, всех не снимешь.

Так, размышляя, Ивановский небыстро спускался на лыжах с неприметного в ночи пригорка. В снежной темени вообще не рассмотреть было, где пригорочек, а где ложбина, он лишь чувствовал это по весу лыж на ногах, которые то вдруг тяжелели, и появлялась надобность помогать себе палками, то бежали по снегу охотнее.

Ивановский все время держал на юг, изредка проверяя направление по компасу. Справа в туманной мгле, то приближаясь к лыжне, то удаляясь от нее, петляла речушка, которую он узнавал по неровному шнурку кустарника на берегу. Слева к ней сбегали окончания невысоких пригорков, которые то и дело приходилось пересекать лыжникам.

Съехав с очередного пологого склона, Ивановский остановился. Лыжи затрещали в каких-то сухих бодыльях, и лейтенант поглядел в сторону, чтобы обойти их.

Сзади по одному приближались и останавливались его бойцы.

— Ну как? — спросил он на полный голос. Здесь, кажется, уже никто не мог их услышать.

— Угрелись, лейтенант, — тяжело дыша, ответил, подъезжая, Лукашов; белый, заметный даже в ночи пар валил от его грузной фигуры. Судник схватил горсть снега и, подпершись палкой, стал жадно есть. Скоро подъехали Хакимов и Краснокуцкий; еще кто-то спускался по склону.

— Дюбин! — позвал лейтенант.

— Идет, кажется, — не сразу отозвался голос из сумерек, и он подумал, что, если замыкающий тут, значит, все в сборе, можно двигаться.

— Как бы передохнуть, товарищ командир? — с ноткою жалобы спросил Краснокуцкий.

Ивановский вынул часы. Стрелки показывали час ночи.

— Отставить отдых, — сказал лейтенант. — Мы опаздываем.

— Уже поджилки дрожат.

— Втягивайтесь, втягивайтесь. Потом легче будет. Так, за мной марш!

Он боялся отдыхом расхолодить бойцов, по себе знал, как трудно после привала опять набирать прежний темп. Важно было выдержать заданную скорость на протяжении всей ночи, может, даже при надобности увеличить ее. Он знал: скоро должно появиться второе дыхание, и тогда всем станет легче...

Но усталость брала свое, и лейтенант все чаще стал замечать, что взгляд его упрямо клонился к земле и перед глазами начиналось однообразное мелькание лыжных носов. Однажды, с усилием оторвав взгляд от снега и вскинув голову, он обнаружил впереди что-то мрачно-серое, похожее на высокую стену леса. И в самом деле это был лес — преградив им путь, тревожно и тягуче шумели на ветру высокие сосны. Ивановский слегка удивился — на карте в здешних местах не значилось никакого леса, тем более хвойного; он подумал, что, может, потерял направление, и стал поспешно сверяться с компасом. Но нет, все было верно, направление он держал, как и полагалось, точно в двести десять градусов, но почему тогда лес? И как с ним поступить — пройти насквозь, не меняя маршрута, или обойти? И в какую сторону обходить?

— Что, лейтенант, перекур? — спросил Лукашов сзади. Почему-то он подошел раньше Судника, который приотстал так, что едва угадывался в сумерках. Это нарушало установленный им порядок на марше, и у Ивановского вырвалось:

— А почему вы тут?

— Так вон сапер... Надоело на пятки наступать.

Кажется, его лыжники стали растягиваться, это уже никуда не годилось; лейтенант полагал, что по готовой лыжне можно бы идти исправнее. Он упрятал компас в рукав и, напряженно соображая, как поступить с лесом, ждал, когда подойдут остальные.

Спустя пять или даже десять минут подошли Хакимов и Краснокуцкий, остальных не было. Теряя терпение, он подождал еще.

Уставшие лыжники, едва остановившись, наваливались грудью на концы воткнутых в снег палок: так отдыхали. Все трудно, прерывисто дышали и хватали руками снег.

— Скоро ли, товарищ лейтенант? — упавшим голосом спросил Краснокуцкий. — Знаете, силы уже не тае...

— Где остальные? — вместо ответа встревоженно спросил лейтенант.

— Да идут. Заяц, наверно, отстал. Ну и старшина там с ним нянькается.

— А Пивоваров?

— Да вон идет кто-то.

Из снежной тьмы, затканной густеющей на ветру крупой, выскользнула еще одна белая тень. Это был Пивоваров.

— Где остальные? — спросил лейтенант.

— Не знаю. Сзади никого вроде, — бодро ответил боец. — Я там с креплением провозился...

— Ладно. Пошли.

Лейтенант не мог больше ждать. Старшина не новичок в подобных делах, он не должен отстать. Опять же на снегу ясно видна наезженная лыжня, пусть догоняет. И лейтенант свернул вправо, вдоль боровой опушки, в обход леска. Лезть в него напрямик он не решился, чтобы где-нибудь невзначай не набрести на овраг или бурелом, а то и просто не застрять в чащобе. Все-таки на лыжах ночью по лесу идти не годилось.

Но он не знал и как обойти его и брел наугад вдоль неровной извилистой опушки, повторяя лыжней все за-

мысловатые ее извилины. Шли гораздо осторожнее, чем в поле, под соснами в зарослях молодняка все время что-то мерещилось, казалось, какие-то тени, фигуры людей. Но приблизившись, он всякий раз обнаруживал, что это были молодые сосенки.

Между тем ветер усиливался, теперь он почти все время дул навстречу. Тонкая бязь маскхалата пузырилась на спине, порой хлопая, словно парус. Лейтенант почувствовал, как у него заметно поубавилось прыти, а с ней убыло и уверенности в правильности его направления. В остальном он не сомневался. Он то делал энергичный рывок, то вдруг переходил на умеренный шаг, с большей, чем следовало, осторожностью оглядываясь по сторонам. Время от времени он прислушивался к звукам сзади, стараясь определить, не догоняют ли их отставшие Заяц с Дюбиным.

Но Дюбин все не нагонял их, а лес внезапно оборвался, они наконец достигли западной его оконечности. Далее хвойная опушка сворачивала на юг и, закругляясь, отступала куда-то к юго-востоку. Этого только и ждал Ивановский. Он даже вздохнул с облегчением и, остановившись, вогнал в снег палки: надо было сориентироваться с картой.

— У кого там?.. Пивоваров, у вас палатка?

— У меня, товарищ лейтенант.

— Давай сюда.

Не сходя с лыж, Ивановский присел на снегу, Пивоваров тщательно накрыл его плащ-палаткой — сделалось необычайно темно после мелькающей белизны снега и тихо. Слабым пятнышком света из фонарика лейтенант повел по измятому листу карты. Все стало ясно.

Река здесь делала большой изгиб в сторону, потому он потерял ее в темени и наткнулся на лес. Но вряд ли была такая надобность следовать ее речной прихоти, наверно, разумнее было взять сразу на юг и тем срезать порядочный крюк. Правда, без реки труднее будет сориентироваться в ночи, тем более что карта допускала неточности. Сосновый лес, который они обошли, вовсе не был обозначен на ней, топографы ограничились лишь нанесением здесь мелких кружочков, обозначавших кустарники. Когда-то это, может, действительно было кустарником, а теперь вон какой лес вымахал, разросся на добрых два километра в длину и едва не ввел его в заблуждение.

Поняв, где находится, лейтенант сбросил с себя палатку.

— Старшины нет?

— Нет еще. Может, подождем? — спросил Лукашов.

Пристально, с последней надеждой Ивановский вгляделся в ночь, вслушался, но сзади никого не было. Продолжительное отсутствие старшины начало всерьез тревожить, появились разные нехорошие предположения, но он гнал их, стараясь сохранить уверенность, что Дюбин догонит. Теперь же надо было двигаться дальше и нужен был замыкающий. Старшим в группе по званию после командира был сержант Лукашов, и лейтенант решил:

— Лукашов, пойдете замыкающим. И чтоб никаких отставаний! Поняли?

— Понятно, — твердо ответил сержант, соступая с лыжни, чтобы пропустить мимо себя остальных.

— Вперед! Еще пару рывков — и мы у цели.

Тогда они тоже были почти у цели.

Еще не стемнело, как на влажную землю начал падать мокрый снежок. Было тихо. Сначала он шел реденький, пушистый — красивые ажурные снежинки картинно кружились в воздухе, плавно оседая на землю. Затем снегопад начал усиливаться и к вечеру повалил мокрыми хлопьями, повисая на ветках, густо облепляя головы, плечи, рукава бойцов. Разведчики терпеливо сидели в кустарнике и ждали. За несколько часов неподвижности все сильно продрогли. Раненого Фиха укрыли мокрой плащ-палаткой, и он тихо стонал под ней в забытьи. Перед самыми сумерками Волох и еще один разведчик, сержант Балаенко, отправились понаблюдать за складом; из кустарника уже мало что было видно.

Четверть часа спустя запыхавшийся Балаенко прибежал к группе: капитан приказал Фиха с одним разведчиком оставить в дубнячке, а остальным выдвигаться на опушку. Они вскочили и вскоре прибыли к своему командиру. До склада отсюда было рукой подать, но снегопад и наступившие сумерки неплохо скрывали их. Сосредоточенный капитан решительно объявил, что действовать начнут сейчас же, не дожидаясь ночи, когда бдительность часовых еще ослаблена неулегшейся дневной суетой. Никто не возразил командиру, разведчики внимали каждому его слову и все исполняли молча и в точности. Ивановско-

му же в этой диверсии все было ново и необычно, он целиком полагался на капитана и тоже старался поточнее выполнять все его команды.

— Как раз кстати снежок, — сказал лейтенант, устраиваясь подле Волоха.

Тот повернул недовольное, озабоченное лицо.

— Не очень-то кстати. Нас не видать, но и мы ни черта не видим.

Трудно было угадать, как лучше, однако снег не переставал, и капитан решил действовать. Четверых с трофейным пулеметом МГ под началом Ивановского он оставил на опушке с задачей прикрытия на случай неудачного отхода, а сам с двумя разведчиками, забрав гранаты, отправился к рощице. Никакого прощания не было, просто Ивановский проводил их несколько задержавшимся взглядом, пока все трое один за другим не исчезли в сгустившихся, мельтешащих сумерках. Тихонько зарядив пулемет, он остался ждать на опушке.

Какое-то время впереди было темно и тихо, медленно тянулись минуты тягостного, напряженного ожидания. Мысленно Ивановский следовал за капитаном, живо представляя себе, как тот преодолевал открытый участок поля, подходил к опушке. Наверно, потом он остановится, чтобы осмотреться. Но что это?..

Из ветреной снежной тьмы вдруг донесся какой-то странный крик, за ним следом — второй, и, прежде чем Ивановский успел сообразить что-либо, круша все сомнения, бабахнул близкий винтовочный выстрел. Тут же вспорхнувшая над верхушками сосен ракета немногое осветила на белой земле — снегопад густо заткал ночное пространство, но Ивановский понял: замысел капитана сорвался.

Наверное, надо было прикрывать отход, может, отвлечь огонь на себя, но он не знал, где капитан и почему тот ни единым выстрелом не ответил на огонь часовых. Однако, когда откуда-то от дороги вдоль опушки рощи стеганули трассирующие пулеметные очереди, он не сдержался и ударил из МГ навстречу, наугад, в то место во тьме, где возникали эти светящиеся трассы. Он с нетерпением ждал появления Волоха и выпустил лишь одну очередь по немецкому пулеметчику — у них маловато было патронов, всего одна лента, надо было экономить. Он ждал, что вот-вот три знакомых силуэта вынырнут из темноты, и тогда они пустятся прочь от этой прокля-

той базы. Но шли минуты, а из темноты никто не выскакивал, и лейтенант вынужден был ждать. Рядом в снегу лежал его боец Толкачев; окликнув его, Ивановский махнул в сторону рощи, и тот, вскочив, послушно побежал в затканное снегопадом поле.

Ракеты над рощей горели не переставая, фланговые трассы неслись куда-то в определенное место, наверно, немецкий пулеметчик знал, куда метил. Ивановский с колена еще выпустил очередь наугад, и тогда весь этот недалекий край рощи загрохотал выстрелами — похоже, охрана заняла оборону и всерьез отражала нападение. В таком случае, не мешкая, следовало отходить. Но капитана все не было, и недоброе предчувствие сдавило Ивановскому горло.

Он сразу заметил чье-то появление в поле, в неверном мерцающем свете ракеты сквозь снег впереди мелькнула шаткая тень; в то время как другая упала, эта мгновенно выросла до гигантских, на все поле, размеров; облетая ее, с двух сторон на опушку неслись пулеметные трассы. В несколько прыжков тень, однако, достигла опушки, и сквозь шум стрельбы Ивановский услышал:

— Капитана убило!

— Стой! — крикнул он и вскочил сам. — Стой!

Это был боец Фартучный, в общем неплохой разведчик, может, даже больше других любимый капитаном Волохом, но теперь, охваченный непонятным испугом, он сломя голову мчался из-под огня. Сообщенная им весть о несчастье, однако, не могла сразить лейтенанта, тот ничего хорошего уже не ждал; правда, чтобы погиб капитан Волох, он не мог себе даже представить.

— Стой! Назад!

Сам он, подхватив пулемет с тяжелой, свисавшей до самого снега лентой, бросился в поле. Осклизаясь на присыпанных снегом неровностях, минуту бежал в ту сторону, откуда появился Фартучный. Не оглядываясь, он знал, что Фартучный вернется и побежит за ним, иного не могло быть. Ракеты светили, казалось, со всех сторон, Ивановский уже не скрывался от них и с короткой остановки запустил длинную очередь по опушке рощи, чтобы вынудить немцев поберечься, залечь. В этот момент Фартучный проворно обогнал его и тотчас скрылся впереди за снежной завесой.

Ивановский тоже вскочил с колена, чтобы бежать за бойцом, но при свете вспыхнувшей над полем ракеты

увидел несколько близких теней, которые, пригнувшись, бежали от дороги вдоль складской изгороди. Испугавшись, что они перехватят Фартучного, он второпях запустил по ним последней своей очередью и, когда опустевший конец металлической ленты выскочил в снег, бросил ставший ненужным ему пулемет и выхватил из кобуры ТТ. Но он уже увидел своих — двое, пригнувшись, с усилием волокли третьего. Не дожидаясь, пока потухнет ракета, он подбежал к ним.

— Жив?

— Где там! Убит! — крикнул Фартучный. — Проклятый часовой! Надо же...

Отстреливаясь, они изменили направление, долго бежали в кустарнике и, лишь уйдя километра на три, в каком-то леске перевели дыхание. Капитан был убит наповал, нести его с собой не имело смысла, и они, торопливо разрыхлив ножами мокрую, с листвой землю, выгребли ямку и кое-как присыпали в ней командира. Пропал также один из разведчиков, уходивший с Волохом; было неизвестно, то ли он тоже убит там, то ли, может, отбился куда в сторону. Но ждать они не могли, с каждой минутой сзади могла появиться погоня, уйти от которой с раненым Фихом было непросто.

Проклиная злосчастный склад и их сегодняшнее невезение, Ивановский повел маленькую группу на север — прочь от этой злополучной рощи, полыхавшей в ночи ракетами, отсветы которых еще долго сопровождали бойцов. На душе у лейтенанта было муторно, то и дело подступала злость и донимало отчаяние. Нет, он не осуждал капитана, наверное, сам на его месте поступил бы так же. Но было до слез обидно, что нелепая слепая случайность так здорово пособила немцам. Не наткнись в снегопаде Волох на часового, наверно, все бы вышло по-другому...

Значит, надо осторожнее. Надо действовать во сто крат осмотрительнее, тем более ему, Ивановскому, который теперь был ответствен не только перед самим собой...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Миновав лес, лейтенант опять вывел группу на равнинную приречную пойму, и лыжники утомительно долго шли по прямой, никуда не сворачивая. Здесь уже не было ни подъемов, ни спусков, лыжня шла ровно, по глу-

бокому снегу, и Ивановский все время с заметным усилием налегал на палки. Лыжи в рыхлом снегу зарывались глубже, чем следовало для быстрой ходьбы, скольжение было неважным. Прокладывая лыжню, командир брал на себя наибольшую в данном пути нагрузку, и где-то к полуночи почувствовал, что стал выдыхаться. На нем уже все было мокрым, белье не просыхало от пота, горячее дыхание распирало грудь, стала донимать жажда. Но он не хотел есть снег, знал: влага обернется излишним потом, а это лишь уменьшит выносливость и никак не прибавит сил, которых ему понадобится еще ой как много.

Быстро шло время, а Дюбин все не догонял группу, и лейтенант терялся в догадках: что с ним случилось? Но, видно, надо перестать о нем думать — если не догнал раньше, то теперь не догонит: они отмахали половину пути, если не больше. У лейтенанта всякий раз сжималось сердце от мысли, что их становилось все меньше. Еще не дошли до места, а уже четверых не стало. Но он не мог, просто не имел права терять время на поиски или ожидание.

Ивановский намеренно редко поглядывал на часы, он начал бояться неуемного хода времени и все свои силы вкладывал в бег, стараясь не очень отвлекаться на прочее. Наверно, по этой причине он как-то не сразу заметил, что значительно усилился ветер, у ног закрутила поземка, кажется, начал идти снег. Несколько сильных порывов ветра так стеганули снежной крупой по лицу, что лейтенант задохнулся. Вокруг стало темней и глуше. И без того узкое ночное пространство еще сузилось, растворилось в серых ненастных сумерках. Ночных пятен по сторонам значительно убавилось. А тут еще и ветер ударил снегом в лицо, похоже, начиналась вьюга. «Не вовремя», — тревожно подумал лейтенант, сильнее заработав палками. Лыжи его уже совсем утопали в снегу, выставляя на поверхность лишь острия загнутых носков. Стараясь выдерживать направление, Ивановский почти не глядел вниз на снег, надо было как можно дальше видеть в ночи, в этом состояла одна из его обязанностей направляющего. Другие наблюдали по сторонам: замыкающий Лукашов отвечал за безопасность с тыла. Разумеется, в этой темени легко было напороться на немцев, но больше, чем неожиданной встречи с ними, он боялся опоздать. Метель или вёдро, а к утру, еще затемно, они должны быть на месте. Днем им там делать нечего.

Но видно, река опять ушла в сторону, впереди засерело что-то громадное, неровным туманным бугром проступившее из тьмы. Вьюга вовсю гуляла над полем, и сквозь нее невозможно было определить, что это такое. Тем не менее оно было как раз на пути группы, Ивановский понял это сразу. Он теперь чаще, чем прежде, прикладывался к компасу, выверяя маршрут. Сзади ни на шаг не отставал Судник, держались поблизости и остальные.

То, что еще издали привлекло их внимание, вблизи оказалось какой-то постройкой — окраинной усадьбой деревни или каким-нибудь хутором. Соблазнительно было завернуть туда хотя бы напиться, но Ивановский, поняв, что́ перед ним, сразу взял в сторону, в обход. Он суеверно боялся всего, что могло отвлечь их от главного теперь дела и отобрать время.

В ненастье завьюженного пространства трудно было определить, на каком расстоянии от них был этот хутор. Всего какую-нибудь минуту он темнел в стороне и уже готов был исчезнуть, как сквозь метель откуда-то донесся крик. Лейтенант не сразу понял, кто и даже на каком языке кричит, но затем от построек послышался лай собаки. Не ожидая ничего хорошего, Ивановский сильно оттолкнулся палками, делая решительный рывок в сторону, и тотчас ветреную тишь ночи разорвала приглушенная вьюгой пулеметная очередь. Трассирующие светляки пуль прошили сумерки над головой, чиркнули по самому снегу и унеслись прочь. Вздрогнув от неожиданности, лейтенант пригнулся и изо всех сил рванул дальше, вперед в темень. Откуда-то сбоку сквозь вьюгу вдруг вспыхнул свет, снежинки густо забелели в его неярком пятне, но это не была ракета — скорее, где-то включили фары. И снова в воздухе пронеслись огненные жгуты пуль — густая, длинная очередь с широким рассеиванием прошлась по полю. Лейтенант оглянулся на лыжников — Судник, как и всегда, держался вплотную; за ним, пригибаясь, быстро шли остальные. Неяркий дальний свет фар все-таки заметно подсвечивал поле, вырывая из серой тьмы белые силуэты людей; с хутора, наверно, их можно было заметить. Когда совсем близко снова засверкали трассы, он негромко крикнул: «Ложись!», почему-то больше всего испугавшись за ношу Судника, и сам мягко упал на бок. Но он опоздал. Лежа в снегу, он уже чувствовал, что ранен, ногу коротко обожгло выше колена,

теплая мокрядь начала расплываться в брюках. Но особенной сильной боли он не почувствовал, сжав зубы, подвигал ногой — вроде терпимо. Рядом, трудно дыша, втиснулся в снег Судник.

— Бутылки! Бутылки береги! — громко шепнул он бойцу, опять с необычайной отчетливостью понимая, если попадут в бутылки, все они тут же погибнут. Судник лежа стащил со спины вещмешок, вмял его в снег, прикрывая собой опасную для всех ношу.

Четверть часа они, замерев, лежали в снегу.

Как только трассы погасли, лейтенант сделал попытку вскочить на ноги и, к радости своей, обнаружил, что нога слушается. Пригнувшись на лыжах, он снова рванул в ночь — изо всех сил в сторону от очередей и слепящего света фар. Хорошо, порывы ветра со снегом все-таки скрывали их даже в подсвеченном дальним светом пространстве, и он проскочил еще метров сто. Хутора уже вовсе не было видно, фары, помигав вдали, как-то потускнели, но по-прежнему светили сюда. Новая очередь прошила темноту сзади, но ее трассы ушли далеко в сторону.

Кажется, они вырвались из самой опасной зоны. Лейтенант спохватился, что оторвался от своих, оглянулся. Сзади кто-то нерешительно копошился в сумерках, но не догонял — по-видимому, они сбились с его лыжни. Тогда он придержал лыжи, присел, тихонько окликнул бойца и медленнее, чем прежде, заскользил в темноту, прочь от этого проклятого хутора.

Скоро он наткнулся на опушку леса или кустарника и остановился: надо было собрать бойцов. Нога болела все больше, но боль пока была терпимой, видимо, пуля задела лишь мякоть. Хутор молчал. Совсем рядом темнел голый, засыпанный снегом кустарник, в котором чернели молодые елочки — в случае чего там можно было укрыться.

Ивановский не переставал удивляться бдительности немцев. Хотя, кажется, выдали его собаки. Глупые псы, разве они знали, на кого лаяли. Впрочем, было бы хуже, если бы он вовремя не отвернул от этого хутора. Все-таки они его обошли, хотя, по-видимому, и не настолько далеко, чтобы их не заметили. А теперь что же делать? Он чувствовал быстро усиливающуюся боль в ноге, в брюках стало совсем уже мокро, намокла даже портянка

в сапоге, надо было перевязать. Но он молчал и не двигался — он ждал, пока подойдут остальные.

Первым из темноты неожиданно вынырнул Судник, потом появилась тонкая фигура Пивоварова; несколько позже, пригибаясь и размашисто работая палками, примчались из метели еще двое. Все остановились возле командира и настороженно оглядывались назад. Порывистый ветер крутил в воздухе редкой снежной крупой, осыпая его лыжи, маскхалаты, лица бойцов.

— Кого еще нет? — тихо спросил лейтенант.

— Хакимова нет, — сказал Лукашов, не оборачиваясь. Все вглядывались в сторону злополучного хутора.

— Сволочи! И как они учуяли? Кажется, так тихо шли, — выругался Краснокуцкий.

— Вот еще бедствие — псы эти. Добро бы немецкие, а то, поди, наши, русские.

— Под немцем все псы немецкие. Тут они нам не товарищи.

Лейтенант едва стоял, расслабив раненую ногу, и молчал. Он все более мрачнел, сознавая свое положение и тревожась из-за продолжительного отсутствия Хакимова. Было совершенно ясно, что эта задержка им дорого обойдется, но и оставлять бойца он тоже не мог. И лейтенант после недолгого ожидания спросил Лукашова:

— Где он исчез? Когда лежали или потом упал?

— Как лежали, был. А потом не углядел вот.

— Езжайте и найдите. Мы здесь ждем.

Лукашов молча двинулся в метель, а Ивановский постоял немного и свернул на опушку, зашел за молодые, обсыпанные снегом елки. Здесь крутило, словно в аэродинамической трубе, — тучи снега вихрем носились в темени, со всех сторон задувал ветер. Лейтенант быстро развязал тесемки маскхалата, расстегнул брюки. Холодные руки сразу ощутили загустевшую кровь, он разорвал шуршащую обертку пакета и туго перетянул ногу повыше колена. Было чертовски больно, но он вытерпел, подавил вздох и быстро оделся. Снегом тщательно вытер руки — никто не должен заметить, что он ранен, это теперь ни к чему, тем более что рана пустяковая, в общем. Придется потерпеть молча.

Черт, как все произошло несуразно, прямо-таки хуже некуда. На ум сразу пришло народное поверье, что дело с неудачным началом обречено на еще худший конец.

У него началось куда как неудачно. Что же будет в конце?

Припав к земле, бойцы терпеливо ждали, сжимая в руках забинтованные стволы оружия. Он тоже подождал немного, потом вынул часы. Те исправно, как ни в чем не бывало делали свое дело, показывая половину третьего. Минула большая часть ночи. Немало прошли и они, но километров двадцать еще оставалось. Если только он не потерял направления. Заметавшись под этим обстрелом, он ни о каком направлении, конечно, не думал; теперь надо было исправлять положение.

Он сориентировал компас. Визир, установленный на двести десять градусов, указывал в кустарник. Во тьме вьюжной ночи ни зги не было видно, и он решил, что, по-видимому, придется продираться сквозь заросли. Иначе недолго совсем заплутать. Или попасть в лапы к немцам.

— Тсс!

Из мрака донесся чей-то слабый неясный голос, Краснокуцкий поднялся на лыжи и, пригнувшись, шагнул куда-то. Минут пять оттуда больше ничего не было слышно, а потом во тьме что-то мелькнуло и завозилось, белое и неуклюжее. Ну, конечно, двое, согнувшись, волоком тащили Хакимова.

Они все разом вскочили на ноги, схватились за палки. Но помощь уже не понадобилась. Лукашов с Краснокуцким дотащили Хакимова и тут же упали коленями в снег. Лукашов, устало дыша, сказал:

— Вот. Едва нашел. Палка одна воткнута была. Его палка. Смотрю, торчит. А он через десять шагов. Уже снегом заметать стало.

— Что, жив? — спросил лейтенант.

— Жив, но плох. В спину его ударило. И в живот, кажется.

Час от часу не легче. Еще один! Несчастный Хакимов. Такой старательный, подвижный, внимательный парень. Он с первой встречи понравился командиру: немногословный, сообразительный. Но что же теперь с ним делать?

— Так. Быстро перевязать!

— Я тут немного обмотал. По кухвайке. Без памяти он...

Пока двое возились в снегу, перевязывая раненого, Ивановский, расслабив простреленную ногу, растерянно смотрел в темень. Конечно, Хакимова придется тащить

с собой. Но как? И до каких пор? И что делать с ним завтра? Все было трудно, неясно и очень скверно, но лейтенант старался не выдать своего затруднения. В том деле, на какое они шли, он должен знать все, все уметь и быть для других воплощением абсолютной уверенности.

— Так. Перевязали? Делайте связку из лыж. Что, не знаете как? Пивоваров, давай палатку! — с деланной бодростью закомандовал лейтенант.

— Да разве утащишь так? — усомнился Краснокуцкий.

— Утащишь. Снимай с винтовки ремень. Давай кто брючный свой. С него тоже все ремни снимите. Заберите патроны. Все, все. И гранаты тоже. Судник, заберите гранаты. Теперь берите вдвоем. Один за ремень, так. Вы, Пивоваров, страхуйте сзади. Смелее, смелее, не бойтесь.

Кое-как уложив на связку лыж раненого, они поволокли его на опушку. Получилось не ахти как — громоздко и неустойчиво, лыжи разъезжались на снегу, а тело раненого все время норовило завалиться на бок. Сзади тянулась глубокая борозда в снегу. Неизвестно, как далеко можно было так тащить.

Но другого выхода у них не было. Отсюда к своим не отправишь, а оставить негде. Конечно, теперь придется повозиться. Теперь уже вряд ли они успеют к утру...

Они нерешительно полезли в кустарник. То и дело останавливались, поправляли лыжи, едва удерживая на них Хакимова. Тащил Краснокуцкий; Пивоваров, согнувшись, подталкивал и придерживал. Лукашов, идя сзади, иногда помогал, тихо понукая обоих. Лейтенант, то и дело оглядываясь, шел впереди.

К счастью, кустарник не завел их в лес, как того опасался Ивановский, и спустя полчаса они снова оказались в поле. Ветер здесь еще усилился, гуляла поземка. Насквозь пересыпанные снегом, они выбрались на чистое и остановились, чтобы осмотреться и перевести дыхание.

— Так что же делать, лейтенант? — озабоченно выпрямился сзади Лукашов. — Так мы его и будем тащить?

— А что делать? Что вы предлагаете? — с нескрываемым раздражением спросил лейтенант.

— Может, оставили бы где? Если в деревне какой? Или, скажем, в сарае?

— Нет, не оставим, — твердо сказал Ивановский. — Перестаньте об этом и думать.

— Ну что ж, нет так нет, — вдруг согласился Лукашов. — Только далеко ли уйдем так?

— Надо быстрее, — встрепенулся лейтенант. — Изо всех сил быстрее! Поняли?

Не оглядываясь и заметно припадая на правую ногу, он пошел в темень. За ним тронулись на лыжах остальные.

Все подавленно и устало молчали.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Прежний темп этой сумасшедшей гонки был безвозвратно утерян, который час они брели в метели, как сонные мухи, и лейтенант заботился лишь о том, чтобы не потерять направления. То и дело он останавливался, надо было свериться с компасом и подождать волокушу с Хакимовым. Краснокуцкий с Пивоваровым выбивались из сил. Да и сам лейтенант шатался от усталости, в голове пьяно кружилось от ветра, тяжело давило на плечи оружие, все сильнее болела нога. Но он по-прежнему шел впереди, и Судник, на удивление, от него не отставал. Боец был нагружен сверх всякой меры: кроме своих бутылок, нес еще три килограммовые гранаты Хакимова, его винтовку, которую они не решились бросить, и его вещмешок.

Как-то в темноте им попался в пути занесенный снегом стожок, завидя который лейтенант свернул с прямой и через минуту обессиленно ткнулся плечом в пересыпанное снегом, но по-прежнему пахнущее летом и солнцем сено. Ноги его на лыжах как-то скользко поехали в сторону, и он мягко сполз телом в запорошенный снегом сугроб. Несколько секунд тихо лежал в сладостной неподвижности, зажмурившись и ощущая, как все под ним закружилось в каком-то сонном, бездумном вращении. Испугавшись, что тотчас уснет, он огромным усилием воли заставил себя подняться. Нет, кажется, никто не заметил этой его минутной слабости, которой он устыдился в тот момент больше чего-либо другого. Тем временем пришел к стожку Судник, подтащили палаточную волокушу с Хакимовым. Последним тоже устало выполз из сумерек Лукашов. Все молча попадали под стожок.

— Много еще? — с трудом выдавил замыкающий.

— Немного, немного, — с деланной бодростью сказал

лейтенант. — Но надо спешить. Там шоссе, его мы должны перейти до рассвета. Днем ничего не выйдет.

— Так, все ясно, — сказал Лукашов. — Тогда потопали.

— Да, надо идти, — подтвердил лейтенант, однако не находил в себе сил сразу оторваться от мягкого бока стожка.

— Ну, взяли саночки. Раз, два! — скомандовал Лукашов, и лейтенант не в первый уже раз мысленно отметил, что этот сержант все увереннее стал командовать в группе. Он и в пути все покрикивал на остальных, подгонял, указывал. Занятый определением маршрута и наблюдением за местностью впереди, Ивановский до сих пор просто не думал, хорошо это или плохо. Впрочем, как замыкающий сержант вполне его устраивал. Замыкающий из него был отличный, у такого наверняка никто не отстанет.

— Так, встать! Встать! — негромко, с привычной настойчивостью понукал Лукашов, сам уже ставший на лыжи и готовый двинуться. Краснокуцкий с очевидным усилием поднялся, закинул за плечо ременную лямку от волокуши. Один Пивоваров остался сидеть, привалясь боком к стожку, и не шевелился.

— Ну а ты что? Особого приглашения ждешь? Пивоваров!

Пивоваров слабо поворошился и не встал.

— Что это с вами? — спросил лейтенант.

— Я не могу, — с обезоруживающей откровенностью сказал боец.

— То есть как — не могу?

— Не могу. Оставьте меня.

— Вот это да! — удивился Ивановский. — Ты что, шутишь?

— Дурит он, а не шутит, — убежденно сказал Лукашов и прикрикнул: — А ну встать!

Тонкий, слабосильный Пивоваров, видно, не рассчитывал на такую дорогу и уже дошел до предела в своих и без того не очень больших возможностях. Вряд ли из него можно было еще что выжать, но и оставлять его под этим стожком тоже никак не годилось.

— А ну поднимайтесь! — строго скомандовал Ивановский. — Сержант Лукашов, поднимите бойца!

Он не мог ничего другого, кроме как по всей строгости употребить свою власть, — только она одна и могла

тут подействовать. Лейтенант, разумеется, сознавал всю бессердечность своего далеко не товарищеского требования, понимал, что этот, в общем, послушный и исполнительный боец заслуживал лучшего с ним обращения. Но в этой дороге Ивановский перечеркнул в себе всякую дружескую сердечность, оставив лишь холодную командирскую требовательность.

Лукашов подступил к бойцу и вырвал из снега палку.

— Слыхал? Встать!

Пивоваров расслабленно зашевелился, начал вставать, как бы раздумывая, едва превозмогая в себе усталость, и Лукашов вдруг вскипел:

— Кончай придуриваться! Встать!

Сильным рывком за ворот сержант попытался поднять бойца на ноги, но Пивоваров лишь завалился на спину, вскинув вверх ногу с лыжей. Лукашов дернул еще — боец серым бессильным комком скорчился в поднятом им снежном вихре.

Не осилив в себе странного, не в ладу с его желанием вспыхнувшего чувства, лейтенант резко перекинул на разворот здоровую ногу.

— Отставить! Лукашов, стой!

— Чего там стой! Нянькаться с ним...

— Так, тихо! Он не притворяется. Пивоваров, а ну... Пару глотков...

Ивановский снял с ремня флягу, всю дорогу береженную им на потом, на завтрашний день, который, по всей видимости, придется провести в снегу и неподвижности, да еще на обратный путь, а он, вполне возможно, будет похуже этого. Даже наверняка будет хуже. По крайней мере их теперь не преследовали, их просто еще не обнаружили, ночь и метель надежно скрывали их след. А что будет завтра? Вполне может случиться, что завтра они будут с нежностью вспоминать эту обессилившую их ночь. Но как бы там ни было сегодня, а не дойдут в срок — просто не будет у них никакого завтра.

Пивоваров несколько раз глотнул из фляжки, посидел еще, будто в раздумье, и, пошатываясь, встал.

— Ну и хорошо! Давайте сюда винтовку. Давайте, давайте! А вещмешок возьмет Лукашов. Возьмите, сержант, у него вещмешок. Совсем мало осталось. Самый пустяк. До рассвета укроемся в ельничке, разведаем, высмотрим и вечерком такой тарарам устроим. На всю Смоленщи-

ну! Только бы вот Хакимова дотащить. Как он там, дышит?

— Дышит, товарищ лейтенант, — сказал стоявший в своей ременной упряжке Краснокуцкий. — А может, оставить бы, а, товарищ лейтенант? Зарыли бы в стожок...

— Нет! — жестко сказал Ивановский. — Не пойдет. А вдруг немцы? Тогда как: нам жить, а ему погибать? Что тогда генерал скажет? Помните, он наказывал: держитесь там друг за дружку, больше вам не за кого будет держаться.

— Так-то оно так, — вздохнул Краснокуцкий. — Да только бы не напрасно тащили...

Это верно, подумал Ивановский, вполне возможно, что и напрасно. Скорее всего именно так и будет — сколько времени боец не приходит в себя. Да еще эта тряска, холод, закоченеет, и все. А бойцы, которые тащат его, могут выдохнуться раньше, и тогда всем будет плохо. Ивановский, не признаваясь даже себе, начинал смутно чувствовать, что Хакимов медленно, но верно волею фронтовой судьбы превращался из хорошего бойца и товарища в невольного их мучителя, если не больше.

А ведь это был их товарищ, которому лишь по слепой случайности выпало стать жертвой, подобной той, какой стали Шелудяк или Кудрявец. Но разница между Хакимовым и ими состояла в том, что те, погибая, оставили в их душах благодарность и скорбь, Хакимов же чем дальше, тем больше вызывал нечто совсем другое. В то же время было совершенно понятно, что вся его оплошность заключалась лишь в том, что его организм упорнее противостоял смерти. Наученный собственным горьким опытом, лейтенант понимал, какое это бедствие — раненый в группе. Теперь они, безусловно, опоздают, не смогут затемно перейти шоссе, застрянут в снегу на безлесье, где их легко могут обнаружить немцы. Но как Ивановский ни мучился от сознания столь безрадостной перспективы, он не мог допустить и мысли о том, чтобы оставить раненого. Долг командира и человека властно диктовал ему, что судьба этого несчастного, пока он жив, не может быть выделена из их общей судьбы. Они должны сделать для него все, что сделали бы для себя. Это было законом для разведчиков Волоха, таким оно останется и в группе Ивановского.

Как и все в группе, ее командир совершенно вымо-

тался за эту чертовски трудную ночь. Превозмогая несильную, но ежесекундную боль, он едва двигал раненой ногой. Тем не менее, скрыв от остальных свое ранение, он оставался в глазах бойцов равным со всеми в своих физических возможностях, и это без скидки налагало на него равные с прочими обязанности. С некоторых пор он начал чувствовать в себе некоторую неловкость оттого, что, вынуждая других на сверхчеловеческий труд, сам шел налегке, взяв в качестве дополнительной ноши лишь винтовку Пивоварова. Долг товарищества требовал честно разделить с остальными все тяготы.

Они обошли опушку хвойного леса и снова двигались речной поймой, которая казалась Ивановскому относительно безопасным участком пути. На карте здесь значились только луга, кустарники или болота, деревень поблизости не было, и встреча с немцами была наименее вероятной. Две переметенные снегом дороги они перешли благополучно, теперь оставалась последняя — большое и, конечно, никогда не пустующее фронтовое шоссе, перейти которое возможно лишь ночью. Но до шоссе еще было километров пять, и лейтенант, шатаясь от усталости, подождал в темноте Краснокуцкого.

— Ну как?

— Да вот скоро вытянусь. Дали бы глотнуть, что ли?

Лейтенант дал ему флягу, тот сделал несколько затяжных глотков.

— Ну, лучше?

— Вроде бы. Скоро зашабашим?

— Скоро, скоро. Давайте помогу. Вдвоем потащим.

— Да ну, какое вдвоем! Только маяться будем. Уж я как-нибудь... Вроде буран стихает.

Лейтенант огляделся и, к удивлению своему, обнаружил, что буран действительно почти стих. Черное небо поднялось, отслоясь от земли, внизу лежало спокойное белое поле, странно вспучившееся сочной ночной белизной, по сторонам опять проступила кружевная вязь кустарников с редкими кляксами молодых елочек. По-видимому, близилось утро. Отекшей рукой Ивановский достал из кармана часы — было четверть седьмого.

— Ого! Еще рывок, и конец. Привал до самого вечера.

Новое беспокойство на короткое время придало сил, и лейтенант энергично задвигал лыжами. Шли вдоль низкорослого, черневшего на снегу верболоза. Не унималась вспыхнувшая досада оттого, что так не вовремя стихла

метель, которая теперь была бы куда как кстати. Без нее перейти шоссе будет труднее, тем более если они запоздают. По всей видимости, им не хватает какого-нибудь часа темноты, и этот час может решить все. Генерал в коротком напутствии перед выходом настойчиво советовал максимально использовать темноту — только ночь сулила им какую-то надежду на успех; днем, обнаружив их, немцы, конечно, постараются истребить всех до единого. А ночью они еще смогли бы оторваться и уйти. Что это именно так, лейтенант отлично понимал без доказательств, но все-таки он был признателен генералу за его заботу и добрый совет, в которых чувствовалось что-то совсем не генеральское, а скорее отцовское по отношению ко всем им и к лейтенанту тоже. Безусловно, они тоже понимали, что́ на них возлагалось. С этой ночи они становились единовластными хозяевами своей судьбы, потому что в трудную минуту помочь им не сумеет никто — ни генерал, ни сам господь бог. Но всю дорогу в снежной круговерти этой суматошной ночи лейтенант нес в себе немеркнущий огонек благодарности генералу за его человеческое участие. Этот огонек грел его, вел и таил в себе желанную надежду на успех...

Три дня назад, околачиваясь при штабе после выхода из немецких тылов, Ивановский более всего боялся попасть на глаза именно этому придирчивому, строгому и всевластному генералу, начальнику штаба. Да и не только он — многие в тихой лесной деревеньке, где размещался штаб, с немалой опаской проходили мимо его высокой, с резными наличниками избы. Генерал был беспощадно строг ко всем подчиненным, а здесь, разумеется, все, кроме разве командующего, находились в его прямом подчинении. Одному богу было известно, за что он мог в любую минуту придраться: генерал не терпел праздношатающихся, нарушителей формы одежды и маскировки, тех, кто не так быстро, как ему хотелось, исполнял или передавал приказания — мало ли за что может придраться к подчиненному строгий начальник в армии! Как-то Ивановский явился невольным свидетелем, как генерал распекал одного полковника за отсутствие каких-то данных на участке левого фланга и как после этого полковник, в свою очередь, разносил командира разведроты, две разведгруппы которого не возвращались

из-за линии фронта, хотя миновали все сроки их возвращения.

Ивановский здесь был случайным, чужим человеком. За время своей не слишком продолжительной армейской службы ему не доводилось бывать нигде выше штаба дивизии, и теперь он с интересом наблюдал в общем тихую и довольно мирную жизнь этого тылового учреждения. Раза два, впрочем, в деревне поднимался переполох — налетали «юнкерсы»; сброшенные с них бомбы, однако, особого вреда не причинили, только разрушили пустующий сарай и убили на улице оседланную верховую лошадь. В остальном все здесь шло мирно и спокойно, разве что иногда начштаба начинал обходить отделы, и тогда все эти полковники, капитаны и их кропотливые писари приходили в состояние кратковременной тревоги и сумятицы. Но, наложив пару взысканий, кое-кому выговорив, а кое на кого накричав, генерал скоро уходил, и в штабе опять все шло как обычно.

Перейдя линию фронта, лейтенант появился здесь с двумя уцелевшими разведчиками, так как после гибели капитана Волоха счел своей обязанностью доложить обо всем, что произошло за две недели их блуждания по немецким тылам. Но озабоченные своими делами штабные начальники отнеслись к нему без особого внимания, и это его задело. Слишком свежа была в его сознании боль многих утрат, смерть Волоха, все их неимоверные испытания там, в тылу у немцев, чтобы он так просто мог примириться с этим невниманием закопавшегося в свои бумаги начальства. Он пришел в избушку разведотдела к белокурому молодому полковнику и с ходу начал было излагать ему суть дела, но тот долго и невидяще глядел на него, явно при этом думая о другом. Потом полковник бесцеремонно оборвал рассказ лейтенанта и приказал все изложить письменно. Попутно он спросил, прошел ли лейтенант спецпроверку в Дольцеве, где находился сборный армейский пункт для фильтрации выходящих из немецкого тыла окруженцев.

Ивановский обиделся. Он сказал белокурому полковнику, что Дольцево от него не уйдет, а вот немецкий склад боеприпасов может уйти, и тогда все их усилия и все жертвы, в том числе и гибель замечательного разведчика капитана Волоха, будут считаться напрасными.

— Как напрасными? — кажется, впервые чему-то удивился полковник и оторвал карандаш от бумаги, на

которой старательно вычерчивал какую-то сложную, со множеством граф таблицу.

— Очень просто, — сказал лейтенант. — Погибли без результата. Ни за понюх табаку.

— Вот как! — сказал полковник и встал, одергивая гимнастерку и поигрывая под ней завидно развитой мускулистой грудью. — Вы из какой, сказали, дивизии?

Ивановский назвал дивизию и полк. Полковник поморщился.

— Это какой же армии? Это даже не нашего фронта. Так не пойдет, пишите объяснение.

Пришлось все-таки приниматься за объяснение. Он сочинял его двое суток, хоронясь от придирчивого генерала, который как раз приехал с передовой и по обыкновению после недолгого отсутствия наводил в штабе порядок. Ивановский приютился на время в штабном АХО, с писарем которого накануне распил фляжку шнапса, и тот великодушно разделил с «ничейным» лейтенантом свою кровать в полуразрушенном пустующем доме. Правда, вдобавок к фляге пришлось одарить гостеприимного писаря трофейным зеркальным компасом и навсегда расстаться с изящной зажигалкой-монахом. Но за два дня он составил пространный отчет размером в две школьные тетради в клеточку. Наверное, он бы написал его и быстрее, если бы полдня накануне не пришлось урвать от работы для вынужденного визита в особый отдел этого штаба. Но все обошлось благополучно.

Когда он принес свое сочинение, белокурый полковник был, видно, не в духе. Размашистым точным движением он, не глядя, перебросил тетради на стоявший по соседству стол, за которым сидел над бумагами бровастый майор.

— Ковалев, вот займитесь. Мне некогда.

Но Ковалев тоже не мог по какой-то причине прочесть это сразу, и лейтенанту ничего более не оставалось, как удалиться и ждать в своей развалюхе. Он уже вскинул было руку к пилотке, чтобы получить разрешение на уход, как дверь в избу широко распахнулась и на пороге, нагибая под притолокой голову, появился тот самый, кого он больше всего боялся здесь встретить. Командиры вскочили за своими столами, а Ивановский только развернулся всем корпусом да так и замер с поднесенной к пилотке рукой.

Наверное, его затрапезный, непривычный здесь вид —

Ивановский был в писарской телогрейке, без знаков различия на ней и в засаленной суконной пилотке, — а все командиры штаба ходили в добротных цигейковых шапках — показался необычным и остановил на себе острый взгляд генерала.

— Кто такой? — Тоном, не обещавшим ничего хорошего, спросил он, обращаясь к полковнику.

— Лейтенант Ивановский, командир взвода такого-то полка такой-то дивизии, — с деланной лихостью и сразу упавшим голосом отрапортовал лейтенант.

— Какой, какой дивизии?

Ивановский твердо повторил номер своей дивизии.

— Не знаю такой. Что вы здесь делаете?

— Он из окружения, — сказал полковник, стоя перед генералом и всей своей импозантной фигурой являя подчеркнутую почтительность с легким оттенком какой-то фамильярной вольности. Ивановский же окаменело застыл навытяжку, впервые в жизни разговаривая с таким высоким начальством.

— Окруженец? Почему здесь? Почему не в Дольцеве?

Новое упоминание о ненавистном Дольцеве опять неприятно задело лейтенанта, но теперь это чувство задетости тут же и помогло ему освободиться от сковавшей его неловкости.

— Я здесь по поводу немецкой базы боеприпасов, товарищ генерал.

— Новое дело! — сказал генерал, не проходя к столу и стоя вполоборота к лейтенанту. Взгляд его придирчивых глаз не сходил с вытянувшейся фигуры Ивановского. — Что за база? Где? Откуда вам про нее известно? Вы разобрались, полковник?

— Разбираюсь, товарищ генерал, — совершенно иным тоном, чем разговаривал до сих пор, сказал полковник. Этот его тон человека, говорящего не совсем то, что имело место в действительности, вынудил лейтенанта на новую по отношению к нему дерзость.

— Полковник не хочет разбираться, товарищ генерал, — выпалил Ивановский. Генерал метнул острый вопросительный взгляд в сторону лейтенанта, потом — полковника. И лейтенант, чувствуя, что тут что-то раз и навсегда решится, добавил: — Артиллерийская армейская база в шестидесяти километрах отсюда. Несколько эшелонов боеприпасов, охрана минимальная,

вокруг проволочный забор в один кол. Можно уничтожить.

— Вот как? Вы уже и разведали? — сказал генерал и повернулся к нему всем корпусом в распахнутом полушубке, из-под белых бортов которого коротко блеснула эмаль орденов. Голос его уже оттаивал, лейтенант с радостью отметил это и тут же решил выложить все напропалую.

— Запросто можно взорвать. Или сжечь. И наступающие на Москву немцы останутся поэтому без боеприпасов.

Он тотчас пожалел о своей опрометчивости, видимо, сразу охладившей только что вспыхнувший к нему интерес генерала, который что-то неопределенное буркнул в воротник полушубка и опустился возле стола на скамейку. Остальные остались стоять на своих местах.

— Говоришь, запросто? Пых — и немецкие войска без снарядов? Так, что ли?

— Не совсем так, товарищ генерал, — пытался исправить свою оплошность Ивановский. — Мы уже пытались, но...

— Уже и пытались? Успели. Ну и что же?

— Двоих потеряли. В том числе капитана Волоха.

— Вот то-то, лейтенант... Как тебя? Ивановский. С кондачка не возьмешь, с головой надо. Но он молодец, — сказал генерал, обращаясь к полковнику. — Если так, пошлите его с группой. Дайте человек десять. Займитесь этим. И без промедления.

— Он без проверки, товарищ генерал, — тихо вставил полковник. Генерал недовольно двинул бровями.

— Ерунда! Его уже проверяли. Немцы проверили. А это вот будет второй проверкой. Я скажу Клюзину. — И, повернув голову к просиявшему лейтенанту, сказал, ободряюще повысив голос: — Готовьте группу, лейтенант. Вот с ним. Послезавтра доложите о готовности. Ясно?

— Есть! — не произнес, а почти по-ребячески восторженно выкрикнул Ивановский и, лихо козырнув, закрыл за собой дверь.

Назавтра ему повезло меньше. Полковник, к которому он снова пришел поутру, отправил его к какому-то майору Коломийцу, лейтенант прождал этого Коломийца полдня, и когда наконец дождался и передал

приказание полковника, тот тихо этак сразил его первой же фразой:

— А где я возьму людей? У меня никого нет, остался один ездовой.

Почувствовав, что опять все рушится, Ивановский не стал больше ничего выяснять или доказывать, а, полный новой решимости, скорым шагом направился к высокому дому с красивыми ставнями. Конечно, его туда не пустили, он затеял глупую и безуспешную ссору с невозмутимым часовым у крыльца и просто уже был в отчаянии, когда дверь в избу внезапно распахнулась и на пороге появился сам генерал. Он не сразу узнал вчерашнего лейтенанта, и тому пришлось снова назвать себя и дрогнувшим голосом сообщить, что с организацией группы ничего не выходит. Генерал гневно сверкнул глазами, словно в этой неудаче был виноват сам Ивановский.

— Как не выходит?

— Нет людей, товарищ генерал. Полковник послал...

— Зименькова ко мне! — бросил он кому-то, кто стоял у него за спиной, и тот проворно скрылся в сенях, куда, ни слова больше не сказав, удалился и генерал. Ивановский остался стоять у крыльца один на один с часовым, который с молчаливым злорадством посматривал на него. «А все-таки не пройдешь», — было написано на его физиономии. Но лейтенант уже не рвался в эту просторную избу. Он покорно прождал минут двадцать, пока на крыльце не появился старший лейтенант в новом полушубке с маузером через плечо.

— Идите к капитану Зименькову и получите людей. Завтра в тринадцать ноль-ноль генерал ждет с докладом о готовности группы.

— Есть! — сказал Ивановский. Он не спросил даже, кто этот капитан Зименьков и где его искать, — пришлось разузнавать об этом у коноводов на улице. И действительно, к вечеру у него на руках уже был список из восьми бойцов и одного старшины; десятым в этом списке значился он сам.

И лейтенант начал готовиться.

Кроме людей, надлежало получить боеприпасы, бутылки КС, взрывчатку, два метра бикфордова шнура. Четверо из девяти были в обтрепанных шинелишках без телогреек, нужно было их переобмундировать. Кто-

то долго не хотел выдавать маскхалаты (на накладной не было подписи старшего начальника); за лыжами пришлось ездить в тыловую, за пятнадцать километров, деревню. Последнюю ночь перед выходом он едва прикорнул пару часов, поел только раз за день, выстоял на трех инструктажах, но в тринадцать тридцать все-таки привел группу к высокому с красивыми ставнями дому. На этот раз его беспрепятственно пропустили внутрь, и он с трепетной радостью доложил о готовности выполнить боевой приказ.

Генерал закончил телефонный разговор и положил трубку. Как был в меховом поверх гимнастерки жилете, молча вышел во двор, где, выстроившись по команде «смирно», ждали девять бойцов с Дюбиным во главе. Генерал молча прошелся перед этим строем, осмотрел все, и на его немолодом уже, в морщинах, с провалившимися щеками лице впервые за время своего пребывания в штабе Ивановский не обнаружил и следа пугающе начальственной строгости. Теперь это было просто усталое лицо обремененного многими заботами, плохо выспавшегося, пожилого человека.

— Сынки! — сказал генерал, и что-то в душе лейтенанта странно дрогнуло. — Все знаете, куда идете? Знаете, что будет трудно? Но нужно. Видите, метет, — показал он в низко нависшее облачное небо, из которого падал легкий снежок. — Авиация на приколе. На вас вся надежда...

Он и еще говорил, наставляя, как вести себя в трудную минуту в тылу, где уже никто, кроме товарища, не сможет тебе помочь. Но он мог бы и не делать этого — лейтенант имел достаточный опыт боевых действий в немецком тылу, накопленный за время двухнедельных блужданий по смоленским лесам. А вот его совершенно не начальнический, почти дружеский тон и его участливое отношение к их полным неизвестности судьбам с первых слов сразили лейтенанта, который с этой минуты готов был на все, лишь бы оправдать эту его человеческую сердечность. Даже сама смерть в этот момент не казалась ему чем-то ужасным — он готов был рисковать жизнью, если это понадобится для Родины и если на это благословит его генерал.

Наверно, так чувствовал себя не один он, а и другие в этом коротеньком строю во дворе, преисполненные внимания и решимости. И когда Ивановский, отдав

честь, повернул группу на выход, в его душе неумолчным торжествующим маршем звучали фанфары. Он знал, что выполнит все, на что послан, иного пе должно, а потому и не могло быть...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как лейтенант ни торопил бойцов на последних километрах пути, все же рассвет застал их в голом, белоснежном после ночной вьюги поле, на подходах к шоссе.

Пользуясь предрассветными сумерками, Ивановский прошел еще километр. Со все возрастающим риском он приближался к едва заметной на склоне нитке дороги, как вдруг увидел на ней спускающиеся с пригорка машины. Лейтенант чуть не вскрикнул с досады — не хватило каких-нибудь пятнадцати минут, чтобы проскочить на ту сторону. В утешение себе он сначала подумал, что машины скоро пройдут, и они действительно быстро скрылись вдали, но следом появился какой-то конный обоз, потом в обгон его выскочили из-за пригорка две черные приземистые легковушки. Стало ясно: начинался день и усиливалось движение; перейти шоссе незамеченными с их самодельной волокушей нечего было и думать.

Тогда Ивановский, не приближаясь к шоссе, но и не удаляясь от него, круто взял в сторону, на недалекий голый пригорок с реденькой гривкой кустарника. Укрытие там, судя по всему, было не бог весть какое, но и ждать в лощине на виду у шоссе тоже никуда не годилось — стало светло, и каждую минуту их могли обнаружить немцы.

Расходуя последние силы, лыжники взобрались по склону пригорка, едва не вывалив из волокуши раненого, и лейтенант, превозмогая ставшую привычной боль, устало заскользил к недалекому уже кустарнику. Однако на полпути к нему перед Ивановским вырос из снега какой-то довольно высокий вал, ровно прорезавший пригорок и уходивший к шоссе. Лейтенант в недоумении остановился, но вскоре все понял и обрадованно махнул медленно бредущим за ним товарищам — давайте скорее!

Это был полузаметенный снегом противотанковый

ров, одно из тех многокилометровых полевых сооружений, которые с начала войны во всех направлениях изрезали русскую землю. Сколько труда было затрачено на их устройство, но лейтенант не мог вспомнить случая, чтобы такой ров сколько-нибудь задержал продвижение танковых армий Гитлера. Колоссальные эти сооружения, наверно, только тогда оправдывали свое назначение, когда были надежно прикрыты огнем пехоты и артиллерии, в противном же случае их танконепроходимость ненамного превосходила непроходимость обычной придорожной канавы.

Но теперь ров попался им весьма кстати на этом открытом пригорке, и лейтенант, не мешкая, наискось съехал на его широкое, переметенное снежным сугробом дно. Тут было затишнее и довольно глубоко, ветер с одного края намел изящный фигурный застрешек, образовавший некоторое укрытие сверху. Наверно, какое-то время тут можно было отсидеться.

Один за другим они ввалились в это укрытие и тут же попадали на мягкие изгибы суметов. Он тоже упал, словно впаялся задом в плотно спрессованный вьюгой снег, и, жарко дыша, долго невидяще глядел, как снежной пылью курился на ветру гребешок застрешка напротив. Он не знал, как быть дальше, где и как перебраться через злополучное шоссе, не представлял себе, что делать с раненым. Он чувствовал только, что с прошлой ночи все пошло не так, как он на это рассчитывал, все выходило хуже, а может статься, что закончится и совсем плохо. Но он не мог допустить, чтобы после стольких усилий все завершилось неудачей, он чувствовал, что должен до последней возможности противостоять обстоятельствам так, как если бы он противостоял немцам. Не подвели бы силы, а решимости у него хватало.

Минут двадцать они лежали во рву, не проронив ни единого слова, и он не мог найти в себе силы, чтобы заговорить и назначить наблюдателя. Он лишь мысленно твердил себе, что сейчас, сейчас надо кого-то назвать. Хотя все они были до крайности измотаны, но кто-то должен был пожертвовать отдыхом и вылезть наверх, на ветер и стужу, чтобы не дать противнику застать врасплох остальных.

— Надо наблюдателя, — наконец сонно произнес Ивановский и переждал немое молчание лыжников. — Судник — вы.

Судник, привалясь спиной к снежной стене, держал на коленях набитый опилками вещмешок со своим деликатным грузом. Похоже, он спал. Голова его в мокром капюшоне была запрокинута, глаза прикрыты.

— Судник! — громче позвал лейтенант.

— Счас, счас...

Еще немного помедлив, боец рывком выпрямился, сел ровнее. Затем, опершись на руки, встал и, резко пошатнувшись, едва не упал снова.

— Тихо! Бутылки! — испугался лейтенант, и этот испуг разом вырвал его из состояния крайней одуряющей усталости.

Оставив лыжи внизу, Судник вскарабкался на высокий, крутой бруствер чуть в стороне от бойцов и залег за ним — белым пластом на свежем снегу.

— Как там? Идут? — спросил Ивановский.

— Идут. И конца не видать.

Ну, конечно, они будут идти, не будут же они ждать, когда он благополучно переберется на ту сторону, чтобы уничтожить их базу. У них свои цели и свои задачи, прямо противоположные его задаче, и он подумал: хорошо еще, что поблизости нет их стоянок, тыловых частей, иначе бы он недолго просидел в этом укрытии.

Наверно, прошло около получаса, Ивановский прохватился от стужи — разгоряченное при ходьбе тело начал пробирать мороз. Все, кроме Судника на бруствере, неподвижно лежали в изнеможении, и он, подумав, что так запросто можно обморозиться, воскликнул:

— Не спать! А ну сесть всем!

Кто-то заворошился, Лукашов сел, мутным от усталости взглядом обвел снежное укрытие. Пивоваров не тронулся с удобного в снегу места — он спал. И лейтенант, подумав, решил, что, по-видимому, и надо все-таки дать несколько минут вздремнуть, иначе их просто не сдвинешь с места. Авось за тридцать-сорок минут не замерзнут. Правда, сам он в таком случае уснуть уже не имел права.

Немалым усилием, подкрепленным сознанием близкой опасности, Ивановский отогнал от себя одуряющую дрему, напрягся и встал. Его давно беспокоил Хакимов, но только теперь появилась возможность осмотреть его, и лейтенант, пошатываясь, подошел к раненому. Как и опасался командир, боец был плох. Наверно, все еще не приходя в сознание, он неподвижно лежал на лыжах,

туго завернутый в обсыпанную снегом палатку, в тесном отверстии которой проглядывало его бледное, с синюшным оттенком лицо. От частого, трудного дыхания края палатки густо заиндевели, и снежинки, осыпаясь с них, сразу же таяли на мокрых щеках Хакимова — у него был жар. Склонившись над бойцом, лейтенант тихонько позвал его, но тот никак не реагировал, продолжая напряженно, часто дышать.

Посидев над раненым, Ивановский начал сомневаться в правильности своего решения, обрекавшего Хакимова на эту многотрудную дорогу. Может, действительно лучше было бы оставить его в каком-нибудь стожке сена дожидаться возвращения группы. Но тогда с раненым пришлось бы оставить и еще кого-то, а на это лейтенант согласиться не мог: и без того из десяти человек их осталось всего лишь пятеро. И перед этими пятью все усложнялась их главная боевая задача, ради которой они, хотя и с запозданием, сюда прибыли. Для выполнения этой задачи прежде всего надо было перейти шоссе, но как это сделать на виду у забивших дорогу немцев, лейтенант не мог взять в толк.

Мысли об этом шоссе теперь не выходили у него из головы, и скоро он встал. Хакимову он ничем не мог пособить, а о задаче он просто ни минуты не мог не думать. Он воткнул в сугроб лыжи и, шатко ступая в снегу, полез на бруствер к Суднику. Тут было ветрено и холоднее, чем на дне рва, зато открывался широкий обзор на поле с обоими концами шоссе, середину которого скрывала вершина холма. Туда же уходил ров. По ту сторону шоссе, местами близко подступая к дороге, широко разбрелись перелески и кустарники, а вдали и несколько в стороне от речной поймы темнел знакомый сосновый лесок, так неласково встретивший их однажды.

Лейтенант вынул из-за пазухи карту, сориентировался. База намеренно не была помечена на его карте, но он и без того твердо помнил место ее расположения на северном выступе крохотной надречной рощицы. Теперь, найдя на карте этот пригорок, лейтенант увидел, что их разделяло всего каких-нибудь два километра, не больше. Опять стало мучительно обидно: так это было близко и так недоступно. Из-за этого проклятого шоссе приходилось терять целый день — целый день мучиться в неизвестности и терпеть стужу.

Вместе с Судником Ивановский стал наблюдать за

шоссе, на котором в течение коротеньких промежутков времени выпадали небольшие разрывы в движении. Шли в основном грузовые — крытые и с открытыми кузовами машины самых различных марок, видно, собранные со всех стран Европы. Большинство их мчалось на восток, к Москве. И вдруг лейтенант подумал, что если не всем и не с раненым, то хотя бы с одним-двумя, наверное, стоит рискнуть и, используя ров, перебраться через шоссе на ту сторону. По крайней мере, за день он бы там многое высмотрел, разведал, составил план действий, а с наступлением ночи перевел бы через шоссе всю группу.

Эта мысль сразу придала ему бодрости, новая цель вызвала дополнительные силы для действия. Он сполз с бруствера, негромко, но энергично, шумнул лыжникам:

— Подъем! Попрыгать, погреться всем! Ну!

Краснокуцкий, Лукашов сразу поднялись, обшлепывая себя рукавицами, замахали руками. Лукашов растормошил осоловелого со сна Пивоварова.

— Греться, греться! Смелее! — настаивал лейтенант и тут же вспомнил наилучшую для подъема команду: — А ну завтракать! Лукашов, доставайте консервы! Всем по два сухаря.

Лукашов, сонно подрагивая, достал из сумки несколько ржаных сухарей и банку рыбных консервов. Лейтенант со скрипом вспорол ножом ее жестяное дно, и они ножами и ложками принялись выскребать мерзлое ее содержимое.

— Ну как, Пивоварчик, вздремнул? — искусственно подбадриваясь от холода, спросил лейтенант.

— Да так, кимарнул немного.

— Что ж ты сдал было, а?

— Притомился, товарищ лейтенант, — просто ответил боец.

— А я-то думал, ты крепачок, — с легкой шутливостью заметил Ивановский. — А ты вон какой...

— Подбился я.

Он не оправдывался, не ныл, вид его теперь, после короткого отдыха, был смущенно-виноватым, смуглые щеки со сна горели почти детским румянцем.

— Подбился! — осуждающе передразнил Лукашов. — Чай не у мамки. Тут того — отставший хуже убитого.

— Убитый что, убитый силы не требует. А тут во — пузыри на руках от веревки, — показал Краснокуцкий

свои распухшие красные ладони — ему, разумеется, досталось за минувшую ночь. Но кому не досталось? И еще неизвестно, что всем им достанется в скором будущем.

— А то вон умники, — прежним раздраженным тоном продолжал Лукашов. — То ли смылись, то ли заблудились. А тут за них отдувайся.

Он имел в виду Дюбина с Зайцем, о которых также ни на минуту не забывал лейтенант. С убитым все было ясно; очень трудно, но все же понятнее было с Хакимовым — старшина же с Зайцем исчезли в ночном пути, будто провалились сквозь землю, — тихо, бесследно и загадочно.

— Хорошо, ежели просто. А то кабы еще не того, — говорил Лукашов, строго и озабоченно поглядывая вдоль рва, и лейтенант понял, на что намекал сержант. Но того, что он имел в виду, не должно быть. Вернее, Ивановский не хотел допустить и намека на мысль, что старшина Дюбин мог совершить предательство. И тем не менее он и сам был полон неуверенности и сомнения — как ни думал, не мог понять, куда запропастились эти двое из его и без того маленькой группы.

— Еще немцев по следу приведут, — простодушно отозвался Краснокуцкий. — А что: лыжня на снегу, гони — где-то догонишь.

— Все может быть, — мрачно согласился Лукашов.

— Нет, так нельзя говорить, — вмешался Ивановский. — Старшина не такой. Не тот человек.

Лукашов, жуя сухарь, устало глядел в дальний конец рва.

— Человек, может, и не тот, а все может статься. У нас вон тоже в сто девятом такой бравый капитан был, все оборону строил. И построил — оказалось, не в ту сторону. Немцы появились, первым руки поднял.

— Ну, это вы оставьте, — решительно оборвал его Ивановский. — Дюбин не капитан, это точно. И потом надо больше, Лукашов, людям верить. Вам же вот верят.

— Так то я...

— А почему вы думаете, что Дюбин хуже вас?

— А вот я здесь, а его нема.

Действительно, логика его рассуждений была почти убийственной, возразить ему было трудно. В самом деле, он же вот не отстал, хотя и был замыкающим, и еще не позволил отстать Пивоварову, который теперь сидел рядом и быстро вылизывал ложку. В общем, Лукашов был

прав, но Ивановский не хотел до времени выносить приговор Дюбину. Что-то располагающее все-таки было в старшине. Консервы они скоро доели, сидя в сугробе, догрызли и сухари. Ивановский спрятал ложку в карман.

— Сержант Лукашов, — другим тоном сказал лейтенант. — Останетесь за меня. Надо кое-что разведать. Всем находиться тут. Можно отдыхать. Наблюдение круговое. Скоро вернусь. Что не ясно?

— Ясно, — с готовностью ответил Лукашов.

— И чтоб все в норме. Смотрите Хакимова.

— Все будет сделано, лейтенант. Досмотрим.

— Так. Пивоварчик, за мной!

— Я? — удивился Пивоваров, но, помедлив, начал послушно вставать.

— Берите лыжи, остальное. И потопали. Лукашов, подмените Судника. Небось закоченел там.

Проваливаясь в глубоком снегу, местами доходившем до пояса, Ивановский направился по рву к шоссе. Лыжи они несли в руках. Ров время от времени делал небольшие изгибы, выходя из-за которых лейтенант с предосторожностью осматривался по сторонам. Но во рву и поблизости вроде никого не было; ребристые снежные суметы на дне лежали нетронутыми. Наконец стало слышно глухое урчание дизелей, пахнуло едва уловимым на морозе дымком синтетического бензина — они подошли к дороге. Ивановский высунулся из-за оголенного глинистого выступа на очередном повороте и тут же отпрянул назад. Совсем близко, в конце широкого разреза рва, промелькнул автомобильный кузов, укрытый вздувшимся на ветру брезентом, потом еще и еще. Шла колонна автомобилей, в некоторых открытых машинах возле кабин были видны нахохлившиеся фигуры немцев в зеленых шинелях. Судя по всему, их здорово-таки пробрал русский мороз, и седоки не очень засматривались по сторонам. Лейтенант сделал рукой знак замерзшему от напряжения Пивоварову и по краю сумета взобрался на откос.

Конечно, он был далек от того, чтобы надеяться на скорую удачу, на удобный для перехода момент, но все же такого упорного невезения он не ожидал. Коченея на морозном ветру, он едва дождался, пока прогрохотали по шоссе машины, казалось, поблизости никого больше не было. Но едва он высунулся из-за смерзшихся на бруствере комьев, как снова увидел невдалеке немцев.

Их было трое, это были связисты. В то время как один, взобравшись на столб, возился там с проводами, двое других с аппаратами сидели на обочине дороги — видно, налаживали связь. Из-за их спин торчали стволы винтовок, на земле лежали мотки проводов и какие-то инструменты. Правда, занятые делом, немцы не глядели по сторонам, но, разумеется, заметили бы двоих русских, если бы те под самым носом у них вздумали перебегать шоссе.

Значит, опять надо было ждать.

И лейтенант уныло лежал на мерзлых, присыпанных снегом комьях и не отрывал глаз от шоссе. Стало чертовски холодно, мерзли ноги, раненое бедро болело все больше, и эта боль все чаще отвлекала на себя внимание. Движение на шоссе уже несколько раз то возобновлялось с наибольшей плотностью, то несколько затихало, и тогда появлялся разрыв в километр или, возможно, больше. Раза два подворачивался более-менее удобный момент, чтобы перебежать на ту сторону, но немцы все еще возились со своей связью. Лейтенант три раза доставал увесистый кубик танковых часов, последний раз показавший половину одиннадцатого. Связисты не уходили. Прошло полчаса, прежде чем тот, что сидел на столбе, наконец слез на землю, и лейтенант подумал, что теперь, возможно, они смоются... Но немец перешел к следующему столбу и, прицепив к ногам свои серпы-кошки, снова полез к проводам. Втроем они о чем-то негромко переговаривались там, но ветер относил их слова в сторону, и лейтенант не мог ничего расслышать.

Так продолжалось бесконечно долго. Ивановский уже начал оглядываться по сторонам, подыскивая в отдалении от этих связистов какое-нибудь более подходящее место, как увидел, что возле двух немцев на обочине появился еще один. Откуда он взялся тут, было совершенно непонятно, наверно, скрытый от него холмом, сидел где-нибудь на дороге. Лейтенант почувствовал легкий озноб: рискни он перебегать шоссе — и наверняка бы напоролся на этого невидимого четвертого немца. Между тем немец присел над аппаратом, о чем-то поговорил с остальными и махнул рукой тому, что сидел на столбе, — тот начал слезать. Пока он спускался, эти трое встали, не спеша разобрали свои сумки и ящики и направились вдоль по дороге.

На этот раз они остановились в значительном отда-

лении от рва, на столб уже никто из них не полез, и лейтенант глянул в противоположный конец шоссе — теперь, видно, надо было решиться. Но прежде следовало как можно ближе подойти к дороге.

Он сполз с откоса на дно рва, сильно потревожив раненое бедро. Пивоваров вскочил со своего насиженного в снегу места, Ивановский молча кивнул головой, и они, прижимаясь к крутой стороне откоса, быстро пошли по рву вниз. Тут их уже легко могли увидеть с дороги, и лейтенант скоро упал за поперечный сумет, вжался в снег, рядом проворно зарылся в снег Пивоваров. Опухшее от холода и бессонницы мальчишечье лицо бойца застыло в предельном внимании, время от времени лейтенант перехватывал его тревожный, вопрошающий взгляд. Находясь на дне рва, боец абсолютно ничего не видел и во всем полагался на командира, который теперь принимал решения, так много значившие для обоих.

Но отсюда уже и сам лейтенант ничего не мог увидеть и вынужден был полагаться на слух, чутко улавливая все разрозненные и переменчивые звуки, долетавшие к ним с дороги. Конечно, это был не самый надежный способ из всех возможных для перехода, но другого у них не оставалось. Дождавшись, когда урчащий гул дизелей на шоссе несколько ослаб, и не уловив поблизости никаких новых звуков, Ивановский сказал себе: «Давай!» — и вскочил.

В несколько прыжков по глубокому снегу он достиг придорожного окончания рва, выглянул из него — шоссе поблизости действительно было пустым, хотя на дальний пригорок он просто не успел бросить взгляда, с бешеной прытью, пригнувшись, он выскочил на укатанную твердь шоссе и размашисто спрыгнул в сумет на дно следующего отрезка рва. На бегу он с удовлетворением отметил за собой тяжелое дыхание Пивоварова и изо всех сил припустил по дну к недалекому уже повороту. Через несколько прыжков, однако, он опять стал различать напряженное завывание моторов и в беспокойстве внутренне сжался, ожидая криков или, может, выстрелов. Но он все-таки успел скрыться за поворотом. Пивоваров несколько опоздал, но лейтенант, оглянувшись, увидел, что машины появились секундой позже того, как боец упал за изломом. Машины промчались, не сбавляя скорости, и он впервые за это утро с облегчением выдохнул горький, раздиравший его грудь воздух.

— Фу, черт!..

Оба с минуту загнанно, трудно дышали, потом Ивановский, привстав на коленях, огляделся по сторонам. Кажется, невдалеке был кустарник — реденькие его верхушки местами выглядывали из-за высокого бруствера, и лейтенант с бойцом расслабленно пошли по рву. Порядком отойдя от шоссе, они попытались выбраться в поле. К удивлению командира, Пивоварову это удалось скорее, лейтенант с первой попытки добрался лишь до половины склона и, поскользнувшись на крутизне, сполз в сумет. Опять очень заболело бедро. В этот раз он не смог или не захотел подавить в себе стон, и Пивоваров обернулся на бруствере, метнув в его сторону испуганный вопрошающий взгляд.

— Ничего. Все в порядке.

Ивановский собрался с духом, преодолел боль, боец протянул командиру лыжную палку, с помощью которой тот перевалил наконец через бруствер.

— Так. Теперь на лыжи!

Тут, наверно, уже можно было идти вдоль рва, прикрываясь со стороны дороги бруствером, местами их неплохо скрывал кустарник.

Справа в отдалении серели хвойные верхушки рощи, где ждала их удача или несчастье, слава или, может, смерть — их судьба.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Продираясь на лыжах через кустарник, Ивановский почувствовал приступ какого-то неприятного, все усиливающегося, почти неодолимого беспокойства.

Было совершенно непонятно, отчего оно именно в этот момент так настойчиво заявило о себе, в конце концов, кажется, все складывалось более или менее благополучно: они перешли шоссе, вроде бы их не заметили, совсем уже близка была цель их трудного многоверстного ночного пути. Хотя и с препятствиями, но приближался финал, наверное, теперь они могли что-нибудь сделать. Правда, их силы разрознились — часть потеряли при переходе линии фронта, двое исчезли в ночи, трое остались на той стороне шоссе, и здесь их оказалось всего лишь двое. Двое, конечно, не десятеро. Но вряд ли именно это

обстоятельство было причиной его неясного и такого неотвязного теперь беспокойства.

Чем ближе они подходили к видневшейся вдали рощице, тем все тревожнее становилось на душе у лейтенанта. Нетерпение охватило его так сильно, что он не мог позволить себе остановиться, чтобы поправить повязку на бедре, — кажется, начала кровоточить рана. Впрочем, он давно уже старался не замечать боли, к ней он притерпелся за ночь. Теперь он даже не слишком осматривался по сторонам — он изо всех сил стремился к роще, словно там ждала его самая большая в его жизни награда или, может, самая большая беда. Пивоваров, весь в поту, который он уже перестал вытирать с лица рукавом маскхалата, старался не отстать, и они, запыхавшись, скорым шагом поднимались по краю кустарника. Было уже совсем светло, дул несильный морозный ветер, небо, сплошь заволоченное тучами, низко свисало над серым, невзрачным, подернутым дымкой пространством.

Достигнув вершины пригорка, Ивановский сквозь голые ветки ольшаника поглядел вниз. Перед ними была ложбина с вдавшимся в нее языком кустарника, в котором лейтенант едва узнал тот ольшаничек, где они с Волохом дожидались ночи. Но вместо тогдашней чащобы, давшей приют семерым, теперь сиротливо чернели на снегу мерзлые прутья чахлых деревцев, в которых едва ли могла спрятаться птица, не то что человек. Зато на пригорочке через ложбину, как ни в чем не бывало безмятежно зеленел хвойный гаек, обнесенный нечастыми столбами немецкой ограды, у которой им так не повезло в прошлый раз, но должно повезти, не может не повезти в нынешний.

При виде знакомой изгороди у лейтенанта немного отлегло на душе — главное, он все-таки добрался до нее. Все остальное уже зависело от его умельства, находчивости, от их смелости. Действие различных привходящих причин здесь сводилось к самому возможному в таких случаях минимуму.

Скрываясь в кустарнике, Ивановский постоял минуту или две, отдыхая и успокаиваясь от все время донимавшего его нетерпения. Он старался внушить себе, что как-нибудь все обойдется. Правда, окончательно увериться в этом ему не удалось, что-то все-таки не переставало угнетать, будоражить его и без того взбудораженные за эту ночь чувства. Пивоваров, ни о чем не спрашивая,

видно, без слов понимал положение и ждал, когда они направятся дальше. Ивановский же все не мог оторвать взгляда от этой дальней хвойной опушки, будто надеясь там что-то увидеть. Но там, на расстоянии в километр, если не больше, почти ничего не было заметно, кроме редких стволов свободно разбежавшихся по снегу сосен да нескольких столбов ограды. Впрочем, оно и понятно: немцы успели замаскировать объект. Они ведь тоже умели маскироваться — разные там сети, зеленые насаждения, снег. Вот только удивляло, куда девалась дорога, на которой разведчики Волоха обнаружили немецкие грузовики, перевозившие боеприпасы, — она проходила как раз по косогору к роще, а теперь там на снегу не видно было и следа. «Может, ее замело ночью?» — подумал лейтенант. Но хоть какой-то признак ее должен был сохраниться даже и после метели. А может, дорогу проложили в другом, не видном отсюда месте? Впрочем, дорога ему сейчас была без надобности, воспользоваться ею скорее всего им не придется. Гораздо важнее было высмотреть скрытый подход к этой рощице, чтобы ночью, в темноте, незамеченными как можно ближе подползти к ограде. По всей видимости, открытая напольная сторона для этого мало годилась, надо было разведать подходы с юга.

— Пивоваров, айда! Тихо только...

Уклоняясь от цеплявшихся за капюшоны мерзлых ветвей, они пошли по кустарнику вниз в обход поля. Ивановский был весь настороже, все теперь в нем напряглось, как не напрягалось ни разу за всю прошлую суматошную ночь. Но вокруг стояла тишина, и это немного успокаивало. В который уже раз лейтенант стал прикидывать, как лучше проникнуть за изгородь, — теперь это было, пожалуй, самое важное и самое трудное в его задаче. Конечно, если штабеля близко от проволоки, то можно будет забросать их гранатами и бутылками с КС, хотя вряд ли они будут размещены на расстоянии броска гранаты. Тогда придется преодолевать изгородь. Лучше всего, пожалуй, сделать это одному, а остальным прикрыть на случай обнаружения и обеспечить отход. Пусть даже приняв недолгий бой с часовым, — на их стороне внезапность, и минуты времени им бы, пожалуй, хватило, чтобы сделать все, что понадобится. Хуже вот, если там собаки.

Но даже если и собаки, одному или двоим придется лезть через проволоку, остальные должны будут отвлечь

на себя собак и принять огонь часовых. Иного не оставалось. Главное — успеть за считанные секунды зажечь и взорвать как можно большее число штабелей. Остальное сделают детонирующие взрывы, и все довершит огонь.

По мелколесью они пересекли лощину, краем опушки обошли открытый участок поля. Поблизости нигде никого не было, никто им не встретился. Шли осторожно, теперь уже не спеша. Иногда лейтенант останавливался и прислушивался: вокруг стояла ветреная зимняя тишь. Однажды ветер принес в ложбину далекий гул моторов, но, вслушавшись, Ивановский понял, что это с шоссе. Рощица в отдалении удивительно немо, почти мертво молчала.

Спустя полчаса на их пути неожиданно появился овражек. Весь голый, извилистый, с занесенными снегом склонами, он просматривался во всю длину, и лейтенант не сразу понял, что это тот самый овраг, откуда Волох пошел в снегопад к изгороди. Значит, надо было зайти еще дальше, по кустарнику обогнуть базу на километр глубже. Уж там наверняка можно будет подойти к ней ближе и рассмотреть обстоятельнее.

Он оглянулся на Пивоварова, раскрасневшееся лицо которого наполовину скрывал мокрый обвисший капюшон: парень изо всех сил работал палками, лыжи по-прежнему глубоко зарывались в рыхлом снегу. Преодолевая в себе все возраставшее напряжение от сознания близости цели, Ивановский молча дал знак Пивоварову обождать, а сам обошел овраг и остановился за широким ветвистым кустом орешника.

Голые, окоренные столбы ограды были уже совсем близко. Высокие, в рост человека или больше, они заметно выделялись на зеленовато-снежном фоне молодых сосенок. Но, удивительное дело, за ними пока все еще ничего не было видно. Как он ни напрягал зрение, решительно нигде не мог обнаружить знакомых штабелей из серых и желтых ящиков, которые так явственно стояли в его глазах с того самого момента, как он впервые рассмотрел их в бинокль. Не было видно и брезентов. Это обстоятельство снова недобрым предчувствием обеспокоило лейтенанта, и он махнул Пивоварову — присядь, мол, замри. Тот понял сигнал и опустился на лыжи, а лейтенант после минутного колебания вышел из кустарника.

Наверно, он поступил неразумно, командиру группы не следовало бы так рисковать собой, но Ивановский

уже был не в состоянии сдержаться. Недоброе предчувствие целиком охватило его, что-то сдавив в горле, он сглотнул комок обиды и, не сводя взгляда с близкой уже опушки, быстро и напрямую пошел к ней.

Теперь их разделяло всего каких-нибудь триста метров, и уже в самом начале этого пути лейтенант понял, что проволоки на столбах нет. Проволока, некогда опутывавшая базу, была снята, и ее отсутствие самой большой тревогой, почти испугом, отозвалось в сознании Ивановского. Уже ничего не остерегаясь и не обращая внимания на то, что его легко могли увидеть в открытом поле, он в несколько рывков достиг крайних сосенок рощицы и остановился, пораженный, почти уничтоженный тем, что обнаружил.

Базы не было.

В сосняке на пригорке не было ни часовых, ни собак, ни штабелей из желто-зеленых ящиков — под ногами ровно лежал нетронутый снег да по опушке тянулся ряд белых столбов, единственно напоминавших о базе, — других ее признаков здесь не осталось. Проволоку, видимо, аккуратно сняли со столбов и увезли куда-то, наверное, в другое, более нужное место.

Недоумение в сознании лейтенанта сменилось замешательством, почти растерянностью, он постоял на чистом, свежем после ночной вьюги снегу, потом прошел на лыжах к противоположной стороне, туда, где некогда был въезд. Но и здесь ничего не осталось, лишь в чаще молодых сосенок под снегом угадывалось несколько опустевших ям-капониров да на краю рощи у столбов высилась куча присыпанных снегом жердей, наверное, бывших подкладками под штабелями. Больше здесь ничего не было. Дорога, отсутствие которой в поле удивило лейтенанта, белою пустой полосой лежала под снегом — по ней давно уже не ездили.

Вдруг совершенно обессилев, Ивановский прислонился плечом к шершавому комлю сосны, раздавленный пустотой и заброшенностью этой теперь никому уже не нужной рощи. Базу переместили. Это было очевидным, но он не мог в это поверить. В его смятенном сознании застряла и не хотела покидать упрямая протестующая мысль, готовая внушить, что это ошибка, нелепое злое недоразумение, и что нужно лишь небольшое усилие, чтобы это понять. Иного он не мог представить себе, потому что он не в состоянии был примириться с тем, что и на

этот раз его постигла неудача, что огромные усилия группы затрачены впустую, что напрасно они подвергли себя бессмысленному смертельному риску, потеряли людей и совершенно измотали силы. Они опоздали. Он не сразу поверил в это, но, постояв под сосной и отдышавшись, все-таки понял, что никакого наваждения не было. Была жестокая, злая реальность, еще одна большая беда из всех бед, выпавших за эту войну на его злосчастную долю.

С усилием оторвав плечо от сосны, он стал ровнее на лыжи и слабо оттолкнулся палками. Лыжи скользнули в шуршащем снегу и остановились. Он не знал, куда направиться дальше, впервые отпала надобность куда бы то ни было спешить, и он оперся на палки. На сосновой ветке поблизости появилась вертлявая сорока, все время сердито стрекотавшая на него, вспорхнув над головой, с коротким писком нырнула в чащу синичка. Ивановский не замечал ничего. Какое-то оцепенение сковало его расслабленные мышцы, он ни о чем не думал, он только смотрел в пустоту рощи, ощущая в себе изнуряющую, охватившую тело усталость, преодолеть которую, казалось, не было никакой возможности.

Так продолжалось немало времени, но роща по-прежнему оставалась пустой и ненужной, и лейтенант в конце концов вынужден был встряхнуться: все-таки его ждали бойцы. Прежде всего Пивоваров. Ивановский оглянулся — боец терпеливо сидел за оврагом, там, где он и оставил его, и лейтенант взмахнул рукой — давай, мол, сюда.

Пока Пивоваров шел по его следу к рощице, Ивановский расстегнул крепление лыж и шагнул в снег. Наверно, тут можно было не опасаться, в пустом сосняке никого не было. Он присел на невысокий, обсыпанный снегом пенек, вытянул в сторону ногу. Надо было решать, что делать дальше. А главное — сообразить, как эту неудачу объяснить бойцам. Он не мог отделаться от чувства какой-то своей вины, как будто именно он придумал всю эту историю с базой и кого-то обманул. Хотя если разобраться, так больше других был обманут он сам. А вернее, всех обманули немцы.

Впрочем, здесь не было обмана, здесь была война, а значит, действовали все ее ухищрения, использовались все возможности — в том числе время, которое в данном случае сработало в пользу немцев, оставив Ивановского с бойцами в безжалостном проигрыше.

Пивоваров тихо подошел по его лыжне и молча остановился напротив. Боец непонимающе оглядывал рощицу, изредка бросая на лейтенанта вопросительные взгляды. Наконец он догадался о чем-то.

— А что... Разве тут была?

— Вот именно — была.

— Холеры! Увезли, что ли?

— Увезли, конечно! — Ивановский вскочил со своего пенька. — Оставили нас с носом!

К удивлению лейтенанта, Пивоваров очень сдержанно отреагировал на его запальчивые, полные горечи слова.

— Видно, опоздали...

— Разумеется. Две недели прошло. Времечко!

— Теперь как же? Придется искать?

— Что искать?

— Ну, базу. Приказ ведь.

Да, базы не было, но приказ уничтожить ее оставался в силе. Давно ли лейтенант сам добивался в штабе этого приказа, который наконец и получил на свою невезучую голову. Что ж, теперь давай выполняй приказ, лейтенант Ивановский, ищи базу, зло подумал про себя лейтенант. Однако тон, которым Пивоваров упомянул о приказе, все-таки понравился лейтенанту, и в душе он даже обрадовался. В случае чего, наверно, бойцам долго объяснять не придется — если это понимал Пивоваров, то, наверно, поймут и остальные.

Беда, вначале готовая сокрушить лейтенанта, понемногу стала рассеиваться, хотя, разумеется, он понимал, что справиться с ней непросто. По всей видимости, базу переместили на восток, поближе к линии фронта, к Москве, — там ее и следовало искать. Если идти вдоль шоссе, обшаривая каждую рощицу, возможно, и удастся наткнуться. Но тут он вспомнил о тех, за дорогой, о раненом Хакимове и подумал, что, видно, искать ее не придется. Наверно, это потребовало бы массу времени, уйму сил, гораздо больших припасов, чем те, которыми располагали они. Опять же далеко не уйдешь с Хакимовым. Да и мудрено, не зная, отыскать в чащобе лесов замаскированный, тщательно охраняемый объект, ставший теперь для них не более иголки, затерянной в копне сена. Впрочем, вполне может случиться, что ее и вообще уже нет — развезли по частям и расстреляли в боях, все до последней мины.

Тогда что ж — возвращаться с неизрасходованной

взрывчаткой, не истратив ни одной гранаты? Опять тащить на себе чертовы бутылки с КС и дрожать, чтобы какой-нибудь фриц, пустив сдуру очередь, ненароком не задел их пулей. И это — потеряв половину группы. С тяжелораненым в волокуше. И в итоге в таком отвратительном виде полного неудачника предстать перед пославшим его генералом. Что лейтенант скажет ему?

— Да-а, положеньице...

Ивановский зачерпнул горсть снега, пожевал и сплюнул. Как всегда после бессонной ночи, во рту долго не проходил противный металлический привкус. Почему-то слегка поташнивало. И даже вроде знобило. Хотя знобило, возможно, от усталости и потери крови.

— У тебя бинт есть? — спросил лейтенант Пивоварова. Тот, сняв варежку, начал ощупывать брючные карманы, а лейтенант поднялся с пенька.

— Давай помоги вот, — сказал он, расстегнув брюки и думая, что теперь уж не имеет большого смысла скрывать нелепое свое ранение.

— Что, ранило?

— Зацепило ночью. Вот черт, все сочится...

Не удивительно, что Пивоваров испугался: белые кальсоны лейтенанта и его ватные брюки — все было густо залито и перепачкано подсохшей кровью. С внешней стороны бедра из небольшой касательной ранки быстро сползла к колену темно-бурая струйка крови.

— Давай! Обмотай. Да потуже.

— Доктора надо.

— Какой еще доктор! Вот ты и будешь доктором.

Было видать, что Пивоваров встревожился ранением командира больше, чем исчезновением базы. Присев рядом, боец не очень умело обмотал бинтом ногу и крепко связал концы собачьим узлом.

— Не сползла чтоб.

— Ладно. Пока подержится.

Старый окровавленный бинт Ивановский отбросил на снег, подтянул брюки, завязал тесемку перепачканных маскировочных шаровар. Пивоваров пристегивал лыжи. Судя по его вполне спокойному виду, неудача с базой никак не отразилась на его настроении, и лейтенант в душе позавидовал выдержке бойца. Впрочем, бойцу что — с бойца спрос невелик.

— Что вот теперь хлопцам сказать? — озабоченно спросил командир, почувствовав желание посовето-

ваться, чтоб хоть как-то разрядить свою подавленность.

— А так и сказать. Что ж такого, — просто ответил Пивоваров.

— Что немцы нас провели?

— Ну а что ж! Раз провели, значит, провели.

— Да, видно, ты прав, — подумав, сказал лейтенант. — Надо по правде. Только куда вот дальше?

— А вы посмотрите на карту, — посоветовал боец.

Святая простота. Пивоваров, видимо, полагал, что на военной карте все обозначено. Точно так же считали, бывало, и деревенские тетки, глядя, как командир разворачивает карту, и удивлялись, когда тот спрашивал, как называется эта деревня или сколько километров до города. Видимо, так думал теперь и Пивоваров.

Впрочем, лейтенант нервничал и, кажется, начинал злиться, все-таки болела потревоженная рана и было отвратительно на душе. Он все еще не имел ясного представления о том, что предпринять. Он невидяще глядел вниз, на покатое белое поле с дальним кустарником, пока мысль о бойцах, оставленных за дорогой, не подогнала его, побуждая к действию.

Тогда он оттолкнулся палками и быстро пошел прежней лыжней вниз.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пока пробирались знакомой дорогой в кустарнике, Ивановский, не столько успокоясь, сколько привыкая к своей неудаче, пытался разобраться в себе и решить, как действовать дальше. Конечно, исчезновение базы делало ненужной всю его вылазку, и было до слез обидно за все их напрасно потраченные усилия. Жаль было погибших ребят, умирающего Хакимова, но теперь его все больше начал донимать вопрос, как эту свою неудачу объяснить в штабе. Слишком уж врезались в память лейтенанта их совсем не военные проводы, короткое генеральское напутствие во дворе дома с высокими ставнями... Сынки! Вот тебе и «сынки»! Раззявы, растяпы чертовы, пока собирались, пока плутали в ночи, пока дрыхли во рву, база бесследно исчезла.

Противное положение, ничего больше не скажешь, думал Ивановский, непрестанно морщась как от зубной бо-

ли. Он уже не уклонялся от колючих ветвей кустарника — шел напролом, чуть только сгибаясь, и думал, что лучше бы генерал отругал его в самом начале да отправил на проверку в Дольцево, чем вникать в тот его злосчастный доклад. А уж если было принято такое решение, то лучше бы начштаба жестко приказал ему относительно этой базы или даже пригрозил трибуналом на случай невыполнения приказа, чем так вот: сынки, на вас вся надежда. Что ему делать теперь с этой надеждой? Куда он с ней? Эта безотрадная мысль ворошила, будоражила его сознание, не давала примириться с неудачей и побуждала к какому-то действию. Но что он мог сделать?

Перейти шоссе снова оказалось непросто — еще издали стала видна сплошная лавина запрудивших его войск — шла, наверно, какая-то пехотная часть — колонны устало бредущих солдат, брички, повозки, изредка попадались верховые; во втором ряду ползли машины и тягачи с пушками на прицепе. Густой этот поток безостановочно двигался на восток, к Москве, и у лейтенанта в недобром предчувствии сжалось сердце — опять! Опять, наверное, наступают, возможно, прорвали фронт... Бедная столица, каково ей выстоять против такой силы! Но, наверно, найдется и у нее сила, должна найтись. Иначе зачем тогда столько крови, столько безвременно отданных за нее жизней, столько человеческих мук и страданий — есть же в этом какой-нибудь смысл. Должен ведь быть.

Вот только у него смысла получалось немного — хотя в этой мучительной ночи он отмахал шестьдесят километров, но база оттого не стала ближе, чем была вчера. Может, еще и дальше, потому что вчера у него была полная сил группа, неистраченная решимость, а что осталось сегодня? Даже у него самого, что ни говори, убыло силы, а главное — вместе с базой пропала прежняя ясность цели — он просто не знал, что предпринять и куда податься.

Впрочем, сначала нужно было пробраться к своим.

И они с Пивоваровым, подхватив в руки лыжи, снова сползли с откоса на дно все того же противотанкового рва. Дальше идти к шоссе стало небезопасно, они затаились за очередным земляным изломом, изредка выглядывая из-за него на открывшийся участок дороги. Часто выглядывать не имело смысла — колонна войск тянулась там без конца и начала — перейти шоссе в такое

время нечего было и думать. Значит, опять надо было ждать. И лейтенант принялся покорно коротать время на стуже, почти в отчаянии, в полукилометре от немцев. Теперь недавнего нетерпения не было, он готов был сидеть здесь до ночи, все равно днем никуда нельзя было сунуться. К тому же он еще не принял ровно никакого решения и не знал, куда направиться — дальше или, может, следовало возвращаться за линию фронта к своим. С Пивоваровым он почти не разговаривал — разговор помешал бы слушать, а слух теперь был их единственной защитой в этом бесконечном, заметенном снегом противотанковом рву. Ивановский время от времени доставал из кармана свои часы, которые лишь свидетельствовали, как безостановочно и быстро шло время. Приближалась студеная зимняя ночь. Невзирая на холод, очень хотелось спать. Наверно, только теперь лейтенант почувствовал, как изнемог он за этот ночной бросок. Напряжение, ни на минуту не оставлявшее его несколько дней подряд, постепенно спадало, незаметно для себя он даже вздремнул, прислонившись спиной к морозному снежному склону, и вдруг зябко прохватился от тихого голоса Пивоварова:

— ...а товарищ лейтенант! Проходят, кажется.

— Да? Проходят?

Пристроившись на откосе и высунув из-за насыпи голову, боец наблюдал за дорогой, голос его прозвучал обнадеживающе, и лейтенант тоже взобрался на откос. Шоссе действительно освобождалось от войск — последние повозки медленно удалялись на восток. Наверно, надо было бежать к пригорку.

Они подхватили лыжи и трусцой побежали по дну рва, ступая в глубокие, еще не заметенные снегом свои следы. Им опять повезло, они вовремя выбрались на укатанную пустую дорогу и, перебежав ее, снова скрылись во рву. Пока бежали, основательно прогрелись, у Ивановского вспотела спина, а у Пивоварова опять густо заплыло потом лицо — со лба по щекам стекали крупные, будто стеариновые, капли. Тяжело дыша, боец размазывал их рукавом маскхалата, но нигде не отстал, не замешкался, и Ивановский впервые почувствовал дружеское расположение к нему. Слабосильный этот боец проявлял, однако, незаурядное усердие, и было бы несправедливым не оценить этого.

За первым изгибом рва, на пригорке, Ивановский за-

медлил шаг и несколько раз с облегчением выдохнул жарким паром. Кажется, опять пронесло. Откуда-то издали послышалось урчание дизелей, но это его не беспокоило. Его мысли уже устремились вперед, туда, где их возвращения ждали четверо его бойцов, и первой тревогой лейтенанта было: как там Хакимов? Конечно, глупо было бы ждать, что тот очнется и встанет на ноги, но все-таки... А вдруг он скончался? Почему-то подумалось об этом без должного сожаления, скорее напротив — с надеждой. Как бы все было проще, если бы Хакимов умер, как бы тем самым он услужил им. Но, видно, это не в его власти.

Где-то совсем близко, во рву, были его бойцы, и лейтенант прислушался, казалось, он уловил чей-то негромкий голос, как будто Краснокуцкого. Лейтенант вышел из-за очередного излома и неожиданно лицом к лицу встретился с Дюбиным. Очевидно, заслышав его приближение, старшина обернулся и с напряженным вниманием на буром лице взглянул в глаза лейтенанту. Неподалеку у откоса сидели в снегу Лукашов, Краснокуцкий, Судник, а возле волокуши с Хакимовым, горестно сгорбившись, застыл во рву Заяц.

Все повернулись к пришедшим, но никто не сказал ни слова; лейтенант, тоже молча и ни на кого не взглянув, прошел к волокуше.

— Что Хакимов?

— Да все то же. Бредит, — сказал Лукашов.

— Воды давали?

— Как же — воды? В живот ведь.

Да, по-видимому, в живот. Если в живот, то воды нельзя. Но что же тогда можно? Смотреть, как он мучается, и самим тоже мучиться с ним?

Лейтенант вгляделся в бледное лицо Хакимова со страдальческим изломом полураскрытых, иссохших губ — боец едва слышно постанывал, не размыкал век, и было неясно, в сознании он или нет.

— Надо бы полушубком укрыть, — сказал издали Дюбин. Ему раздраженно ответил Лукашов:

— Где ты возьмешь полушубок?

— Ну погибнет.

— Давно пришел? — не оборачиваясь от Хакимова, спросил Ивановский.

— Час назад, — сказал Дюбин и кивнул в сторону Зайца. — Вон из-за него лыжу сломал.

— Каким образом?

— Да как лес обходили, — сказал Заяц. — На какую-то кочку попал, хрясь, и готова. Не виноват я...

Наверное, в другой раз было бы нелишне как следует отчитать этого Зайца, дважды подведшего группу, но теперь Ивановский смолчал. То что Дюбин догнал остальных, слегка обрадовало его, хотя радость эта сильно омрачалась общей их неудачей. Лейтенант намеренно старался отмолчаться, не заводить о том разговор, он просто боялся того момента, когда обнаружится, что этот их сумасшедший ночной бросок был ни к чему. Но долго отмалчиваться ему не пришлось, хотя весь его сумрачный вид никак не располагал к разговору, и это видели все. Тем не менее вопрос о базе, видно, томил и других, а рядом во рву сидел, отдыхая, простодушный молодой Пивоваров, к которому теперь и устремились взоры остальных.

Первым не выдержал Лукашов.

— Ну что там? Немцев много? — тихо спросил он за спиной лейтенанта.

— А нету немцев. Склада тоже нет, — легко ответил Пивоваров.

— Как нет?

Лейтенант внутренне сжался.

Он не видел, но почти физически почувствовал, как встревоженно замерли за его спиной лыжники, и, долго не выдержав, сам поднялся на ноги.

— Как нет, лейтенант? Это что — в самом деле? — поднялся вслед за ним Лукашов. Все остальные в крайнем удивлении, почти с испугом смотрели на командира.

— Да, базы нет. Наверно, перебазировалась в другое место.

Стало тихо, никто не сказал ни слова, только Краснокуцкий сквозь зубы сплюнул на снег. Заяц все еще недоумевающе глядел в лицо Ивановскому.

— Называется, городили огород! Плели лапти, — бросил в сердцах Лукашов.

— Что поделаешь! — вздохнул Краснокуцкий. — На войне все случается.

— А может, ее там и не было? Может, она где в другом месте? — недобро засомневался Лукашов, по-прежнему стоя обращаясь к лейтенанту.

— Там была, — просто ответил ему Пивоваров. — Столбы вон остались. Без проволоки только.

Лейтенант отошел от волокуши, скользнув взглядом по Суднику, который с бруствера напряженно смотрел в ров. Командир старался не видеть Лукашова, но он чувствовал, как недобрая, злая сила распирала старшего сержанта, и тот готов был начинать ссору.

— А что, и следов никуда нет? — со спокойной деловитостью спросил Дюбин.

— Ничего нет, — сказал Ивановский.

— Что же получается... Как же так? — не унимался Лукашов. — Кто-то виноват, значит.

Лейтенант резко обернулся к нему.

— Это в чем виноват?

— А в том, что понапрасну этак выкладывались! Да и люди погибли...

— Так вы что предлагаете? — осадил его лейтенант резким вопросом.

Он не мог начинать с ним спор, так как знал, что в этом их напряжении недалеко до ссоры, к тому же он не мог не чувствовать, что в значительной степени старший сержант прав. Но зачем теперь много говорить об этом, без того было тошно, каждый переживал эту неудачу. К тому же в таких случаях в армии было непозволительно выражать свое недовольство или возмущение — подобное всегда пресекалось с наибольшей строгостью.

Лукашов же загорячился, глаза его зло блестели, одутловатое в щетине лицо стало недобрым.

— Что мне предлагать? Я говорю...

— Помолчите лучше!

Старший сержант умолк и отошел в сторону, а лейтенант опять сел в снег. Разговор был не из приятных, но что-то томившее его с утра разом спало, как-то само собой все разрешилось, хотя, может, и не самым наилучшим образом. К нему больше не обращались, наверно, видели, что теперь он знает не больше остальных. Бойцы молча ждали новой команды или решения, как быть дальше, и он, поняв это, достал из-за пазухи карту. Он попытался все же что-то найти на ней, что-то решить про себя, пытался понять, куда с наибольшей вероятностью могла переместиться эта проклятая база. Но сколько он ни вглядывался в карту, та не ответила ни на один из его вопросов, красная линия шоссе скоро убегала за ее край, соседнего же листа у него не было. И здесь, а наверное, и дальше удобных для складов мест была пропасть: в лесах, перелесках, овражках. Где ее искать?

Он так сидел долго и молчал, не убирая с колен разложенной карты, по которой снежной крупой шуршал ветер. Он уже ничего не рассматривал на ней — просто ушел от ненужных теперь разговоров с бойцами, их вопрошающих взглядов. Он чувствовал, что незамедлительно нужно что-то решить, как только стемнеет, отсюда надо убираться. Только куда?

— Подмените Судника. Небось закоченел на ветру, — ни к кому не обращаясь, сказал лейтенант, когда почувствовал, что недоброе молчание в группе слишком затянулось. — Заяц!

Заяц сразу же встал и начал взбираться на бруствер, а Судник, обрушивая снег, на заду сполз в ров. Поднятое им снежное облако обдало Дюбина, который заворошился и встал на ноги.

— Так что же дальше, командир? — спросил он.

— Что именно? — сделал вид, будто не понял, Ивановский, хотя он отлично понимал, что беспокоит старшину.

— Куда дальше пойдем?

— Вы пойдете назад, — просто решил командир.

— Как? Я один?

— Вы и остальные. Попытайтесь спасти Хакимова.

— А вы?

— Я? Я попробую отыскать базу.

— Один?

Этот вопрос старшины Ивановский оставил без скорого ответа. Он не знал, пойдет ли один или с кем еще, но что надо продолжить поиски, это он вдруг понял точно. Он не мог возвратиться ни с чем, такое возвращение было выше его возможностей.

— Нет, не один. Кто-то еще пойдет.

— В самом деле? А может, я, лейтенант? — сказал Дюбин, как бы испытывая себя своею решимостью. Но лейтенант молчал.

Ивановский напряженно додумывал то, чего не додумал раньше. Конечно, выход для него возможен только такой, он не мог рисковать всеми, его люди сделали все, что должны были сделать, и не их вина, что цель оказалась недостигнутой. Далее начинался особый счет его командирской чести, почти личный его поединок с немецкой уловкой, и бойцы к этому поединку не имели отношения. Тем более что шансы на успех пока были неясны.

Отныне он станет действовать на свой страх и риск, остальные должны возвратиться за линию фронта.

Лейтенант поднял от карты лицо и прямо посмотрел на Дюбина. Иссеченное преждевременными морщинами, темное от стужи лицо старшины было спокойно, взгляд из-под маленького козырька краснозвездной буденовки спокойно-выжидателен и ненавязчив, он как бы говорил сейчас: возьмешь — хорошо, а нет — напрашиваться не стану. И лейтенанту почти захотелось взять с собой старшину, наверно, лучшего напарника здесь не сыскать. Но тогда старшим в отходящей группе он должен назначить Лукашова, а он почему-то не хотел этого. Лукашова он уже немного узнал за время этого их пути сюда, и в душе командира появилось устойчивое предубеждение против него.

Значит, с группой должен остаться Дюбин.

Их очень немного возвращалось назад, на их попечении был трудный Хакимов, обратный их путь вряд ли окажется легче пути сюда, а лейтенанту очень хотелось, чтобы они по возможности благополучно дошли до своих. В этом смысле разумнее всего было положиться на опытного, уравновешенного старшину Дюбина.

— Нет, старшина, — сказал лейтенант после продолжительной паузы. — Поведете остальных. Со мной пойдет... Пивоваров.

Все с некоторым удивлением повернули головы в сторону прилегшего на бок Пивоварова, который при этих словах лейтенанта вроде засмущался и сел ровно.

— Так, Пивоваров?

— Ну, — просто ответил тот, вспыхнув и сморгнув белесыми ресницами.

— Ну и лады, — сказал лейтенант, довольный тем, что все так скоро уладилось.

Потом он не раз будет спрашивать себя, почему его такой важный выбор так неожиданно для него самого, почти бессознательно пал на этого молодого бойца? Почему бы в помощники себе не выбрать сапера Судника или рослого сильного Краснокуцкого? Неужели безропотная покорность слабосильного паренька единственно определила его решение? Или тут повлиял на него их сегодняшний совместный бросок через шоссе, где они вдвоем пережили опасность и первое общее для всех разочарование.

Тем не менее выбор был сделан, Пивоваров как-то

враз подобрался, помрачнел или посерьезнел и тихо сидел в истоптанном снежном сугробе.

— Что ж, ваше дело, — сказал Дюбин. — Как там передать, в штабе?

— Я напишу, — подумав, сказал Ивановский.

Бумаги, однако, у него не нашлось, был только трофейный карандаш с выдвижным стержнем, пришлось старшине вырвать листок из замусоленного своего блокнота, на котором лейтенант, недолго подумав, написал:

«Объекта на месте не оказалось. Группа понесла потери, отправляю ее обратно. Сам с бойцом продолжаю поиски. Через двое суток предполагаю вернуться. Ивановский. 29.11.41 г.».

— Вот. Передайте начальнику штаба.

— Это самое, гранаты возьмете?

— Да. Гранату и пару бутылок. Пивоваров, возьмите у Судника бутылки. Гранату давайте мне.

Старшина снял с пояса противотанковую гранату, которую лейтенант тут же подвязал тесемкой к ремню.

— И подрубать бы запастись надо?

— Подрубать тоже. Дайте сухарей. Консервов пару банок. Сами-то уж в АХЧ завтракать будете.

— Дал бы бог, — вздохнул Краснокуцкий.

— Только смотрите при переходе. Как бы опять не напоролись. Не жалейте животов — головы целее будут.

— Это понятно, — тихо согласился Дюбин.

— Ну, вроде темнеет, можете двигать. А мы еще посидим тут. Как там на шоссе, Заяц?

— Какая-то с фарами катит. Одна или больше — хорошо не видать.

Старшина завязал вещевой мешок, Пивоваров складывал в свой сухари и две большие, завернутые в портянки бутылки с КС. Лукашов и Краснокуцкий, не ожидая команды, подступили к обсыпанному снежной пылью Хакимову.

— Смотрите Хакимова, — сказал лейтенант Дюбину. — Может, еще дотянет до утра.

— О чем разговор!..

— Тогда все. Топайте!

— Что ж, счастливо, лейтенант, — обернулся Дюбин и тут же скомандовал бойцам: — А ну взяли! За лыжи, за лыжи берите. Поднимайте. Выше, еще выше. Вот так...

Они подняли Хакимова и с трудом выбрались из рва. На бруствере Дюбин еще оглянулся — прощание

вышло второпях, скомканным, и Ивановский махнул рукой:

— Счастливо.

Когда они скрылись там и последним исчез за бруствером высокий капюшон старшины, Ивановский сел в снег. Он почувствовал особенное удовлетворение оттого, что Дюбин не пропал окончательно, догнал группу и теперь с теми, кто возвращался, будет толковый и человечный командир, который должен их привести к своим. А они здесь как-нибудь справятся вдвоем с Пивоваровым, который все еще стоял во рву, глядя поверх высокого бруствера. Чтобы разрушить неловкость, вызванную этим прощанием, лейтенант сказал с несвойственной для него словоохотливостью:

— Садись, Пивоварчик, отдохнем. Тебя как звать?

— Петр.

— Петька, значит. А меня Игорь. Ну что ж, может, нам еще повезет? Как думаешь?

— Может, и повезет, — неопределенно сказал Пивоваров, потирая ложу винтовки, и вздохнул тихонько и прерывисто.

— Ладно, пока есть время, давай подрубаем, меньше нести будет, — сказал Ивановский, и Пивоваров, присев, начал развязывать вещевой мешок.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Спустя полчаса, когда хорошо притемнело, они выбрались из своего снежного укрытия. Оба продрогли, сильно озябли ноги, хотелось сразу пуститься на лыжах, чтобы согреться. Но прежде надо было оглядеться. К ночи движение на шоссе поубавилось, шли одиночные машины, у некоторых слабо светились подфарники. Вокруг было тихо и пусто; снежные дали с перелесками затянуло вечернею мглой, облачное беззвездное небо низко нависло над снежным ночным пространством. Ивановский решил идти на восток вдоль шоссе, не выпуская его из виду и следя за движением на нем; он думал, что, как и в тот раз, осенью, базу должны выдать машины.

Они скоро спустились со своего пригорка, по рыхлому снегу перешли лощину. Двадцати минут ходьбы вполне хватило на то, чтобы согреться и даже слегка устать. Что ни говори, а сказывалась прошедшая ночь. К тому же в

отличие от вчерашнего Ивановский сразу почувствовал на ходу, что раненая нога стала болеть сильнее, невольно он двигал ею осторожнее, больше нажимая на левую. Правда, он все же старался привыкнуть к этой своей боли, думал, как-нибудь обойдется, разойдется, авось нога не подведет. Но, поднявшись на очередной пригорок, лейтенант почувствовал, что надо отдохнуть. Он слегка расслабил ногу, перенеся тяжесть тела на здоровую, и, чтобы подошедший Пивоваров ничего не заподозрил, сделал вид, что осматривается, хотя осматриваться не было надобности. Шоссе находилось рядом, оно лежало пустое, впереди мало что было видно: сильный восточный ветер упруго дул в лицо, от него слезились глаза.

— Ну как, Пивоварчик? — нарочито шутливым голосом спросил лейтенант.

— Ничего.

— Согрелся?

— О, упарился даже.

— Ну давай дальше.

То и дело поглядывая по сторонам, они прошли еще около часа, обошли край рощи, сосняк, какие-то постройки у дороги — после вчерашнего обстрела с хутора Ивановский старался держаться от жилья подальше. Шоссе почти всюду шло прямо, без поворотов, это облегчало ориентировку, и лейтенант только изредка поглядывал на компас — проверял, выдерживается ли направление.

Настроение его вроде бы даже улучшилось, Пивоваров шел по пятам, не отставая ни на один шаг, и лейтенант, остановившись в очередной раз, спросил с некоторой живостью в голосе:

— Пивоварчик, что ты в жизни видал?

— Я?

— Да, ты. В жизни, говорю, что видал?

Пивоваров пожал плечами.

— Ничего.

— Книжек ты хоть почитал?

— Книжек почитал, — не сразу, словно бы вспоминая, ответил боец. — Весь Жюль Верн, Конан Дойл, Вальтер Скотт, Марк Твен...

— А Гайдар?

— И Гайдар. И еще Дюма все, что достал, прочитал.

— Ого! — удивился лейтенант и даже с некоторым уважением поглядел на Пивоварова. — И когда ты успел столько?

— А я заболел в шестом классе и полгода не учился. Ну и читал. Все перечитал, что в библиотеке нашлось. Мне из библиотеки носили.

Да, наверно, это было здорово — проболеть полгода и прочитать всю библиотеку. Сколько Ивановский мечтал заболеть в детстве, да и в училище, но больше трех дней ему проболеть не удавалось. Здоровье у него всегда было хорошее, и читал он немного, хотя хорошие книги всегда вызывали в нем прямо-таки душевный трепет. И лучше Гайдара ему в своей жизни ничего читать не пришлось. И то в детстве. Потом стало не до литературы — пошли книги другого характера.

Вокруг по-прежнему было тихо, в общем, спокойно, как бывает спокойно лишь в значительном удалении от передовой. Ивановский шел теперь без вчерашней горячки, превозмогая заметную тяжесть в ногах и во всем теле и непроходящую, связывающую каждое движение боль в ране. Правда, боль пока была терпимой. Чтобы не сосредоточиваться на ней, лейтенант старался отвлечься чем-то другим, посторонним. То и дело его мысли уносились к бойцам, что теперь под началом Дюбина возвращались к своим. Наверно, уже идут вдоль реки, поймой. Хорошо, если не занесло лыжню, она поможет сориентироваться. Впрочем, Дюбин, наверно, и без того запомнил дорогу, а в случае чего — выручит карта. Карта на войне — ценность, жаль только, что не всегда хватает этих самых карт. Все время думалось, как там Хакимов? Конечно, намучаются с ним, не дай бог. Особенно при переходе линии фронта. Теперь с ним не вскочишь, не рванешь на лыжах, надо все ползком, по-пластунски. Хоть бы прошли. Но Дюбин, наверно, сумеет, должен пройти. Дюбин же и объяснит начальнику штаба их неудачу, както оправдается за группу и за ее командира. Хотя при чем командир? Кто мог подумать, что за каких-нибудь десять дней все так изменится и немцы переместят базу?

Лично себя Ивановский не считал виноватым ни в чем, кажется, он сделал все, что было в его возможностях. Тем не менее какой-то поганый червячок виноватости все же шевелился в его душе. Похоже, все-таки лейтенант недосмотрел в чем-то и в итоге вот не оправдал доверия. Именно это неоправданное доверие смущало его больше всего. Теперь лейтенант прямо съеживался при мысли, что из этой его затеи вдруг ничего не выйдет.

Ивановский очень хорошо знал, что значит так вот, за здорово живешь, испохабить хорошее мнение о себе. Однажды уже случилось в его жизни, что, злоупотребив доверием, он так и не смог вернуть доброе расположение к себе человека, который был ему дорог. И никакое его раскаяние ровно ничего не значило.

Незадолго перед тем Игорю исполнилось четырнадцать лет, и он пятый год жил в Кубличах — небольшом тихом местечке у самой польской границы, где в погранкомендатуре служил ветврачом его отец. Развлечений в местечке было немного, Игорь ходил в школу, дружил с ребятами, большую часть времени, однако, пропадая на комендантской конюшне. Лошади были его многолетней, может, самой большой привязанностью, всепоглощающим увлечением его отрочества. Сколько он перечистил их, перекупал, на скольких он переездил верхом — в седле и без седел. Года три подряд он не замечал ничего вокруг, кроме своих лошадей, каждый день после уроков бежал на конюшню и уходил только для сна, чтобы назавтра к приходу дежурного снова быть там. Пограничники иногда шутили, что Игорь — бессменный дневальный по конюшне, и он бы с удовольствием стал таковым, если бы не уроки в школе.

На конюшне всегда была масса интересного, начиная от кормежки и водопоя, чистки скребком и щеткой и кончая торжественным ритуалом выводки с построением, суетой красноармейцев, придирчивостью большого начальства, носовыми платками проверявшего чистоту конских боков. Было что-то безмерно увлекательное в выездке, верховой езде, занятиях по вольтижировке, и, конечно же, совершенно захватывала его рубка лозы на плацу за конюшней, когда вдоль ряда стояков с прутьями во весь опор скакали кавалеристы, направо и налево срубая клинками кончики лозовых прутьев. А чего стоила джигитовка самого лихого наездника в отряде знаменитого лейтенанта Хакасова!

Но выводку, рубку, джигитовку он наблюдал со стороны, сам по малости лет в них не участвуя, — его не пускали в строй и даже ни разу не позволили проехаться с шашкой. Другое дело — купание. На луговом бережку озера, у песчаной отмели, стояла старая изгрызенная коновязь, и почти каждый горячий полдень к ней приводили потных, истомленных, рвущихся в воду лошадей. Начиналось купание, и тут уж Игорь Ивановский отводил

душу, плескаясь до тех пор, пока последняя лошадь не выходила из озера.

Обычно он приезжал на Милке — молодой рыжей кобыле с тонконогим играстым жеребенком. Милка была закреплена за командиром отделения Митяевым, с которым у Игоря сложились какие-то совершенно особые, может, даже необычные между пацаном и взрослым человеком отношения. Этот Митяев хотя и служил срочную, но в отличие от других двадцатилетних бойцов-пограничников казался Игорю почти стариком, с изрезанным морщинами лицом, тяжелой походкой и медлительностью пожилого деревенского дядьки. Родом Митяев был из Сибири, дома у него остались взрослые дочки, и он давным-давно должен был бы призваться да и отслужить свою службу, если бы не какая-то путаница в документах, утверждавших, что Митяеву всего двадцать два года. Как это получилось, не мог объяснить и сам Митяев, который только ругал какого-то пьяного дьячка в церкви, по чьей милости ему приходилось служить с теми, кто годился ему в зятья.

Лошади для Митяева не были в новинку, наверно, за свой век он перевидел их множество и охотно доверял свою Милку расторопному сыну ветеринара. Игорь кормил ее, чистил, мыл и выгуливал, в то время как Митяев учил да похваливал, а то и просто, потягивая свою цигарку, отдыхал в курилке. Случалось, что он заступался за своего помощника перед его отцом, когда тот пробирал сына за длительное отсутствие, из-за чего, разумеется, не могли не страдать уроки. Отношения у него с Митяевым, в общем, сложились такие, что лучших не пожелаешь, и отец не раз говорил, что этот сибиряк, наверно, заменит ему родителя. Игорь не возражал, он считал, что Митяев в самом деле лучше отца, не жившего с матерью, любившего выпить и вовсе не баловавшего вниманием своего самопаса-сына.

Однажды обычная возня с лошадьми на озере была нарушена небольшим событием — в купальню привезли лодку. Привез ее на пароконной повозке старшина Белуш, он же опробовал ее на воде и сказал, что лодка принадлежит самому коменданту Зарубину и что никто не смеет притронуться к ней пальцем. Чтобы гарантировать ее сохранность, Белуш пристроил цепь и примкнул лодку к стояку коновязи. Неизвестно по какой причине лодка почти все лето пролежала на берегу. Зарубин ею не

пользовался, и местечковые мальчишки сгорали от такого понятного в их возрасте желания поплавать на ней по озеру.

Как-то под вечер, когда лошади были уже выкупаны и стояли на привязи, а дневальные шли в комендатуру за обедом, Игорь взял прихваченные из дому удочки и пошел на протоку половить окуней. Клевало, однако, плохо, и он уже собрался было перейти на другое место, как из ольшаника вылезли Колька Боровский и Яша Финкель, школьные его приятели. После недолгого разговора они дали понять, что есть возможность «стырить» комендантову лодку и сплавать к другому берегу, где синел большой хвойный лес и где никто из них еще не был. Игорю эта затея показалась весьма заманчивой, кого из местечковых ребят не привлекал тот берег, но добраться к нему было трудно — на пути лежало топкое с провалами болото в устье протоки, в которой, говорили, жил водяной. Было соблазнительно завладеть лодкой, но у коновязи оставался дежурный Митяев, отвечавший за эту лодку перед самим капитаном Зарубиным. Когда Игорь сказал об этом ребятам, те заухмылялись. Оказывается, они уже высмотрели, что Митяев спал под кустом на попоне, а что касается замка, то Колька тут же выложил перед Игорем большой ключ от отцовского дровяного сарая, запиравшегося в точности таким же замком, как и зарубинская лодка. Игорю ничего более не оставалось, как взять этот ключ и легко и просто отомкнуть замок лодки.

Весел у них не было, нашелся лишь длинный еловый шест, они тихонько стащили лодку на отмель и попрыгали в нее. Сначала отпихивались шестом, потом начали грести руками, кое-как лодка выплыла на середину, и тут обнаружилось, что она рассохлась на берегу сверх меры, и сквозь ее борта ручьями полилась вода. Выливать воду было нечем, они попытались выплескивать ее горстями, но лодка все больше уходила кормой под воду, и вскоре ребятам пришлось в спешном порядке покинуть судно. Вдоволь нахлебавшись теплой воды, они кое-как добрались до берега. Лодка же медленно затонула.

Митяев у коновязи спал так крепко, что ничего не услышал, а ребята высушились в укромном местечке и к вечеру разошлись по домам. Назавтра, разумеется, начались поиски пропажи, оказалось, кто-то видел возле купальни местечкового дебошира Темкина, на которого тут

же и составили протокол. Пытались допросить также и Игоря, бывшего с утра у коновязи, но дежурный Митяев не мог себе даже представить своего любимца в роли похитителя и поручился за него. И когда день спустя Игорь скрепя сердце все же признался Митяеву в своей виновности, тот сперва ему не поверил. Пришлось указать место, где неглубоко на илистом дне затонула лодка, которую скоро подняли и приволокли к берегу. Завидев ее, Митяев лишь сплюнул в песок и отошел в сторону, даже не взглянув на обожаемого своего помощника. Их двухлетняя дружба на том и окончилась. До самой демобилизации Митяев не сказал парню ни единого слова, будто не замечал его вовсе, не отвечал на его приветствия, при встрече проходил мимо, даже не удостаивая его взглядом. Игорь не обижался, знал: это презрение было вполне им заслужено.

На их пути скоро оказался редкий молодой сосняк-посадка, они быстро прошли меж его ровных рядов и вдруг оба враз замерли. На самой опушке, очевидно, была дорога, по которой теперь куда-то в сторону, медленно, вихляя по ухабам, ползли в темноте машины. Сначала Ивановскому показалось, что он сбился с пути и вышел на шоссе, но вскоре он понял, что это не шоссе вовсе, а, наверно, какой-нибудь съезд с него в сторону. Но почему на этом съезде машины?

Затаясь, он недолго постоял на опушке. Машины проходили совсем близко, передняя шла с включенными фарами, расхлябанно вихляя на неровностях крытым высоким кузовом. Следовавшие за ней три другие машины тоже были высокие и крытые: что они везли, невозможно было понять. Но то, что машины уходили в сторону от основной магистрали, наводило лейтенанта на некоторые обнадеживающие размышления. Не приближаясь к дороге, он свернул вдоль опушки следом за ними.

Теперь он шел совсем медленно, часто останавливался и вслушивался. Далекий утробный гул дизелей какое-то время еще был слышен, потом, заглушенный порывом ветра, как-то сразу затих. Ивановский поправил на себе то и дело сползавший ремень с тяжелой гранатой, оглянулся на Пивоварова. Тот был рядом, притихнув в предчувствии опасности и едва справляясь со своим дыханием.

— А ну посмотрим, что там. Ты приотстань чуток...

Пивоваров кивнул, поправляя за спиной винтовку, ремень от которой наискось перерезал его белую в маскхалате узкую грудь. Конечно, жидковат телом оказался его помощник, но тут и дюжий бы, наверное, сдал. Зашуршав по снегу лыжами, Ивановский пошел по опушке.

Рощица скоро кончилась, впереди был ручей или речка с кустарником по берегам, Ивановский с заметным усилием уставшего человека перебрался через нее и еще прошел полем. Неожиданно для себя он увидел дорогу — две колеи, глубоко прорезанные в снегу автомобильными скатами. Чтобы не переходить ее и не потерять из виду, он вернулся назад и на некотором расстоянии пошел полем.

Деревня появилась неожиданно скоро — без единого звука, без проблеска света в серых сумерках вдруг выросла близкая крыша сарая, за ней следующая, и лейтенант тут же мысленно выругал себя за неосторожность — от деревни надо было держаться подальше. Он хотел было уже свернуть в сторону, как перед его взглядом за углом сарая промелькнуло характерное очертание гусеничного вездехода. Тут же было что-то и еще — непонятно громоздкое в сумраке, гибкий и тонкий шест от него торчал в небо, и, вглядевшись, лейтенант понял, что это антенна. Конечно, в деревне не могло быть никакой базы, зато вполне могло расположиться на ночлег какое-нибудь тыловое или маршевое подразделение немцев.

— Видал? — тихо спросил Ивановский напарника.

— Ну.

— Что это, как думаешь?

Пивоваров только пожал плечами, он не знал, так же как не знал того лейтенант, который теперь обращался к нему как к равному. Будь у него хоть пять или десять бойцов, Ивановский никогда бы не позволил себе такого почти панибратства, но теперь этот Пивоваров был для него более чем боец. Он был первым его помощником, его заместителем и главным его советчиком — другого здесь взять было неоткуда.

Выбросив в сторону лыжу, Ивановский развернулся в поле, Пивоваров повернул тоже, они круто взяли в обход. Но, минуту пройдя по снежному полю, лейтенант остановился при мысли: а вдруг это какой-нибудь крупный немецкий штаб? Штаб им пригодился бы даже более, чем та злосчастная база, которую неизвестно где было искать в ночи.

Минуту он постоял на ветру в раздумье, соображая, что предпринять. Рядом ждал Пивоваров. Боец понимал, видимо, что командир решал что-то важное для обоих, и ждал этого решения со спокойной солдатской выдержкой. А Ивановский думал, что, конечно, было бы благоразумнее обойти это осиное гнездо, но, может, сначала стоило подкрасться поближе, разведать, — авось подвернется что-либо сподручное.

Пока они стояли в нерешительности, где-то в селе неярко вспыхнуло пятнышко света, что-то осветило на снегу и тут же потухло. Этот случайный проблеск ровно ничего не объяснил, но он указал в темноте направление, определенное место. Очевидно, там была улица, и лейтенант вдруг решил все-таки попытаться подойти к ней возможно ближе, чтобы понять, что там происходит.

— Так. Пивоварчик, приотстань. И потихоньку — за мной.

Пивоваров согласно кивнул, Ивановский, решительно оттолкнувшись палками, пошел к деревне.

Сначала на его пути появилась старая поломанная изгородь, через пролом в которой он проскользнул в огород и увидел в ночных сумерках какие-то жиденькие деревца с кустарником — похоже, на меже двух огородов. Он свернул к этим деревцам и под их прикрытием тихо пошел по неглубокому снегу в сторону мягко темневших силуэтов построек. Вокруг по-прежнему было тихо, холодновато, порывами дул ветер, в воздухе косо неслись негустые снежинки. Никаких определенных звуков сюда не долетало, но все же по каким-то необъяснимым приметам Ивановский угадывал присутствие в деревне посторонних, которыми теперь могли быть только немцы. Чувствуя, что вот-вот что-то ему откроется, он осторожно приближался к постройкам.

Совсем уже близко высилась заснеженная крыша сарая, возле кривобоко стоял подпертый жердями стожок. Деревца межевой посадки тут разом оканчивались, крайней в ряду была раскидистая грушка с толстоватым, заметным среди тонконогого вишняка стволом. Издали приметив ее, Ивановский подумал, что за этим грушевым комельком, по-видимому, надо присесть, подождать. Но он еще не дошел до грушки, как совершенно неведомо откуда подле стожка появилась какая-то фигура в распахнутой длинной одежде, и он, вздрогнув, смекнул: немец! Немец от неожиданности обмер, пристально вглядевшись

в него, но тут же, видно, успокаиваясь, прокартавил издали:

— Es schien ein Russ... [1]

Ивановский ничего не понял и, наверно, чересчур резко дернул рукоятку висевшего на груди автомата. Затвор громко щелкнул в тишине. Немец, поняв свою оплошность, сдавленно, почти в ужасе вскрикнул и стремглав бросился по снегу от стожка — наискосок через огород, к соседнему дому. На секунду растерявшись, Ивановский присел и, кажется, очень вовремя: тут же от построек бахнул одиночный выстрел, пуля звучно щелкнула в намерзших ветвях кустарника. Но он уже был наготове и с колена коротко тыркнул по серому углу за изгородью, потом другой очередью — ниже, по беглецу, который уже вот-вот готов был скрыться в тени постройки. Последние его пули были, однако, излишними — немец сразу ткнулся головой в снег и застыл там; Ивановский, тут же выбросив левую лыжу на крутой разворот, схватил одну палку. Вторую впопыхах он уронил в снег и только нагнулся за ней, как в сумерках двора опять сверкнула красноватая вспышка, и он тихонько ахнул от глубокого, острого удара в спину. Сразу поняв, что ранен, вгорячах бешено рванулся на лыжах с этого огорода, туда, где ждал его Пивоваров.

Видно, замешкавшись, немцы подарили ему четверть минуты дорогого для него времени. Он уже проскочил половину межевой посадки, а они только начали выбегать откуда-то из дворов на огород. Кто-то закричал там повелительно и строго, и вот человек пять их пустились вдогонку. Он ясно увидел их, оглянувшись, и на секунду замешкался, соображая, остановиться ему, чтобы огнем из ППД умерить их прыть, или скорее ускользать в темноту. Но у него уже не получалось скорее, он быстро слабел от боли, едва управляясь с лыжами.

Сзади несколько раз выстрелили, часто и не очень звучно, похоже, из пистолетов, но он все же оторвался от них, теперь попасть в него было трудно. И все же одна пуля ударила куда-то под самые ноги. Он, не оглядываясь, пригнулся пониже и изо всех быстро убывающих сил старался побыстрее вырваться из этого огорода. Но вот и еще одна пуля протянула свою визгливую струну над самой его головой, он вскинул автомат, чтобы дать очередь,

---

[1] Мне показалось — русский... *(нем.)*.

как откуда-то спереди сильно и звучно бахнуло раз и второй. Он понял радостно, почти спасительно: это Пивоваров — выстрел своей трехлинейки он бы узнал где хочешь. Из сумерек еще и еще, почти навстречу ему один за другим сверкнули три частых удара, пули прошли совсем рядом, но он был уверен: своя пуля его не зацепит.

— Скорее, товарищ лейтенант!

Ивановский упал, немного не дойдя до изгороди, но не от боли в груди, которая быстро завладевала всей его правой половиной тела, а оттого, что не хватало дыхания. Он задохнулся. Но он знал, что Пивоваров уже где-то рядом и не оставит его.

Сплюнув снег, он тут же попытался подняться, но ноги его странно отяжелели, к тому же мешали скрестившиеся при падении лыжи. Одна из них вовсе соскочила с ноги, тогда он дернул другой и тоже высвободил ее из крепления. Сзади еще хлопнуло несколько выстрелов, но, похоже, его не преследовали, их задержал Пивоваров, который и выбежал к нему из сумерек.

— Товарищ лейтенант!..

— Тихо! Дай руку.

— Я уложил там одного! Пусть теперь сунутся...

Кажется, он не очень и удивился его ранению, быстро помог подняться, но, видно, бойца занимало другое, и он даже не пытался скрыть это. Похоже, он и не догадывался, как просто теперь их могли уложить тут обоих.

Лейтенант хотел было собрать лыжи, но опять голова у него закружилась, и он ткнулся плечом в мягкий морозный снег. Пивоваров, наверно, только теперь поняв состояние командира и скинув со своих ног лыжи, опять бросился к нему на помощь.

— Что, вас здорово, а? Товарищ лейтенант?

— Ничего, ничего, — выдавил из себя Ивановский. — Поддержи...

Надо было как можно скорее уходить отсюда, с минуты на минуту их могли настичь немцы. Пивоваров примолк вдруг и, поддерживая отяжелевшее тело лейтенанта, повел его куда-то в темень, подальше от деревни, в поле. Ивановский послушно тащился по снегу, заплетаясь ногами, в голове его хмельно кружилось, начинало тошнить. Два раза он сплюнул на снег что-то темное, обильное, не сразу поняв, что это кровь. «Хорошо получил!.. Хорошо получил!» — думал он почти со злорадством, как о ком-то другом, не о себе.

Они не оглядывались, но и без того было слышно, что сзади не унимался переполох, раздавались крики. Правда, выстрелов не было, но все еще доносившиеся встревоженные голоса подгоняли их пуще стрельбы. Очевидно, немцы высыпали на околицу или, может, шли следом. У Ивановского уже все было мокро от пота и крови, на боку через бязь маскхалата проступило темное большое пятно, он трудно, загнанно дышал, то и дело сплевывая на снег кровавые сгустки. Несколько раз оба они падали, но Пивоваров, наскоро отдышавшись, вскакивал, хватал лейтенанта под мышки, и они снова шатко и неровно брели в серые морозные сумерки, петляя по зимнему, продутому всеми ветрами полю.

Когда уже совсем обессилели оба, лейтенант, выплюнув кровавую пену, промычал «стой» и упал боком на снег. Рядом упал Пивоваров. Уже нигде ничего не было слышно и ничего не видать, даже не понять было, в какой стороне деревня. Думалось, они ушли на край света, где нет ни своих, ни немцев, и Пивоваров, отдышавшись, сел на снегу.

— Сейчас перевяжем, — сказал он, зашарив по карманам в поисках бинта. — Куда вас?

— В грудь. Под рукой вот...

— Ничего, ничего! Сейчас. Перевяжу. А я тому как дал, так сразу... Другой, гляжу, драла... Целую обойму выпустил.

Ивановский откинулся на спину, расстегнул ремень, телогрейку. Пивоваров холодными руками зашарил по телу. Кровь, обильно пропитавшая одежду, начала уже остывать и жгла на морозе как лед. Впрочем, жегся, возможно, набившийся всюду снег, лейтенант то и дело содрогался в ознобе, но терпел молча. Боец туго обмотал его грудь двумя или тремя пакетами, накрепко связал их концы.

— Больно очень?

— Да уж больно, — с раздражением ответил Ивановский. — Все, застегни ремень.

Пивоваров помог командиру привести себя в порядок, застегнул на телогрейке ремень, одернул куртку маскхалата. Постепенно лейтенант начал согреваться, хотя тело его все еще бил мелкий нервный озноб, от которого спирало дыхание.

— Не надо было туда идти, — сказал боец, вытирая о шаровары испачканные кровью руки.

— Да? Что ж ты не сказал раньше?

— Так я не знал, — пожал одним плечом Пивоваров.

— А я знал? — раздраженно бросил лейтенант. Он понимал, что становится злым и несправедливым и что Пивоваров здесь ни при чем, что во всем виноват он сам. Но именно сознание этой виновности больше всего и злило Ивановского. Да, теперь он влип, похоже, погубил себя и этого бойца тоже, завалил все задание с базой, ничего не добился в деревне. Но поступить иначе — обойти стороной базу, штаб, эту деревню и тем сохранить себя он не мог. На такой войне это было бы кощунством.

— Диски давайте сюда. И автомат тоже. Я понесу, — тихо сказал Пивоваров, и Ивановский молча согласился, теперь, конечно, много унести он не мог. Собрав в себе жалкие остатки сил, он лишь повернулся, чтобы сесть на снегу.

— Что ж, надо уходить.

— Ага. Давайте вон туда. Как и шли, — оживился Пивоваров. — Ей-богу, тут где-то деревня.

— Деревня?

— Ну. В какую-нибудь деревню надо. Без немцев чтоб.

Пожалуй, Пивоваров прав, подумал Ивановский. Теперь им остается только забиться в какую-нибудь деревню, к своим людям, больше деваться некуда. Он просто не сразу сообразил, как круто это его ранение изменило все его планы. Теперь, видно, следовало заботиться единственно о том, чтобы не попасть к немцам. Базы ему уже не видать...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Они все шли по колено в снегу, без лыж — бессильно тащились, вцепившись друг в друга, от усталости едва не падая в снег. Пивоваров выбивался из сил, но не оставлял лейтенанта, правой рукой поддерживая его, а в левой волоча за ремни автомат и винтовку да на плече свой все время сползавший вещевой мешок. Ивановскому уже совсем невтерпеж были эти муки, но, сцепив зубы, он вынуждал себя на последние усилия и шел, шел, только бы подальше уйти от той злосчастной деревни.

Тем временем в ночи повалил снег, вокруг забелело,

затуманилось, мутное небо сомкнулось с мутной землей, затканной мигающе-секущим потоком снежинок. Невозможно было поднять лицо. Но ветер был слабее, чем вчера, к тому же, казалось, дул в спину, и они слепо брели по полю, временами останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Сплевывая кровь, Ивановский с тоской отмечал, как таяли его силы, и упрямо шел, надеясь на какое-то пристанище, чтобы не погибнуть здесь, в этом поле. Погибать он не хотел, пока был жив, готов был бороться хоть всю ночь, сутки, хоть вечность, лишь бы уцелеть, выжить, вернуться к своим.

Наверно, Пивоваров чувствовал то же, но ничего не говорил лейтенанту, только как мог поддерживал его, напрягая остатки своих далеко не богатырских сил. В других обстоятельствах лейтенант, наверно, удивился бы, откуда они еще брались у этого тщедушного, заморенного на вид паренька, но теперь сам он был слабее его и целиком зависел от его пусть даже небольших возможностей. И он знал, что если они упадут и не смогут подняться, то дальше будут ползти, потому что какое ни есть — спасение у них впереди; сзади же их ждала смерть.

В какой-то ложбине с довольно глубоким снегом они нерешительно остановились раз и другой. Пивоваров, придерживая лейтенанта, пытался рассмотреть что-то впереди, что лейтенант не сразу и заметил. Потом, присмотревшись сквозь загустевшую в ночи круговерть, он тоже стал различать неясное темное пятно, размеры которого, как и расстояние до него, определить было невозможно. Это мог быть и куст рядом, и какая-то постройка вдали, а возможно, и дерево — ель на опушке. Тем не менее это пятно насторожило обоих, и, подумав, Пивоваров опустил Ивановского на бок.

— Я схожу. Гляну...

Лейтенант не ответил, говорить ему было мучительно трудно, дышал он с хрипом, часто сплевывая на снег. Рукавом халата вытер мокрые губы, и на белой влажной материи осталось темное пятно крови.

— Вот, наверно, и все...

«Если уж изо рта идет кровь, то, по-видимому, недолго протянешь», — невесело подумал он, лежа на снегу. Голова его клонилась к земле, и перед глазами плясали огненно-оранжевые сполохи. Но сознание оставалось ясным, это вынуждало бороться за себя и за этого

вот бойца, нынешнего его спасителя. Спаситель сам едва стоял на ногах, но до сих пор лейтенант не мог ни в чем упрекнуть его — там, в деревне, и в поле Пивоваров вел себя самым похвальным образом. Теперь, почувствовав преимущество над командиром, он как-то оживился, стал увереннее в себе, расторопнее, и лейтенант подумал с уверенностью, что в выборе помощника он не ошибся.

Несколько минут он терпеливо ждал, тоскливо прислушиваясь к странному клокотанию в простреленной груди. Рядом лежал вещмешок Пивоварова, и лейтенант подумал, что надо, видимо, им разгрузиться, выбросить часть ноши. Теперь уж большой запас ни к чему, необходимы личное оружие, патроны, гранаты. Бутылки с КС, по-видимому, были уже без надобности. Но, обессилев, он не смог бы даже развязать вещмешок и лишь немощно клонился головой к земле. Он не сразу заметил, как из снежных сумерек бесшумно появилась белая тень Пивоварова, который обрадованно заговорил на ходу:

— Товарищ лейтенант, банька! Банька там, понимаете, и никого нет.

Банька — это хорошо, подумал Ивановский и молча, с усилием стал подниматься на ноги. Пивоваров, подобрав вещмешок, ППД, помог встать лейтенанту, и они опять побрели к недалекому притуманенному силуэту бани.

Действительно, это была маленькая, срубленная из еловых вершков, пропахшая дымом деревенская банька. Пивоваров отбросил ногой палку-подпорку, и низкая дверь сама собой растворилась. Нагнув голову и хватаясь руками за стены, Ивановский влез в ее тесную продымленную темноту, повел по сторонам руками, нащупав гладкий шесток, шуршащие веники на стене. Пивоваров тем временем отворил еще одну дверь, и в предбаннике сильно запахло дымом, золой, березовой прелью. Боец вошел туда и, пошарив в темноте, позвал лейтенанта:

— Давайте сюда. Тут вот лавки... Сейчас составлю...

Ивановский, цепко держась за косяк, переступил порог и, нащупав скамейки, с хриплым выдохом вытянулся на них, касаясь сапогами стены.

— Прикрой дверь.

— Счас, счас. Вот тут и соломы немного. Давайте под голову...

Он молча приподнял голову, позволив подложить под себя охапку соломы, и обессиленно смежил веки. Через минуту он уже не мог разобрать, то ли засыпал, то ли терял сознание, оранжевое полыхание в глазах стало сплошным, непрекращающимся, мучительно кружилось в голове, тошнило. Он попытался повернуться на бок, но уже не осилил своего налитого тяжестью тела и забылся, кажется, действительно потеряв сознание...

Приходил он в себя долго и мучительно, его знобило, очень хотелось пить, но он долго не мог разомкнуть пересохшие губы и попросить воды. Он лишь с усилием открыл глаза, когда почувствовал какое-то движение рядом, — из предбанника появилась белая тень Пивоварова с откинутым на затылок капюшоном и его автоматом в руках. В баньке было сумрачно-серо, но маленькое окошко в стене светилось уже по-дневному, ясно просвечивали все щели в предбаннике, и лейтенант понял, что наступило утро. Пивоварова, однако, что-то занимало снаружи, сгорбившись, боец припал к маленькому окошку, что-то пристально высматривая там.

Ивановский попытался повернуться на бок, в груди его захрипело, протяжно и с присвистом, и он закашлялся. Отпрянув от окошка, Пивоваров обернулся к раненому:

— Ну как вы, товарищ лейтенант?..

— Ничего, ничего...

Он ждал, что Пивоваров и еще что-то спросит, но боец не спросил ничего больше, как-то сразу притих и, пригнувшись все у того же окошка, сказал шепотом:

— Вон немцы в деревне.

— В какой деревне?

— В этой. Вон крайняя хата за вербой. Немцы ходят.

— Далеко?

— Шагов двести, может.

Да, если в двухстах шагах немцы, которые еще не обнаружили их, то можно считать, им повезло в этой баньке.

Правда, до сих пор была ночь, вот начинается день, и кто знает, сколько им еще удастся просидеть тут незамеченными.

— Ничего. Не высовывайся только.

— Дверь я прикрыл, — кивнул Пивоваров в сторону входа. — Лопатой подпер.

— Хорошо. Воды нет?

— Есть, — охотно отозвался Пивоваров. — Вот в дежке вода. Я уже пил. Со льдом только.

— Дай скорее.

Пивоваров неловко напоил его из какой-то жестянки, вода пахла вениками, к губам припала размокшая березовая листва. В общем, вода была отвратительная, словно из лужи, и так же отвратительно было внутри у лейтенанта — что-то разбухало в груди, уже с трудом можно было вдохнуть: откашляться он не мог вовсе.

После питья стало, однако, легче, сознание вроде прояснилось, Ивановский огляделся вокруг. Банька была совершенно крохотная, с низким, закопченным до черноты потолком, такими же черными от копоти стенами. В углу, возле двери, чернела груда кампей на печурке, возле которой стояла кадка с водой. На низком шесте над ним висели какие-то забытые тряпки. Конечно, в любой момент и по любой надобности тут могли появиться люди, которые и обнаружат их. И как он не подумал прежде, что банька не может быть далеко от деревни и что в этой деревне тоже могут быть немцы?

— Что там видать? — глухо спросил он Пивоварова, замершего теперь в предбаннике возле дверной щели.

— Да вон со двора вышли... Двое. Закуривают... Пошли куда-то.

— Немцы?

— Ну.

— Ничего. Смотри только. Легко они нас не возьмут.

Конечно, он понимал цену своего голословного утешения, но что он мог еще? Он знал только, что, если нагрянут немцы, придется отбиваться, пока хватит патронов, а там... Но, может, еще и не нагрянут? Может, они и вовсе уйдут из деревни? Странно, но теперь в его ощущениях появились какие-то новые, почти незнакомые ему оттенки, какое-то неестественное в этой близости от немцев успокоение, похоже, он утратил уже свою спешку, свое нетерпение, не оставлявшее его все последние дни. Теперь все это разом куда-то исчезло, пропало, наверное, вместе с его силами, лишившись которых он лишился также и своего душевного напора, энтузиазма. Теперь он старался поточнее все взвесить, выверить, чтобы поступить наверняка, потому что любая ошибка могла оказаться последней. И первой его ясно понятой неизбежностью была готовность ждать. Днем в снежном поле, на краю деревни, ничего нельзя было, кроме как запастись

до ночи терпением, чтобы с наступлением темноты что-то предпринять для своего спасения.

Но чтобы ждать, тоже нужны были силы, надо было как-то удержать в себе зыбкое свое сознание, усилием воли сохранить выдержку. Это тоже было нелегко, даже здоровому, каким был Пивоваров. В этой западне на виду у немцев не просто было совладать с нервами, думал лейтенант, наблюдая, как кидался по баньке боец — то к окошку в стене, то в предбанник с множеством щелей. Выглядел он испуганным, и каждый раз, глядя на бойца, Ивановский думал — идут! Но, наверно, чтобы успокоить командира да и себя тоже, Пивоваров время от времени приговаривал вслух:

— Кто-то на тропку вышел... К колодцу вроде. Ну да. Какая-то тетка с ведром...

И минуту спустя:

— О, о! Выходят. Нет, стали. Стоят... Пошли куда-то.

— Куда пошли?

— А черт их знает! Спрятались за сараем.

— Ничего, не волнуйся. Сюда не придут.

Он не стал забирать у бойца свой автомат, подумав, что при случае тот справится с ним ловчее, у него же оставалась граната. Теперь без гранаты ему нельзя. Он отвязал ее от пояса и положил возле лавки. У изголовья стояла прислоненная к стене винтовка — все было на месте, оставалось терпеливо ждать, полагаясь на удачу.

— Сунутся, тут и останутся, — сказал Пивоваров, подходя к окошку. — Правда, и мы...

Ивановский понял, что не досказал Пивоваров, и спросил неожиданно:

— Жить хочешь?

— Жить? — почти удивился боец и вздохнул. — Не худо бы. Но...

Вот именно — но! Это НО дьявольским проклятием встало поперек их молодых жизней, уйти от него никуда было нельзя. В то памятное воскресное утро оно безжалостно разрубило мир на две половины, на одной из которых была жизнь со всеми ее немудрящими, но такими нужными человеку радостями, а на другой — преждевременная, страшная в своей обыденности смерть. С этого все и началось, и, что бы ни случалось потом, в последующих передрягах, неизменно все натыкалось на это роковое НО. Чтобы как-то обойти его, обхитрить, пере-

силить на своем пути и продлить жизнь, нужны были невероятные усилия, труд, муки... Разумеется, чтобы выжить, надобно было победить, но победить можно было, лишь выжив, — в такое чертово колесо ввергла людей война. Защищая жизнь, страну, надо было убить, и убить не одного, а многих, и чем больше, тем надежнее становилось существование одного и всех. Жить через погибель врага — другого выхода на войне, видимо, не было.

А что вот, если, как теперь, ему невозможно и убить? Он мог лишь убить себя, а боец он уже был плохой. Как бы ни утешал он себя и Пивоварова, как бы ни вынуждал на усилия, он не мог не сознавать, что с простреленной грудью он не вояка.

Тогда что же — тихо умереть в этой баньке?

Нет, только не это! Это было бы едва не подлостью по отношению к себе, к этому бойцу, которого он тоже обрекал на гибель, по отношению ко всем своим. Пока жив, этого он себе не позволит.

Он даже испугался этой своей мысли и очнулся от короткого забытья. Надо было предпринять что-то, предпринять немедленно, не теряя ни одной минуты жизни, потому что потом может быть поздно.

Мечась в горячечных мыслях, он долго мучительно перебирал все возможные пути к спасению и не находил ничего. Тогда опять наступила апатия, расслабляющая ум отрешенность, готовность покорно ждать ночи.

«Проклятая деревня!» — в который раз твердил он себе, она его погубила. И надо же было так нелепо наткнуться на этого фрица, поднявшего крик, вступить в перестрелку, получить пулю в грудь... Но все-таки что-то там есть. Эта тишина, скрытность, несомненно, были искусственными, поддержанными твердой дисциплиной, невозможной без власти большого начальства. Опять же антенны... По всей видимости, там расположился какой-то большой, может, даже армейский штаб, в глубоком тылу маленького штаба не будет. Как было бы кстати нанести по нему удар!.. Но как нанесешь? Самолеты теперь не летают, а установится погода — тогда ищи его, как эту вот распроклятую базу боеприпасов.

Что же, ему не повезло в самом начале, а в конце тем более. Если бы не это ранение, по существу, погубившее его, уж что-нибудь он бы, наверно, придумал. Можно было бы устроить засаду, взять «языка». Но теперь как возьмешь? Теперь его самого можно взять вместо «язы-

ка», разве что толку от него будет немного. Впрочем, пока он живой и у него есть граната, которой вполне хватит для обоих и для этой вот баньки, его им не взять. Видно, на гранату теперь вся надежда.

Но шло время, а никто их не тревожил в этом тесном и темном, провонявшем дымом убежище на краю села. Пивоваров теперь больше простаивал за простенком, изредка комментируя то, что удавалось увидеть сквозь щель. Но вот он умолк, видно, ничего особенного там не было, и лейтенант вдруг тихо спросил:

— У тебя мать есть?

Наверное, это был странный в их положении вопрос, и Пивоваров не понял:

— А? Что вы сказали?

— Мать есть?

— Есть, конечно.

— И отец?

— Нет, отца нет.

— Что, помер?

— Да так, — неопределенно замялся Пивоваров. — Я с матерью жил. Вот если бы она знала, как нам тут! Было бы страху!

— Хорошая мамаша?

— Ну, — односложно подтвердил боец. — Я же у нее один. Бывало, все для меня.

— Откуда родом?

— Я? Из-под Пскова. Городок такой есть — Порхов, может, слыхали? Вот там жили. Мама в школе работала, учительницей.

— Говоришь, обожала?

— Ну. Еще как! Прямо смешно было. С ребятами когда нашалишь — трагедия. Завтрак не доешь — трагедия. А уж если заболею — ого! Всех врачей на ноги поднимет, неделю лекарствами кормить будет. Смешно было... А теперь не смешно.

— Теперь не смешно, — вздохнул лейтенант.

— Мама — золото. Я у нее один, но и она у меня ведь тоже одна. У нас там и родни никакой. Мама из Ленинграда сама. До революции в Питере жила. Сколько мне про Питер нарассказывала!.. А я так ни разу и не съездил. Все собирался, да не собрался. Теперь после войны разве.

— После войны, конечно.

— Я, знаете, ничего. Я не очень: убьют, ну что же! Вот только мать жалко.

Матери жаль, разумеется, молча согласился Ивановский, впрочем, жаль и отца тоже. Даже и такого, каким был его отец, ветеринар Ивановский. Не очень добрый и не очень чтоб умный, любитель посудачить с мужиками и в меру выпить по праздникам, он иногда казался глубоко несчастным, потрепанным жизнью неудачником. В самом деле, у всех были жены, заботящиеся о питании, быте, семейных удобствах, в разной степени, но неизменно обожающие своих мужей-командиров, а они с отцом, сколько помнил Игорь, всегда жили в каких-то каморках, углах, на частных квартирах, обходясь на обед куском сала, миской капусты, вчерашними консервами и одной на двоих алюминиевой ложкой. Мать свою Игорь едва помнил и почти никогда не спрашивал о ней у отца, знал: стоит завести о ней разговор, как отец не может удержаться от слез. С образом матери была связана какая-то семейная драма Ивановских, и сын даже не знал, была ли она жива или давно умерла. Впрочем, как выяснилось потом, отец тоже знал об этом едва ли больше его.

Об отце Ивановского знакомые говорили разное, поразному относился к нему его сын, но все равно это был отец, по-своему любивший единственного своего сына, желавший ему только хорошего, радовавшийся его военному будущему. И вот дорадовался. Последнее письмо от него Ивановский получил в училище перед выпуском, в начале июня; отец был под Белостоком, все в том же пограничном отряде, а Игорь получил назначение в Гродно, в распоряжение армейского отдела кадров, и думал, что они скоро свидятся. Он даже не ответил отцу на его письмо, а потом уж и отвечать стало некуда. Где он, жив или нет? Никто ему толком ответить не мог, да и спрашивать было не у кого. Видно, с отцом у Ивановского все навсегда было кончено, надежд на встречу никаких не осталось...

Так же, как и с его Янинкой...

Странно, но ту страшную разлуку с девушкой он переживал куда дольше и труднее, чем вечную, по всей вероятности, разлуку с отцом. Правда, потом в боях, в кровавой сумятице фронтовых будней часто забывал о ней, чтобы совершенно неожиданно где-нибудь на ночлеге, в тихую минуту перед щемящей неизвестностью предсто-

ящего боя вдруг вспомнить до пронзительной боли в сердце. Он никому не рассказывал об этой своей первой и, наверно, последней, такой скоротечной любви, знал, чувствовал: у других было не легче. Кто в войну не переживал, не сох, не страдал от разлуки с любимой, матерью, женой или детьми... Разлуки томили, жгли, болью точили сердца, и никто ничего не мог сделать, чтобы облегчить эту боль.

...Кажется, он снова забылся — уснул или просто затих на мучительном рубеже между жизнью и смертью, и когда очнулся, банька почти погрузилась в сумерки. Он уже не глядел на свои часы, время теперь для него потеряло свой изначальный смысл, состояние его вроде и еще ухудшилось. Он часто, мелко дышал, утренний озноб сменился теперь потливым жаром. Очнувшись, он пошарил по баньке взглядом и увидел Пивоварова, который сидел на опрокинутом деревянном ведерке у окна и грыз сухарь. Окно потело от его дыхания, и боец рукавицей то и дело протирал стекла.

— Что там? — открыв и снова закрывая глаза, спросил лейтенант.

— Все то же. Не уходят, сволочи.

Не уходят — значит, в деревню не сунуться. Но куда же, кроме деревни, им теперь можно сунуться? В поле будет похуже, чем в этой баньке, в поле доконает мороз. Но и здесь вряд ли они дождутся хорошего.

Черт, нужны были лыжи, они зря бросили их в той деревне. Хотя там, под огнем, было не до лыж — важно было унести ноги. Но теперь вот без лыж они просто не могли никуда уйти из этой бани.

Конечно, ему все равно, лично ему лыжи уже без надобности. Но Пивоварову они просто необходимы. Без лыж парню никак не добраться до линии фронта — на первом же километре дороги его схватят немцы.

— Пивоварчик, как думаешь, до той деревни далеко?

— Какой деревни?

— Ну той... вчерашней.

— Может, километра два.

Оказывается, так близко, а ему ночью казалось, что они ушли от нее километров на пять, не меньше. Впрочем, меры расстояний и времени, очевидно, потеряли для него истинное свое значение, каждый метр пути и каждая минута жизни невероятно растягивались его муками, искажая нормальное, человеческое восприятие их. На-

верно, теперь ему следовало больше полагаться на Пивоварова.

— А что надо, товарищ лейтенант? — спросил боец.

— Сходить за лыжами. Ночью. Может, не подобрали немцы.

Пивоваров помолчал минуту, что-то прикидывая про себя, потом со вздохом ответил:

— Что ж, я схожу. Пусть потемнеет только.

— Да. Надо, знаешь...

— Ну. Только вы... Как вы тут?..

— Как-нибудь. Я подожду.

Еще не совсем стемнело, но Пивоваров поднялся и, не мешкая, стал собираться в дорогу. Первым делом он стащил с ноги кирзовый сапог и перемотал портянку. Потом вынул из вещмешка два сухаря, сунул в карман; вещмешок переставил ближе к Ивановскому.

— И это... Автомат возьму — ладно?

— Возьми.

— С автоматом, знаете... Увереннее.

Лейтенант видел, Пивоваров не мог сдержать радости, получив такое оружие, о котором мечтал каждый боец на фронте. Автоматы были еще в новинку, пехоту почти сплошь вооружали винтовками. Ивановский сам получил его накануне выхода: генерал, раздобрившись, приказал своему коноводу передать автомат лейтенанту. Конечно, теперь в их положении оружие решало если не все, то многое, на извечной силе оружия держались мизерные их возможности.

— А винтовка пусть здесь побудет. В случае чего вам сгодится.

Лейтенант не возражал, и Пивоваров снял с ремня оба брезентовых подсумка, звякнув обоймами, положил их на пол возле скамейки.

— Винтовка хорошая: бой в самую точку. Старшина пристреливал.

Ивановский, рассеянно слушая бойца, думал, что винтовка, несколько обойм патронов, противотанковая граната и две бутылки с КС — наверно, этого будет достаточно. Повезет — он дождется Пивоварова с лыжами, и, может, они еще что предпримут. А нет — придется стоять за себя до конца.

Пивоваров перемотал и другую портянку, подтянул ремень и с видимым удовольствием закинул за плечо

автомат. Похоже, он уже был готов отправиться в недалекий, но, кто знает, вряд ли безопасный путь.

— Сколько на ваших там? Пять уже? Ну, я за часок обернусь, тут недалеко...

За часок он обернется, и опять они будут вместе. В минуту новой разлуки Ивановский почувствовал, как, в общем, неплохо ему было с этим тихим безотказным парнишкой и как, наверно, нелегко будет теперь в одиночестве пережить этот час. Разобщенность значительно ослабляла их силы. В действие вступала странная, попирающая математику логика, когда два, разделенное на два, составляло менее чем единицу, так же как в других случаях две вместе сложенные единицы заключали в себе больше двух. Наверно, такое с трудом согласовывалось с нормальной логикой и было возможно лишь на войне. Но что это именно так, лейтенант слишком хорошо знал по собственному опыту.

Боец готов был идти, но почему-то медлил, наверно, недоставало еще какой-нибудь самой последней малости в их прощании. Ивановский знал, в чем была эта малость, и он колебался. Появилась последняя возможность заглянуть в ту злосчастную деревню и еще раз попытаться узнать что-либо о штабе. Хотя бы в общих чертах, чтобы не с пустыми руками предстать перед пославшим их генералом и хоть в какой-то степени искупить их досадную неудачу с базой. Но он не мог не знать также, что малейшая неосторожность Пивоварова может обернуться сразу тройной бедой, навсегда покончив с их и без того ничтожной возможностью исполнить свой долг и вернуться к своим.

— Так я пойду, товарищ лейтенант, — решился Пивоваров, поворачиваясь к порогу, и лейтенант сказал:

— Погоди. Знаешь... Я не настаиваю, смотри сам. Но... Может, ты как сумеешь... Что там, в деревне? Похоже ведь — штаб...

Он замолчал. Пивоваров настороженно ждал, но, не дождавшись ничего более, сказал просто:

— Хорошо. Я попробую.

Что-то в Ивановском протестующе вскричало в простреленной его груди. Что значит — попробуй, от пробы немного проку, тут нужна змеиная хитрость, упорство, выдержка, и то сверх всего остается риск головой. Но он не мог этого объяснить бойцу, что-то мешало ему говорить о страшных, хотя и слишком обычных на войне

вещах, к тому же он едва осиливал в себе боль и слабость. И он лишь выдохнул:

— Только осторожно!..

— Да ладно. Вы не беспокойтесь. Я тихонько...

— Да. И недолго...

— Ладно. Вот тут водички вам, — зачерпнув в кадке, боец поставил у изголовья жестянку с водой. — Если пить захотите...

Утомленный трудным разговором, Ивановский прикрыл глаза, слушая, как Пивоваров вышел в предбанник, не сразу, осторожно, отворил там дверь и плотно прихлопнул ее снаружи. Минуту еще Ивановскому слышны были его удаляющиеся за банькой шаги, они быстро глохли, и с ними, казалось, уходила какая-то надежда; что-то для них безвозвратно заканчивалось, не начав нового. Он стал ждать, тягостно, упорно, вслушиваясь в каждый шорох ветра на крыше, каждый отдаленный в деревне звук; он жил в тревожном скупом мире звуков, иногда заглушаемых собственным кашлем и глухим хрипом в груди.

Постепенно, однако, слух его стал притупляться от усталости, вокруг все было тихо, и сознанием завладевали мысли, которые причудливо ветвились во времени и пространстве. Похоже, он начинал дремать, и тогда среди полубредовых видений выплывало что-то похожее на быль или его прошлое, тревожившее и сладостно томившее его одновременно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

До отхода поезда оставалось несколько последних минут, а она стояла на платформе и плакала. Никто, видно, не провожал ее здесь, и никто не встречал, вообще народу в этот утренний час на перроне было немного, и Ивановский, опустившись на ступеньку ниже, шутливо окликнул девушку:

— Эй, красавица, зачем плакать? Другого найдем.

Сказано это было из молодого озорства, дорожной, ни к чему не обязывающей легкости в отношениях между незнакомыми людьми, которые случайно столкнулись и тут же расстаются, чтобы никогда больше не встретиться. Но девушка уголком цветастой, повязанной на шею косынки смахнула слезу и бегло скользнула по нему ис-

пытующим взглядом. Сзади за ним, держась за поручень, нависал Коля Гомолко, оба они были в хорошем, приподнятом настроении и, казалось, любое на свете горе могли обратить в шутку.

— А то давай к нам! До Белостока!

Девушка машинально поправила на тонкой шее косынку, снова скользнула взглядом по лицам двух одетых во все новое военных парней, и на ее губах уже встрепенулась легонькая улыбка.

— А мне в Гродно.

— Какое совпадение! — шутливо удивился Ивановский. — Нам тоже в Гродно. Поехали вместе.

Не заставив себя уговаривать, она подобрала стоявший у ног чемоданчик и ловко ухватилась за поручень уже отходившего поезда. Ивановский поддержал ее, и, несколько смущенная и обрадованная таким оборотом дела, новая пассажирка поднялась на площадку.

— Билет, билет, гражданочка! — тут же потребовал от нее суетливый дядька-проводник, который с флажками в руках спешил к выходу.

— Есть билет! Все в порядке! — тоном, не оставляющим тени сомнения, сказал Ивановский, протискиваясь в вагон.

Он повел девушку в купе, где они размещались с Гомолко, неся в руках ее чемоданчик, показавшийся ему до странности легким, скорее всего пустым.

— Вот, пожалуйста. Можете занимать мою. Я заберусь наверх, — с радушной легкостью предложил Ивановский нижнюю полку и поставил на нее чемоданчик. Она послушно присела у окошка и не сразу, преодолевая видимое смущение, тихо сказала:

— У меня нет билета.

— Что, не хватило?

— Меня обокрали.

— Как?

— Ночью. В поезде из Минска.

Это было хуже. Кажется, они взяли на себя ответственность не по плечу, тем самым нарушая строгий порядок железных дорог. Но и отступать теперь не годилось. Игорь, взглянув на Николая, прочитал на его грубоватом, всегда нахмуренном лице решимость стоять на своем, и сам тоже решился.

— Ничего! С проводником договоримся...

Но договариваться пришлось не только с проводни-

ком, но также и с ревизором, и с бригадиром поезда, и переговоры эти закончились тем, что на следующей крупной станции, куда прибыл поезд, Ивановский сбегал в вокзальную кассу и едва успел захватить последний билет на уже занятое ею место. Билет был до Гродно, и девушка скоро пришла в себя, даже заулыбалась, окончательно пережив свои злоключения. Оправившись от волнений, она оказалась общительной и, в общем, приятной девчушкой, вскоре не без юмора поведавшей им о своем дорожном происшествии. Оказалось, что она живет в Гродно и в Минск ездила к родственникам, которых никогда не видела, и тут такое несчастье в вагоне. У нее все забрали из чемоданчика, кроме того, унесли плащик, жакет и, разумеется, деньги. Но вот она спасена и очень обязана обоим за их великодушное участие и помощь.

— Да ну, о чем разговор! — отмахнулся Ивановский и перевел разговор на другое: — А вы давно в Гродно?

— Там и родилась.

— Ого, значит, местная?

— Разумеется.

— И так хорошо говорите по-русски?

— А у нас всегда дома говорили по-русски. У нас отец русский и тетя, его сестра, тоже русская. Только мама полька.

— А где вы учились?

— В польской гимназии. Русских же не было.

— А как вас зовут?

— Янинка. А вас, если не военная тайна? — сверкнула она в его сторону лукавой усмешкой.

— Меня Игорь. А его — Николай.

— У меня дядя, что в Минске, тоже Игорь. Игорь Петрович. А вы к нам служить едете?

Тут же они переглянулись, это действительно в какой-то мере относилось к области военной тайны, с легкостью, однако, разгаданной их попутчицей. Но что было скрытничать! Действительно, неделю назад после окончания училища они получили назначение в армию, штаб которой размещался в этом ее Гродно.

— Похоже, что так, — неопределенно ответил Ивановский. — А что, это Гродно — ничего городок?

— Очень хороший город. Не пожалеете.

— Думаешь, нас в Гродно оставят? — со свойственным ему скептицизмом сказал во всем сомневающийся Гомолко. — Запрут куда-нибудь в лесной гарнизон.

— О, в лесу хорошо! У нас такие леса!..

Ивановский промолчал. Его отношение к лесу, даже самому замечательному, мало походило на восторги этой девчушки. Еще в училище, в многомесячных летних лагерях, леса, поля, вся эта удаленность от постоянных очагов обитания с их не бог весть каким, но все же устроенным бытом успевали так надоесть к осени, что самая роскошная природа становилась несносной — хотелось в город. Правильно кем-то сказано, что военные не замечают природы, для них важнее погода.

Тем не менее в наивной восторженности Янинки сквозила такая искренность, что Ивановский заулыбался, готовый уже согласиться на любой гродненский лес. И вообще что-то ему все больше в ней нравилось, в этой миловидной, с кокетливо рассыпанными по лбу светлыми кудряшками девушке в цветастом ситцевом платье. Ему уже было неловко за ту фривольную шутку на вокзале в Барановичах, за их навязчивость, которую извиняло разве что их последующее участие.

Поезд с короткими остановками на маленьких станциях шел все дальше на запад. За окном проносились зеленые июньские поля, перелески, величественные сосновые боры, деревни и хутора, хутора повсюду. Ивановский никогда не был в этой стороне Белоруссии, и теперь в нем вспыхнул неподдельный интерес ко всему, что относилось к этой жизни, неведомой для него.

На какой-то небольшой станции их вагон остановился как раз напротив крохотного привокзального базарчика, и Ивановский, выскочив на платформу, торопливо накупил в газетку немудрящей крестьянской снеди — огурцов, редиски, крестьянской колбасы и даже миску горячей, рассыпчатой, вкусно пахнущей молодой картошки. Потом они ели все вместе, парни заботливо угощали девушку, которая совсем уже освоилась в их компании, охотно смеялась, шутила, за обе щеки уплетая огурец с картошкой. После обеда, наверно, что-то уловив в поведении Игоря, Николай благоразумно устранился, забравшись на верхнюю полку, чтобы поспать.

Они же остались друг против друга, разделенные лишь маленьким вагонным столиком.

Ему было хорошо с ней, хотя он все еще не мог до конца побороть в себе какое-то запоздало появившееся чувство вины, словно какую-то неловкость за свои намерения, хотя намерений у него с самого начала никаких

не было. Янинка же, судя по всему, чувствовала себя вполне свободно и естественно. Почти не смущаясь, она сняла маленькие, белые, на пробковой подошве босоножки и, обтянув на коленках короткое платьице, удобнее устроилась на твердом сиденье, все время с какой-то милой хитринкой заглядывая ему в глаза.

— А у нас, знаете, Нёман, — сказала она, именно так, на белорусский манер произнеся это слово, и Ивановский внутренне улыбнулся, вспомнив свое недалекое детство, школу, известную поэму Якуба Коласа и это белорусское название никогда им не виданной реки. — Сразу под окнами крутой спуск, две вербы и плоты у берега. Я там купаюсь с плотов. Утром выбегу раненько, на реке еще легкий туман стелется, вода теплая, нигде никого. Накупаюсь так, что весь день радостно.

— А мне больше озера нравятся. Особенно лесные. В тихую погоду — замечательно, — сказал Ивановский.

— Реки лучше, что вы! В озерах вода болотом пахнет, а в речке всегда проточная, как слеза. Летом на реке прелесть. Да что там! Вот приедем — покажу. Уверяю, понравится.

Конечно, должно понравиться. Он уже был уверен, что это необыкновенное что-то: домик, две вербы на обрыве и плоты у берега, с которых можно нырять в глубокий быстроводный Неман. И он рисовал это в своем воображении, хотя по опыту знал, что самое богатое представление никогда не отвечает действительности. В действительности все иначе — хуже или лучше, но именно иначе.

Янинка держала себя с ним легко и свободно, так, словно они давным-давно были знакомы, а он все продолжал чувствовать какую-то необъяснимую скованность, которая не только не проходила, но как будто все больше овладевала им. Игоря тревожило, что, бесцеремонно окликнув ее в Барановичах, он выказал себя человеком легкомысленным, склонным к мелким дорожным авантюрам и что она не могла не понимать этого. Хотя никакого легкомыслия в том не было, была простая ребяческая игривость, может, и не совсем приличествующая двадцатидвухлетнему выпускнику военного училища, только что аттестованному на должность командира взвода. Тогда, на перроне, он толком и не рассмотрел ее, только увидел — рассматривал он ее теперь широко раскрытыми, почти изумленными глазами, которые, как

ни старался, не мог оторвать от ее живого, светящегося радостью лица.

К концу дня, подъезжая к Гродно, он уже знал, что не расстанется с нею, — она все больше очаровывала его своим юным изяществом и влекла чем-то загадочным и таинственным, чему он просто не находил названия, но что чувствовал ежеминутно. О ее дорожных злоключениях они не говорили, похоже, она забыла о них и только однажды озабоченно двинула бровями, когда переставляла на полке легонький свой чемоданчик.

— И даже белила забрали. Папе везла. У нас теперь белил не достать.

— А он что, маляр? — не понял Игорь.

— Художник, — просто сказала Янинка. — А с красками теперь плохо. Раньше мы краски из Варшавы выписывали.

Вечером поезд прибыл на станцию Гродно, и они, слегка волнуясь, сошли на перрон. Янинка, размахивая своим пустым чемоданчиком, довела их до штаба армии, благо тот был ей по пути, но в штабе, кроме дежурного, никого не оказалось, надо было дожидаться утра. Переночевать можно было тут же или в гарнизонной гостинице. Лейтенанты, однако, не стали искать гостиницу и внесли свои чемоданы в какую-то маленькую, похожую на каптерку комнатку с тремя солдатскими койками у стен. Гомолко сразу же начал устраиваться на одной из них, что стояла под нишей, а Игорь, едва смахнув с сапог пыль, поспешил на улицу, где на углу под каштаном его уже дожидалась Янинка. Она обрадовалась его появлению, а еще больше тому, что он был свободен до завтра, и они пошли по вечерней улице города.

За те два часа, что он провел в штабе, Янинка успела переодеться, и теперь на ней была темная юбка и светлая шелковая кофточка с крохотным кружевным воротничком; твердо постукивали по тротуару высокие каблучки модных туфель. Принаряженная, она казалась взрослей своих юных лет и выше ростом — почти вровень с его плечом. Они шли вечернею улицей, и ему было приятно, то ее тут многие знали и здоровались, мужчины — со сдержанным достоинством прикладывая руку к краям фасонистых шляп, а женщины — вежливым кивком головы с доброжелательными улыбками на приветливых лицах. Она отвечала с подчеркнутой вежливостью, но и с каким-то неуловимым достоинством и сдер-

жанно вполголоса рассказывала о попадавшихся на глаза достопримечательностях этой нарядной, утонувшей в зелени улицы.

— Вот наша Роскошь, так она называлась при Польше. Ничего особенного, но вот церковь, построенная в память павших на русско-японской войне девятьсот пятого года. Низенькая, правда, но очень аккуратная внутри церковка. Я там крестилась. А дальше, смотрите, видите такие забавные домики, вон целый ряд, с фронтончиками вроде гребешков. Это дома текстильщиков из Лиона. Еще в семнадцатом веке богач Тизенгауз выписал из Лиона ткачей и построил для них точно такие дома, как во Франции. А это вот домик польской писательницы Элизы Ожешко, она здесь жила и умерла. Знаете, писала интересные книжки.

Городок ему действительно нравился скромным, но обжитым уютом своих вымощенных брусчаткой улочек с узенькими, выложенными плиткой тротуарчиками, отделанными каменными скосами и бордюрами. На стенах многих домов густо зеленел виноград, некоторые из них до третьих этажей были увиты его цепкими лозами. Но больше всего он ждал встречи с расхваленным Янинкой Неманом, который, как она сказала, протекал тут же, разделяя город на две неравные части.

Возле готической громады костела улица сворачивала в сторону, они миновали торговые ряды, городскую ратушу и вышли на угол, где под каштанами устроилась мороженщица со своей коляской. Янинка, которая все время шла рядом, легонько тронула его за локоть.

— Игорь, можно мне попросить вас?

— Да, пожалуйста, — с полной готовностью исполнить самую невероятную ее просьбу произнес он.

— Знаете, я давно мечтала... Ну, в общем, мечтала, как... Когда меня парень угостит мороженым.

— Ах, мороженым...

Игорь почти ужаснулся, подумав, какой же он, в сущности, вахлак, как не догадался сам! Ему просто невдомек было, чего могла пожелать здесь его богиня.

— Проше, паненко! Дзенькуе гжечнэго пана, — поблагодарила мороженщица, когда он отказался от нескольких копеек сдачи.

— Дзенькуе, пани Ванда, — в свою очередь церемонно поблагодарила Янинка, принимая из рук пожилой женщины вафельный стаканчик.

В конце коротенькой улицы над липами засиял такой широкий простор, какой может открыться только с очень высокого холма, и они увидели каменный мост через ров. Это был въезд в древний, с полуразрушенными стенами замок, по другую сторону от которого в глубине старинного парка высился роскошный дворец за фигурной оградой.

— Замок короля Польши Батория, — торжественно объявила Янинка. — А это Новый Замок. А теперь глянь туда. Видишь?

Он глянул через каменный, почти в человеческий рост парапет и внутренне ахнул от головокружительной высоты, на которой они оказались, — далеко внизу по каменным ступеням лестницы двигались фигурки людей, расходящиеся в обе стороны набережной, плавно огибавшей этот берег Немана и где-то терявшейся под густой крышей огромных деревьев.

— Ну, видишь? Как это нравится? — прижавшись к его локтю, добивалась Янинка.

Древние, дышащие таинственной стариной стены замков, этот прочный, перекинутый над каменной лестницей мост, огромные массивы зелени на холмах и склонах, высоченный, господствующий над всем каменный столб городской каланчи, конечно, не могли ему не понравиться, и он готов был смотреть на это до вечера. Но вот Неман с такой высоты никак не поразил его воображение — это была обычная, средней величины, затиснутая высокими берегами река. Зато Янинка была в восторге именно от Немана и без умолку щебетала рядом:

— Посмотри, посмотри, какое течение! Видишь, быстрина. Вон там, под вербами, такие виры! Ого! Только сунься — закрутит, понесет — не выберешься.

Они прошли несколько назад и по той самой лестнице спустились на набережную. Нет, все-таки река была прекрасной, очевидно, с высоты он просто не оценил ее должным образом. По ее правому берегу шла вполне благоустроенная, обсаженная деревьями набережная, справа высились огромные, изрезанные тропинками откосы с остатками крепостных стен наверху. Река плавным изгибом скрывалась за недалеким поворотом, сплошь занятым огромными шапками верб, там где-то оканчивался город и синел хвойный лес, в который садилось красное солнце. Они медленно шли вдоль Немана, и Янинка без умолку говорила и говорила что-то, не очень обязательное в

минуту вечерней благости, а он думал, как все странно устроено в жизни. Ведь до сегодняшнего утра он и не подозревал о ее существовании на этой земле. А теперь вот, проведя с ней день, он уже не знал, как быть дальше, — дальнейшая жизнь без нее просто лишалась для него всякой радости.

Они шли долго вдоль Немана и, когда солнце совершенно скрылось за зубчатою стеной леса, повернули обратно к городу. Слушая частый перестук ее каблучков рядом, он смутно ощущал, как что-то в его жизни странным образом переиначивается, обретая еще неведомый, но очень значительный смысл. И он был рад тому, почти счастлив. Рядом едва заметно струилась блестящая гладь Немана, людные днем берега к ночи заметно опустели, уставшие за день удильщики один за другим сматывали свои удочки и уходили в город. Меж темных прибрежных камней тихо плескались волны и шатко покачивались черные, пахнущие смолой рыбачьи лодки. Огромные ветлы, нависнув над набережной, погружали ее в непроницаемый ночной мрак, в котором совершенно исчезали прохожие. Откуда-то со дворов несло сладковатым запахом дыма, слышалось мерное дыхание готовящегося к ночи города, щедрая природа которого дышала благостным покоем извечных своих установлений, казалось, не подвластных никому на свете.

Янинка заметно приблизилась к нему, наверно, окончательно преодолев что-то разделяющее их днем, и теперь шла совсем рядом, легонько касаясь пальцами его локтя. Как-то незаметно для него она перешла на «ты», и он тоже несколько раз сказал ей «ты», отчего обоим стало удивительно просто: исчезла дневная неловкость и непонятная, долго донимавшая его натянутость.

Как только они ступили в сгустившийся под ветлами сыроватый мрак ночи, Янинка вдруг отпрянула в сторону и с непонятной для него прытью бросилась по травянистому склону вверх. Он остановился в нерешительности, подумав о своих хромовых выходных сапогах, но она из темноты подбодрила его — давай, давай! И сама быстро полезла куда-то меж колючих кустов, все выше на кручу. Он не видел, что было наверху, полнеба там закрывало что-то похожее на раскидистую крону дерева, но он почувствовал в ее голосе азарт тайны и тоже полез в кустарник. Скинув с ног туфли, Янинка взбиралась все выше, приговаривая ему вполголоса:

— Сейчас ты что-то увидишь... Сейчас, сейчас...

Минуту спустя, одолев самое крутое место и исцарапав до крови руки, он оказался на краю неширокой, обнесенной решеткой террасы, тесаные камни которой еще источали густое, накопленное за день тепло. Рядом, закрыв половину неба, высилось могучее старое дерево и поднималась отвесная стена какого-то здания. Вокруг было тихо и темно, снизу из-под верб едва доносился тихий плеск Немана, пахло известкой от стен и укропом с недалеких, видать, огородов.

— Ну, ты понял? Ты понял, что это такое?..

— Ничего не понял...

— Наша церковь — Коложа... Двенадцатый век, ты понял?

— Понятно. Посмотреть бы...

— Посмотришь, — просто заверила Янинка. — Успеешь. А теперь. А ну иди сюда...

Она снова метнулась в темень, легко пролезла сквозь нечастую решетку ограды, перебралась через какую-то стену, и ее светлая кофточка совершенно исчезла из поля его зрения. Не желая отставать от нее, он лез в темноте следом, пока не очутился на небольшом травянистом дворике. Небо тут сплошь закрывали деревья, было темно, и в этой темноте едва брезжила серая стена рядом. Чутко прислушиваясь к тишине, Янинка пробралась босиком к низенькой двери в нише, бросив туфли, потянула на себя створку двери, заговорщически шепнув ему: «Лезь!» Он с трудом протиснулся в узкую щель, изнутри придержал створки, между которых проскользнула она. Когда створки сомкнулись, их объял такой глухой мрак, что он совершенно перестал видеть ее и, чтобы не потерять, легонько придерживал за плечи. В осторожной тишине что-то глухо застучало-захлопало вверху. Янинка вздрогнула, тут же поспешив успокоить его:

— Не бойся: это голуби.

— Я не боюсь, — шепотом ответил Игорь, хотя ему было интересно и жутковато одновременно.

— Это иконостас, это аналой, а здесь вот...

Неслышно ступая в темноте по гулкому каменному полу, она подвела его к какой-то стене, жестом заставила присесть, затаиться и негромко вскрикнула:

— О-о!

— О-о! О-о! О-о! — отозвалось в разных местах множеством негромких голосов.

— О-о-о! — повторила она погромче.

— О-о-о-о! О-о-о-о!.. — покатилось куда-то вдаль, под невидимые во мраке своды притворов и ушло вверх, заглохнув, наверно, в звоннице.

— Голосники. Понял?

— Какие голосники?

— Не знаешь? Эх ты!.. Иди сюда... Вот сюда, сюда...

Она снова повела его за руку в темноту, как зрячий водит слепого, где-то остановилась, слегка подтолкнув его в бок.

— Вот щупай. Ты же большой, наверно, достанешь.

Он начал ощупывать шершавую стену и скоро наткнулся на какие-то гладкие, отполированные впадины в ней, но понять ничего не мог, хотя ни о чем не спросил и не удивился. Он уже привык за сегодня к такому обилию загадок и впечатлений, что разобраться в них, паверно, нужно было время.

А времени как раз было в обрез, самая короткая ночь в году быстро бежала навстречу утру, и, когда они выбрались из церкви, над городом уже меркли звезды и далекий солнечный отсвет брезжил на восточном закрайке неба. Янинка, торопясь и не давая Игорю опомниться, все говорила и говорила, преисполненная душевной щедрости, тем значительным и интересным, что видела, знала, что непременно хотела разделить с ним. Подхватив туфли, она уже лезла куда-то через колючие заросли шиповника на обрыве, и он едва успевал за нею, уже не заботясь о своих выходных сапогах, которым, наверно, досталось.

— Иди, иди сюда! Ну что ты такой неловкий? Не бойся, не свалишься. Я поддержу...

Перейдя какой-то овраг, они снова выбрались на набережную совсем уже сонной, слегка парившей реки, и Янинка сбежала еще ниже — по голым камням к воде.

— Иди сюда. Пока отец спит, я тебе покажу мой цветник. Уже зацвели матейки. Знаешь матейки? Пахнут на рассвете — страх!

Скользя на кожаных подошвах, он спустился по каменному откосу вниз, к лодке, где она уже орудовала веслом, подталкивая ее ближе к берегу. Он вскочил в лодку и едва успел ухватиться за борт, как Янинка развернула ее по течению.

— Так будет ближе. А то по мосту пока дойдешь...

— Ух ты какая! — восхищенно воскликнул он.

— Какая? Нехорошая, да? Правда, нехорошая?

— Прелесть!

— Какая там прелесть! Вот проснется отец, он задаст этой прелести.

Сильное течение на середине понесло лодку вниз, но она сумела выгрести единственным веслом к берегу, и скоро они подплыли к какому-то забору под толстенными комлями верб.

— А ну ухватись! А то унесет.

Он успел ухватиться за какой-то скользкий трухлявый столбик в воде, она соскочила на берег, и они вытащили лодку на траву.

— Утром найдут. А теперь... Вот этим переулочком, а потом вдоль сада, перейдем картошку, и там, под костелом, на берегу наш домик. Ты не очень устал? — вдруг заботливо спросила она, преданно заглядывая ему в глаза.

— Нет, ничего...

Они пошли окраинным, заросшим муравой переулком. Она несла в обеих руках свои туфли, на ходу слегка касаясь его плечом, и он чувствовал тепло ее тела, проникавшее сквозь тонкую материю кофточки, ее близкое дыхание, непонятный, волнующий запах ее волос и думал, как ему невероятно здорово повезло сегодня. Он уже был благодарен своей невоспитанности, позволившей ему ту нелепую шутку в Барановичах, благодарен этому городу с его древностями и этой ночи, такой непохожей на все множество прожитых им ночей.

— Янинка, — тихо позвал он, вплотную приближаясь к ней сзади, но она лишь торопливо прибавила шагу.

— Янинка...

— Вот обойдем этот домик, потом свернем на тропку, перейдем сад и...

— Янинка!

— Давай, давай! Не отставай. А то скоро папа встанет, да как спохватится...

По заросшей росистыми лопухами тропке вдоль забора они взобрались выше и пошли быстрее. Начинало светать. Рядом в густом мраке садов еще дремало ее Занеманье. Хорошо утоптанная стежка вывела их на край зацветавшего белыми звездочками картофельного поля, где сильно запахло молодой ботвой и свежей землей. Янинка быстро шла впереди, и он, путаясь в ботве

сапогами, едва поспевал за ней. Уже совсем близко на светлеющем фоне неба были видны островерхие купола костела, за которым где-то в теплой речной воде тихо плескались ее плоты. Оставалось пройти еще, может, сотню шагов, отделявшую ее от костельной ограды, как в ночную тишь еще не проснувшегося города вторгся странный, чужой, поначалу тихий, но быстро крепнувший звук. Янинка впереди остановилась.

— Что это? Что это гудит? Это самолеты?

Да, это приближались самолеты, но он все еще не верил, что так нелепо и не вовремя начинается то самое страшное, что последние недели скверным предчувствием жило, угнетало людей. Цепляясь за слабенькую надежду, он зажал в себе испуг, страстно желая, чтобы это страшное все же не сбылось, прошло мимо.

Испуганная Янинка, будто ища защиты, метнулась к нему, и только он холодеющими руками обнял ее, как близкие могучие взрывы бросили их на твердые стебли картофеля. Тугие горячие волны ударили в спину, густо забросав их землей...

Переждав первый оглушительный грохот, он поднялся, рядом вскочила Янинка с разметанными по плечам волосами, в испачканной кофточке, зачем-то стараясь надеть на грязную ногу туфлю. Оглушенный взрывами, он не сразу услышал ее до странности слабый голос:

— На мост беги! Скорее!!! Там за костелом мост...

Ну конечно, ему надо было на мост, в штаб, он уже знал, что́ случилось, и иначе поступить не мог.

Не оглядываясь больше, сшибаемый ударами взрывов, падая и вскакивая, он помчался на мост, унося в горячечном сознании едва схваченный зрением испуганный образ девушки с туфлей в руках, оставшейся среди росистой, зацветающей ботвы картофеля...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Его вырвали из забытья вдруг долетевшие откуда-то выстрелы. Сначала ему показалось: это случайные выстрелы в здешней деревне, но, обеспокоенно прислушавшись, он понял, что доносились они с другой, противоположной деревне, стороны. Именно с той стороны, откуда они приволоклись сюда ночью и куда ушел Пивоваров. Мертвея от скверного предчувствия, Иванов-

ский перестал дышать, вслушался, но никакого сомнения не оставалось — стреляли оттуда.

Наверное, самые первые выстрелы он пропустил не расслышав, он спохватился, только когда звучно ударила винтовка и в тишине длинно протрещал автомат. Ну, конечно, это был его автомат — немецкие стреляли иначе, это он чувствовал точно. Ивановский оперся на локоть, но в груди что-то сдавило, от боли перехватило дыхание, он закашлялся, сплюнув запекшиеся кровяные сгустки, и снова без сил откинулся на скамье. Пока он кашлял, кажется, там затихло и, сколько он ни вслушивался потом, ничего больше не было слышно.

Едва справляясь с охватившим его волнением, лейтенант нащупал подле лавки часы — было сорок минут восьмого, значит, Пивоваров отсутствовал около двух с половиной часов. Если до той деревни лишь километр, пусть два, то он уже должен был возвратиться. Но если его нет, значит... Значит, он пробрался в деревню, но не сумел уйти незамеченным, и вот его подстерегла та же участь, что и вчера Ивановского.

Лейтенант опять приподнялся, вслушался, попытался заглянуть в едва брезжившее в черной стене окошко, но не дотянулся до него, сел на скамью. Ему было дурно, огненно-красные круги плыли перед глазами. Рукой он нащупал ставшую удивительно тяжелой винтовку. Но к чему теперь была винтовка — в баньке его пока никто не тревожил, никого поблизости не было. Вряд ли он мог что сделать, чтобы облегчить участь Пивоварова, явно попавшего в беду в деревне, но и ничего не делать он тоже не мог. С огромным усилием, хватаясь рукой за стены, он вышел в предбанник и ногой толкнул дверь.

Была зимняя ночь — как все ночи в ноябре этого года — с ветром, низким беззвездным небом, тусклым, в сутеми утопавшим пространством. Снег лежал свежий, чистый, и на нем ясно было видно несколько глубоких следов Пивоварова, они вели вдоль стены бани и сворачивали за угол.

Задыхаясь от налетов порывистого ветра, Ивановский подождал минуту, вслушиваясь в глухую тишину ночи, но ни выстрелов, ни шагов, ни криков — ничего больше не было слышно. Тогда, не прикрывая двери, он опустился у порога, прислонясь к бревнам, и сидел так час, а может, и больше. Он весь был во власти тягостного, болезненно-напряженного ожидания, ясно сознавая, что

если Пивоваров в ближайшие минуты не явится, то он не явится уже никогда. Но он не явился ни в ближайшие минуты, ни в ближайшие за ними часы. Когда уже ждать стало невмочь, Ивановский, не поднимаясь, на четвереньках дотянулся до кубика своих часов за порогом — было без десяти минут десять.

«Зачем же я посылал его? Зачем посылал? — раскаянно думал лейтенант. — Какие тут, к чертям, лыжи? Какой штаб? Лишь погубил его, да и себя тоже...»

Конечно, без Пивоварова он ничего уже не мог, но если он сам был обречен, то следовало подумать, как спасти хотя бы бойца. А он послал его на такое дело, где на удачу приходился один шанс из тысячи. Немцы могли устроить засаду, посадить в поле секреты и наверняка усилили охрану в деревне — не так просто было пролезть между ними. Если не удалось это ему прошлой ночью, когда штабисты были еще не пуганы, то тем более не удастся нынешней.

«Ну так что же теперь? Что?» — в тысячный раз спрашивал себя Ивановский, скрючившись сидя возле двери бани. Впрочем, он уже знал, что — он только тянул время, до последней возможности надеясь, что Пивоваров, может, придет. Но когда уже стала совершенно отчетливой вся тщетность его надежды, лейтенант, опираясь о стены, поднялся на ноги.

Он испытывал себя, чтобы знать, на что он способен или, может, не способен уже ни на что. Хотя и с трудом, но держаться на ногах он еще мог, особенно если иметь дополнительную под руками опору. Теперь опорой ему служили стены, а в поле он сможет опираться на приклад винтовки. Ноги кое-как повиновались ему, хуже было с дыханием и с головой тоже. Но он подумал, что голова, быть может, отойдет на ветру в поле, а с дыханием он как-нибудь сладит. Если помаленьку, с частыми остановками, экономно расходуя силы...

Его намерение уже целиком завладело им, и лейтенант вернулся в баньку, рассовал по карманам обоймы из подсумков. Вещмешок он не смог поднять на себя и оставил его на скамейке, зато взял с собою гранату. Дольше он уже не мог оставаться здесь ни минуты и, хватаясь за двери, вышел наружу.

Шатко, едва не падая, но с упорной, трудно объяснимой решимостью он прошел шагов двадцать по четким следам Пивоварова и только потом остановился. Винтов-

ка оказалась куда более тяжелой, чем казалось вначале, но он на нее опирался, когда готов был упасть, и особенно в минуты остановок. Сам бы он уже не устоял на дрожащих от слабости своих ногах. Отдышавшись, каким-то странным загнанным взглядом поглядел назад. Там сиротливо темнела их банька, где они благополучно пережидали сутки и куда ему, судя по всему, уже не вернуться.

Во второй заход он не одолел, наверное, и полутора десятков шагов и, пошатываясь, остановился от кашля. Кашель был самое худшее в этом его пути — глубинной нутряной болью он пронизывал его до слепящей темноты в глазах. Но Пивоваров, кажется, неплохо перевязал, подсохшая корка на ране хотя и причиняла боль, но не давала сползти бинту, кровь из раны больше не шла. Если бы только не эта адская боль внутри!

Он хотел идти как можно скорее, и теперь показателем его скорости была банька. Едва удерживаясь на ногах, он сделал уже четыре или пять остановок, всякий раз оглядываясь, но банька, как нарочно, все серела и серела в сутеми, с большим нежеланием отдаляясь в ночь. Прошло, наверно, не меньше часа, прежде чем серая темень окончательно поглотила ее.

Вокруг был снег, ветер и поле — лейтенант понял, что вроде бы достиг середины пути, теперь возвратиться он бы уже и не смог, на это у него просто не было сил. Он и не оглядывался, сзади уже ничего не могло быть — все хорошее или плохое ждало его впереди.

Потом он два раза подряд упал, не устоял на ногах, вставал не сразу, полежав на снегу, пережидая боль потревоженной раны. Другой раз ему и вовсе не повезло — упал он неловко, спиной, болевой удар был настолько глубок, что на короткое время он, кажется, потерял сознание. Потом он очнулся, но долго лежал на снегу, все время чувствуя под собой округлость гранаты. Но все-таки нашел силы подняться, сесть, потом, пошатываясь, встать на ноги и сделать несколько первых, самых трудных шагов.

Он старался ни о чем не думать, он даже не осматривался, зато не отрывал взгляда от снега, по которому тянулись глубокие следы Пивоварова. Они шли в одном направлении, похоже, боец довольно уверенно помнил их путь из вчерашней деревни и быстро шел к ней. Ивановский теперь больше всего боялся сбиться с этого следа.

А сбиться было легко, особенно когда накатывала очередная волна немощи и темнело в глазах. Но тогда он останавливался, уперев в землю винтовку, и ждал, пока пройдет приступ слабости. Кроме того, ему сильно докучал ветер — не давал смотреть вдаль, выжимал слезы из глаз; иногда его сильные порывы так толкали Ивановского, что тот, пошатнувшись, едва не валился с ног. Но он упорно противостоял ветру, собственной слабости, боли. Он понимал, конечно, что вряд ли встретит Пивоварова, скорее всего никогда больше не увидит бойца, но все равно должен был пройти тот роковой путь, на который услал его. Конечно, он слишком многими рисковал на этой войне, слишком многие по его вине нашли себе на ней смерть. Но этот его риск отличался от всех — он был последним, и потому Ивановский должен был довести его до конца. И если в этой дьявольской игре со смертью он не сберег многих, то не берег и себя, и лишь это оправдывало его командирское право распоряжаться другими. Иного права на войне он не хотел признавать. В худшем случае, прежде чем умереть самому, он должен убедиться, что где-нибудь в этом поле не лежит, истекая кровью, его Пивоварчик.

Он шел и шел — шатко, расслабленно, то и дело останавливаясь и опираясь на тяжелую длинную винтовку Пивоварова. Однажды, когда от усталости подкосились ноги, сел на снегу, долго отдыхал. Но подняться опять на ноги стоило такого мучительного труда, что больше он не рисковал садиться и отдыхал, опираясь на приклад винтовки. Останавливался он теперь через каждые четыре или пять шагов. У него уже не хватало дыхания.

Опять ему показалось, что он прошел километра три, если не меньше, и он усомнился в правильности слов Пивоварова относительно расстояния до этой деревни. Трудно было поверить, что она в километре-двух от их баньки. Жаль, на этот раз он не прихватил с собой часов и не мог проследить за временем. Но по каким-то неуловимым признакам ему показалось, что деревня уже недалеко, похоже, он находился в ее окрестностях. Следы Пивоварова, однако, все тянулись и тянулись, казалось, им не будет конца в этом поле. Где боец мог находиться сам, трудно было угадать, хотя Ивановский готовился к самому худшему. Но могло статься и так, что он, как и они вчера, ушел от погони и, раненный, где-нибудь скрылся в поле.

Ивановский едва не прошел мимо него, так как шаги на снегу все тянулись куда-то, и впереди ничего не было видно. Но вдруг в стороне, в мутной тьме ночи среди заметенного снегом бурьяна его внимание привлекло какое-то неясное движение, вроде бы мельтешение чего-то. Сперва он даже и не взглянул туда, лишь скользнув взглядом по снегу, но потом остановился, вгляделся, и что-то в нем смятенно содрогнулось внутри. Тихо, почти беззвучно, на ветру трепыхалось что-то вроде обрывка бумаги, хотя было непонятно, откуда тут могла взяться бумага. Он сошел со следов Пивоварова и, не в силах оторвать взгляда от недалекой гривки бурьяна, заплетаясь ногами в глубоком снегу, потащился туда.

Еще издали и как-то вдруг он различил белый неясный холмик в этом бурьяне, характерную линию лежащего человеческого тела, черные голенища сапог в снегу. Он остановился. В сознании его мелькнуло странное недоумение — кто может лежать тут, в ночном поле, в такую стужу? Лейтенант почему-то не решился признаться в том, что увидел Пивоварова, наверно, слишком нелепым было видеть в этой позе его бойца, казалось, это кто-то другой, случайный, чужой здесь человек.

Но все же это был он, его последний боец, его Пивоварчик. Он неподвижно лежал в разодранном маскхалате, без шапки, с обсыпанной снегом стриженой головой, раскинутыми ногами. Лейтенант не сразу заметил, что снег вокруг был густо истоптан множеством ног и в нем местами чернели круглячки автоматных гильз.

Доковыляв до бурьяна, Ивановский выронил из рук винтовку и упал рядом с бойцом. Озябшими пальцами он схватил его голову, приподнял, но, запорошенная снегом, она давно, видно, утратила всякие признаки жизни и была просто мертвой головой человека, лишенного малейшего сходства с его Пивоваровым. Ивановский принялся ощупывать его тело — разодранный маскхалат смерзся в крови, телогрейка тоже примерзла к окровавленному телу бойца, наверно, с близкого расстояния расстрелянного очередью. Снег под его телом и возле тоже смерзся твердыми корявыми буграми.

— Что же они с тобой сделали? Что они сделали? — стыл на его губах недоуменный вопрос. Но, что они сделали, и так было ясно. Видно, настигнутый ими Пивоваров был расстрелян в упор. Возможно также, они расстреляли его раненого, лежавшего на снегу в этом бурья-

не, и теперь из множества дыр в его телогрейке торчало светлое клочье ваты. Карманы брюк были вывернуты, гимнастерка расстегнута, худая окровавленная грудь засыпана снегом. Автомата нигде поблизости не было видно — автомат, наверное, забрали немцы.

Поняв, что все уже кончено и никуда больше идти не надо, Ивановский свял, обессилел и молча сидел, уронив руки на снег. Рядом лежало бездыханное тело бойца. Необычайная опустошенность овладела лейтенантом, ни одного желания, ни одной ясной мысли не было в его голове. Лишь где-то, на самом дне его чувств, медленно тлел какой-то забытый уголек гнева, почти озлобления. Этот уголек разгорался, однако, все более, чем дольше шло время. Но он уже не имел конкретной направленности против кого-то — скорее это догорала его человеческая обида на такой его неудачный конец. Теперь Ивановский уже знал точно, что не выживет, не спасется, не пробьется к своим, что и его смерть будет на этом же поле, меж двумя безвестными деревнями, и никто уже не доложит начальству ни об их гибели, ни об этом немецком штабе. Штабу, разумеется, никто ничего сделать не сможет, потому что наши далеко, а мертвые лишены малейшей возможности что-либо сделать. И ему ничего более не оставалось, как сидеть рядом и ждать, когда мороз и ранение отнимут у него последние остатки жизни. В чем-то это было даже заманчиво, так как освобождало его от изнурительной борьбы с немцами, болью, собой. Чтобы закончить все побыстрее, может, имело смысл выдернуть чеку из противотанковой гранаты и отпустить планку... Ее мощный взрыв растерзает их тела в клочья, разметет вокруг снег, выроет в земле небольшую воронку, которая и станет для них могилой. Если его кончина затянется или ему окажется невмоготу, видно, так и придется сделать. Иного уже не оставалось. И пусть простят его Родина, люди — не его вина, что не выпало ему лучшей доли и не обошло его то самое страшное на войне, после которого ничего уже не бывает.

Наверное, он бы недолго протянул на морозном ветру и навсегда бы остался возле своего напарника, если бы в скором времени до его слуха не донеслись из ветреной тиши странные звуки. По-видимому, слух был самым выносливым из его чувств и бодрствовал до последнего предела жизни; теперь именно слух связывал его с окружающим миром. Сперва Ивановский подумал, что ему почу-

дилось, но, вслушавшись, он отогнал от себя все сомнения — в самом деле где-то урчала машина. И он вспомнил, как прошлой ночью в поле наткнулись на автодорогу, ведущую в село, но где она могла быть сейчас, он не имел представления. Тем не менее где-то она была — совсем недалеко в ночной серой темени по ней шла машина. Вскинув голову, лейтенант напряженно и долго прислушивался к натужному гулу мотора, пока его звук совершенно не пропал вдали.

Это неожиданное событие растревожило его почти уже успокоенное сознание; новое, противоречащее его чувствам желание зародилось в его душе. Он перестал думать о своем несчастье, насторожился, гневное отчаяние оформилось в цель — последнюю цель его жизни. Эх, если бы это случилось раньше, когда у него было немножечко больше сил!..

Боясь опоздать, он завозился на снегу, подтянул под себя раненую ногу, как-то оперся на руки. Сначала поднялся на колени и затем попытался встать на ноги. Но он не сумел удержать равновесие и упал плечом в снег, глухо, протяжно застонав от боли в груди. Минут десять лежал, сцепив зубы и боясь глубже вдохнуть, потом начал подниматься опять. С третьей попытки это ему удалось, он наконец утвердился на дрожащих ногах, пошатнулся, но все же не упал. Он забыл взять винтовку, которая лежала чуть поодаль, у ног Пивоварова, но теперь у него уже не было уверенности, что, нагнувшись за ней, он не упадет снова. Поразмыслив, он так и не рискнул нагнуться, чтобы не упасть, а быстро, как бы с разбегу, пошел по снегу.

Он изо всех сил старался соблюсти равновесие и удержаться на ногах, но ему все время мешал сильный ветер. Кажется, тот все усиливался и временами так размашисто толкал в грудь, что устоять на ногах было невозможно. И он снова упал, отойдя от Пивоварова, может, шагов на тридцать, тут же попытался подняться, но не сумел. Превозмогая сильную боль в боку, полежал, уговаривая себя не спешить, выждать, более расчетливо тратить свои слабые силы. Но желание скорее дойти до дороги так сильно завладело им, что рассудок уже был плохой для него советчик — теперь им руководило чувство, которое становилось сильнее доводов разума.

И он снова поднялся, сперва на четвереньки, потом на колени, потом слабым рывком и огромным усилием — на

обе ноги. Самое трудное было удержаться на них именно накануне самого первого шага — потом обретала силу инерция тела, и первые несколько шагов давались сравнительно легко. Но следующие опять замедлялись, его вело в сторону, затем в другую, и наконец он падал, вытянув перед собой задубевшие от мороза руки.

Его вынужденные остановки после падения становились все более продолжительными, иногда казалось, что он уже и не поднимется, в ускользающем сознании временами прерывалась связная цепь времени, и он вдруг прохватывался в недоумении: где он? Но он твердо знал, куда ему надо, ни разу не спутал направления, в полузабытьи ясно памятуя последнюю цель своей жизни.

Но вот, однажды упав, он понял, что подняться больше не сможет. На эти вставания тратилась масса сил, которых у него оставалось все меньше и меньше. Он лег на жгуче морозном снегу и лежал долго. Наверное, слишком долго для того, чтобы когда-либо подняться. Но в самый последний момент он вдруг понял, что замерзает, и это испугало его: замерзнуть он уже не мог позволить себе. И тогда он просто пополз, разгребая локтями и коленями мягкий пушистый снег.

Скоро, однако, оказалось, что ползти вовсе не легче, может, даже труднее, чем плестись на ногах, — лейтенант до конца выдыхался и падал ничком. Это была бесконечная слепая борьба со снегом, но она же имела и преимущество перед ходьбой — не надо было вставать на ноги, что сберегало остаток его совершенно истощенных сил. И он греб, замирал на снегу и опять греб, пока хватало воздуха в легких. Весь его путь состоял из этого исступленного копания в снегу и длительных промежутков полузабытья. Но сознание его все-таки не выключалось надолго, оно было сильно целью его последних минут и властно диктовало собственную волю его изнуренному телу.

Грудь его распирало от кашля, но он не мог ни вздохнуть, ни откашляться — он боялся приступа боли, которого бы, наверно, уже не выдержал. Тем не менее однажды кашель так сильно сотряс его, что он, задохнувшись, упал головой в снег. Когда он кое-как откашлялся, то ощутил на губах теплый соленый привкус. Он сплюнул, ясно увидав на снегу кровь, смерзшимся рукавом маскхалата вытер губы, опять сплюнул, но кровь все шла. На снег с подбородка текла темная небыстрая

струйка, и он совершенно обессиленно лежал на боку, в растерянности ощущая, как медленно уходит из тела жизнь. Однако, полежав так, он снова испугался приближения неизбежного, хотя он и знал, что когда-нибудь это должно случиться. Но теперь его больше занимал вопрос: где дорога? Ему надо было успеть добраться до нее прежде, чем его настигнет смерть. Вся его борьба на этом поле была, по сути, состязанием со смертью — кто кого обгонит? Похоже, теперь она настигла его и шла по пятам в ожидании момента, чтобы сразить наверняка.

Но нет! Черт с ней, с кровью, авось вся не вытечет. Он чувствовал: что-то в нем еще оставалось — если не силы, так, может, решимость. Он пролежал полчаса, жуя и глотая снег, чтобы остановить кровь, и как будто остановил ее. От холода сводило челюсти, но губы утратили солоноватый привкус, и он медленно, с остановками, пополз дальше, волоча на поясе единственную гранату.

Когда из снежных сумерек перед ним выплыли сизые силуэты берез, он понял, что это дорога и что он наконец дополз до нее. Великое напряжение почти всей ночи разом спало, в глазах его помутилось, он лег простреляnной грудью на морозный снег в прорытой им борозде и затих, потеряв сознание...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Он все-таки пришел в себя, совершенно закоченев на морозе, и сразу же вспомнил, где он и что ему надо. Его последняя цель жила в нем, даже когда исчезало сознание, он только не знал, сколько прошло времени в его беспамятстве и на что он еще способен. В первую минуту он даже испугался, подумав, что опоздал: над дорогой лежала тишина, и ниоткуда не доносилось ни звука. В поле мело, вокруг шуршал поземкою ветер, лейтенанта до плеч занесло снегом; руки его так задубели, что невозможно было пошевелить пальцами. Но он помнил, что должен всползти на дорогу, только там его путь мог считаться оконченным.

Снова потянулась изнурительная борьба со снегом, Ивановский полз медленно, по метру в минуту, не больше. Он уже так ослабел, что не мог сколько-нибудь приподнять себя на локтях, и сунулся боком по снегу, опираясь больше ногами. Боли в раненой ноге теперь почему-

то не чувствовал, наверно, там что-то отболело. Зато в груди у него все жгло, горело, все там превратилось в средоточие разбухшей, неутихающей боли. Он очень боялся, чтобы опять не пошла горлом кровь, — чувствовал, что тогда все для него и окончится, остерегался глубже вдохнуть, не мог позволить себе откашляться. Он берег простреленное легкое как нечто самое нужное, от чего всецело зависели последние часы его жизни.

Физически он был плох и понимал это. Сознание его, как канатоходец на проволоке, все время балансировало между явью и беспамятством, готовое в любую секунду сорваться в небытие, и лейтенант огромным усилием воли едва превозмогал цепко завладевшую им немощь. Терять сознание, когда рядом была дорога, он просто не мог позволить себе.

Наверно, он все-таки справился бы с собой и медленно, трудно, но все же вполз на дорогу, если бы не канава, которая коварной западней, пролегла на его пути. Ивановский едва не задохнулся, угодив в ее засыпанную снегом глубину, и закашлялся. Сразу же почувствовал, что началось кровотечение, тугой и противный сгусток выскользнул из его рта, и теплая струя крови потекла с подбородка по шее на снег. Ничком он лежал на бровке канавы и думал, что ничего более нелепого нельзя себе и придумать. С таким трудом, сверх всяких возможностей ползти всю ночь к дороге, чтобы умереть в двух шагах от нее. Завтра поедут немцы, и он вместо того, чтобы встретить их с гранатой в руках, предстанет перед ними жалким замерзшим трупом. Вот так судьба!

Сознание снова начало ускользать от него, и тут уже не могло помочь никакое его усилие. Взгляд застлало мраком, весь мир сузился в его ощущениях до маленькой, светлой, все убывающей точки, и эта точка погасла. Но все же и на этот раз что-то превозмогло в нем смерть и вернуло его истерзанное тело к жизни. Без всякого волевого усилия с его стороны точка опять засветилась, и он вдруг снова почувствовал вокруг снег, стужу и себя в ней, полного немощи и боли. Он сразу же заворошился, задвигался, стараясь во что бы то ни стало вырваться из снеговой западни — канавы, вползти на дорогу. Пока он был жив, он должен был занять последнюю свою позицию и там кончить жизнь.

И он все-таки выбрался из канавы, боком взвалив на дорожную бровку тело, прополз еще четыре шага и об-

мер, обессиленный. Под ним была колея, он ясно чувствовал ее своим телом, объехать его было невозможно. Он коротенько, с удовлетворением выдохнул и начал готовить гранату.

С гранатой, однако, пришлось помучиться долго и, может, труднее еще, чем в канаве. Непослушные помороженные пальцы его, кажется, вовсе потеряли осязание, он несколько минут тщетно пытался развязать ими тесемку, которой граната была привязана к поясу, но так и не смог этого сделать. Пальцы лишь слепо блуждали по бедру, он просто не смог нащупать ими концы тесьмы, и это было ужасно. Он едва не заплакал от этой так внезапно сразившей его измены, но действительно руки первые начали не повиноваться ему. Тогда он локтем нащупал увесистый кругляк гранаты и, собрав все силы, которые еще были у него, надавил им на гранату сверху вниз, к паху. Что-то там треснуло, и он сразу почувствовал, что освободился от тяжести, — граната лежала в снегу под ним.

Но, видно, он слишком много потратил сил и ничего уже больше не мог. Он долго лежал в колее, через которую мела, вихрилась поземка, и думал, что так его заметет снегом. Но теперь пусть заметает, ему спешить некуда, он достиг своей цели, — теперь только бы сладить с гранатой. Утратившими осязание руками он все же нащупал ее железную рукоять, но чеку разогнуть не смог. Тогда он кое-как пододвинул гранату по колее к подбородку и зубами вцепился в разогнутые концы чеки.

В другое время ему достаточно было короткого движения двух пальцев, чтобы разведенные эти концы выпрямились и их можно было выдернуть из рукоятки. Теперь же, сколько он ни бился, ничего с ними сделать не мог. Они будто примерзли там, будто их припаяли намертво, и он, выламывая зубы и раздирая десны, полчаса грыз, крутил, выгибал неподатливую проволоку. Наверно, только после сотой попытки ему удалось захватить оба конца зубами и свести их вместе. Все время он очень боялся, что не успеет, что на дороге появятся машины и он ничего им не сделает. Но машины не появились, и, когда граната была готова к броску, он стал терпеливо, настойчиво ждать.

Но ждать оказалось едва ли не самым трудным из всего, что ему довелось пережить за ночь. Чутким, обострившимся слухом он ловил каждый звук в поле, но,

кроме неутихающего шума ветра, вокруг не было никаких других звуков. Дорога, которая вынудила его на все сверхвозможные усилия и к которой он так стремился, лежала пустая. Все вокруг замерло, уснуло, только снежная крупа монотонно шуршала о намерзшую ткань маскхалата, медленно заметая его в колее.

Все вслушиваясь и решительно ничего не слыша, Ивановский с тоской начал думать, что, по всей видимости, до утра здесь никто и не появится. Не такая это дорога, чтобы по ней разъезжали ночью, разве кто-нибудь появится утром. Утром наверняка должен кто-либо выехать из этого штаба или проехать в него; не может же штаб обойтись без дороги. Но сколько еще оставалось до этого утра — час или пять часов, — он не имел представления. Он очень жалел теперь, что оставил в баньке часы, наверно, это было совсем неосмотрительно: не зная времени, он просто не мог рассчитать свои силы, чтобы дотянуть до утра.

Бесчувственными пальцами стискивая рукоять гранаты, он лежал грудью на снегу и ждал. Глаз он почти не раскрывал, он и без того знал, что вокруг тусклая снежная темень и ничего больше. В сторожкой ночной тишине был хорошо слышен каждый звук в мире, но тех звуков, которых он так дожидался, нигде не было слышно.

Оказавшись в неподвижности, он быстро начал терять тепло и коченел, вполне сознавая, что мороз и ветер расправятся с ним скорее, чем это могли сделать немцы. Он все сильнее чувствовал это каждой клеточкой своего насквозь промерзшего тела, которое не могло даже дрожать. Просто он медленно, неотвратимо, последовательно замерзал. И никто здесь не мог ему ни помочь, ни ободрить, никто и не узнает даже, как он окончил свой путь. При мысли об этом Ивановский вдруг почувствовал страх, почти испуг. Никогда еще не был он в таком одиночестве, всегда в трудную минуту кто-нибудь находился рядом, всегда было на кого опереться, с кем пережить наихудшее. Здесь же он был один, как загнанный подстреленный волк в бесконечном морозном поле.

Конечно, он обречен, он понимал это с достаточной в его положении ясностью и не очень сожалел о том. Спасти его ничто не могло, он не уповал на чудо, знал, для таких, с простреленной грудью, чудес на войне не бывает. Он ни на что не надеялся, он только хотел умереть не напрасно. Только не замерзнуть на этой дороге,

дождаться рассвета и первой машины с немцами. Здорово, если бы это был генерал, уж Ивановский поднял бы его в воздух вместе с роскошным его автомобилем. На худой конец сгодился бы и полковник или какой-нибудь важный эсэсовец. По всей вероятности, штаб в деревне большой, важных чинов там хватает.

Но для этого надо было дожить до рассвета, выстоять перед дьявольской стужей этой роковой ночи. Оказывается, пережить ночь было так трудно, что он начал бояться. Он боялся примерзнуть к дороге, боялся уснуть или потерять сознание, боялся подстерегавшей каждое его движение боли в груди, боялся сильнее кашлянуть, чтобы не истечь кровью. На этой проклятой дороге его ждала масса опасностей, которые он должен был победить или избежать, обхитрить, чтобы дотянуть до утра.

Рук своих он почти уже не чувствовал, но теперь начали отниматься и ноги. Он попытался пошевелить в сапоге пальцами, но из этого ничего не вышло. Тогда, чтобы как-то удержать уходящее из тела тепло, начал стучать смерзшимися сапогами о дорогу. В ночной тишине сзади послышался глухой, тревожный стук, и он перестал. Ног он не согрел нисколько, но самому стало плохо, и он, чувствуя, что теряет сознание, последним усилием сунул под себя гранату. Гранату теперь он вынужден был беречь больше, чем жизнь. Без нее все его существование на этой дороге сразу лишалось смысла.

После глубокого провала в сознании, за которым последовал долгий промежуток липкой изнуряющей слабости, он снова почувствовал пронизывающий холод и ужаснулся. Казалось, этой ночи не будет конца и никакие его ухищрения не помогут ему дождаться утра. Но как же так может быть? — едва не вопил в нем протестующий, полный отчаяния голос. Неужели же так ничего и не выйдет? Куда же тогда пропало столько его усилий? Неужели же все они тщетны? Но ведь они — продукт его материального «я» и сами, наверное, материальны, ведь они — обессилевшая его плоть и пролитая им кровь, почему же они должны в этом сугубо материальном мире пропасть без следа? Превратиться в ничто?

Тем не менее он почти наверняка знал, что все окончится неудачей, но отказывался понимать это. Он хотел верить, что все им совершенное в таких муках должно где-то обнаружиться, сказаться в чем-то. Пусть не сегодня, не здесь, не на этой дороге — может, в другом ме-

сте, спустя какое-то время. Но ведь должна же его мучительная смерть, как и тысячи других не менее мучительных смертей, привести к какому-то результату в этой войне. Иначе как же погибать в совершеннейшей безнадежности относительно своей нужности на этой земле и в этой войне? Ведь он зачем-то родился, жил, столько боролся, страдал, пролил горячую кровь и теперь в муках отдавал свою жизнь. Должен же в этом быть какой-то, пусть не очень значительный, но все же человеческий смысл.

И он вдруг поверил, что будет. Что непременно будет, что никакие из человеческих мук не бессмысленны в этом мире, тем более, солдатские муки и солдатская кровь, пролитая на эту неприютную, мерзлую, но свою землю. Есть в этом смысл! И будет результат, иначе быть не может, потому что не должно быть.

Ему бы только дождаться утра...

Тем временем мороз и стужа добирались уже до его внутренностей, и он чувствовал это. Краем меркнущего сознания он следил за тем, как холод медленно, но неотступно завладевал его обескровленным телом, и считал короткие минуты, которые ему еще оставались. Однажды, приоткрыв глаза, он вдруг изумился и с трудом раскрыл их пошире. Над полем светало. Тьма, которая, казалось, целую вечность плотным пологом укрывала землю, заметно приподнялась над ней, в поле стало просторней, прояснилось небо, и в нем четко обозначились заиндевелые вершины берез. В сумеречную даль уходила переметенная поземкой дорога.

Схватив все это непродолжительным, однако утомившим его взглядом, он хотел опустить на снег голову, как вдруг что-то увидел. Сперва ему показалось: машина, но, пристально вглядевшись, он понял, что это скорее повозка. Утомленный долгим рассматриванием, он уронил голову на снег, чувствуя в себе замешательство, страх и надежду одновременно. Огромный, как приговор, вопрос встал перед ним: кто мог ехать в повозке? Если крестьяне, колхозники, то это было из области чуда, в которое он недавно еще отказывался поверить: к нему приближалось спасение. Если же немцы... Нет, он решительно не мог взять в толк, почему в этот утренний час из деревни, в которой размещался большой штаб, должны появиться на повозке немцы. Все в нем восстало против такого нелепого предположения, всю ночь он ждал чего угодно, но ни-

как не обозную повозку с поклажей, до которой ему не было дела.

Тем не менее это была повозка, и она медленно приближалась. Уже стали видны и впряженные в нее лошади — пара крупных рыжеватых битюгов, которые, помахивая короткими хвостами, легко, без видимого усилия, тащили за собой громоздко нагруженный соломой воз. На самом его верху, пошевеливая вожжами и тихо переговариваясь, восседали два немца.

Ивановский замер в колее, совершенно раздавленный тем, что увидел, такого невезения он не мог себе и представить. После стольких усилий, смертей и страданий вместо базы боеприпасов, генерала в изысканном «оппельадмирале» и даже штабного с портфелем полковника ему предстояло взорвать двух обозников с возом соломы.

Но, видно, другого не будет. По крайней мере, для него ничего уже не будет. Он делал последний свой взнос для Родины во имя своего солдатского долга. Другие, покрупнее, взносы перепадут другим. Будут, наверно, и огромные базы, и надменные прусские генералы, и злобные эсэсовцы. Ему же выпали обозники. С ними он и столкнется в своем последнем бою, исход которого был предрешен заранее. Но он должен столкнуться — за себя, за Пивоварова, за погибших при переходе передовой Шелудяка, Кудрявца. За капитана Волоха и его разведчиков. Да мало ли еще за кого... И он зубами вырвал из рукоятки тугое кольцо чеки.

Повозка медленно приближалась, и, кажется, его уже заметили. Немец с поднятым воротником шинели, что сидел к нему боком, еще продолжал болтать что-то, в то время как другой, в надвинутой на уши пилотке, что правил лошадьми, уже вытянул шею, вглядываясь в дорогу. Ивановский, сунув под живот гранату, лежал неподвижно. Он знал, что издали не очень приметен в своем маскхалате, к тому же в колее его порядочно замело снегом. Стараясь не шевельнуться и почти вовсе перестав дышать, он затаился, смежив глаза; если заметили, пусть подумают, что он мертв, и подъедут поближе.

Но они не подъехали поближе, шагах в двадцати они остановили лошадей и что-то ему прокричали. Он попрежнему не шевелился и не отозвался, он только украдкой следил за ними сквозь неплотно прикрытые веки, как никогда за сегодняшнюю ночь с нежностью ощущая под собой спасительную округлость гранаты.

Не дождавшись ответа, один из двух немцев — тот, что сидел на возу с поднятым воротником шинели, — прихватив карабин, задом сполз на дорогу. Другой остался на месте, не выпустив из рук вожжей, и Ивановский простонал с досады. Получалось еще хуже, чем он рассчитывал: к нему приближался один. Лейтенант внутренне сжался, в глазах его потемнело, дорогу и березы при ней повело в сторону. Но он как-то удержался на самом краю сознания и ждал.

Клацнув затвором, спешившийся немец повелительно крикнул что-то и, разбрасывая длинные полы шинели, пошел по дороге. Карабин он держал на изготовку, прикладом под мышкой. Ивановский понемногу отпускал под собой планку гранаты и беззвучно твердил, как молитву: «Ну иди же, иди...» Он ждал, весь превратясь в живое воплощение Великого ожидания, на другое он уже был не способен. Он не мог добросить до него гранату, он мог только взорвать его вместе с собой.

Однако этот обозник, видать, был не из храбрых и шел к нему так осторожно, что казалось, вот-вот повернет назад. И все-таки он приближался. Ивановский уже различал небритое, какое-то заспанное его лицо, встревоженный взгляд, заиндевелые пуговицы его шинели. Однако, не дойдя до Ивановского, он снова прокричал что-то и остановился. В следующее мгновение лейтенант сам едва не вскричал от обиды, увидев, как немец поднимает к плечу карабин и прицеливается. Целился он неумело, старательно, ствол карабина долго ходил из стороны в сторону; напарник его все говорил что-то с воза, наверно, давал советы. Ивановский по-прежнему лежал неподвижно, широко раскрытыми глазами глядя на своего убийцу, и слезы отчаяния скатились по его щекам. Вот он и дождался утра и встретил на дороге немцев! Все кончалось глупо, нелепо, бездарно, как ни в коем случае не должно было кончиться. Что же ему оставалось? Встать? Крикнуть? Поднять вверх руки? Или тихо и покорно принять эту последнюю пулю в упор, чтобы навсегда исчезнуть с лица земли?

Он, разумеется, исчезнет, теперь уж ему оставались считанные секунды, за которыми последует Вечное Великое Успокоение. В его положении это даже было заманчиво, так как разом освобождало от всех страданий. Но останутся жить другие. Они победят, им отстаивать эту зеленую счастливую землю, дышать полной грудью,

работать, любить. Но кто знает, не зависит ли их великая судьба от того, как умрет на этой дороге двадцатидвухлетний командир взвода лейтенант Ивановский.

Нет, он не встал, потому что встать он не мог, и не вскрикнул, хотя, наверное, мог бы еще кричать. Он лишь содрогнулся, когда в утренней сторожкой тишине грохнул одиночный выстрел и еще одна пуля вонзилась в его окровавленное тело. Она ударила ему в плечо, наверное, раздробив ключицу, но все равно он не пошевелился и не застонал даже. В последнем усилии он только сжал зубы и навсегда смежил глаза. С трепетной последней надеждой он слушал приближающиеся на дороге шаги и думал, что, возможно, еще и не все потеряно, возможно, и удастся. Какой-то самый ничтожный шанс у него еще оставался. Медленно, очень осторожно, превозмогая охватившую его новую боль, он поворачивался на бок, высвобождая из-под тела гранату. И он освободил ее как раз в тот момент, когда шаги на дороге затихли поблизости. Он почувствовал под боком тугой, пружинистый рывок планки, и тотчас неожиданно звучно хлопнул взрыватель. Немец коротко вскрикнул, очевидно пускаясь наутек, Ивановский успел еще услышать два его отдавшихся в земле шага и потом ничего уже больше не слышал...

Несколько секунд спустя, когда осела перемешанная со снегом пыль, его уже не было на этой дороге, лишь небольшая воронка курилась на ветру в одной ее колее; вокруг на разметанном снегу валялись мерзлые комья земли да за канавой ничком, разбросав по грязному снегу длинные полы шинели, лежал отброшенный взрывом труп немца. Повозка с растрясенной по снегу соломой опрокинулась набок, в упряжке, тщетно пытаясь встать на ноги, бился крупный гнедой битюг, а по дороге к деревне бежал уцелевший обозник.

1972 г.

Его батальон

повесть

1

Траншея была неглубокая, сухая и пыльная — наспех отрытая за ночь в едва оттаявшем от зимних морозов, но уже хорошо просохшем пригорке. Чтобы чересчур не высовываться из нее, Волошин привычно склонялся грудью на бруствер, пошире расставив локти. Однако долго стоять так при его высоком росте было утомительно; меняя позу, комбат неловко повернул локоть, и ком мерзлой земли с глухим стуком упал на дно. Тотчас в траншее послышался обиженный собачий визг, и на осыпавшуюся бровку мягко легли две широкие когтистые лапы.

— Джим, лежать!

Не отрывая от глаз бинокль, Волошин повернул пальцами окуляры — сначала в одну, а затем и в другую сторону, отыскивая наилучшую резкость, но видимости по-прежнему почти не было.

Голые, недавно вытаявшие из-под снега склоны высоты, с длинной полосой осенней вспашки, извилистым шрамом траншеи на самой вершине, несколькими свежими пятнами минных разрывов, и даже чахлый кустарник внизу — все застилал сумрак быстро надвигавшейся ночи.

— Ну что ж, все ясно!

Он опустил подвешенный на груди бинокль и расслабленно откинулся к задней стенке траншеи. Дежурный разведчик, наблюдавший из соседней ячейки, зябко передернул плечами под серой замызганной телогрейкой:

— Укрепляется, гад!

Противник укреплялся, это было очевидно, и комбат с сожалением подумал, что вчера они допустили ошибку,

не атаковав с ходу эту высоту. Тогда еще были некоторые шансы захватить ее, но вчера подвела артиллерия. У поддерживающей батареи остался всего с десяток снарядов, необходимых на самый критический случай; соседний батальон ввязался в затяжной бой за совхоз «Пионер», раскинувшийся на той стороне речки, и когда Волошин спросил относительно этой малозаметной, но, по-видимому, немаловажной высоты у командира полка, тот ничего не ответил. Впрочем, оно было и понятно: наступление выдыхалось, задачу свою полк кое-как выполнил, а дальше, наверно, еще не было определенного плана и у штаба дивизии. И все-таки высоту надо было взять. Правда, для этого одного потрепанного в трехнедельных боях батальона было недостаточно, но вчера на ее голой крутоватой вершине еще не была отрыта траншея, а главное — правый фланговый склон над болотом, кажется, не был еще занят немцами. Заняли они его утром и весь день, не обращая внимания на пулеметный обстрел, по всей высоте копали. Отсюда было хорошо видно, как там мелькала над брустверами черная россыпь земли; под вечер из совхоза подошло несколько грузовых машин, и немецкие саперы до ночи таскали по траншее бревна — оборудовали блиндажи и окопы. Ночью, пожалуй, заминируют и пологие, вытянувшиеся до самого болота склоны.

Вокруг быстро темнело, над голым мартовским пространством все гуще растекались холодные сумерки, в которых тускло серели пятна еще не растаявшего снега во впадинах, ровках, под взмежками, на заросшем жидким кустарником болоте. Было холодно. С востока дул порывистый морозный ветер, с ним на пригорок НП долетал запах дыма, напомнивший комбату о его убежище — землянке, куда он ни разу за день не зашел. Джим, будто поняв намерение хозяина, поднялся, шагов пять пробежал по траншее и вопросительно глянул серьезными, немножко печальными глазами.

— Так. Прыгунов, наблюдайте. И слушайте тоже. Если что — сразу докладывайте.

— Есть, товарищ комбат.

— Только не вздумайте курить.

— Некурящий я.

— Тем лучше. На ужин подменят.

Обдирая стены узкой траншеи палаткой, наброшенной поверх шинели, комбат быстро пошел вниз к землянке, все настойчивее соблазнявшей относительным теплом, по-

коем, котелком горячего супа. Впрочем, сооруженная за одну ночь землянка получилась не бог весть какая — временное полевое пристанище на день-два, вместо бревен крытая жердками и соломой с тонким слоем земли наверху. Двери тут вообще никакой не было, просто на входе висела чья-то палатка, приподняв которую комбат сразу очутился возле главной радости этого убежища — переделанной из молочного бидона, хорошо уже натопленной печки.

— О, блаженство! — не удержался он, протягивая к теплу настывшие руки. — Как в Сочи! Что улыбаетесь, Чернорученко? Вы были в Сочи?

— Не был, товарищ комбат.

— То-то!

Немолодой, медлительный в движениях и молчаливый телефонист Чернорученко, защемив между плечом и ухом телефонную трубку, заталкивал в печку хворост и все улыбался, наверно, имея в виду что-то веселое. Комбат машинально перевел взгляд на других, кто был в землянке, но и те тоже заговорщически улыбались: и ординарец комбата Гутман, который, стоя на коленях, в стеганых брюках, сучил в зубах длинную нитку, и разведчик, что, опершись на локоть, лежал на соломе и дымил самокруткой. Один только начштаба лейтенант Маркин в наброшенном на плечи полушубке сосредоточенно возился со своими бумагами в тусклом свете стоящего на ящике карбидного фонаря. Но Маркин вообще никогда не улыбался, ничему не радовался, сколько его знал комбат, всегда был такой — отчужденный от прочих, погруженный в самого себя.

— Что случилось?

Капитан задал этот вопрос, несколько даже заинтригованный всеобщим молчанием, и Чернорученко, неуклюже выпрямившись, переступил с ноги на ногу. Однако первым заговорил Гутман:

— Сюрприз для вас, товарищ комбат.

Сюрпризов на фронте хватало, они сыпались тут ежечасно, один неожиданнее другого, но теперь Волошин почувствовал, что этот, пожалуй, был не из худших. Иначе бы они так не улыбались.

— Что еще за сюрприз?

— Пусть Чернорученко скажет. Он лучше знает.

Неуклюжий и длиннорукий Чернорученко, смущенно улыбаясь, взглянул на Гутмана, потом на лейтенанта

Маркина. Не решаясь начать первым, Маркин коротко ободрил бойца:

— Ну говори, говори.

— Орден вам, товарищ комбат. Из штаба звонили.

Волошин и сам уже начал догадываться и теперь понял все сразу. Не сказав ни слова, он перешагнул через длинные ноги разведчика, сбросил с себя плащ-палатку и сел подле ящика начальника штаба. Джим с почтительной важностью воспитанного пса опустился на задние лапы рядом.

Волошин молчал. На секунду в его душе мелькнуло радостное и в то же время неизвестно почему немного неловкое чувство. Орден — это хорошо, но почему только ему? А другим? Между тем все происходило, наверно, как и должно было происходить на войне, — месяца два назад послали бумаги с представлением его к ордену Красного Знамени, он знал об этом и какое-то время даже ждал ордена. Но потом началось наступление, трудные, затяжные бои за высотки, деревни и хутора, и он не очень уж и надеялся, что награда застанет его в живых. И вот, выходит, застала, значит, еще суждено сколько придется поносить на груди и этот боевой орден. Что ж, в общем он был доволен, хотя внешне ничем и не выразил своего удовлетворения.

— Так что поздравляем, товарищ капитан! — сказал Гутман. — Вот тут я и обмывочку расстарался.

Он выхватил откуда-то алюминиевую фляжку и встряхнул ее. Во фляге булькнуло. Волошин смущенно поморщился:

— Пока спрячь, Лева. Обмывочка не проблема.

— Ого! Не проблема! Да я ее едва у старшины второго батальона выцыганил. Самая проблема! Вон лейтенант весь вечер на нее поглядывает.

— Глупости вы городите, Гутман, — серьезно заметил Маркин.

— Вот лейтенанту и отдай, — спокойно сказал комбат. — А мне лучше портянки сухие поищи.

— Ай-яй! Портянки — такое дело!

Он вытащил из-под соломы туго набитый вещевой мешок и ловко развязал его:

— Вот сухонькие.

— Спасибо.

— И снимите шинель — пуговицу в петлицу вошью. А то уже третий день обещаете.

— Только чтоб одинаково было: на правой и на левой.

— Будет в аккурат. Не сомневайтесь.

Он не сомневался. Гутман был испытанный мастер на все возможные и невозможные дела — все у него получалось удивительно легко и просто. Комбат привычно расстегнул командирский ремень, скинул с плеч двойную портупею, кобуру с ТТ, снял свою комсоставскую, некогда шитую на заказ, но уже основательно потрепанную и побитую осколками шинель. Гутман широким портняжным жестом раскинул ее на коленях.

— И кто придумал эти пуговицы в петлицы? Ни складу, ни ладу.

— Тебя не спросили, Гутман, — буркнул Маркин. — Придумали, значит, так надо было.

— А по мне, так лучше кубари. Как прежде.

Комбат с наслаждением вытянул на соломе отекшие за день ноги и, рассеянно слушая разговор подчиненных, достал из брючного кармашка часы — плоские, с тоненькими стрелками и удивительно точным ходом. Он положил часы на край ящика, чтобы видеть их светящийся циферблат, и начал свертывать самокрутку.

Первая волнующая радость постепенно уходила, вытесняемая насущными заботами дня, он смотрел на часы и думал, что скоро надо будет звонить на полковой КП, докладывать обстановку. Как почти и всегда, эти минуты были до отвращения неприятны ему и портили настроение до и после доклада. Сколько уже времени, как полком стал командовать майор Гунько, а комбат-три Волошин все еще не мог привыкнуть к его начальническим манерам, которые нередко раздражали, а то и злили его.

— Из полка звонили?

Маркин оторвался от бумаг, вспоминая, моргнул — его лицо с густоватой щетиной на щеках при скупом свете карбидки выглядело почти черным.

— Звонили. Будет пополнение.

— Много?

— Неизвестно. В двадцать два ноль-ноль приказано выслать представителя от батальона.

Лейтенант озабоченно посмотрел на часы — малая стрелка приближалась к восьми. Комбат откинулся к стене землянки и затянулся самокруткой. Стена ничуть не прогрелась и даже сквозь меховой овчинный жилет чувствительно холодила спину.

— Про высоту шестьдесят пять не спрашивали?

— Нет, не спрашивали. А что, все копают?

— Дзоты строят. Как бы завтра не того... Не пришлось брать.

— Да ну! — усомнился Маркин. — Семьдесят шесть человек на довольствии.

Эта названная Маркиным цифра, хотя и не была неожиданностью для комбата, остро задела его сознание — всего семьдесят шесть! Совсем недавно еще было почти на сто человек больше, а теперь вот осталось менее половины батальона. Сколько же останется через неделю? А через месяц, к лету? Но он только подумал так, усилием подавил неприятную мысль и вслух сказал о другом:

— Через день-два будет хуже. Укрепятся.

Лейтенант бросил беглый взгляд на выход, прислушался и тихо заметил:

— А может, не докладывать? Молчат, и мы промолчим.

— Нет уж, спасибо, — сказал комбат. — Будем докладывать как есть.

— Ну что ж, можно и так.

Гутман старательно пришивал пуговицу, Черноученко хозяйничал возле печки, разведчик, натянув на голову бушлат, старался заснуть перед дежурством. Маркин с помощью карандаша и шомпола разлиновывал в тетрадке графы «формы 2-УР» — для записи предстоящего пополнения. Комбат рассеянно смотрел, как однобоко тлеет бумага на конце его самокрутки, и думал, что война, к сожалению или к счастью, не дает ни малейшей свободы в том выборе, который имеет в виду лейтенант Маркин.

Среди всех возможностей, которые предоставляет ситуация, на войне чаще выпадает самая худшая, плата за которую почти всегда — солдатские жизни. Трудно бывает с ней согласиться, но и поиски путей в обход обычно приводят не только к конфликту с совестью, но и кое к чему похуже. Командира это касается куда в большей мере, чем рядового бойца, тут следует быть очень строгим в отношении к самому себе, чтобы потом требовать того же и с подчиненных.

— Можно так, можно и этак? А, товарищ Маркин? — вдруг переспросил комбат. Лейтенант, что-то уловив в голосе комбата, смущенно повел плечами:

— Да я ничего. Не мое дело. Вы командир батальона, вам и докладывать. Я просто предложил.

— Из каждого положения есть три выхода, — поднял от шитья голову Гутман. — Еще Хаймович сказал...

— Помолчите, Гутман, — сказал комбат. — Не имейте такой привычки.

— Виноват!

Комбат минуту молчал, а затем тихо спросил, вроде бы между прочим:

— Вы, Маркин, в окружении долго были?

— Два месяца восемнадцать суток. А что?

— Так просто. В прошлом году я тоже вскочил. Почти на месяц.

— Так вы же с частью вышли, — не удержавшись, вставил свое Гутман. Комбат посмотрел на него твердым продолжительным взглядом.

— Да, я с частью, — наконец сказал он. — В этом мне повезло. Хотя от полка осталось сорок семь человек, но было знамя, был сейф с партдокументами. Это и выручило. Когда вышли, разумеется.

Маркин положил на ящик карандаш и шомпол, дернул на плече полушубок. Глаза его возбужденно заблестели на вдруг оживившемся лице.

— А у нас ничего не осталось. Ни знамени, ни сейфа. Горстка бойцов, десяток командиров. Половина раненые. Кругом немцы. Комиссар застрелился. Командира полка тиф доконал. Собрали последнее совещание, решили выходить мелкими группами. Пошли, напоролись на немцев. Неделю гоняли по лесу. Кору ели. Наконец вырвались — двенадцать человек. Смотрим, что-то больно уж тощие тут фронтовички. И курева нет. Едят конину. Слово за слово — выясняется, так и они же в окружении. Вот и попали из огня да в полымя. Еще припухали месяц.

— Это где?

— Под Нелидовом, где же. В тридцать девятой армии.

— Да, там невеселые были дела. Как раз в конце лета к нам пробивались. Убитого командарма вынесли, хоронили в Калинине.

— Ну. Генерал-лейтенант Богданов. Геройский мужик. А что он мог сделать? В прорыв сам на пулеметы вел и погиб.

— Тридцать девятой хватило. Двадцать девятой тоже.

— А тридцать третьей? А конникам Белова и Соколова?

— Тех совсем немного осталось, — согласился комбат.

— Неудачник я! — вдруг сказал Маркин, и Гутман с Черноручено насторожено подняли головы. — Что̀ пережил, врагу не пожелаю. В резерве встречаю товарища, вместе выпускались. Два ордена, шпала в петлице. А я все лейтенант.

Комбат оперся локтем на ящик и искоса посмотрел на притихших бойцов:

— Напрасно вы так считаете, Маркин. До Берлина еще длинный путь.

— А! — махнул рукой Маркин и снова взялся за шомпол. — Много ли их тут линеить? Знать бы хотя, сколько дадут. А то налинеишь, а толку из того? Товарищ комбат, — поднял он лицо к Волошину, — из пополнения надо писаря подобрать. А то сколько можно?

— А вы вон Гутмана обучите. По совместительству. Или Черноручнку.

Телефонист смущенно заворошился возле аппарата, а Гутман почти обиделся:

— Ну, скажете, товарищ комбат! Я работу люблю. А это...

— А это что — не работа? — зло сказал Маркин. — Вот посиди день над бумажками, так весь свет с овчинку покажется.

— Не люблю.

— Ну конечно. Куда веселее по полям бегать. Трофейчики и так дальше...

— Ладно, Гутман, кончай шитье. А то уже спина заколела, — остановил спор комбат.

— А вы — мой полушубок.

— Нет уж, спасибо. В твоем полушубке, наверно, того... Диверсанты бегают.

— Немного, товарищ комбат. Куда же от них денешься? Ну вот и все. Пожалуйста!

— Давай. Посмотрим, какой ты портняжных дел мастер.

Комбат взял из рук ординарца шинель и надел ее. Потом привычными точными движениями набросил на плечи портупею, застегнул ремень, сдвинул на место кобуру.

— Ну вот, петлички теперь в аккурат! Ну что же, спасибо, — сказал он. — Черноручено, вызывайте десятого «Волги». Поговорим с начальством.

2

Но поговорить с начальством в этот раз не удалось. Не успел телефонист повернуть ручку своего желтокожаного американского аппарата, как где-то наверху с нарастанием завизжало, донеслось несколько слабых минометных выстрелов, и тотчас близкие разрывы встряхнули землю. На солому, на печку с потолка сыпануло землей, огонек в фонаре вздрогнул, заколебав по стенам горбатые тени. Маркин ниже пригнулся над своими бумагами, Гутман схватил автомат и полушубок. Карбидный огонек в фонаре еще не успокоился, как завизжало снова и снова рвануло. От серии не менее чем из десяти разрывов ходуном заходила землянка.

— Что за черт!

Комбат сунул за пазуху уже приготовленную к докладу карту и рванул палатку на входе. В ночных сумерках над пригорком густо мелькали туго натянутые нити трасс — оттуда, с высоты, через их головы к лесу. Очереди были длинные и крупнокалиберные: дуг-дуг-дуг — донеслось с высоты. Но, выпустив пол-ленты, пулемет вдруг замолк, стало тихо, в темном студеном небе сонно сверкали высокие звезды. Судя по всему, немцы что-то подкараулили в ближнем тылу под лесом. Гутман, стоя в траншее, поспешно подпоясывал полушубок, и комбат кивнул головой:

— А ну — пулей! Туда и назад!

— Есть!

Обрушив землю, ординарец выскочил из траншеи, его сапоги протопали в темноте и затихли вдали, а комбат еще постоял, вслушиваясь в неясные звуки вокруг. Но вблизи опять стало тихо, только где-то за лесом от далекой артиллерийской канонады слабым отсветом вспыхивал край неба.

— Это артиллеристы — разини! Всегда они по ночам засветят, — с раздражением сказал из землянки Маркин. Комбат не ответил. Сзади зашуршала палатка, пятно света от фонаря косо легло на стенку траншеи, в которую высунулась голова Чернорученко.

— Товарищ комбат, десятый!

Ну вот, так и знал. Стоит на минуту промедлить с докладом, как уже вызывает сам. Внутренне поморщившись, комбат взял из рук телефониста трубку, большим пальцем решительно повернул клапан.

— Двадцатый «Березы» слушает.

— Почему не докладываете? Что там у вас за артподготовка? Опять не выполняете правил маскировки?

С первых слов, раздавшихся в трубке, было понятно, что майор уже поужинал и обретал свой обычный раздраженно-придирчивый тон. Но каскад его вопросов, предназначенных своей строгостью ошеломить собеседника в самом начале, был уже привычен комбату, давно не подавлял и не злил даже. Что делать — Волошин уже примирился с ролью нелюбимого подчиненного, терпел, впрочем, иногда огрызаясь. В общем, все было просто и даже нормально, если бы их явно неприязненные отношения не отражались иногда на батальоне, хотя тут уж он был бессилен. Комбат по обыкновению терпеливо выслушивал все и не спешил с оправданиями — выжидал, пока начальство выскажется до конца. Теперь к тому же он ждал, что вот-вот появится Гутман.

— Але! Что вы молчите? Или вы заснули там? — рокотало в трубке. И тогда комбат позволил себе немного иронии, на которую командир полка обычно реагировал вполне серьезно.

— Стараюсь привести в систему ваши вопросы.

— Что? Какая система? Вы мне не мудрите, вы отвечайте.

— На столько вопросов не сразу ответишь.

— Плохой тот командир, который не умеет как надо доложить начальству. Надо на ходу смекать. Начальство с полуслова понимать надо.

— Спасибо.

— Что?

— Спасибо, говорю, за науку. И докладываю обстановку, — решительно перебил комбат, чтобы разом покончить с надоевшими нравоучениями, к которым командир полка питал явную склонность. — Противник продолжает укреплять высоту «Большую». Визуально отмечены земляные работы с использованием долгосрочного покрытия — бревен. Также продолжается...

— А вы воспрепятствовали? Или соизволили спокойно смотреть, как фрицы траншеи размечают?

— Траншеи, к сожалению, они разметили ночью, — нарочно не замечая издевки, спокойно докладывал комбат. — К утру все было отрыто почти в полный профиль. Пулеметный огонь оказался малоэффективным по

причине пуленепробиваемости укрытий. Другие средства воздействия отсутствуют. У Иванова огурцов всего десять штук. Я уже вам докладывал.

— Слыхал. А кто это у вас дразнит немцев? Что за расхлябанность такая в хозяйстве? Наверно, костры жгут? Или из блиндажей искры шугают снопами? У вас это принято.

— У меня это не принято. Вы путаете меня с кем-то.

Это уже было дерзостью со стороны подчиненного; майор на несколько секунд замолчал, а затем другим тоном, спокойнее, однако, чем прежде, заметил:

— Вот что, капитан, не тебе поправлять, если и спутал. Молод еще.

Но, кажется, иссякало терпение и у комбата:

— Попрошу на «вы».

— Что?

— Попрошу называть на «вы».

Волошин сам начал терять выдержку, его так и подмывало швырнуть в угол эту проклятую трубку и больше не брать ее в руки, ибо весь разговор, по существу, представлял неприкрытые начальственные придирки и его оправдания, когда одна сторона позволяла себе все, что угодно, а другая должна была всячески соблюдать вежливость. Но стоило комбату переступить через сковывающее чувство подчиненности и принять предложенный тон, как голос на том конце провода заметно изменился, притих, командир полка помедлил, прокашлялся и, кажется, сам уже готов был обидеться.

— Уже и в пузырь! Подумаешь, на «ты» его назвал! Назвал, потому что имею право. Вы моложе меня. А на старших в армии не обижаются. У старших учатся. Кстати, едва не забыл, — совсем уже изменил тон Гунько. — Красное Знамя получишь. Приказ прибыл. Так что поздравляю.

«Вспомнил!» — неприязненно подумал комбат и не ответил на это запоздалое и испорченное вконец поздравление. Незанятой рукой он взял из пальцев телефониста его окурок, зубами оторвал заслюнявленный конец. Однако не успел он затянуться, как рядом, коротко рыкнув, вскочил на ноги Джим. Близко в траншее послышался топот, шорох палаток, слыхать было, как кто-то спрыгнул с бруствера. Черноручено бросился к выходу, но сразу же отшатнулся в сторону и прижался спиной к земляной стене.

— Куда тут?

— Прямо, прямо, — послышался издали голос Гутмана.

— Осторожно, ступеньки.

— Вижу.

В земляной пол возле печки ударил яркий луч света из фонарика, который затем метнулся под чьи-то ноги. Отбросив в сторону край палатки, в землянку ввалился грузный человек в теплой, с каракулевым воротником бекеше.

Джим возле комбата опять угрожающе рыкнул и рванулся вперед. Волошин в последнее мгновение едва успел ухватить его за косматый загривок. Пес ошалело взвился на задние лапы, человек в коротком испуге отпрянул назад и раздраженно выругался.

— Что тут за псарня?

— Джим, лежать! — строго скомандовал комбат. Джим нехотя отступил и стал рядом, позволив вошедшему сделать три шага к свету.

Под палатку тем временем лезли и еще, землянка быстро становилась тесной и холодной, но Волошин впился глазами в этого первого, который выглядел явно чем-то взволнованным и рукой все держался за обнаженную голову. Сначала комбату показалось, что он растирает рукой озябшее ухо, но человек наклонился к свету, отнял руку от головы и поглядел на ладонь. На ней была кровь. Тут же к нему шагнул второй, в полушубке, с тонкой планшеткой на боку. При свете фонаря он начал вытирать окровавленную щеку вошедшего, на широком погоне которого вдруг блеснула большая генеральская звезда.

Волошин стоял в стороне, понимая уже, что это начальство и что немедленно следует доложить. Но момент был непростительно упущен, теперь просто неловко было подступиться к нему, комбат слишком промедлил и с досадным чувством совершенной оплошности шагнул к генералу:

— Товарищ генерал...

— А тише нельзя?

Генерал вполоборота повернул к нему недовольное, в морщинках лицо с седым клочком коротеньких усов под носом. Секунду они молча стояли так, друг против друга, оба напряженные, большие и плечистые.

— Зачем так громко? Мы же не на плацу.

Волошин еще помедлил, подумав, что, наверное, ска-

зывается близость передовой. Но все-таки он окончил доклад, хотя и тише, чем начал, и генерал, переставив на ящике фонарь, сел с краю, не отрывая руки от виска, на котором кровоточила рана. Тот, второй, майор в полушубке, что вытирал ему щеку, повернулся к Маркину:

— Медпункт далеко?

— Через четыреста метров. В овражке.

— Пошлите за врачом.

— Врача у нас нет. Санинструктор, товарищ майор.

— Не имеет значения. Пошлите за санинструктором.

Волошин кивнул ординарцу:

— Гутман!

— Есть!

Ординарец выскочил в траншею, и в землянке воцарилась неловкая гнетущая тишина. Начальство молчало, по обе стороны от него в почтительном молчании замерли Волошин и Маркин. У порога над печкой грел руки какой-то плечистый боец в бушлате. Майор поискал глазами место, чтоб сесть, и увидел Джима, настороженные уши которого торчали из тени.

— Овчарка?

— Овчарка, — сдержанно сказал комбат и отступил в сторону. Генерал, грузно повернувшись на ящике, с любопытством посмотрел на пса:

— О, зверюга! Как звать?

— Джим, товарищ генерал.

Генерал снисходительно пошлепал ладонью по поле бекеши:

— Джим, Джим, ко мне!

Но Джим, не двинувшись, тихо и угрожающе рыкнул.

— Не пойдет, — сказал комбат.

— Ну это мы еще посмотрим, — бросил генерал и перевел взгляд на комбата: — Давно командуете батальоном?

— Семь месяцев, товарищ генерал.

— А чем раньше командовали?

— Ротой в этом же батальоне.

— Подождите, как, вы сказали, ваша фамилия?

— Волошин.

— Эта не ваша рота захватила переправу в Клепиках?

— Моя, товарищ генерал.

Комбат ожидал, что генерал похвалит или расспросит подробнее об этом его известном в дивизии бое, за

который он получил первый свой орден. Но генерал спросил совсем о другом:

— Где передний край вашего батальона?

— По юго-западным склонам, вдоль болота.

— Покажите на карте.

Комбат достал из-за пазухи потертую гармошку карты и развернул ее перед генералом. Он уже догадывался, что было причиной недавней перепалки на передовой, и думал, что генерал сравнительно легко отделался. Могло быть хуже. Но зачем ему понадобилось так близко подъезжать к передовой — пока что оставалось для комбата загадкой.

— Вот. Передовая траншея по промежуточной горизонтали над самым болотом.

При тусклом свете карбидки генерал молча принялся разбираться в карте, заметно относя ее подальше от глаз. К нему наклонился майор, который немного повглядывался в знаки рельефа и объявил с уверенностью:

— Ну, я же докладывал. Именно так: высота шестьдесят пять ноль.

— Гм, да. Высота шестьдесят пять ноль. Так что же, выходит — она у противника?

Генерал поднял на комбата тяжелый укоряющий взгляд.

— У противника, — просто ответил Волошин.

— Почему вы ее не взяли?

— Не было приказано, товарищ генерал.

— Вот как! — недоверчиво сказал генерал и приказал решительным голосом: — Вызывайте сюда командира полка!

Волошин повернулся к телефонисту:

— Черноручено, вызывайте «Волгу».

Майор тем временем достал из кармана большую коробку «Казбека», протянул ее генералу, который одной рукой взял папиросу и прикурил от услужливо поднесенной зажигалки. Потом прикурил майор. В землянке растекся душистый, чужой среди ее дымной махорочной вони запах, и Волошин подумал, что, судя по всему, назревает скандал. Он по-прежнему стоял возле генерала в напряженно-выжидательной позе подчиненного, в которой, однако, ощущалась и определенная независимость человека, убежденного в своей правоте. Хотя перспектива, судя по всему, очерчивалась для него не весьма завидная.

Чернорученко передал на «Волгу» генеральский вызов, и в землянке опять все замолчали, как при покойнике. В этой настороженной тишине привычно прошуршала палатка, из-под которой в землянку проскользнула Веретенникова, санитарный инструктор седьмой стрелковой роты. За нею влез Гутман. Волошин мрачно двинул бровями и тихо про себя выругался — Веретенникова сутки назад должна была отбыть из батальона. Он уже получил за нее выговор от командира полка, и теперь вот, наверно, предстоит получить второй. Веретенникова тем временем быстро окинула взглядом знакомых и незнакомых в землянке людей и, вскинув к ушанке руку, уверенно шагнула к раненому:

— Товарищ генерал, младший сержант Веретенникова прибыла для оказания первой помощи при огнестрельном ранении.

Наверно, не каждый старшина роты сумел бы доложить так складно и уверенно, как эта девчонка в явно широковатой для нее солдатской шинели. Строгое, насупленное лицо генерала удовлетворенно разгладилось.

— Хорошо, дочка! Посмотри, что тут мне фрицы наделали.

Веретенникова, однако, не трогаясь с места, снова вскинула руку к краю своей цигейковой шапки:

— И разрешите обратиться по личному вопросу, товарищ генерал.

Генерал уже несколько удивленно приподнял голову, но, прежде чем он ответил, Веретенникова выпалила:

— Прикажите комбату оставить меня в батальоне.

Озадаченный ее обращением, генерал неопределенно хмыкнул и искоса из-под сурово надвинутых бровей взглянул на комбата. Волошин выдавливал на щеках желваки, едва сдерживая в себе возмущение за эту более чем бесцеремонную выходку санитарного инструктора.

— А что, он вас прогоняет отсюда? — холодно спросил генерал.

— Отправляет в тыл.

— Таков приказ по полку, — сдержанно объяснил комбат. — Санинструктор Веретенникова комиссована как непригодная к строевой службе. А вы, товарищ младший сержант, должны бы знать, как в армии полагается обращаться к старшим начальникам!

Веретенникова, однако, оставив без внимания его сло-

ва, по-прежнему держала руки по швам и, не сводя глаз с генерала, ждала ответа. Генерал едва заметно повел левым плечом:

— Я не могу этого решить. Обращайтесь к вашему непосредственному начальству.

Девушка обиженно прикусила губу и резким, почти демонстративным движением рванула вперед санитарную сумку. Генерал повернулся раной к свету, Веретенникова бегло осмотрела его висок.

— Надо остричь.

— Всего? — удивился генерал с нотками юмора в голосе. Веретенникова генеральский юмор оставила без внимания:

— Вокруг раны.

— Ну что ж! Стриги, если есть чем.

— Найдется.

Она вынула из сумки ножницы и довольно ловко остригла седоватый висок генерала. Генерал поморщился, терпеливо пережидая парикмахерскую операцию. Затем Веретенникова достала из сумки сверток бинта, и ее маленькие руки в подвернутых рукавах шинели начали ловко выстраивать сложную схему головной повязки. Несколько раз обмотав бинтом голову, она пропустила его под челюсть, и это не понравилось генералу:

— Отсюда убери. Шея у меня здоровая.

— Так надо, — сказала Веретенникова. — Согласно наставлению.

Генерал резко повернулся к ней всем своим грузным телом:

— Какое наставление! Мне руководить войсками, а вы из меня чучело делаете!

— Иначе повязка не будет держаться.

— Тогда ты не умеешь перевязывать.

— Умею. Не вас первого.

— Сомневаюсь!

— Так перевязывайтесь сами!

Точным сильным рывком она оборвала бинт, и не успели еще присутствующие в землянке что-либо понять, как взметнулась на входе палатка и санинструктор исчезла в траншее.

— Что за безобразие! — почти растерялся генерал. Возле его уха висели длинный и короткий несвязанные концы бинта. Все время молчавший майор вскочил с соломы и угрожающе бросился к выходу:

— Товарищ санинструктор! А ну вернитесь!

— Не вернется! — тихо сказал в углу Гутман, и Волошин, едва сдерживая гнев, выразительно взглянул на него. Но майор уже обращался к командиру батальона:

— Как то есть не вернется? Комбат!

Это был приказ, комбат обязан был что-то предпринять, чтобы выполнить волю начальства, и, хотя сам почти был уверен, что Веретенникова не вернется, решительно вышел в траншею:

— Младший сержант Веретенникова!

Ночь ударила в лицо глухой молчаливой тьмой, ветер крутил над траншеей дым из трубы. Комбат прислушался: поблизости нигде не слышно было ни звука.

— Веретенникова!

Она не откликнулась, и он, борясь с нахлынувшим чувством гнева, постоял еще несколько минут, охваченный продымленным холодом. Это было черт знает что, не хватало еще ему, командиру батальона, бегать за этой своевольной девчонкой. Позор, да и только! Но хорош и ротный — лейтенант Самохин, которому он еще вчера утром лично приказал отправить санинструктора в распоряжение начсанслужбы дивизии. Самохин тогда сказал «есть!», а теперь вот это ее скандальное появление перед генералом...

Возвратясь в землянку, комбат, нарочно ни к кому не обращаясь, бросил вполголоса «не догнал», и генерал с едва скрываемым презрением посмотрел на него. Комбат ждал гневных упреков, выговора и, наверно, выслушал бы их молча, сознавал, что был виноват. Но там, где дело касалось военных девчат, он чувствовал себя беспомощным. Вся его воспитанная за годы воинской службы логика поведения заходила в тупик, когда он сталкивался с самым банальным девичьим капризом. Впрочем, как и многие на войне, он считал, что армия и женщина несовместимы, что это недоразумение — женщина на войне.

Но генерал в этот раз лишь устало вздохнул и смолк, на его грубом лице застыло до поры сдерживаемое и в общем понятное теперь недовольство. Майор кое-как связал на его голове обрывки бинта и сел на солому. Комбат стал на прежнее место. В землянке опять воцарилась неловкая, скованная присутствием большого начальства тишина, которую, к счастью, вскоре нарушили долетевшие сверху звуки. Это был конский топот, затем

короткий, но более громкий, нежели обычно, окрик часового с НП. Волошин с облегчением выдохнул — приехал командир полка.

Майор Гунько решительно вошел в землянку, быстрым взглядом окинул фигуры присутствующих, безошибочно определив среди них начальство, и коротко, но четко представился. Генерал, однако, неподвижно сидел на ящике, нахмурив брови, и Гунько смущенно переступил с ноги на ногу. В тишине слышно стало, как прошуршала его наброшенная поверх шинели палатка и тоненько звякнула на сапоге шпора.

— Вы что — командир кавалерийского полка? — тоном, не обещавшим ничего хорошего, спросил генерал.

— Никак нет! Стрелкового, товарищ генерал.

— На какого же черта тогда у вас шпоры?

Майор в замешательстве передернул плечами и снова замер, не отрывая взгляда от генерала, который вдруг энергично вскочил с ящика. Тень от его грузной фигуры накрыла половину землянки.

— Вы бы лучше порядок у себя навели! И менее заботились о своем кавалерийском виде! А то у вас бардак в полку, товарищ майор!

Видно, еще мало что понимая, майор стоял смирно и невинно смотрел в рассерженное лицо генерала. А тот, вдруг замолчав, через плечо бросил бойцам, столпившимся возле печки:

— А ну — покурите там!

Гутман, Чернорученко, боец в бушлате и разведчик вылезли в траншею. В землянке стало просторней, генерал отступил в сторону, и огонек фонаря тускло осветил немолодое, страдальчески напряженное лицо командира полка.

— Какая у вас позиция? Где вы засели? В болоте? А немцы сидят на высотах! Вы что, думаете, они вам оттуда будут букеты бросать? Платочками махать?

— Я так не думаю, товарищ генерал! — невозмутимо сказал Гунько.

— Ах, вы не думаете? Вы уже поняли? А вы знаете, что все подъезды к вам простреливаются пулеметным огнем? Вот полюбуйтесь! — генерал ткнул пальцем в свой забинтованный лоб. — Едва к архангелу Гавриилу не отправили. А «виллис» колесами вверх лежит. Новый вы мне дадите?

— Виноват!

— Что?

— Виноват, товарищ генерал!

Комбат едва заметно улыбнулся — уже и виноват! В чем тут вина командира полка, трудно было себе представить, не то что признаться в ней. Скорее всего виноват шофер, не сумевший проехать в темноте и, наверно, включивший подфарники. Но майор Гунько, донятый гневом большого начальника, по-видимому, готов был принять на себя любую вину, лишь бы не раздражать генерала. Впрочем, возможно, в этом и был резон, так как генерал, не встретив возражения, скоро замолк, подошел к угасавшей без присмотра печурке и начал толкать в нее разбросанный по земле хворост. В землянку повалил дым, генерал закашлялся, притворил дверцу.

— И вот он тоже виноват! — повернул он голову в сторону командира батальона. — Он должен был взять высоту. А не сидеть в болоте.

— Так точно, товарищ генерал! — вдруг бодро ответил Гунько и почти обрадованно обернулся к Волошину. Страдальческое выражение на его лице сменилось надменно-требовательным оттого, что начальственный гнев переходил на другого. Волошин с холодным недоумением пожал плечами:

— Мне не было приказано ее брать.

Генерал поднялся от печки, возле которой его услужливо сменил майор в полушубке. В печи загудело, затрещало, все ее щели ярко засветились пламенем.

— Вот он уже второй раз оправдывает свою бездеятельность отсутствием приказа. По плану командующего высота в вашей полосе? — спросил генерал, и командир полка поспешно схватился за свою полевую сумку.

— Так точно. Для меня включительно.

Немного суетливее, чем следовало, он достал из сумки испещренный знаками лист карты, и они склонились над ней в тусклом свете карбидки. Комбат чувствовал, что тут что-то напутано, но молчал, с покорной готовностью подчиненного ожидая, что будет дальше. И вдруг генерал выругался:

— Где же включительно? На карте для вас исключительно.

— Так точно, исключительно, — поспешил подтвердить командир полка.

— Так что же вы путаете? Или вы не понимаете знака?

— Понимаю, товарищ генерал.

— Разгильдяи! — Генерал швырнул карту. — Слишком о себе заботитесь! — выкрикнул он и страдальчески приложил руку к повязке. Волошин сузил глаза. Сдержанность, не покидавшая его все это время, начала изменять комбату.

— Надеюсь, товарищ генерал, ко мне это не относится.

Генерал сделал шаг к выходу и остановился:

— Относится! И к вам тоже относится! Вот мы разберемся — и будете завтра брать высоту штурмом. А то расположились мне, печки-лавочки!

Комбат молча про себя выругался, вот тебе и на — дождались наконец! Он уже чувствовал, что эти слова генерала — не пустая угроза, что очень даже возможно — прикажут, и придется брать высоту штурмом, особенно если в это дело вмешается такой высокий начальник. Но ведь столько упущено времени! Там, наверно, отрыты уже все траншеи, заложены минные поля, оборудованы все огневые позиции, и теперь — наступать! «Где же вы были сутками раньше, товарищ решительный генерал?» — думал командир батальона. Теряя остатки выдержки, он шагнул вперед и сказал как можно спокойнее:

— Судя по всему, высота шестьдесят пять ноль включительно для полосы соседней армии.

Генерал остановился и вперил в комбата злой взгляд своих суженных колючих глаз. Его лоб под высоко надетой папахой резко белел в сумраке свежим бинтом. Комбат, не моргнув, почти с вызовом выдержал этот многозначительный взгляд.

— Ишь какой умник! Знает: соседней армии! А я вот нарезаю ее вам. А то — соседней! Вы знаете, где соседняя армия? У черта на куличках соседняя армия. Жуковку еще не взяла.

— Тем более нам нельзя вырываться. Открытый фланг.

— Смотрю, ты чересчур грамотный! За фланги беспокоишься. А ты бы побольше о фронте думал. О фронте! За фланги позаботятся кому надо.

— Я беспокоюсь за батальон, которым командую. А в батальоне и так семьдесят шесть человек на довольствии.

Генерал замолчал, засунув руки в карманы бекеши,

прошагал к печке, назад к ящикам и остановился, задержав взгляд на робком огоньке фонаря. Майор Гунько, не сходя с места посреди землянки, почтительно повернулся к генералу.

— Командир полка, вы пополнение получали?

— Так точно. Сегодня в конце дня.

— Пополните его батальон.

— Будет сделано.

— Мне нужны еще командиры, — с упрямой настойчивостью сказал комбат. Его сдержанность перед генералом вдруг исчезла, вытесненная беспокойством перед неожиданно свалившейся новой задачей. Он уже весь был во власти этой задачи и теперь, воспользовавшись моментом, хотел изложить перед начальством все многочисленные нужды своего батальона. — У меня только один штатный командир роты. Недостает двенадцати командиров взводов. У меня у самого нет заместителя по политчасти — выбыл в госпиталь. Поддерживающая батарея артполка сидит без снарядов, — сказал он и умолк. Для начала было достаточно.

Наступило молчание. Командир полка, расслабив в колене ногу, продолжал стоять перед генералом, у которого все ниже на глаза оседали его тяжелые косматые брови.

Где-то на поверхности снова громыхнули разрывы, но в этот раз дальше, чем прежде; генерал настороженно вслушался и, как только эхо разрывов смолкло вдали, спросил у Гунько:

— Вы на лошади?

— Так точно.

— С коноводом? Одну лошадь дадите мне. Поедем в штаб.

Поняв, что самое неприятное минуло, майор Гунько будто стряхнул с себя все время владевшую им скованность школьника перед строгим директором.

— Пожалуйста, товарищ генерал. А ваш адъютант, если угодно, может подождать, я пришлю коня. Это быстро.

— Зачем ждать? — сказал майор-адъютант. — Мы пешком. Коновод поведет.

— Можно и так, — сговорчиво согласился Гунько, и у комбата как-то не в лад с его настроением мелькнуло в голове: какая почтительность! Эту граничащую с угодливостью почтительность Волошин наблюдал в своем

командире впервые, никогда не подозревая прежде, что въедливый, желчный майор может оказаться таким покладистым. В другой раз он бы не преминул с удовольствием понаблюдать за новой чертой командира полка, но теперь, взбудораженный всем, что ему предстояло, грубовато спросил Гунько:

— Так мне что, готовиться к атаке?

Командир полка, в затруднении сморщив лоб, повернулся было к нему, потом к генералу, который старательно натягивал на руки перчатки.

— Вот разберемся, и получите приказ.

Волошин неторопливо достал часы:

— Уже почти двадцать два часа, товарищ генерал. В случае чего, когда же мне готовить батальон?

Генерал шагнул к выходу, но, остановившись, сказал с не покидавшей его язвительностью:

— Ишь забеспокоился! Раньше надо было беспокоиться, товарищ комбат.

— Раньше батальон имел другую задачу.

— Наступать — вот ваша задача! — повысил голос генерал. — Наступать! Запомните раз навсегда! Пока враг не изгнан из пределов нашей священной земли — наступать! Не давать ему покоя ни днем ни ночью. Забыли, чьи это слова? Напомнить?

Комбат зло молчал. Против этих слов у него не было и не могло быть возражений, тут он оказался припертым к стене. Это было почти унизительным — молча стоять так, под строгим генеральским взглядом, опустив руки по швам, и чувствовать, как генерал, празднуя над ним победу, презрительно сверлит его своим начальственным взглядом. Да, он победил строптивого комбата и с высоты своей генеральской власти минуту демонстративно наслаждался этим. Затем протянул руку к палатке, чтобы выйти из землянки, как вдруг остановился, будто припомнив что-то.

— За отсутствие дисциплины в батальоне и эти штучки санитарного инструктора объявляю вам выговор, комбат. Вы слышите?

— Есть! — сжав челюсти, выдавил Волошин.

— Вот так! Получите в приказе по армии.

В мертвой тишине, которая наступила в землянке, генерал еще раз пронзил его властным взглядом и вдруг будто случайно увидел у стенки Джима.

— А собачку вашу мы заберем. Вам она ни к чему — командуйте батальоном. Крохалев!

Палатка на выходе приподнялась, и в землянку влез незнакомый боец в бушлате.

— Крохалев, возьмите пса!

Боец не очень решительно сделал два шага вперед и с протянутой рукой наклонился к Джиму. Пес угрожающе насторожился и вдруг с такой яростью гаркнул, что Крохалев в испуге отскочил к порогу. «Ага, черта он вам дастся! — злорадно подумал комбат. — Берите, ну!»

Генерал, уже приподняв палатку, вдруг обернулся:

— Что, не идет? Комбат, а ну дайте своего человека!

Волошин сжал челюсти, ощущая полный свой крах. Генерал ждал, но у комбата все не хватало решимости на это позорное в отношении пса предательство.

Пауза затягивалась, генерал ждал, и Гунько деланно встрепенулся от возмущения:

— Вы слышали приказ? Где ваши бойцы? А ну там, в траншее, — живо!..

В землянку ввалился Черноручено и вопросительно уставился на командира полка. За его спиной из-за палатки выглядывал Гутман.

— Берите собаку! Живо!

Чувствуя, что Джима уже не спасти, Волошин ледяным голосом приказал:

— Гутман, возьмите Джима!

— Куда? Это наш Джим. Куда его брать?

— Прекратить разговор! Выполняйте приказ!

Обезоруженный холодной неумолимостью комбата, ординарец недоуменно пожал плечами:

— Гм! Мне что! Я выполню. Джим, ко мне!

Пес доверчиво подался к Гутману, и тот взял его за ошейник. Джим не сопротивлялся, лишь недоумевающе спокойно посмотрел на комбата. Волошин отвел взгляд в сторону, чтобы не выдать того, что он сейчас чувствовал. Но что понимала собака?

— Вот так! — удовлетворенно сказал генерал. — Проводите к штабу, товарищ боец.

Он включил фонарик, и все они друг за другом вылезли в траншею.

В землянке сделалось тихо, пустынно и холодно. Чер-

норученко взялся шуровать в печке. Лейтенант Маркин бесшумно вылез из темного угла и сел на свое место за ящиками.

Комбат в сердцах выругался и, рванув палатку, вышел в траншею.

3

Черт бы их взял, эти кусты и рогатины, которые в ночной темени будто кто специально понатыкал на его пути. Но уж действительно, если где есть какая коряга, то ночью обязательно налезешь на нее. Комбат встал, потер ушибленное колено, вслушался — нет, кажется, его еще не окликнули, хотя где-то поблизости должны были начаться ячейки седьмой роты. Почти на ощупь он прошел еще метров сто. Сапоги хрустко ломали высохший прошлогодний бурьян на обмежке, какое-то невидимое колючее сучье цеплялось за полы шинели, ветер надоедливо стегал по лицу незавязанными тесемками шапки. Впереди на небосклоне огромным пологим горбом чернела злосчастная высота, судьба которой решалась в эти минуты в штабе. Объятая ночной теменью, она казалась теперь совсем рядом, через болотце, тускло серевшее в ночи остатками грязного льда, и комбат с затаенным любопытством вгляделя в ее темные, перекопанные немцами склоны.

Нет, маскировались они отменно, не то что в первое лето, когда почти открыто разгуливали по передовой в трусиках и играли в волейбол на огневых позициях. Теперь за всю ночь не услышишь ни звука — притаились, зарылись в землю и тихо сидят, готовя свое подлое дело. Но какое? И сколько их там, какой части, какую имеют задачу, где их огневые средства? — все это были вопросы, не найдя ответа на которые трудно рассчитывать на удачу. Особенно с такими силами. Семьдесят человек — по существу, одна стрелковая рота, без артподдержки, без саперов и танков — на довольно уже укрепленную высоту. Если еще и не подготовиться как следует, то и высоты не возьмешь, и людей погубишь всех без остатка.

— Стой! Кто идет? — послышалось в темноте.

Не спеша с ответом, комбат повернул на окрик и вскоре различил на темной земле глинистый бугорок бруствера, возле которого темнела ямка окопчика, и в ней

шевелился кто-то. Боец не окликал больше, наверно, еще издали узнал комбата. Вообще это был непорядок, но капитан смолчал, он уже привык, что в батальоне его узнавали всюду по первому звуку его шагов и первому слову его команды. Так же молча комбат ступил на мягкую землю невысокого бруствера. Боец с поднятым воротником шинели и в каске поверх шапки выжидательно застыл в окопчике:

— Где командир роты?

— Дальше, товарищ комбат. Там кустики есть, так он возле кустиков.

— Как немец?

— Молчит, товарищ комбат, — глухим простуженным голосом ответил боец. Волошин вгляделся попристальнее — нет, боец был незнакомый, наверно, из недавнего пополнения — худенький, озябший, с острым подбородком под каской. Всех старых пехотинцев седьмой он знал еще с того времени, как сам командовал этой ротой. Но старых уже осталось немного.

— Как фамилия?

— Моя? — тихо переспросил боец. — Рядовой Тарасиков.

— Откуда родом?

— Я? Саратовский, — сказал он и притих, наверно, в ожидании новых, в этом же смысле, вопросов. Комбата, однако, интересовало другое.

— Машин там не было слышно? Не гудели?

— Машин? Нет, не слыхал. С вечера где-то лопатками близко тупали. Похоже, вон там, возле овражка, — указал в темноту боец. — Наверно, дзот строят.

Дзот — это конечно, без дзота они не обойдутся. Но будет хуже, когда, оборудовав дзоты, еще и натыкают мин вокруг, тогда завтра не избежать беды, будет сюрприз не дай бог. Комбат повглядывался в темноту, послушал, однако ночь была ветреная и на редкость глухая. С вечера над высотой, наверно, не взлетело ни одной ракеты, и уже одно это обстоятельство наводило на размышления.

— Ну что ж, Тарасиков. Наблюдайте.

— Есть! — с готовностью ответил боец и спросил тоном давно знакомого: — А где ваш Джим, товарищ капитан? Не слыхать что-то.

— Нету Джима, — сухо ответил комбат и пошел дальше.

Джима, конечно, уже не вернешь, если угодил к такому начальнику, то, считай, дело пропащее. Вообще для собаки это, может, и лучше, у генерала ее судьба может сложиться счастливее, чем на передовой. И тем не менее щемящее чувство потери шевельнулось в сознании капитана — столько у него было связано с этим псом!.. Но смотри, и боец, молодой, в батальоне недавно, а знает Джима и даже интересуется им. Комбат был уверен, что видит бойца впервые, а тот, оказывается, не только узнает комбата в ночи, но еще и знает его собаку. Хотя такова уж судьба командира: каждый его шаг — перед сотней внимательных человеческих глаз, от которых ничего не скроешь.

Из темноты снова окликнули — возле пулеметного окопа, греясь, размахивал руками старый пулеметчик Денищик, знакомый комбату еще по летним боям под Кузьминками, когда совсем небольшая группа бойцов — остатки полка — пробивалась из окружения. Тогда же этот довольно пожилой боец неизвестно откуда прибился к роте и так вместе с нею и вышел к своим. А на переформировке из-за него произошла неприятность — начальство начало придираться: почему не отправил бойца на проверку, зачем оставил в роте — человек чужой, незнакомый, мало ли что может случиться. Проверялся Денищик позже, в боях, когда однажды, заменив раненого пулеметчика, помог отбить контратаку немцев, да так и остался при пулемете. Впрочем, пулемет у него, кажется, уже новый — вместо «максима» тонкоствольный, системы Горюнова.

— Ну как дела, Денищик?

— А пока что слава богу.

— Почему богу? Ты что, верующий?

— Верующий не верующий, а так говорят. К слову приходится.

Боец уважительно, со сдержанным достоинством перед начальством переступил с ноги на ногу, втянув голые, без рукавиц, руки в коротковатые рукава телогрейки. Комбат опустился возле пулемета на корточки и взглянул в темноту через бруствер.

— А как обстрел? Мертвого пространства нет?

— Ну что вы! Все как на талерке, товарищ комбат.

— Тарелке надо говорить. А они тут не засекут вас? С высоты ведь тоже как на тарелке.

— Ну. Так мы ведь, когда тихо, Гаруна́ сюда, —

Денищик показал в окопчик, где под бруствером темнела оборудованная для пулемета ниша-укрытие, в которой теперь посапывал свернувшийся калачиком его напарник. — Обстрел когда. А как заварушка, тогда на место.

Комбат распрямился на бруствере.

— Ну молодцы. Командир роты где?

— А тут, недалеко. Блиндажик вон, — кивнул головой Денищик и снова принялся греться — притопывая, шлепать руками под мышками.

Невдалеке под обмежком начиналась мелкая недокопанная траншейка, из которой послышались далековатые, возникавшие под землей голоса. Обрушивая рыхлые стенки траншеи, комбат почти боком пробирался по ней, пока не завидел под бруствером слабый проблеск света у края палатки. Приподняв пыльный брезентовый полог, он нагнул голову и с усилием протиснулся в тесный полумрак блиндажа.

Здесь ужинали. Тесно обсев разостланную на полу палатку, бойцы сосредоточенно работали ложками. Между разнообразно обутых — в ботинки, сапоги и валенки — ног стояло несколько котелков с супом. В углу против входа, привстав на коленях, в распоясанной гимнастерке, укладывала вещмешок Веретенникова. Из-под жиденькой русой челки на лбу она метнула в комбата отчужденный, обиженный взгляд и локтем толкнула лейтенанта Самохина.

— Вадька!

Самохин заметно встрепенулся, увидев комбата, который сразу от входа вперся в чью-то широкую спину; ротный сделал запоздалую попытку встать для доклада.

— Товарищ капитан...

Комбат поднял руку.

— Ужинайте.

Кто-то подвинулся, давая ему возможность присесть, кто-то перелез в другой угол. Вверху под перекладиной, потрескивая и коптя, дымил озокеритный конец телефонного провода, воняло жженым мазутом. Веретенникова еще раз обиженно взглянула на Волошина и занялась лямками вещевого мешка.

— Может, поужинаете с нами, товарищ комбат? — неуверенно предложил Самохин.

Комбат не ответил. В блиндаже все примолкли, почувствовав его настроение, — наверно, тут уже были в курсе того, что произошло на батальонном КП. Ощущая

на себе вопрошающее внимание присутствующих, комбат достал из кармана дюралевый, с замысловатой чеканкой на крышке портсигар, начал вертеть цигарку. Он знал: они ждали разноса за случай с их санинструктором, окончившийся для него вторым генеральским выговором, но он не хотел начинать с этого. Он выжидал. Старшина роты Грак и командир взвода сержант Нагорный, сидевшие напротив комбата, сунули ложки за голенища, Самохин застегнул крючки шинели, Веретенникова начала надевать телогрейку. Судя по всему, конец ужина был испорчен, хотя супа в котелках ни у кого не осталось.

— Товарищ Самохин, сколько у вас на сегодня в строю? — не взглянув на командира роты, спросил комбат.

— Двадцать четыре человека. С санинструктором.

— Санинструктора не считайте.

Самохин умолк, наверно, ожидая, что скажет комбат. Волошин затянулся, махорка в цигарке странно потрескивала, временами вспыхивая, будто к ней подмешали порох. Бойцы называли ее трассирующей, что почти соответствовало действительности, особенно на ветру ночью.

— Выделите двух человек. Двух толковых бойцов.

Самохин с заметным облегчением опустился ниже и выдохнул. Подвижный взгляд его темных глаз на молодом, с раздвоенным подбородком лице, соскользнув с комбата, остановился на сержанте Нагорном.

— Нагорный, дай двух человек.

— Отставить! — ровно сказал комбат. Все в землянке недоуменно взглянули на него, однако он намеренно не придал никакого внимания этим взглядам. — Наверно, у товарища Нагорного имеется воинское звание?

Лейтенант все понял с первого слова:

— Сержант Нагорный, выделить двух бойцов!

— Есть!

Коренастый плечистый крепыш в расстегнутом полушубке, Нагорный сгреб с пола автомат и с шумом протиснулся в траншею...

— И еще пошлите за командирами. Восьмой и девятой. ДШК тоже.

Самохин только взглянул на Грака, и тот, хотя и без спешки, вылез вслед за Нагорным. В блиндаже, кроме комбата и ротного, осталась одна Веретенникова. Теперь

можно было начинать неприятный разговор. Волошин свободнее вытянул ноги.

— Так до каких пор будем воду мутить, товарищ Самохин?

— Какую воду?

— Когда будет выполнен мой приказ?

Прежде чем ответить, лейтенант помолчал, бросая вокруг быстрые нервные взгляды.

— Завтра утром пойдет.

— Никуда я не пойду! — тут же объявила Веретенникова.

— Вера! — с нажимом сказал Самохин.

Девушка подняла на него обиженное, злое лицо:

— Ну что? Что Вера? Куда вы меня прогоняете? Как наступление, так нужна была, тогда не отправляли, а как стало тихо, оборона, так выметайсь! Я год пробыла в этом полку и никуда из него не пойду. Поняли?

Комбат сдержанно поглядывал то на нее, раскрасневшуюся и расстроенную, то на страдальчески нахмуренное лицо ротного. Это было черт знает что — наблюдать такую сцену на фронте, в полукилометре от немецкой траншеи.

— Что же, вы и рожать тут будете? — спросил он нарочно грубовато. Веретенникова встрепенулась, на ее щеках уже заблестели слезы.

— Ну и буду! А вам-то какое дело?

— Вера, ты что?! — взмолился Самохин.

— Нет уж, товарищ санинструктор! В моем батальоне роддома нет, — холодно отчеканил комбат. — Рано или поздно отправитесь в тыл. Так что лучше это сделать вовремя.

— Никуда я от Вадьки не отправлюсь, — сказала она. Однако решимость ее, похоже, стала ослабевать, девушка всхлипнула и закрыла лицо руками. Самохин схватил ее за руки:

— Вера! Ну что ты! Успокойся. Все будет хорошо, пойми.

Вера, однако, не хотела ни понимать, ни успокаиваться, а все всхлипывала, уткнувшись лицом в телогрейку, и Самохин минуту растерянно уговаривал ее. «Чертов бабник! — думал комбат, почти с презрением глядя на своего ротного. — Видный, неглупый парень, хороший командир роты, да вот спутался с этой вздорной девчонкой. Теперь, когда уже приспичило и не стало возмож-

ности скрывать их отношения, надумали фронтовую женитьбу. Как раз нашли время!»

Почувствовав на себе руки Самохина, Вера помалу начала успокаиваться, и комбат сказал, чтобы разом покончить с этим уже надоевшим ему конфликтом:

— Завтра утром штурмуем высоту. Атака, наверно, в семь. К шести тридцати чтобы вас в батальоне не было.

Вера, вдруг перестав всхлипывать, насторожилась:

— Что? Чтобы я смылась за полчаса до атаки? Нет уж, дудки. Пусть мне генерал приказывает! Пусть сам маршал! Хоть сам господь бог. Ни за что!

— Ладно, Вера. Не горячись. Ну что ты как маленькая! — уговаривал ее ротный, пока она не перебила его:

— Ну да, не горячись! Долго ты без меня уцелеешь? Дурачок, ты же в первую минуту голову сложишь! За тобой же, как за маленьким, смотреть надо! — сквозь слезы приговаривала Вера.

Самохин страдальчески сморщился.

— Вот так! — объявил комбат, не желая больше продолжать этот слезливый разговор. Тем более что в траншее послышались шаги, в блиндаж уже влезал Нагорный и с ним еще два бойца. Почти одновременно бойцы доложили:

— Товарищ комбат, рядовой Дрозд по вашему приказу...

— Товарищ комбат, рядовой Кабаков...

Это тоже были новые бойцы в батальоне, с незнакомыми ему лицами, хотя фамилию Дрозда он уже знал из бумаг, которые подписывал перед отправкой в полк для награждения за зимние бои под Гуляевкой. Еще он вспомнил, что этого Дрозда когда-то хвалил на партийном собрании покойный политрук Кузьменко. И в самом деле боец производил неплохое впечатление своей рослой, сильной фигурой, открытым, простодушным лицом, выражавшим готовность выполнить все, что прикажут. Кабаков выглядел хуже — был тонковат, насуплен и небрежно одет — из-под телогрейки торчал зеленый воротник немецкого кителя, напяленного для тепла поверх гимнастерки.

— Стоять тут негде, поэтому садитесь и слушайте, — сказал комбат. Бойцы послушно опустились в мигающий сумрак у входа. — Вам боевая задача. Очень ответственная. Вооружиться ножами или штыками, прихватить

с собой побольше бумаги — газет или книжку какую разодрать, тихо перейти болото и с обмежка по-пластунски вверх до самой немецкой траншеи. Без звука. У траншеи развернуться и таким же манером назад. Вот и все. Понятно?

Бойцы, слегка недоумевая, смотрели на комбата.

— Не поняли? Поясняю. Проползти и ножами прощупать землю. Если где мина — не трогать. Только на то место клочок бумаги и камушком прижать. Чтобы ветром не сдуло. И так дальше. Теперь ясно?

— Ясно, — не слишком уверенно сказал Дрозд. Кабаков шмыгнул носом, и комбат внимательно посмотрел на него:

— Все это займет у вас не более двух часов. Может так получиться, что на нейтралке окажутся немцы. Тогда послушайте, чем они занимаются. И назад. Я буду вас ждать. Вопросы есть?

— Ясно, — несколько бодрее, чем прежде, ответил Дрозд. Кабаков опять шмыгнул носом и неопределенно прокашлялся.

— Значит, все ясно? — заключил комбат. — Тогда сержант Нагорный проводит вас до льда и поставит задачу на местности.

— Есть.

Бойцы поднялись и, пригнувшись, повернулись к выходу, но Кабаков, шедший вторым, остановился.

— Я это... товарищ комбат, кашляю.

— Да? И здорово?

— Как когда. Иногда как найдет...

Боец замолчал и с преувеличенным усердием прокашлялся. Комбат мельком глянул в его глаза и увидел там страх и подавленность — слишком хорошо знакомые на войне чувства. Все становилось просто до возмущения. Теперь, однако, комбат постарался быть сдержанным.

— Тогда отставить, — сказал он. — Вашу кандидатуру отставить. Вместо вас пойдет старший сержант Нагорный.

— Есть, — сказал Нагорный и в наступившей паузе спросил: — Разрешите выполнять?

— Выполняйте, — сказал комбат. — По возвращении — сразу ко мне.

Нагорный с Дроздом вылезли, напустив в блиндаж стужи, а Кабаков остался, обреченно уронив голову в шапке.

— Боитесь? — спросил комбат, в упор рассматривая бойца и привычно ожидая лжи и оправданий. Но Кабаков вдруг подтвердил смиренно и искренне:

— Боюсь, — и еще ниже наклонил голову.

Конец провода в углу, догорев до самой перекладины, начал дымно моргать, и Вера, поднявшись, с запасом потянула его с потолка.

— Лейтенант Самохин, он что у вас, всегда труса празднует?

— Да нет. Вроде не замечалось.

— Давно на фронте?

— Четыре месяца, — тихо ответил боец.

— Откуда сам?

— Из Пензенской области.

— Кто дома?

— Мать. И три сестренки.

— Старшие?

— Младшие.

— А отец?

— Нету. В сорок первом из-под Киева прислал одно письмо, и все.

Сделалось тихо. Веретенникова страдальчески, прерывисто вздохнула. Снаружи послышалась стрельба — пулеметная очередь где-то на участке соседей.

— Значит, боишься? — язвительно переспросил Самохин. — За свою шкуру дрожишь?

— Все боятся. Кому помирать охота?

— Ах вот как! Еще философию разводишь! Разгильдяй, я тебе покажу сейчас! А ну снимай ремень!

Ротный поднялся и, пригнув голову, шагнул к бойцу.

— Тихо, товарищ лейтенант! — сказал комбат. — Пусть идет. Идите на место, Кабаков.

Боец с поспешной неуклюжестью вылез из блиндажа, Самохин зло отбросил из-под ног котелок.

— Ну и напрасно! Надо было специально послать. От трусости полечиться.

Комбат вынул из кармана портсигар.

— Не стоит, Самохин.

— А, потому что признался, да? За это вину спустили?

Лейтенанта, видать по всему, прорвало, он переставал сдерживать себя, готов был на ссору, которой требовало в нем все пережитое за этот вечер. Но комбат не мог поз-

волить ему такой возможности, тем более что впереди у обоих были дела куда более трудные.

— Да, спустил, — спокойно ответил он. — Помните толстовскую притчу: за разбитую чашку спасибо. Потому что — не соврал.

— Притча! Ему притча, а Дрозд что, камень? Да? И не боится? Вот шарахнет, и одни ошметки останутся. А этот жить будет. Правдивец!

Комбат промолчал.

4

Первым из вызванных командиров прибежал младший лейтенант Ярощук, командир приданного батальону взвода крупнокалиберных пулеметов ДШК. Самый младший по званию, он был тем не менее самым старым среди офицеров батальона по возрасту — лет под пятьдесят дядька, бывший сельповский работник с Пензенщины, которому когда-то при увольнении со срочной службы присвоили звание младшего лейтенанта запаса. Далее этого звания Ярощук не продвинулся, что, однако, мало беспокоило его. Совсем не командирского вида, щуплый, небрежно одетый в поношенную красноармейскую шинель, он спустился в блиндаж и заговорил, видно со сна, хрипловатым голосом:

— Морозец, черт бы на его, все жмет. Не хватило за зиму промерзаловки.

Ярощук, по-видимому, не сразу заметил, что в блиндаже все молчали, мало настроенные на его говорливую беззаботность. Он оживленно потер озябшие руки, почти с ребяческим простодушием поглядывая на присутствующих. Комбат скупо бросил:

— Садитесь, товарищ Ярощук.

— Ну что ж, можно и сесть, если не прогоните. А я это... в окопчике под брезентом кемарнул малость. Промерз как цуцик... У тебя нет закурить, лейтенант? — спросил он Самохина. Тот достал из кармана щепоть махорки и молча протянул ее командиру ДШК.

— А бумажки нет? Ну ладно, найдем. Где-то был у меня клочок...

Вторым вскоре явился командир восьмой роты лейтенант Муратов. Ловко затянутый ремнями, с аккуратно пришитыми погонами, с планшеткой на боку, он легко

проскользнул в блиндаж и, слегка нагнув голову, привычной скороговоркой доложил с акцентом:

— Товарищ капитан, лейтенант Муратов по вашему приказанию прибыл.

Командира девятой пришлось подождать дольше. Командир батальона уже намерился послать за ним второй раз, как в траншее послышались шаги, кашель, и наконец длинный худой Кизевич в неподпоясанном полушубке с обвисшими, без погон плечами неуклюже пролез в блиндаж. Сделав легкий намек-жест рукой к шапке, буркнул вместо доклада как о само собой разумеющемся:

— Старший лейтенант Кизевич.

Комбат бесстрастно сидел, прислонясь спиной к холодной стене блиндажа, лишь взглядом отмечая приход каждого. Он почти не реагировал на некоторые вольности докладов подчиненных, но, по-видимому, они все-таки что-то почувствовали во внешней сдержанности комбата и, смолкнув, выжидательно пристраивались рядом с Ярощуком.

— Ну что ж, — сказал комбат и откинулся от стены. — Кажется, все. Прошу доложить о количественно-боевом составе подразделений. Командир седьмой!

Самохин, с озабоченным видом сидевший возле Веры, сел ровнее, подобрал ноги и поднял с пола соломину.

— У меня в строю двадцать четыре человека. Из них средних командиров один. Сержантов два. Пулеметов РПД два, «Горюнова» один.

Быстро проговорив это, он смолк, будто соображая, что еще можно добавить к сказанному. Комбат напомнил:

— Боеприпасы?

— Боеприпасы? На винтовку по шестьдесят патронов, РПД — по три диска. У «Горюнова» две коробки лент. Правда, сегодня набивали еще. И в запасе одиннадцать цинок. Вот и все.

— Гранаты?

— Гранат не считал. У старшины нет. Только те, что на руках.

— Не больше чем по гранате, — вставил от входа старшина Грак. — Всего штук пятнадцать будет.

— Небогато, — сказал комбат. Положив на колени полевую сумку, он расстегнул ее и вытащил блокнот с карандашом. Самохин молчал, сминая в руках соломи-

ну. Комбат двинул бровью и перевел взгляд на лейтенанта Муратова.

— Командир восьмой.

Муратов передернул плечами, будто распрямляя их под ремнями, и, весь подобравшись, привстал на коленях. Встать по всей форме не позволял нависший над ним потолок.

— Восьмая рота имеется восемнадцать бойцов, тры сержанта, одын командыр роты. «Максим» одын, РПД одын. Патронов мало. Четыры обойма на одын винтовка. Два ленты, одын «максым». Гранат мало, дэсять штук.

Коротенький его доклад был окончен, и все помолчали, глядя, как комбат что-то помечает в блокноте. Дымный вонючий сумрак не позволял увидеть за метр. Старшина Грак, включив фонарик, посветил комбату.

— Спасибо, — сказал Волошин. — Что ж, маловато, товарищ лейтенант. И людей и боеприпасов. Беречь надо, Муратов.

— Как можно беречь, товарищ комбат? Я командую: короткими очэрэдь, короткими очэрэдь! Получается, много короткий очэрэдь — одын длинный очэрэдь. Расход болшой!

Все засмеялись.

— Тришкин кафтан, — серьезно сказал Самохин. — Как ни натягивай, если мало, все равно не будет хватать.

В общем, это было понятно без слов, и тем не менее восьмая в батальоне оказалась самой ослабленной. Частично, может быть, потому, что обычно наступала в середине боевого порядка батальона, беря на себя основной огонь противника. Но и командир — молодой, горячий, очень исполнительный лейтенант Муратов не очень все-таки заботился о том, чтобы сберечь бойцов, сам в бою лез в пекло, нередко подставляя себя и роту под самый губительный огонь. Вот и осталось восемнадцать человек. А две недели назад, помнил комбат, было около восьмидесяти.

Однако при всем том Муратов был на редкость честолюбивый и обидчивый командир. Комбат всегда упрекал его осторожно, намеками и теперь сказал:

— А я на восьмую надеялся. Больше других.

Муратов сразу же все понял, смуглое его лицо гневно вспыхнуло, он подался вперед, но тут же осекся и смолчал.

— Вот так! — заключил комбат. — Старший лейтенант Кизевич.

Кизевич отрешенно посмотрел в задымленный настил и махнул рукой:

— А, то же самое. Что докладывать!

— А именно?

— Ну что: тридцать три человека. Два «максима». Слезы, а не рота.

— Боеприпасы?

— Боеприпасы? — переспросил Кизевич и внимательно посмотрел в темный угол блиндажа, где безмолвно пригорюнилась Вера. — Наверно, патронов по пятьдесят будет.

— А если точнее?

Командир девятой снова посмотрел в перекрытие. По его исхудавшему лицу с упрятанными под брови маленькими глазками мелькнуло отражение какой-то мучительной мысли.

— Конкретно — по шестьдесять пять штук.

— А к трофейному кольту?

Остановив на комбате взгляд, старший лейтенант недоуменно сморгнул глазами:

— А что трофейный? Он так.

— Как это так?

— На повозке лежит. Что, я из него стрелять буду?

— Почему вы? У вас есть для того пулеметчик.

Кизевич, как видно, уклонялся от прямого ответа, и комбат, в упор уставясь в него, со значением постучал карандашом по сумке. Как всегда, прижимистый командир девятой старался обойти самые неприятные для себя моменты, так как, наверно, уже чувствовал, чем это ему угрожает. Комбат подумал, что надо, не откладывая, разоблачить этого ротного, однако доклады не были окончены, еще оставался Ярощук, и Волошин, вздохнув, кивнул в темный задымленный угол:

— Командир взвода ДШК.

— Взвод ДШК пока что хлипает. Трое раненых, а так все налицо. Два расчета, два пулемета. Одна повозка, две лошади.

— И все?

— Все.

— А патроны?

— Есть немного. Пока хватит, — заверил Ярощук, и Волошин с некоторым недоверием посмотрел на него.

Наверно, в словах младшего лейтенанта было нечто такое, что заставляло усомниться в их достоверности, но взвод ДШК недавно вошел в батальон, Ярощук был «чужой» командир, подчиненный комбату только на время наступления, и Волошин, подумав, не стал к нему придираться.

Доклады были окончены, комбат подбил в блокноте небольшой итог, и боевые возможности батальона стали ему понятны до мелочей. Что и говорить, возможности эти оказались более чем скромными. Грак выключил фонарик, в блиндаже стало темнее. Провод, потрескивая, вонюче дымил в углу.

— Товарищи командиры. Судя по всему, завтра придется брать высоту. Приказа еще нет, но, я думаю, будет. Так что, не теряя времени, давайте готовиться к атаке.

В блиндаже все притихли. Самохин подчеркнутым жестом швырнул от себя соломину, Муратов напряженно вгляделся в комбата. Ярощук сгорбился, сжался и стал совсем неприметным в полумраке задымленного подземелья. Кизевич с удивленным видом вытянул из ворота полушубка свою тощую кадыкастую шею.

— Если дивизиона два поработают, может, и возьмем, — сказал он.

Комбату эти слова не очень понравились, и он нахмурился.

— Насчет двух дивизионов сомневаюсь. Боюсь, как бы дело не ограничилось одной батареей Иванова.

Кизевич удивленно хмыкнул.

— Иванова? Так она же сидит без снарядов. Утречком мой старшина ходил, говорит, сидят гаубичники, а промеж станин по одному ящику. Хоть стреляй, хоть на развод оставляй.

Волошин не перебивал его, выслушал со сдержанным вниманием и спокойно заметил:

— Снаряды подвезут. А вы обеспечьте людей гранатами. Понадобятся. Старшина Грак!

На пороге встрепенулась темная фигура Грака.

— Я вас слушаю.

— У вас был ящик с КС. Разделите его между ротами.

— Есть!

— А у вас, старший лейтенант Кизевич, трофейный кольт, значит, на повозке?

— На повозке. А что?

— Передайте его Муратову. Он найдет ему лучшее применение.

Кизевич болезненно напряг свое узкое с горбинкой на носу лицо.

— Это за какие заслуги?

— Так надо.

— Надо! Надо было свои беречь. А то свои поразгрохали, а теперь на чужие зарятся.

— Я у вас ничего не прошу! — вспыхнул Муратов.

— Ну и нечего тогда говорить. А то кольт, кольт...

Командир батальона спокойно выслушал короткую перепалку ротных, которая, впрочем, была здесь не впервые. Хозяйственный Кизевич не любил делиться чем-либо с соседом, хотя иногда и вынужден был делать это, потому что и у него случались прорехи, когда требовалась помощь хотя бы того же лейтенанта Муратова. Отчасти он был в этом прав, так как не в пример многим умел беречь и людей и имущество. Однако комбат теперь видел потребность усилить восьмую хотя бы за счет девятой. Сделав вид, что ничего необычного не произошло, он сказал ровным голосом:

— Патроны отдайте тоже. Сотни три их должно у вас быть. А чтобы Муратов не искал у себя пулеметчика, передайте и его. Сипак, кажется, его фамилия?

— Какой Сипак! Сипак на прошлой неделе убит. Новый пулеметчик.

Комбат смолк, почувствовав болезненную неловкость от этого известия, — Сипака он помнил давно, еще с формировки, и вот, оказывается, его уже нет. Совсем некстати припомнился ему этот боец, все-таки комбат должен был знать, что он погиб. Каждая такая потеря тяжелым камнем ложилась на его душу, и нужно было усилие, чтобы выдержать этот груз. После недолгой паузы комбат приказал с прежней твердостью:

— Передайте нового.

— Едрит твои лапти! Еще и нового! Что у меня, запасной полк, что ли? — развел руками Кизевич. Комбат никак не отреагировал и на это, смолчал, давая понять, что вопрос решен окончательно. Кизевич, однако, разошелся не на шутку:

— Как только что, все у девятой. Кольт! Может, на кольт у меня главный расчет был. Я уже из него все ориентиры пристрелял. А теперь получается: отдай жену дяде...

— И правильно. Чтоб не хитрил, — тихо вставил Самохин.

— Ага! А ты не хитришь? Честный какой!

— Не в том дело, — несколько другим тоном сказал Самохин. — Что там кольт! Ты вот лучше спроси, какого рожна мы эту высоту вчера не атаковали? Зачем столько волынили? Ждали, пока немцы окопаются?

Кизевич повернул к комбату мрачное, расстроенное лицо. Все, кто был в блиндаже, тоже насторожились, ожидая ответа на вопрос, который теперь тревожил их всех, но Волошин и сам не находил на него ответа и, чтобы не лгать, решил отмолчаться, что, однако, не успокоило ротных.

— Теперь поползаешь туда-сюда, — в сердцах бросил Самохин.

— Вон уже два дзота отгрохали, — пробубнил Кизевич. — Натанцуешься перед ними.

Это уже было слишком. Такие разговоры выходили за рамки дозволенного, и комбат сказал с твердостью:

— Ну хватит! Приказ есть приказ. Мы обязаны его выполнять. Личные соображения можете оставить при себе.

Все разом примолкли, стало тихо, и в этой тиши он вынул из кармана часы. Было без четверти одиннадцать.

— Так, все! — объявил он. — Давайте готовиться. Приказ отдам дополнительно.

5

В траншее на выходе из блиндажа комбат едва не столкнулся с Гутманом. Запыхавшись, ординарец сообщил, что в батальон пришло пополнение.

— Много?

— Девяносто два человека.

— Ого!..

Это было побольше, чем сегодня находилось у него в строю. Батальон увеличивался вдвое, почти вдвое возрастала его огневая сила, и увеличивались его шансы на удачу в завтрашней атаке. Все это должно бы радовать, и тем не менее комбат не обрадовался, что-то мешало его безупречной радости.

Впрочем, он уже знал что.

Они вышли в конец траншейки, которая тут, посте-

пенно мелея, сходила на нет. Самохин остановился сзади, и комбат сказал на прощание:

— Пошлите старшину за людьми. И передайте Муратову с Кизевичем.

— Есть!

Комбат хотел было идти, но помедлил — в полумраке траншеи как-то очень уж по-сиротски смиренно ссутулилась фигура Самохина, теперь немногословного, заметно приунывшего, и — чувствовал Волошин — вряд ли только от забот о предстоящей атаке. Он, конечно, догадывался о причинах переживаний ротного и оттого помедлил с уходом, хотя эти его переживания были сугубо личными и, согласно армейскому обычаю, чужому состраданию не подлежали.

— Возвратятся разведчики — сразу на КП! — сохраняя привычный деловой тон, приказал комбат.

— Ясно!

Вдвоем с Гутманом они быстро пошли по склону вверх. В поле было темно и морозно-ветрено. Высота мрачным горбом по-прежнему молчаливо дремала в ночной темноте на краю неба. Волошин на секунду остановился, послушал — теперь где-то там ползли его разведчики, и коротенькая тревога за их судьбу привычно шевельнулась в сознании комбата. В том, что он послал их, была маленькая хитрость, своего рода местная рационализация, к которой нередко приходилось прибегать на войне и от которой, случалось, зависело многое. Конечно, тут не обходилось без риска, но всякий раз думалось, авось как-либо обойдется, ребята опытные, сделают свое дело и благополучно вернутся. Он очень надеялся на этих ребят.

Гутман, наверное, знал какой-то другой путь на КП — без кустарника и воронок — и уверенно вел его в темноте. Вскоре они порядочно-таки отдалились от рубежа седьмой роты, сторожкая напряженность уменьшилась. Все-таки какой там ни тыл в полукилометре от ротной цепи, а на душе становилось спокойнее. Мысли комбата перешли на другое, и только он хотел спросить Гутмана, как ординарец, будто угадав вопрос, обернулся и заговорил сам:

— Все кумекают там. В штабе. Насчет высоты этой.

— Да? Ну и что?

— А! Послушал, так смешно стало. Батальон, бата-

рея, взаимодействие! И никому невдомек, что батальон этот — одна рота.

— Да? — сдержанно переспросил Волошин. — Что же ты не доложил им?

Гутман едва заметно передернул плечом:

— А что я? Мое дело маленькое.

Он помолчал недолго, потом на ходу поддернул плечом ремень автомата.

— Знаете, не с того конца они начинают. Сперва надо бы совхоз взять. Тогда немчура с высоты сама деру даст.

— Ты думаешь?

— А что ж, скажете, нет?

Нет, комбат не мог сказать «нет». На этот счет ординарец безусловно был прав.

— Собрать все три батальона да ударить по совхозу. А то растянули полк на четыре километра и тыркаются.

— Тебе только начальником штаба быть. Полка или даже дивизии, — с припрятанной иронией заметил комбат. Гутмана, однако, это ничуть не смутило.

— А что ж! Ну и справлюсь. Конечно, академий я не кончал, но голову имею. Скажите, этого мало?

Волошин ответил не сразу, всерьез возражать на такой аргумент не имело смысла.

— Вообще, ты прав. Этого не мало. К сожалению, не всегда голова решает.

Ординарец с запалом намерился что-то сказать, но, видно, одернул себя и неопределенно махнул рукой:

— А, что говорить!

И уже другим, успокоенным тоном сообщил:

— Привязал Джима ремнем к столу. Сидит. За пять шагов никого не подпускает. Пусть! Еще наплачутся с ним.

— С ним что плакать? Как бы мы без него не заплакали.

В траншее на КП было полно людей, все молча стояли группами, подняв воротники и отвернувшись от холодного ветра. Стояли и сидели также у входа в землянку, кое-где слышались приглушенные реплики на непонятном азиатском языке. Гутман легко соскочил с бруствера, за ним соскочил комбат, они протиснулись между безразличных к ним, незнакомых бойцов и пролезли в землянку.

Тут тоже было тесно, несколько фигур в шинелях за-

гораживали скупой свет фонаря, у которого склонился Маркин — переписывал пополнение. Заслышав шаги комбата, начштаба поднял голову и выразительно, со смыслом вздохнул.

— Что из полка? — спросил Волошин.

— В шесть тридцать атака.

— Патроны у пополнения есть?

— Патроны-то есть, — как-то загадочно проговорил Маркин. — Да что толку.

— А что такое?

— Что? — Лейтенант многозначительно кивнул в сторону бойцов. Человек пять их в мешковатых шинелях и касках, насунутых на зимние шапки, молча стояли перед ним с терпеливой покорностью на широких остуженных лицах. — По-русски ни бельмеса. Вот что.

Это было похуже. Это было совсем даже плохо, если иметь в виду, что планировалось поутру и сколько времени оставалось до этого утра.

Комбат с озабоченным интересом посмотрел на бойцов, и ему стало не по себе от одного только их внешнего вида. Не обмятые в носке шинели, обвислые, с брезентовыми подсумками ремни, озябшие руки в трехпалых больших рукавицах, которые как-то неумело и бессильно держали обшарпанные ложи винтовок, сгорбленные от тощих вещмешков фигуры. По-русски они в самом деле понимали не много — Маркин задавал вопрос, а низенький, с припухшим лицом красноармеец переводил, и очередной боец уныло отвечал глухим голосом.

— Замучился совсем, — сказал Маркин и почти закричал со злостью: — Место рождения? Область?

Волошин наблюдал за всем этим и думал, что выпестованный его заботами, сколоченный за долгие недели формировки его батальон, наверное, на том и кончится. Как он ни старался сберечь личный состав, роты все-таки таяли, росло число новичков, неизвестных ему бойцов, и все меньше оставалось закаленных ветеранов, и с ними по крупицам убывала его боевая сила и его командирская уверенность. Это почти пугало. Он уловил в себе это непривычное для него ощущение еще там, в траншее, когда пробирался сюда среди них — истомленных ожиданием и неизвестностью, подавленных опасной близостью передовой, безразличных ко всему. Комбата охватило недоброе чувство раздраженности, какая-то злая сила подбивала на резкое слово, окрик, какой-то реши-

тельный поступок, в котором бы нашло выход это чувство. Но такой поступок сейчас — знал он — был бесполезен, надо было, сжав зубы, неторопливо и ровно делать свое обычное дело: готовить батальон к бою.

— Много еще писать?

— Заканчиваю, — сказал Маркин.

Комбат резко обернулся к ординарцу:

— Товарищ Гутман! Стройте пополнение!

— Есть! Пополнение — строиться! — свирепым старшинским голосом скомандовал Гутман.

Приглушенный топот наверху еще не утих, когда комбат решительно шагнул из землянки и, опершись на бруствер, выскочил из траншеи. Гутман поспешно скомандовал «смирно!», комбат сошел с подмерзших комьев бруствера. В этот момент сзади над высотой взмыла ракета, ее трепетный отсвет прошелся по лицам бойцов, которые с пугливой опаской съежились, однако не оставили места в строю. Все посмотрели на высоту, потом — на него, их командира, наверно ожидая команды «ложись!» или разрешения рассредоточиться. Но он не подал даже «вольно», а сдержанно дошел до середины строя и остановился.

Ракета догорела, мерцающий над высотой полумрак сменился плотной ночной темнотой.

— Кто понимает по-русски?

— Я понимай.

— Я тоже.

— Один человек — ко мне!

Кто-то вышел из строя и встал в трех шагах от командира батальона.

— Становитесь рядом, будете переводить. Больные есть?

Боец негромко сказал несколько слов на своем языке.

— Есть.

— Больным — пять шагов вперед, шагом марш!

Переводчик повернулся лицом к строю и не очень уверенно перевел. Комбат заметил, что слов у него почему-то получилось больше, чем было в его команде. В это время сзади снова засветила ракета. Волошин, не шевельнувшись, вслушался: не раздадутся ли выстрелы? Если начнется стрельба, значит, разведчики напоролись на немцев и ничего у них сегодня не выйдет. Но, кажется, пока обошлось — ракета догорела, и выстрелов не было. Когда снова над ветреным ночным пространством

сомкнулась тьма, он заметил, что строй перед ним шевельнулся и несколько человек вышло вперед. Выходили по одному, не сразу, с заметной нерешительностью останавливаясь перед строем, настороженно поглядывая на командира батальона.

— Кто не обучен — три шага вперед, марш!

Помедлив, еще вышло шесть человек. Остановились, однако, почти в ряд с теми, что вышли на пять шагов. Комбат заметил эту неточность, но поправлять не стал — теперь это не имело значения.

— Кто очень боится — тоже!

Переводчик не скомандовал, а скорее объяснил команду, и комбат внутренне сжался, ожидая ее исполнения и боясь, что на месте мало кто останется. Но в этот раз строй стоял неподвижно, наверное, все боязливцы уже использовали свою возможность.

— Так! Вот этим, что вышли, — напра-во! — скомандовал комбат. — Товарищ Гутман, отвести группу назад в штаб.

— Назад? — удивился все понимающий Гутман, но тут же осекся и поспешно скомандовал: — За мной шагом марш!

Когда они, по одному перепрыгнув траншею, скрылись в ночи, Волошин подошел к строю ближе. Две поредевшие шеренги с напряженным вниманием уставились на него.

— А с вами будем воевать. Переведите. Завтра мы пойдем в бой. Все вместе. Кто-то погибнет. Если будете действовать дружно и напористо, погибнет меньше. Замешкаетесь под огнем, погибнет больше. Запомните закон пехотинца: как можно быстрее добежать до немца и убить его. Не удастся убить его — он убьет вас. Все очень просто. На войне все просто.

Пока переводчик, путаясь, пересказывал его слова, комбат выжидательно прошелся перед строем, поглядывая на высоту. Ракет больше не было, выстрелов тоже. Только где-то в стороне от леска далеким отсветом вспыхивал край неба, и глухое дрожание шло по земле, наверное, подтягивала боевые порядки отставшая соседняя армия. Хотелось верить, что все как-нибудь обойдется и посланные вернутся. Теперь он ни за что на свете не хотел потерять даже двух старых бойцов — цена им с этой ночи удвоилась.

Несколько человек, обойдя траншею КП, подошли к

строю и остановились невдалеке от комбата. В переднем из них он узнал старшину седьмой роты Грака — это прибыли за пополнением.

— Так. Все. Есть вопросы?

Вопросов не было. Он сомкнул строй, оказавшийся теперь заметно короче, чем вначале, и начал рукой отделять четверки.

— Восемь, девять, десять... Направо! Старшина Грак, получайте!

Старшина отвел своих в сторону, а он сосчитал остальных. Их было мало... Восьмой, как самой ослабленной, надо было выделить больше, но что-то удерживало комбата от такого намерения, и остатки строя он разделил пополам.

— Восьмая и девятая — по восемнадцать человек.

— Всего только? — удивился сержант из восьмой.

— Только всего. Зато без брака.

Людей повели в роты, а он соскочил в траншею, где едва не столкнулся с Маркиным в накинутом на плечи полушубке. Лейтенант сразу повернул обратно. Комбата это немного удивило — зачем он стоял тут?

Они вернулись в почти пустую землянку. Печка уже не горела, постоянный ее досмотрщик телефонист Черноручленко, подвязав к уху трубку, зябко съежился в углу на соломе. Маркин бросил на ящик свернутую трубкой тетрадку.

— Думаете, они действительно больные? — с едва прикрытым осуждением спросил начштаба.

— Вовсе не думаю.

— Так как же тогда — за здорово живешь — шагом марш в тыл?

Маркин был зол и, не стараясь скрыть своего недовольства поступком комбата, еще пробурчал что-то. Комбат, однако, не очень прислушиваясь к его ворчанию, достал из кармана часы и подошел к фонарю. Обе зеленовато-фосфорные стрелки приближались к двенадцати.

— Надеюсь, лейтенант, вы меня за идиота не принимаете?

— Да я что? Я так просто. Сказал...

— Кто-кто, а вы-то должны понимать. Мишени на поле боя нам не нужны.

Он положил часы на край ящика и сам опустился рядом. Маркин с неожиданным озлоблением выпалил:

— А эти, что остались, не мишени?

— Это будет зависеть от нас.

— От нас! Вот посмотрим, как они завтра поднимутся. Как бы не пришлось в зад каблуком пинать.

— Очень даже возможно. Завтра, возможно, и не поднимутся. Придется и пинать. А через неделю поднимутся. Через месяц уже награждать будем.

Маркин надел в рукава полушубок.

— Если будет кого, — спокойнее сказал он и вытащил из кармана другую тетрадь. — Вот. Боевое распоряжение из полка. На атаку.

Комбат взял тетрадь, наполовину исписанную знакомым писарским почерком, достал из сумки измятую карту. Маркин посидел и, зевнув, откинулся на солому в угол.

Наверху стало тихо-тихо...

6

Боевое распоряжение на атаку не много прибавляло к тому, что и без него было известно. Комбат быстро пробежал взглядом две странички рукописного текста, дольше задержался на карте. Постепенно ему стало понятно, что охватный маневр, предписанный командиром полка, вряд ли получится. Для охвата такой высоты, как эта, понадобился бы не один батальон и не одна поддерживающая его батарея. Опять же — соседний за болотом пригорок. С виду это была малозаметная среди мелколесья горбинка, едва обозначенная на карте двумя горизонталями, к тому же располагалась она далеко за флангом, на соседнем, неизвестно кому принадлежащем участке. Но в случае именно этого охватного маневра горбинка оказывалась почти что в тылу боевого порядка батальона, и это уже настораживало. А вдруг там — немцы?

Невеселые размышления комбата прервал настойчивый внутренний зуммер телефона. Черноручено с охриплой поспешностью назвал свои позывные и снял с головы трубку.

— Вас, товарищ комбат.

В шорохе и треске помех слышался нервный голос командира полка:

— Опять у вас фокусы, сюрпризы! Когда это кончится, Волошин?

— Что вы имеете в виду?

— Почему вернули карандаши? Вы что, не получили приказ на сабантуй?

— Получил, товарищ десятый, — нарочно невозмутимым голосом ответил комбат.

— Так в чем же дело?

— Я вернул больных.

— Что? Больных? — Гунько коротко хохотнул недобрым, издевательским смехом. — Кто тебе сказал, что они больные? Не они ли сами?

— Ну конечно. У меня же врача нету.

— Слушай, ты... Вы там нормальный или нет? Если вы будете такой легковерный, так у вас завтра в хозяйстве никого не останется.

— Останется, товарищ десятый. А те, кто на санчасть оглядывается, мне не нужны.

— Как это не нужны? Вы понимаете, что вы говорите? С кем вы тогда будете выполнять боевую задачу? Вы просили пополнение. Я вам дал максимум. За счет других, можно сказать. А вы отказываетесь. Я просто не знаю, как это понимать?

Волошин печально вздохнул, ему опять становилось тоскливо и муторно от этого бессмысленного разговора.

— Товарищ десятый! Вот и отдайте их тем, кого вы обделили. Мне хватит.

— Хватит?

— Да, хватит.

Трубка примолкла, потом зарокотала опять, но уже в новом, более нетерпеливом тоне.

— Имейте в виду, Волошин, я вам завтра это припомню. Запросите помощи — шиш получите.

— Не сомневаюсь.

— Что?

— Говорю, не сомневаюсь. Только просить не буду.

— Не будете?

— Нет, не буду!

Трубка замолкла, и он уже хотел отдать ее Черноручению, как там снова появился голос. Голос был бодрый, почти веселый, и комбат не сразу узнал его обладателя.

— Але, Волошин? Так как вы встретили карандашиков?

— Обычно. Хлебом и солью, — в тон ему, полушутливо ответил комбат. Теперь он не очень выбирал выражения — это говорил заместитель командира полка по

политчасти майор Миненко, отношения с которым у комбатов были довольно демократичные.

— Хлеб — хорошее дело, но не забывайте и о пище духовной.

— Ну а как же? Разумеется.

— Так вот что. Надо побеседовать с людьми. Рассказать о положении на фронтах. О победе под Сталинградом, про боевые успехи части. Да и вообще. Вы знаете о чем.

— Вы думаете, я — политрук?

— А это неважно. Институт военкомов отменен, так что...

— Тем не менее вы-то остались. Вот и рассказали бы о положении на фронтах.

— Ну это ты брось, Волошин! — недовольно послышалось в трубке. — Что мне положено, я и без тебя знаю.

Волошин вздохнул полной грудью:

— Товарищ двадцатый! Неужели вы думаете, что у меня перед завтрашним сабантуем нет других дел, кроме как рассказывать о положении на фронтах? Я перед своим носом еще не разобрался в положении.

Он замолчал, в трубке тоже смолкло. Потом Миненко, наверно, подумав, сказал примирительнее:

— Ну хорошо! Я подошлю лейтенанта Круглова. Он проведет беседы, а вы уж обеспечьте людей.

— Завтра?

— Почему завтра? Сегодня.

— Ну что вы говорите, товарищ двадцатый! Люди прибыли с марша. Усталые и голодные. Завтра... Вы знаете, что их ждет завтра. Надо им отдохнуть или нет? В конце-то концов...

Замполита этот выпад комбата мало в чем убедил.

— Ну, ну, ну... Так не пойдет. Мы не можем ни на минуту забывать о политмассовой работе. Мы должны проводить ее в любых условиях. Так требует Верховный Главнокомандующий. Вы понимаете?

Волошин бросил на кожаный футляр трубку и откинулся спиной к стене. От его голоса в землянке проснулся разведчик; поджав ноги, сел возле ящиков лейтенант Маркин... Он пришлет лейтенанта Круглова, думал комбат. Круглова, конечно, прислать нехитрое дело, безотказный комсорг и так только вчера ушел из его батальона в соседний.

А впрочем, так оно, может, и лучше. Пусть приходит Круглов, с ним можно договориться и выкроить для бойцов возможность хотя бы напеременку отдохнуть перед атакой. Иначе завтра от них, задерганных и неотдохнувших, проку будет немного. Это он знал точно.

Разведчик спросонья поскреб под мышками, стянул сапог и начал перематывать портянку. Черноручепко с недовольным видом продувал трубку, проверяя линию. Маркин вопросительно поглядывал на комбата.

— Что он?

Комбат взял с пола карту, на которой из завтрашней задачи еще многое оставалось нерешенным и недодуманным, и, не поднимая взгляда на своего начальника штаба, сказал:

— Товарищ Маркин! Отправляйтесь в девятую и организуйте разведку бугра за болотом.

Маркин немного помедлил, потом подпоясался по полушубку трофейным ремнем с кирзовой кобурой на боку и молча вылез в траншею.

Комбат подумал, что, пожалуй, приказал чересчур официально, мнительный лейтенант мог обидеться. Но теперь у него не было никакой охоты к почтительности — злило начальство, злили немцы, злила неопределенность в обстановке на передовой. А тут еще никаких вестей от разведчиков с высоты. Пора было бы им вернуться и докладывать, да вот — ни слуху ни духу.

Начинался второй час ночи.

Комбат решительно встал с соломы, туже подтянул ремень. Его тревожное нетерпение все усиливалось. В такие минуты было несносно оставаться с собой, тянуло к людям, в роты, и Волошин откинул на входе палатку.

— Придет Гутман, пусть остается тут.

— Есть, товарищ комбат, — согласно ответил Черноручепко.

На НП в боковой ячейке тихо шевелилась темная, завернутая в плащ-палатку фигура — боец уважительно повернулся к комбату, привычно ожидая его вопросов. Волошин остановился, прислушался: ночь была тихая и загадочная, какая редко выпадает на передовой, — по крайней мере, поблизости нигде не стреляли. Где-то невдалеке слышались голоса, но вряд ли на его участке, наверно, в ближнем тылу у соседей.

— Ну что, Прыгунов?

— Так, ничего. Постреляли немного да стихли.

— Давно?

— С полчаса назад. Пулемет потыркал, потыркал и смолк.

— Ракет не бросали?

— Две всего. Часовые, наверно.

Может, часовые-дежурные, а может, и боевое охранение — если засекли разведчиков. А может, те уже вернулись, да Самохин медлит с докладом, хотя такое промедление на него непохоже.

— А из-за болота, с высоты «Малой», ничего не было слышно? — спросил он у Прыгунова. Тот повертел головой:

— Нет, ничего, товарищ комбат.

Волошин помолчал, вслушиваясь, и разведчик начал обмахиваться, шлепая себя рукавицами по бокам, — грелся.

— Сколько времени уже, товарищ комбат? Часов двенадцать есть?

— Половина второго.

— Ну, через полчаса сменят. Кимарнуть часок до утра. А утречком наступления не ожидается? — тихо, без особенного интереса спросил разведчик. Волошин внутренне поморщился от этого, неприятного теперь вопроса.

— Ожидается, Прыгунов. Утром атака.

— Да? — не слишком даже удивившись, скорее с привычным равнодушием произнес Прыгунов. — Тогда хуже дело.

Да, завтра будет похуже, это наверняка, но говорить о том не хотелось. Заботило множество вопросов, немаловажных для этого завтра, и среди них самым главным был результат разведки нейтралки и того бугра за болотом. Но тут, наверно, надо бы довериться Маркину. Если уж приказал, то надо бы набраться терпения и дождаться выполнения этого приказа. Но, как всегда, в таком положении ждать было невмоготу, и Волошин, постояв немного, оперся коленом на край бруствера и выбрался из траншеи.

7

Комбат тихо шел по косогору к болоту. По-прежнему было темно, напористый восточный ветер суматошно теребил сухие стебли бурьяна, с тихим присвистом шумел в мерзлых ветвях кустарника. Сдвинув кобуру впе-

ред, Волошин настороженно посматривал по сторонам — все-таки шел один, и мало ли что могло с ним случиться среди глухой ночи в полукилометре от немцев. Они ведь тоже, наверно, не спят — организуют оборону, охранение, ведут поиск разведчиков и, может, уже рыщут где-либо поблизости в тылах его батальона.

Наверно, нет ничего хуже на войне, чем случайная смерть вдали от своих, без свидетелей.

В данном случае скверной казалась не сама смерть, а то, как к ней отнесутся люди. Наверняка найдутся такие, что скажут: перебежал к немцам, как это случилось осенью после исчезновения их командира полка Буланова и его начальника штаба Алексюка. В сумерках приехали верхами на КП второго батальона, поразговаривали, закурили и отправились в третий, до которого было километра два логом через низкорослый кустарничек. Однако в третий они так и не прибыли. Исчезли бесследно, будто шутя, между двумя затяжками, как бы их и не было никогда на земле. Потом ходили разные слухи-догадки, каждая из которых (кроме разве самой нелепой, насчет умышленной сдачи в плен) была вполне вероятной. И все-таки наиболее вероятным было предположение, что оба командира попали в руки немецких разведчиков.

Да, влипнуть в беду на войне было делом нехитрым, даже весьма примитивным. Хотя бы вот и сейчас, когда он брел в ночной темноте один, без ординарца, связного и даже без своего неизменного Джима. Конечно, с Джимом было надежнее — Джим в таких случаях был незаменим своим собачьим чутьем и почти несобачьей преданностью.

Этот пес попал к нему в руки полгода назад, на исходе лета, под Селижаровом, где остатки их разгромленной армии пробивались из окружения. Прорыв, начатый ударной группировкой, по непонятной причине затягивался, немцы успели закрыть пробитую ею брешь, их минометный огонь с утра крошил вековые сосны на опушке, где развернулись сводные батальоны второй волны, начал гореть лес, и дымная пелена все плотнее окутывала подлесок. Когда поднялось солнце, осколком разорвавшейся в ветвях мины Волошин был ранен в голову и, наскоро перевязавшись, до полудня пролежал под сосной в ожидании сигнала «вперед», которого так и не последовало. Истомленный духотой, жаждой, истерзанный болью, он

отправился на поиски воды в глубь леса и скоро набрел на заросший лещиной овражек с едва журчащим по камням ручейком, где и нашел этого невесть откуда прибившегося сюда пса. Свернув набок отощавший зад и широко расставив передние лапы, Джим сидел перед ручьем и со страдальческим ожиданием в глазах смотрел на человека. Волошин попил сам, наполнил теплой водой трофейную флягу и, спокойно подойдя к псу, осторожно погладил его. Пес даже не уклонился от его руки, и вскоре Волошин понял, что задняя его лапа была перебита осколком. В кармане нашелся остаток бинта, которым он тут же осторожно прибинтовал перелом, затем, выломав из лещины два тонких, но крепких прутика, наложил их вместо шин на лапу и снова туго затянул бинтом. Пес осторожно переступил раз и второй и с вдруг обретенной надеждой пошел за человеком.

Он не отставал от капитана до вечера. Во время суматошного ночного прорыва, в грохоте и круговерти трассирующих, ненадолго исчез, но когда утром остатки группировки прорвались через немецкие позиции, Волошин, к своему удивлению, увидел рядом и этого охромевшего пса, который упрямо не хотел расставаться со своим спасителем. Волошин накормил его у первой же встретившейся им полевой кухни, впервые за несколько суток поел сам, перевязал лапу в санчасти, где перевязывали и его, и увел в тыл, на пункт сбора и формировку. Лапа у пса срослась удивительно быстро, и он ни на шаг не отходил от своего покровителя. Иногда у них обоих возникали осложнения с начальством, но все кое-как обходилось, вплоть до сегодняшней ночи.

Озабоченный многим из того, что происходило сегодня в землянке, судьбой батальона и завтрашней атакой, Волошин сперва даже и не очень почувствовал утрату Джима. Однако со временем тоска по собаке все увеличивалась, временами доходила до отчаяния. Как ни удивительно, а Джим был для него чем-то глубоко личным, почти интимным; чем-то из того, что начисто вытравляла в человеке война и что можно было скорее почувствовать, чем сформулировать словами. Тем не менее он не мог возразить генералу, для которого этот сильный красивый пес явился сегодня предметом минутного увлечения, властного каприза — не больше.

Восьмая располагалась внизу под косогором, раскинув по обмежку ряд одиночных ячеек. Среди них была

и тесненькая, крытая брезентом землянка командира роты, в которой ютился Муратов и по очереди грелись бойцы. Осторожно ступая в темноте, комбат тихо подошел с тыла к едва приметному на земле бугорку, из-под которого слышались голоса. Он ожидал найти тут Маркина с Муратовым, но вместо них в землянке оказалось несколько бойцов, едва освещенных крохотным язычком догорающей трофейной плошки. Двое сидящих возле нее, накинув на голые плечи шинели, внимательно обыскивали на коленях вывернутые наизнанку сорочки. Комбат просунул голову в узкую щель возле палатки, и бойцы оглянулись, стеснительно прикрыв локтями одежду.

— Что, грызуны заели?

— Кусаются, холера на их.

— Где командир роты?

— Пошел. С начальником штаба, — ответил ближайший к выходу боец, натягивая полу шинели на белое худое плечо.

Волошин опустил палатку и поднялся, с удовлетворением подумав, что Маркин уже начал действовать. В общем-то начальник штаба был человек исполнительный, даже старательный, поручив ему дело, можно было не сомневаться, что тот волынить не станет. Правда, деятельность его обычно простиралась строго в пределах приказа. Если же ему случалось что-то взять на себя и свою ответственность или проявить связанную с риском инициативу, то тут от Маркина не следовало ждать многого, он всегда делал столько, сколько было отмерено распоряжением старшего начальника.

Впрочем, его можно было и понять: не каждый на войне, попав в такие жестокие ее жернова и выйдя из них живым, смог бы сохранить в себе душевную силу и не надломиться. Комбат уже знал из жизни и своего командирского опыта, что люди есть люди и требовать от кого-либо не по его силам по меньшей мере нелепо. Наверное, каждого следовало принимать таким, каким его сформировала жизнь, используя для дела те его человеческие качества, которые только и можно использовать.

Стоя в отрытом проходе, Волошин прислушался, осмотрелся по сторонам — поблизости, казалось, кто-то маячил на едва светлеющем фоне неба. По-видимому, он узнал комбата и заговорил осиплым, простуженным голосом:

— Они там, возле сержанта. Комроты там и начальник штаба.

Комбат помалу пошел вдоль цепи от одной одиночной ячейки к следующей. Почти во всех шевелились бойцы, в некоторых их было по двое — сошлись покурить да погреться. Кажется, никто из них не спал — мудрено было уснуть на такой стуже. Однако это лишь с вечера. Комбат знал, что под утро их все-таки одолеет сон, насколько хватит терпения, будут дремать, превозмогая холод. Совершенно без сна человеку нельзя даже и тогда, когда он на войне и в полукилометре от него сидят немцы.

Наконец возле пятой или шестой ячейки он услышал сдержанный разговор, который тут же и оборвался. На земле возле бруствера темнело несколько фигур, и он подошел ближе и остановился:

— Ну что, лейтенант Маркин?

Маркин торопливо поднялся, поднялся также Муратов и еще кто-то из бойцов восьмой роты.

— Послали, товарищ комбат. Троих. Через час-полтора должны возвратиться.

— Так. А из седьмой не слыхать ничего?

— Нет, из седьмой не слыхать.

— Пошлите бойца к лейтенанту Самохину. Пусть передаст: жду результатов разведки.

— Есть.

Муратов круто повернулся и побежал куда-то, Волошину это не понравилось: куда он бежит? Или у него нет ординарца или хотя бы связного, чтобы вызвать нужного человека? Однако тот факт, что сам он пришел сюда один, удержал комбата от упрека ротному. Маркин выжидательно стоял напротив.

— Вы отправляйтесь на КП, — сказал Волошин. — Если что, я буду тут.

Начштаба повернулся, но, прежде чем пойти, объяснил, будто опасаясь, что комбат в его действиях поймет что-либо не так:

— Тех я хорошо проинструктировал. В роте назначили слухачей-наблюдателей. Так что все должно быть в порядке.

— Хорошо.

Маркин с нетерпеливой озабоченностью зашагал на пригорок и скоро исчез в темноте. Не оборачиваясь в его сторону, комбат какое-то время еще различал звуки его шагов на мерзлой земле, один раз даже сильно долбану-

ло чем-то — наверное, Маркин споткнулся, затем все стихло. Маркин никогда особенно не подводил его, был послушен, не имел привычки оспаривать его распоряжения, старательно исполнял все, что требовали из полка. В общем, он был неплохой начштаба, но, оставшись наедине с ним, Волошин всегда испытывал какую-то напряженность, что-то такое, что было ему в тягость. Маркин неизменно вызывал к себе какую-то неосознанную настороженность, было такое впечатление, будто он чего-то ждал от комбата, но чего — понять было невозможно. Правда, Волошин не особенно и размышлял о том, даже старался не замечать неловкости между ними, и тем не менее неосознанная эта натянутость в их отношениях стала почти привычной. Хотя Волошин и ничем не обнаруживал ее перед Маркиным.

Отвернувшись от ветра, комбат тихо стоял возле бруствера, объятый ночью, ветреной стужей и тишиной. В двадцати шагах на болоте в кустарнике тускло мерцали льдины — серые, словно оплавленные, с вмерзшей травой, грязные, зажатые между кочек плахи. Болото, однако, было неширокое, а за ним на полого поднимавшихся склонах высоты делали свое дело немцы. И хотя тут они были ближе, чем от его КП, комбат чувствовал себя почти спокойным — тут исчезало одиночество и появлялась привычная уверенность, которую можно ощутить только дома. Впрочем, оно и понятно: его батальон давно уже был его домом, его крепостью и пристанищем — другого для себя пристанища на войне он не знал.

Когда вернулся Муратов, Волошин все еще тихо стоял возле его окопчика, и лейтенант, наверно, подумав, что комбат что-то слушает, почтительно замер рядом. Волошин действительно вслушивался, стараясь уловить какой-либо звук за болотом. Но с «Большой» и «Малой» высот не долетало ни звука, лишь на болоте посвистывал в голом кустарнике ветер. Разведчики упрямо молчали — то ли еще пробирались к немецкой траншее, то ли где-нибудь лежали возле нее.

Комбат не спеша пошел вдоль цепи в направлении к роте Кизевича, Муратов с привычной молчаливостью направился следом.

— Как вы распределили пополнение? — вполголоса спросил комбат.

— Всэх в одын взвод.

— Всех? А командир взвода?

— Сам буду командыр взвода. Буду под рукой держать.

Сам — это уже стиль Муратова. Не любит ждать, медлить, перекладывать на других. Впрочем, теперь не на кого было и переложить: командиров взводов не осталось, сержантов уцелело два человека на роту, может, и лучше новичками командовать самому.

Восьмая кончалась, где-то поблизости должна была начаться цепочка девятой, разрыва у нее с восьмой почти не было. Возле окопчиков, повылезав на поверхность, сидели и стояли бойцы, некоторые копали, по-видимому, лишь бы напрасно не мерзнуть. Комбата с командиром роты узнавали по разговору и почтительно оборачивались к ним, наверное, тут были старослужащие.

— Ну и как настроение у новеньких?

— Какой настроение? Устали, спать хотят. Окопаться не хотят.

— Окопаться необходимо.

— Я сказал: одын ячейка на два человек.

— Вот как?

Конечно, это было неправильно. Двум бойцам в одной ячейке можно было разве что прятаться от артобстрела, но не самим вести огонь. Надо было окопаться как следует — каждому отрыть по ячейке в рост, но если бы было время. А так ночь проковыряются в земле, устанут и завтра в бою будут как дохлые мухи — чего от них добьешься?

Муратов отчужденно молчал, будто обиженный кем-то, хотя обижаться вроде бы не было повода. Комбат, выждав немного, спросил:

— А у вас самого как настроение?

— А что настроение? Плохой настроение, — просто ответил лейтенант.

— Это почему?

— Часы стал.

— Какие часы?

— Мой часы. Взял и стал. Послушал — стоит. Завел — стоит.

— Ну и что? — подумав, спросил комбат.

— Так, ничего, — скупо ответил ротный.

— Значит, барахло часы. Кировские?

— Немецкие.

— Ну, немецкие — штамповка. Дрянь, не часы. Мои вот не останавливаются.

Он вынул из карманчика свои швейцарские, живо почувствовав в руке металлическое цоканье их механизма. На циферблате зеленоватым светом ярко горели все цифры и стрелки, отмерившие уже без малого два часа ночи.

— Мой барахло, — согласился Муратов. — У Рубцова взял. Артподготовка был, Рубцов смотрел: стоят. Говорит: бери, Муратов, мне будет не надо. В атаке пуля попал под каску.

— Да?

Смысл этих обычно сказанных слов недобрым предчувствием уколол сознание, комбат поежился, но с видимым усилием превозмог себя и почти бодро заметил:

— Глупости! Простое совпадение — не больше.

Про себя он подумал, что сколько уже погибло в батальоне и с часами, которые не останавливались, и без часов вообще, и с плохим предчувствием, и с самым наилучшим. Однако не успел он сколько-нибудь убедительно успокоить мнительного ротного, как поблизости, возле белевшего пятна свеженарытой земли, заметил знакомую сутуловатую фигуру в коротком полушубке. Это был командир девятой Кизевич. Он также узнал комбата и, повернувшись к нему, подождал, пока тот подойдет ближе.

— Уж не в пять ли атака? — спросил он хрипловато-ироническим басом.

— Атака в свое время, — сухо сказал комбат, подходя. — Как вы обеспечили фланг?

— Фланг? — переспросил Кизевич и переступил возле бруствера. Можно было подумать, что он только сейчас вспомнил об этом своем фланге, который был для его роты открыт на весь белый свет, и не знал, как ответить.

— Ну да, фланг, — подтвердил комбат и терпеливо ждал полминуты, привычный уже к мешковатой неторопливости комроты-девять.

— Загнул два взвода, и роют.

— А пополнение?

— И пополнение роет. А что ж ему — спать?

— Пополнению дайте отдохнуть. Пусть старики поработают.

Кизевич умолк, и Волошин подумал, что вообще, если иметь в виду завтрашнюю задачу, то копать отсечную позицию на фланге, может, и не было надобности. Но пусть. Может так случиться, что понадобится и отсечная, тем более что и Кизевич тоже не забыл о ней.

— Возьмете для усиления взвод ДШК.

— Это всегда пожалуйста, — добродушно согласился Кизевич.

— И смотрите мне фланг. Атака само собой. А фланг — ваша особая задача.

— Будет исполнено, — все с той же иронической легкостью заверил Кизевич.

Что-то заподозрив в поведении своего комроты, комбат сделал шаг вперед и едва не впритык стал перед ним. Кизевич, блаженно усмехаясь в темноте, даже не шагнул в сторону.

— Что, опять? — недобро спросил Волошин.

— Наркомовские, товарищ комбат. Ей-богу, не больше.

— Кажется, вы у меня дождетесь, — после паузы тихо сказал комбат. Кизевич попытался обидеться:

— Ну, скажете тоже! Что я, маленький? На холоде ведь, для сугревки.

Это объяснение он слышал уже не впервые, как не впервые предупреждал Кизевича, который в общем был неплохим командиром роты, если бы не эта, иногда чрезмерная, склонность к «наркомовским».

Кто-то в темноте швырял через бруствер землю, которой раза два осыпало сапоги комбата. Сзади, дожидаясь чего-то, стоял молчаливый сегодня лейтенант Муратов, и рядом лениво переминался с ноги на ногу явно удовлетворенный своим хмельноватым сочувствием старший лейтенант Кизевич. Волошина тихо раздражало это его хмельное благодушие; столько трудного ждало батальон завтра, а у этого, смотри ты, какая успокоенность.

— Вот что, — сказал он, подумав. — Возьмите один ДШК. Второй пойдет в роту Самохина.

Кизевич обиженно насторожился:

— Ну, это уже... Товарищ капитан, у меня же фланг. Сами же говорили...

— Вот одним пулеметом и обеспечите фланг, — несговорчиво отрезал комбат и повернулся к тыловому пригорку. — Где Ярощук? Вроде бы где-то тут был?

8

Пулеметный взвод Ярощука размещался где-то в старых воронках между девятой и лесом, но сейчас, в глухой темени ночи, комбат исходил вдоль и поперек почти весь косогор, и напрасно: Ярощук будто провалился

сквозь землю. Волошин уже начал тревожиться, не случилось ли что-нибудь скверное с приданным ему взводом, как вспомнил, что невдалеке от позиции Ярощука была небольшая гривка кустарника на обмежке, который теперь тоже где-то запропастился в этой ночи. Значит, он заплутался. Подумав и осмотревшись, комбат взял выше, влез в какие-то колючие заросли, расцарапал себе лицо и руки, пока выбрался из них, перешел впадину с жестко хрустевшим на морозе, сизым в потемках снегом, рискуя вывихнуть в щиколотках ноги, со слепой поспешностью перешел подмерзший клин пахоты. И тогда он расслышал тихий голос поблизости, вскоре его окликнули, и он подумал, что нашел пропажу, как окликнули снова:

— Стой! Кто идет?

— Свои.

— Пропуск?

— Боек.

— Стой!

— В чем дело?

— Пропуск?

«Что за черт? — подумал комбат. — Не забрел ли я на участок соседнего батальона, где на сегодня, разумеется, был другой пропуск?» С неприятным чувством он остановился перед наставленным на него автоматом человека в плащ-палатке, уже кричавшего в темень.

— Товарищ сержант Матейчук!

— Что такое?

Комбат едва не выругался с досады — это была батарея Иванова. Он узнал голос его ординарца, который тем временем выбирался откуда-то из темени, наверно, из землянки.

— Кто такой?

— Это я, Матейчук.

— А, товарищ капитан? Проходите, — легко узнал его Матейчук, в одной гимнастерке подошедший к комбату и донесший с собой запах дыма и еще чего-то, приятно-съестного. Часовой с молчаливой бесстрастностью взял автомат на ремень.

— Капитан тут?

— Тут. Проходите.

Он протиснулся через узкий проход в землянку, в которой было тепло до духоты и возле входа на полу стремительным пламенем сипела под синим кофейником паяльная лампа. Напротив, на устланных лапником на-

рах, с книжкой в руках лежал командир батареи Иванов. Землянка была полна бензинового чада, смешанного с приятным запахом кофе. Маленькая аккумуляторная лампочка под потолком неплохо освещала это уютное жилище.

— Привет, бог войны!

— Салют, салют, царица полей! — обменялись комбаты шутливым приветствием, и Иванов сказал:

— Как раз вовремя. Будем пить кофе.

— Ты все еще кофе пьешь? Завидую, завидую. — Волошин, пригнув голову, приткнулся в ногах командира батареи. — А я свой взвод ДШК потерял. Ходил, ходил...

— Да он тут, перед нами. В ста метрах ниже, — сказал сидевший на корточках Матейчук. — Могу показать.

— Ладно, немного погреюсь у вас, — сказал Волошин, потирая озябшие руки. — Так как настроение, бог войны?

— Соответственно обстоятельствам. Соответственно обстоятельствам, дружище.

С капитаном Ивановым они были знакомы еще с довоенного времени, когда командирами взводов вместе служили в одном гарнизоне и вместе участвовали в спортивных состязаниях по легкой атлетике. Потом встретились в окружении и относительно счастливо пережили его, хотя Иванов и вышел оттуда с четырьмя бойцами, без пушек. С первого дня наступления гаубичная батарея Иванова, выделенная из артполка, поддерживала батальон Волошина, и, как только представлялась возможность, Волошин не упускал случая лишний раз встретиться с другом, обсудить обстановку, увязать некоторые моменты взаимодействия, а то и просто потрепаться, как с равным, чего он не мог позволить себе в батальоне, где для всех был начальником, или в полку, где, наоборот, почти все были для него начальством.

— Что читаешь? — заглянул Волошин на обложку книжки. — А, Есенин!

— Есенин, да. Представь себе, ребята у немца взяли. Убитого. Зачем ему был Есенин, понять не могу.

— Может, по-русски читал?

— Может... Это же, знаешь, поэт! Поэзия, музыка, чувство! Жаль, до войны я его и не почитал как следует.

— До войны его не читали. О нем читали: кулацкий поэт и так дальше.

— В чьих-то окосевших глазах кулацкий. А по-моему, самый что ни есть человеческий. Вот послушай: «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой...»

— «Тот вечерний несказанный свет», — закончил Волошин. — Это и я знаю.

— Или вот еще. Почти уже про нас: «Струилися запахи сладко, и в мыслях был пьяный туман... теперь бы с красивой солдаткой завесть хорошо бы роман...» Ну как?

— В самый раз, — сказал Волошин. — Только романа и не хватает. Слышал, в шесть тридцать атака?

Иванов с затаенным вздохом отложил книжку, и хорошее, почти простодушное оживление разом стерлось с его лица.

— Как же, как же! Только что звонило мое начальство.

Он опустил с лежака ноги и принялся натягивать на трофейные шерстяные носки хромовые сапожки. Ординарец приглушил лампу и поставил на землю кофейник.

— А как со снарядами? — спросил Волошин.

— Почти никак. Распорядились занять у соседей. Послал ребят, должны привезти штук сорок. Значит, всего будет по двадцать на гаубицу.

— Да. Для моральной поддержки, — невесело заметил Волошин.

— Для моральной, конечно. Опять же я не могу расстрелять все за один раз. Мне же надо и на случай чего. Для самообороны.

— Само собой...

Тем временем гостеприимный Матейчук налил из кофейника две эмалированные кружки, отставил в угол треногу. Иванов вместо стола подвинул на лежаке квадратную доску планшета в холщовом чехле, на которую ординарец поставил кофе. Потом он вынул из вещмешка несколько обкрошенных ржаных сухарей.

— Ну, давай кейфанем, — гостеприимно пригласил Иванов. — Знаешь, люблю маленькие приятности, которые в состоянии себе позволить.

— Вот именно, только и утешения. А у нас и этого нет. Пехота! Не то что вы, аристократы войны: перина, кофе, ППЖ еще. Полный комфорт!

— ППЖ не держим, сам знаешь. А остальное почему не иметь? Была бы тяга.

— И тяги хватает. Трактора, автомашины. А у меня вон четыре клячи на батальон. Прежде чем оседлать какую, надо подумать, куда поклажу девать.

— Зато у тебя Джим, — выпалил Иванов.

— Был. Нету Джима.

— Что, подстрелили?

— Генерал забрал. Попался на глаза.

— Э, сам виноват! Чудак! Разве можно такого пса генералам показывать? Просил, мне не отдал. Ну и вот...

Кофе был огненно-горячий и вонял бензином. Волошин сгрыз пару сухарей, согрелся, ему по-домашнему стало уютно и хорошо со старым другом. Если бы не завтрашняя забота, которая тяжелым камнем лежала на душе, он готов был сидеть тут до утра.

— Еще налить? — спросил Иванов. — Матейчук!

— Нет, спасибо. Знаешь, я предпочитаю чаек. Слушай, а у тебя траншея пристреляна?

— Репер есть, — сказал Иванов. — За это можешь не беспокоиться. Точность гарантируется.

— Знаешь, не бахай чересчур вначале. Вначале я уж как-нибудь сам. Мне потом надо. Там, на высотке. Как зацепимся.

— С дорогой бы душой. Но ведь начальство потребует. Ему же, сам знаешь, главное — вначале чтоб грохоту побольше. Чтобы залп был.

— Залп, да. А мне не залп надо. Мне хотя бы по паре снарядов на пулемет. Они же, знаешь, имеют способность с того света возвращаться. Кажется, ты его уже разгрохал, два попадания было, а он через пять минут опять лупит.

— Взаимозаменяемость номеров, чего же ты хочешь! — сказал Иванов, принимаясь за вторую кружку. — Огневая подготовка.

— Подготовочка еще та, это я знаю. Под Звоновом взяли в плен немецкого снайпера. Два креста на кителе, можешь себе представить, сколько он настрелял нашего брата. И всего месячные курсы окончил. Спрашиваю, как обучались? Просто, говорит. Каждый день шесть часов огневой подготовки на полигоне. Вот практика.

— А у нас черт-те знает чего только нет в программах. Вон артиллеристов учат. И ПХЗ, и строевая обязательно. Будто на фронте каждый день парады.

— Грешно хвалить противника, но приходится, — согласился Волошин. Он давно уже знал в характере Ива-

нова этот критицизм, который свидетельствовал о наблюдательности друга, его нередкой готовности открыто выложить правду-матку.

— А почему — грешно? Насчет войны они ведь мастера, ничего не скажешь. Не зазорно кое-чему и поучиться.

— Поучиться, да, — сдержанно согласился Волошин. — Особенно что касается пехоты, это точно. Вон сколько у нас до войны было разных уставов по тактике — и все насмарку. Теперь в пожарном порядке сочинили новые: и БУП-один и БУП-два. Конечно, на другой основе. На той основе, какую навязала война.

— Да, да. Но это у вас, у царицы полей. У нас, в артиллерии, все по-прежнему. По-довоенному.

— У вас что, у вас математика. Функции углов одни и те же у нас и у немцев.

— Вот если бы еще к этой математике да побольше снарядов, — вздохнул Иванов. — А то, ну что за работа — на каждый выстрел разрешение у командира дивизиона просить. И так уж бережешь, как скупой рыцарь. Над каждым снарядом трясешься.

— Это конечно. Ну что же, дружище, хорошо у тебя, но надо топать. Послал разведчиков — жду результатов. Хотя бы косогор не заминировали. А то завтра будет сюрпризик.

Волошин вгляделся в свои швейцарские, было два тридцать.

— Не дай бог мины, — сказал Иванов. — Знаю.

— Под огнем тогда разминируй. Попробуй.

— Шпрингены эти, черт бы их взял. У меня же вот командир взвода управления на мине подорвался. Теперь взводом Матейчук командует.

Волошин поднялся, застегнул на крючок воротник шинели. Томик стихов Есенина с заломанной страничкой лежал на примятом лапнике, и он сгреб его большой рукой.

— Знаешь, ты все равно спать будешь, а мне не до сна. Хоть, может, душу отведу, — сказал он. Иванов поморщился, но согласился.

— Только с возвратом. А то тут у меня очередь.

Они оба вышли из землянки на стужу ветреной ночи, молча посмотрели вниз, в сторону невидимой отсюда высоты. Поодаль темнела настороженная фигура часового. Вокруг сонно лежало ночное пространство, полное неясных отдаленных шумов, звуков, шума ветра в кустарнике.

— Ну что ж, спасибо за кофе и беседу, — сказал Волошин, с тихой грустью пожимая теплую руку друга. — Завтра другая беседа будет.

— Завтра другая, — согласился Иванов. — Ну как-нибудь. Желаю успеха. А впрочем, зачем желать — вместе ведь будем.

9

С НП Иванова он направился к батальонной цепи, предполагая наконец наткнуться по дороге на пулеметы Ярощука. Но этот Ярощук, наверно, был неуловим сегодня. Комбат прошел по косогору до самого болота, а пулеметов так и не обнаружил. Он опять проминул их и понял это, лишь когда заметил в темноте одиночные ячейки какой-то из своих рот, дальше на болоте темнел кустарник, в котором серели пятна болотного льда. Его никто не окликнул, но он сам уже услышал притишенный в ночи голос Муратова, еще чей-то и догадался, что это вернулись посланные начальником штаба разведчики.

— Надо доложить на КП, — говорил Муратов. — Где старшина? Идите на КП.

— Не надо на КП, — сказал Волошин, приближаясь к нескольким темным фигурам. — Все вернулись?

— Все, товарищ комбат, — тише сказал Муратов. — На высоте «Малой» наши.

Волошин подошел ближе, трое бойцов в шапках с оттопыренными ушами выжидательно стояли, приставив к ногам винтовки.

— Были на высоте? — спросил он.

— Нет, товарищ комбат. До высоты не долезли, трясина там. И так вот, по колено, — сказал один из разведчиков и, распахнув полы шинели, показал темные, наверно, мокрые, ноги. — Но мы слышали.

— Что вы слышали?

— Наши там. Роют что-то. Слышно, как ругаются, и все такое. По-нашенски, по-русски.

Волошин молчал. То, что там наши, а не немцы, позволяло вздохнуть с облегчением, но такой метод разведки этих бойцов — на слух — явно не удовлетворял его. Наверно, заметив недоверие комбата к результатам своей работы, все тот же боец возбужденно сообщил подробности:

— Влезли в кусты, сидим ждем, слышим, они там

долбят. Хотели уж лезть по воде, да слышим, по-нашему говорят. «Володя, — говорит, — куда ты подсумки положил?» — «На шинели, — говорит, — мои и твои». Ну понятно, наши, — с уверенностью заключил боец.

— Если наши, то надо установить с ними связь, — сказал комбат. — Договориться о взаимодействии на завтра. Вызовите сюда старшего лейтенанта Кизевича.

— Есть!

Боец побежал в направлении девятой роты, а Волошин задумчиво вглядывался в ту сторону, за болото. Разумеется, в темноте он ничего не увидел, но он знал, что на крохотном этом пригорочке больше взвода не расположишь. Впрочем, даже и взвод, окопавшись, мог бы помочь батальону огнем по высоте «Большой». Только кто его мог занять, этот бугор, — неужто подошел авангард соседа? Это было бы здорово.

Дожидаясь Кизевича, Волошин присел на твердые комья бруствера. Несколько стоящих возле него бойцов принялись усердно стучать ботинками — греть ноги.

— Что там, в самом деле невозможно пройти? — спросил комбат.

— Вода там, товарищ капитан. Не замерзла. Мы попробовали, провалились, насилу вылезли.

— А те как же прошли?

— А кто их знает. Может, где и есть проход. А ночью как найдешь?

«Так, так, — думал комбат. — Но вряд ли их там много. Может, секрет от соседа? Но все равно надо связаться. Надо кого-то послать».

Когда неторопливым шагом подошел из темноты Кизевич, Волошин сказал:

— У вас найдется толковый сержант?

— Это зачем?

— Установить связь с высотой «Малой». Что за болотцем.

— Что устанавливать! — передернул плечом Кизевич. — Там никого нет.

— Как нет? Вот люди пришли, слышали — голоса. Наши, русские.

— Что они могли слышать? Я до вечера туда смотрел — ни живой души. Может, они в темноте не на тот бугор вылезли? Может, правее взяли, там правда кто-то елозил вечером.

Комбат помолчал, не зная, как быть. Уверенный тон

командира роты просто обескураживал, но и бойцы тоже были уверены, что не ошиблись.

— Мы прямо шли. Через кустики. Под самый бугор. Но там вода, болото не замерзло.

— Вот то-то — болото. Залезешь — не вылезешь, — сказал Кизевич и отвернулся.

— Тем не менее пошлите сержанта с бойцом. Пусть точно установят, кто и сколько.

— Сержанта! У меня их много?

— Самохвалов у вас есть? Его и пошлите.

Кизевич молча постоял минуту и пошел в ночь, не скрывая своего недовольства новым приказом. Волошину это не очень понравилось, но командир девятой имел особый характер и поступал так не впервые. К тому же он лет на пять был старше Волошина, и это обстоятельство несколько сдерживало комбата в его официальных отношениях с ротным.

Волошин коротко простился с молчаливым, подавленным сегодня Муратовым и пошел в роту Самохина — надо было выяснить наконец относительно главной для них высоты, «Большой». Хотя он и понимал, что ночью силой двух бойцов немного чего разведаешь на довольно широком и мерзлом склоне, но все же. По крайней мере, хоть одна обнаруженная там мина позволила бы ему определить, что высота заминирована и что без ее разминирования нельзя начинать атаку. Но будет хуже, если они там ничего не обнаружат и он завтра влезет с батальоном на минное поле.

В этот раз комбат легко нашел в темноте над болотцем маленький блиндажик Самохина, возле которого его встретил старшина Грак. Он сказал, что лейтенант прилег отдохнуть и оставил его, Грака, дождаться возвращения с высоты разведчиков, которые все еще не вернулись. Комбат минуту молчаливо постоял возле траншейки, послушал: на высоте по-прежнему было тихо и глухо, ни один звук оттуда не долетал против ветра, и Волошин решил возвращаться на свой КП.

— Придут разведчики — сразу ко мне.

— Есть, товарищ комбат.

Дело с разведкой неожиданно затягивалось на обоих направлениях, и это не могло не беспокоить комбата. Особенно тревожила высота «Большая». Что-то очень уж долго не возвращался сержант, только бы он не напоролся там на боевое охранение немцев, думал Волошин.

Пробираясь в темноте на свой пригорок с НП, он то и дело останавливался и слушал. Однажды ему показалось, что он слышит долетевшие с высоты голоса. Но, по-видимому, это были голоса немцев, потому что если бы разведчики были обнаружены, то наверняка бы вспыхнула перестрелка — без перестрелки не обошлось бы. Но пока там было тихо, теплилась надежда на удачу разведки.

В траншее НП дежурил уже не Прыгунов, а Титок, он тоже узнал комбата и не окликнул его, а лишь негромко потопал ногами, давая тем понять, что не спит, наблюдает и греется.

— Ну как, все тихо? — спросил Волошин.

— Тихо, товарищ комбат. Только машины урчали.

— Где урчали?

— Да там, на горбу этом.

— На горбу и будут урчать. Укрепляются.

Он прошел по траншее и поднял угол палатки на входе в свое жилище. Теперь тут было ненамного теплее, чем в поле, печка-бидон уже не горела, но карбидка тускло светила над ящиками. На его появление в углу возле телефонного аппарата завозился, начал продувать трубку заспанный, с поднятым воротником Черноручснко, рядом спал под полушубком, вытянув ноги, Гутман, возле которого калачиком свернулся намерзшийся за долгое дежурство Прыгунов. От ящиков поднял сонное лицо Маркин:

— Ну что, вернулись разведчики?

Волошин устало опустился на свое место по другую сторону ящиков, расстегнул крючок воротника и ослабил ремень. Усталое, натертое одеждой и ремнями тело жаждало расслабиться, обрести покой, хотелось вытянуть ноги, только вытянуть тут было негде.

— Из полка звонили? — вместо ответа спросил Волошин.

— Гунько обзывался два раза. Приказал сразу же доложить, как придете.

— Сна на него нет, — проворчал комбат и потянулся к Черноручснко за его трубкой.

Телефонист на том конце провода, наверно, дремал и хотя ответил на позывной, но потом опять смолк, комбат подождал и повторил вызов. Наверно, Гунько тоже спал и не сразу взял трубку. Наконец, приглушенный расстоянием, послышался его недовольный голос:

— Да, слушаю.

— Двадцатый «Березы» слушает, — сказал Волошин.

— А, Волошин! Ну как обстановка? Как подготовился? Все у вас готово?

— Что готово? — сказал Волошин, не скрывая своей досады от этого обычного в таких случаях вопроса. — Был у Иванова, огурчиков кот наплакал. Какая же поддержка будет?

— Будет, будет поддержка. Это не ваша забота. Об этом позаботятся кому надо.

— Это мне надо, — со сдержанным раздражением возразил комбат. — Я атакую, а не кто другой. Потому и забочусь.

— Вот, вы атакуете, вы себя и готовьте. Свое хозяйство готовьте. У вас все готово?

— Еще не вернулись разведчики. А на высоте «Малой» еще неизвестно кто: наши или немцы.

— Это на какой? За болотом? А там никого нет. Та высота не занята.

— А если все-таки занята?

— Да ну, ерунда, Волошин! Вам все черти снятся. Вчера мои разведчики вернулись — там пусто.

Волошин сокрушенно вздохнул — вчера! За ночь тот бугор можно трижды занять и трижды оставить, а майор все будет ссылаться на вчерашние данные его разведчиков.

— Товарищ десятый, я прошу разрешения перенести срок сабантуя на час раньше, — уклоняясь от бесплодного теперь спора, сказал он. Командир полка, судя по его продолжительной паузе, не понял или даже удивился его необычной просьбе.

— Это почему?

— Ну раньше, понимаете? Пока не рассветет.

Майор опять помолчал, наверно, подумал и отказал.

— Нет, нельзя. Действуйте по плану. План, понимаешь, уже утвержден. Наверху. Так что... По плану.

Волошин скрипнул зубами, но промолчал и, поскольку Гунько тоже неопределенно молчал, опустил клапан трубки и положил ее поперек телефона. Маркин, наверно, прогнав свой сон, вопросительно уставился в недовольное лицо Волошина.

— План! Гляжу, завтра нахлебаешься из-за этого плана, — не сдержался комбат и выругался.

— Если уж план, то точка, — все поняв, со вздохом сказал Маркин. — Теперь Гунько от него ни на шаг...

— Хотя бы уж план, а то... В шесть тридцать атака.

Почему в шесть тридцать. Только-только рассветает. Что не сделано за ночь, уже не сделаешь — некогда. И люди не отдохнут как следует. В шесть надо уже завтраком накормить. Ни доразведать, ни осмотреться... Но им же надо до полудня об исполнении доложить. Чтобы успели их продвижение в суточную сводку включить. Потому и эта спешка.

Волошин не мог сдержать раздражения, хотя минуту спустя и пожалел о том. Он был человек дисциплинированный, и оспаривать решение командира полка, да еще в присутствии подчиненных, было не в его правилах. Но и сдержаться он тоже не мог, столько уже накопилось в его душе за эту беспокойную ночь.

— Ладно! — сказал он больше себе, чем Маркину. — Вы отдыхайте, Маркин. До четырех ноль-ноль. В четыре я вас подниму, сам часик вздремну.

— Да, я сосну, — согласился Маркин, но все сидел, уставясь в какую-то точку на светлой под фонарем доске ящика.

— И это, дайте мне вашу бритву, — попросил комбат. — Побриться надо.

Маркин достал из кирзовой сумки аккуратно завернутую в обрывок газетки бритву, мыльницу и маленькое, треснувшее посередине зеркальце. Комбат начал готовиться к бритью, а начштаба расслабленно сидел, неопределенно глядя на его приготовления.

— Так я лягу, — полувопросительно сказал он наконец, и Волошин подтвердил:

— Да, да, ложитесь. До четырех.

Маркин откинулся на солому и очень скоро затих, будто притаился за ящиками. С глубоким шумным дыханием спал, лежа на спине, Гутман, далеко вытянув ноги в потертых, со сбитыми каблуками кирзачах. В углу над кожаным футляром своего аппарата, поминутно подхватываясь, дремал Чернорученко, иногда вызывал «Волгу» и продувал трубку. В печурке багровым отсветом догорали остатки углей, и слабые отблески от них лежали на темных жердях перекрытия.

Комбат стянул с плеч шинель, подвернул воротник гимнастерки. Брился он вовсе не потому, что завтра предстоял трудный бой, в котором могло произойти худшее из всего, что происходило на любой войне. Просто он чувствовал на подбородке щетину и знал, что завтра времени у него не будет. Теперь же настала самая тихая

пора ночи, когда, кроме немцев, вряд ли кто мог его потревожить, и он успокоенно расслабился, оставаясь в этой тиши наедине с собой и своими заботами.

Натирая мыльной водой обветренный подбородок, он в который уже раз думал, вздыхая, какой зверски трудной выдалась эта война. Была ли когда еще такая в истории? Сталинград позволил вздохнуть с облегчением и надеждой, военная удача на юге склонилась наконец в нашу сторону, наверно, теперь там веселее. Но здесь, в этих лесах и болотах, на этих холмах и проселках, у разоренных войной деревень и погостов, по-прежнему дьявольски трудно. По-прежнему враг дерется до последней возможности, упорно отстаивая каждую высотку в поле и каждый сарай в деревне. Чтобы его одолеть, сколько надобно силы, организованности и умения, и, если чего недостает, вся тяжесть борьбы ложится на многострадальную матушку пехоту, которой платить за все своей большой кровью. И часто те, кто платит по этому кровавому счету, не могут себе и представить, что где-то не хватило умения, не управился транспорт или не все оказалось предусмотренным. От скольких причин зависит, чтобы их кровь оказалась меньшей и не так катастрофически быстро убывали их жизни. Волошин понимал, что Гунько был не из худших. На кого-то он мог произвести выгодное впечатление своей щепетильной исполнительностью, умел приглянуться начальству, лихо доложить и по всей строгости взыскать с подчиненных. К тому же никто в полку с таким шиком не носил воинскую форму, как его командир: в форменной шинели со множеством ремней, планшеткой, в начищенных хромовых сапогах и даже при шпорах. Вид его был безупречен. А как он ведет себя с подчиненными, как держится в бою, этого начальству не видно, на поле боя оно с ним не общается. Зато это известно им, командирам его батальонов. Обращаясь к командиру полка с просьбой перенести атаку на час раньше, Волошин наверняка знал, что тот не согласится, откажет. Да и как он мог не отказать, когда целая система мероприятий в плане уже была привязана к заранее определенному сроку, над которым командир полка уже не властен. А жаль. Часов в шесть или даже в половине шестого, в предрассветных сумерках, батальон, наверное, смог бы тихо, без выстрела преодолеть болото и зацепиться за склон, траншея на высоте оказалась бы ближе, может, и удалось бы ворвать-

ся в нее, хотя и под огнем. Но тогда становилась ненужной эта артподготовка, которую следовало отменить, а кто ее отменит? Ведь в случае неудачной атаки вся вина падет на отменившего артподготовку, хотя вместо настоящей артподготовки будет одна ее видимость, которая не столько пособит батальону, сколько раскроет его намерения. Какой вред она может причинить противнику сорока снарядами, выпущенными за десять минут на рассвете, когда все немцы будут сидеть в оборудованных за ночь блиндажах и в траншее останутся одни наблюдатели?

10

Невесело размышляя о предстоящем и прислушиваясь к шуму ветра снаружи, комбат не спеша побрился, взглянул в зеркальце на свой замызганный подворотничок, подумал, что не мешало бы подшить новый, но подворотничок подшивать не стал. Он на все пуговицы застегнул гимнастерку, надел шинель — потертую, простреленную, изволоженную в земле и грязи, но все еще годную к носке и даже в чем-то форсистую, сшитую им на заказ во время формирования в Свердловске. Ремень достался ему от бывшего заместителя по строевой старшего лейтенанта Сорокина, убитого зимой во время разведки боем, — свой довоенный он потерял после тяжелого ранения под Ржевом. Ремень тоже был неплохой, поношенный, но еще достаточно твердый, с полевой комсоставской пряжкой, двумя кавалерийскими портупеями и даже свистком в маленьком футлярчике на левом плечевом ремне. Комбат вынул из кобуры свой пистолет системы ТТ выпуска 1939 года с пластмассовой, словно костяной, рукояткой, которые с начала войны стали изготовлять из твердых пород дерева, шершавые и менее удобные. В обоих магазинах было по семь патронов — восьмой он досылал в патронник, чтобы не уставала пружина и была безотказной подача. Пистолет этот был для него тем, чем может быть на войне только друг и спаситель, не раз доказавший комбату свою безмолвную преданность. Последний случай все еще вызывал в нем легкий озноб при воспоминании о том, как это случилось и чем могло окончиться. Как-то неделю назад во время суматошной схватки в немецкой траншее Волошина сшиб с ног сильный молодой эсэсовец с зажатым в

руке ножом. Падая, комбат успел выстрелить, на долю секунды упредив удар, и эсэсовский нож по самую рукоятку вонзился в землю в каких-нибудь двух сантиметрах от его плеча.

Пистолет стрелял безотказно, Волошин за двадцать шагов отбивал из него горлышко у поставленной на пенек бутылки, сшибал по заказу любую ветку на дереве. Всякий раз, разбирая его, он с сожалением думал, что когда-то им придется расстаться, и хотел, чтобы после него тот достался хорошему человеку. Жалеть не будет.

Осторожно сдвинув с рукоятки затвор, Волошин не очень чистым носовым платком старательно вытер его пазы, освободил пружину. Надо бы прочистить и ствол, за несколько дней, минувших после стрельбы, там, наверно, наросло коросты, но у него не оказалось щелочи. Он нерешительно посмотрел на блаженно спящего Гутмана, смекая, куда тот мог запихать вещмешок с их солдатским имуществом, как вдруг заслышал снаружи шаги. Шаги гулко отдавались в подмерзшей земле и явно приближались к землянке. «Разведчики?» — со вспыхнувшим оживлением подумал комбат, но в траншее шаги притихли, от неумелых рук незнакомо зашевелилась палатка, и в землянку просунулось раскрасневшееся от ветра молодое лицо.

— Разрешите, товарищ капитан?

— Да, пожалуйста, — сказал Волошин, почувствовав легкое разочарование от того, что вместо долгожданных разведчиков прибыл комсорг полка лейтенант Круглов. Впрочем, комсорг был неплохой, общительный парень, и разочарование комбата скоро исчезло.

— Что, майор Миненко послал? — занимаясь пистолетом, спросил Волошин.

— Да. У вас же намечается завтра, — просто сказал Круглов, стягивая с рук рукавицы. — А что это печка затухла? Дрова вышли? Ну, тоже хозяева, в лесу сидят, а дров не имеют.

Прежде чем комбат с Черноручено успели что-либо ответить, комсорг поднял плащ-палатку и исчез в траншее. Послышался его приглушенный разговор с часовым на НП, шаги, потом все опять смолкло.

— Шебутной комсорг, — сонным голосом проговорил Черноручено не то с похвалой, не то с осуждением молодого лейтенанта, которому годился в отцы.

«Живой, да», — подумал Волошин. Круглова он знал

давно, еще с тех пор, когда сам командовал седьмой ротой, а этот лейтенант был командиром взвода в полковой роте автоматчиков. Расторопный был автоматчик, ничего не скажешь. Впрочем, став комсоргом полка, лейтенант, кажется, не изменился.

Не минуло и четверти часа, как снова послышались шаги, сильный шорох в траншее, Черноручепко распахнул палатку, и Круглов бросил на пол охапку настылых ветвей.

— Вот, хоть погрею вас. А то замерзнете.

Он начал с хрустом ломать, видно, не очень сухие ветки, заталкивать их в узкую топку печки, Черноручепко помогал ему, скоро в землянку дунуло дымом, но в печке помалу пошло разгораться. Комсорг сдвинул на затылок шапку и, встав на колени, откинулся от печки.

— Люблю огонь!

— Кто не любит, — скупо сказал Волошин, сохраняя прежнюю озабоченность. — Что там в полку слыхать?

— А что в полку? Я во втором батальоне, у Паршина, был. Вдруг звонок, Миненко: шагом марш к Волошину, завтра сабантуй.

— Сабантуй, да. Приказано взять высоту.

— Возьмем, раз приказано, — легко заверил комсорг.

— Гляжу, ты оптимист.

— А что ж! Что комсоргу остается? Задор, уверенность и оптимизм.

— Недурно. А Паршин что? Отсиживаться будет?

— Куда там! На совхоз наступает. Пополнение получил.

— Пополнение и я получил. Семьдесят семь человек.

— Ого! Так много!

— Все новенькие. Необстрелянные. Им бы недельку в обороне посидеть. Пообвыкнуть.

— Не получается в обороне.

— К тому же по-русски почти не понимают.

— Это хуже. Хорошо, я их понимаю. Переводчиком буду.

— А ты откуда?

— В Средней Азии жил. Самарканд, Бухара, Чарджоу.

— Ясно. Тогда спасибо майору Миненко. Действительно, может, поможешь договориться.

Волошин собрал пистолет, вложил его в жесткую ко-

буру, вытер платком руки. Круглов сидел перед топкой и, с треском ломая хворост, пихал его в дымящую печку. Комбат ждал, что комсорг, проинструктированный замполитом, заговорит о предстоящей политмассовой работе, но тот, будто избегая этой темы, говорил о другом.

— А как же с политобеспечением? — осторожно спросил Волошин. — Митинг проводить не будем?

— А зачем? Я и так побеседую. И им письмишко почитаю. Письмишко классное получил. От девушек из Свердловска.

— От знакомых?

— Нисколько. Пишут на имя комсомольского секретаря части. Не письмо — целая поэма. Хотите почитать?

Он схватился за свою набитую бумагами кирзовую сумку, но Волошин сказал:

— Зачем? Не мне же адресовано.

— Так с моего согласия. Я вот бойцам все читаю — слушают, не оттащишь. И сердечно и патриотично. Хоть в газете печатай.

— Вот и почитай в ротах.

— Обязательно. Вот как они пишут, послушайте, — сказал он, торопливо разворачивая помятый треугольник. — «От имени и по поручению всех наших девушек, здравствуйте, дорогие и любимые воины-герои, красавцы молодые и чуть постарше, мы любим вас и гордимся вами, и ждем вас днем и ночью, бесконечно храня нашу любовь и нашу девичью нежность...» Ну? И так дальше.

— Хорошо пишут, — сказал Волошин.

Круглов спрятал письмо и застегнул сумку.

— Ну что, сколько там настучало? — Он взглянул на лежавшие на ящике часы Волошина. — Ого, уже три? Пойду в роту.

— В какую пойдешь?

— Какая под высотой? Самохина?

— Самохина, — сказал, подумав, комбат. — Но я бы посоветовал сходить в восьмую. Муратов там захандрил что-то.

— Это почему?

— Да так. Ерунда. Но надо бы подбодрить.

— Хорошо, пойду к Муратову. Старый знакомый все-таки. Вместе в полк прибыли. А потом и к Самохину заскочу.

— Что ж, давай.

— Главное — письмо прочитать. Знаете, как вдохновляет?

— Посмотрим, как ты их вдохновишь завтра.

— В наилучшем виде. Только вот времени в обрез. Ну что ж, утречком встретимся?

— Непременно.

Круглов ушел, и в землянке опять стало тихо. Прислушиваясь к отдаляющимся в траншее шагам, Волошин вспомнил о высоте и подумал, что придется, наверно, снова вылезать из землянки и идти к Самохину — он просто терял надежду дождаться на КП пропавших где-то разведчиков. Но усталое тело медлило, так хорошо было сидеть в тепле и покое, тревожно сознавая, что истекают последние часы ночи, а завтра все уже будет не так. Хотя, может, и обойдется. Они возьмут высоту, закрепятся, зароются, настанет какая-никакая передышка, можно будет отдохнуть в обороне.

Вот ведь о чем мечтается, спохватился комбат, поймав себя на этих расслабляющих, почти крамольных на фронте мыслях. Пол-России стонет под немцем, льется кровь пополам со слезами, люди ждут не дождутся, когда Красная Армия осилит захватчика, а он о чем размечтался — стать в оборону, отдохнуть, отоспаться. Но что делать — именно так. Сердцем и разумом чувствуешь и сознаешь одно, а тело, каждая часть твоей теплой плоти жаждут другого; у них свои, куда более скромные, требования, но без удовлетворения их — никуда. Очень несовершенен, слаб человек, но другого вот не дано. Чтобы достичь больших целей, приходится считаться с маленькими нуждами этих несовершенных и слабых людей, судьбами и телами которых вымощен весь длинный путь к огромной победе.

И Круглов прав, идя к ним не с лекцией о положении на фронтах и не с разъяснением очередного приказа Верховного, а с трогательным в своей девичьей наивности письмом истосковавшихся в обезмужичевшем тылу девчат. Действительно, такое письмо способно скорее тронуть очерствевшие души тех, кому адресовано, и наверняка благотворнее сработает в их сознании, чем чеканные слова воинского приказа, ставящего все те же задачи. Если бы эти задачи было так легко выполнить, как запечатлеть их в сознании у каждого! А вот письмо, этот тихий голос девичьей нежности, из-за тысячи верст прилетевший в промерзшую фронтовую темень, — что может

быть светлее и ближе для издрожавшегося, оголодалого, изнывшего от долгой разлуки с близкими человека на фронте?

Но комбат не хотел читать эти, может быть, самые лучшие из всех когда-либо написанных от имени и по поручению строки, он предпочитал такие слова любви, которые не покажешь другому, не прочитаешь на собрании.

Он их читал в редкие минуты покоя, наедине с собой.

«Мой дорогой сын, пишу тебе, наверно, в последний раз, вряд ли нам придется когда еще свидеться. По улице проходят последние бойцы нашей пехотной части, на Оршанском шоссе слышится сильный бой, под вечер, наверно, тут уже будут немцы. Может, ты меня осудишь за то, что я остаюсь в этом городе под властью оккупантов, но куда мне идти? Ты знаешь, какое мое здоровье, к тому же я здесь родилась, здесь выросла, здесь тридцать лет моей жизни отдано детям и школе, здесь могилы моих стариков и твоего отца — я остаюсь с ними. Будь что будет!

Но что ждет тебя? — эта мысль приводит меня в отчаяние, я не нахожу себе ни покоя, ни места, ведь ты совсем еще молод, а на твоих плечах такая командирская ответственность. Как ты с ней справишься в такой жестокой войне, с таким сильным врагом, как эти немцы-фашисты?

Я напрасно не сетую, я понимаю, что таков твой удел, ты мужчина, воин, и этим все сказано. Правда, теперь я все думаю о тех годах твоей юности, когда ты сделал свой решающий выбор и стал военным. Может быть, следовало выбрать иначе? Возможно, прав был твой бухгалтер-отец, видевший иным твое будущее? Ты знаешь, сколько он потратил усилий, чтобы развить в тебе еще детские твои способности к искусству, и как льстили ему похвальные отзывы о них Пэна и самого Добужинского. Но что делать? Выбор сделан, и теперь поздно сожалеть об этом.

Я только очень прошу — на коленях умоляю тебя, — если можно, побереги себя! Мы свое прожили, твое же — все впереди, если бы не эта проклятая война, так неожиданно свалившаяся на наши головы! Я тебя прошу лишь об одном — без крайней нужды не лезь на рожон, подумай, прежде чем рисковать жизнью, помни, как это

ужасно для родителей — переживать своих детей. Твоя мама. Витебск, 9 июля 1941 года».

Всякий раз перечитывая это истершееся в карманах письмо, Волошин со скорбно-печальной улыбкой думал: «Милая, добрая, наивная мама, если бы это было возможно...»

11

Похоже, он задремал, пригревшись в своем тихом углу, и вдруг содрогнулся от испуга, от неясного сознания того, что случилась беда. Оставленные на ящике часы показывали четверть пятого, он их сунул в карман и выскочил из землянки, ошеломленный тем, что происходило снаружи.

Еще было темно, но ночная тишина исчезла, взорванная обвальным огневым треском и гулом, по всему поднебесью, сверкая, неслись, перекрещиваясь и обгоняя друг друга, десятки огненных трасс, над высотой то и дело взмывали в небо ракеты, синим дрожащим светом заливая переходящий в болото склон. Там же, слышно было, грохнуло несколько гранатных взрывов, и над болотом, батальонной цепью и пригорком густо неслись, сходясь и рассыпаясь в черной темени неба, огненные нити трасс.

Быстро подавив в себе сонный испуг, комбат понял, что, несмотря на грохот и густое сверкание вокруг, бой шел у немцев, его роты молчали. Скорее всего, как он того и боялся, это напоролись за болотом разведчики.

Он бросил испуганно выскочившему из землянки Маркину: «Докладывай в полк», а сам, крикнув Гутмана, пустился по траншее в поле.

Спотыкаясь и оступаясь на полевых неровностях, он бежал в дрожаще-подсвеченной темени навстречу этому грохоту вниз, к цепи седьмой роты, думая, что теперь придется выручать разведчиков, если только еще можно их выручить. Если оба они не распластались на склоне. Конечно, при этом опять не избежать неприятных объяснений с Гунько, но что делать? К объяснениям ему не привыкать.

Гутман, торопливо застегиваясь и подпоясываясь, молча бежал следом, озабоченно поглядывая на высоту, однажды упал, выругался и, пригнувшись, догнал комбата:

— Взбесились они там, что ли?

Волошин не ответил. Он тоже не сводил глаз с высоты, ее залитого мигающим светом склона, на котором, однако, отсюда ничего не было видно, и думал, что, наверно, разведчики влипли как следует, наверно, им уже не помочь. Чуть замедлив свой бег, он начал примечать опытным взглядом все высверки пулеметных трасс, которые он умел отличать среди множества других автоматических выстрелов и, омрачаясь, понял, что их много. Он такого не ждал. Он насчитал их не меньше шести, хотя, конечно, это была лишь часть хорошо организованной системы пулеметного огня, всю ее теперь они не раскроют.

Седьмая была вся на ногах, никто уже не спал, бойцы, высовываясь из темных окопчиков, тревожно смотрели на беснующуюся огнем высоту, ждали, что последует дальше. Он взял в сторону, сгибаясь, пробежал к знакомой приблиндажной траншейке, в которой уже жалось несколько человек и слышался голос Самохина:

— Не лезь, не лезь, не высовывайся! Жить надоело?

Волошин с ходу спрыгнул в траншею, кто-то посторонился, давая место комбату, следом влез Гутман, и Самохин сообщил озабоченно:

— Видите, что делается? Наверно, Нагорный...

— Еще не вернулся?

— Нет.

— Немедленно десять человек через болото па выручку. Немедленно!

— Есть! — бросил командир роты. — Гамзюк! Гамзюк, бери первый взвод и вниз!

Подсвеченный ракетными отблесками, Гамзюк выскочил из траншейки, пригнувшись, побежал вдоль цепи, и близкая огненная очередь, едва не сбив с него голову, толстым сверкающим жгутом пронеслась над бойцом. Когда она затухла, стало видно, как несколько человек нерешительно выбрались из своих окопчиков и упали в темени, наверно не решаясь куда-то бежать без команды.

Они медлили, два пулемета с высоты слепо строчили по кустарнику на болоте, трассирующие светляки рикошетов со шмелиным гудом разлетались в разные стороны. Наконец Гамзюк собрал всех и только сбежал к болоту, как рядом, в траншейке, кто-то обрадованно воскликнул:

— А вон, гляньте! Это не Нагорный?

Все повернули головы в сторону, куда указывал боец, действительно, в кустарнике ощущалось какое-то движе-

ние. Наверно, это заметили уже и бойцы Гамзюка, кто-то там, пригнувшись, взял резко в сторону. Минуту спустя несколько бойцов уже повернули обратно на взмежек, одна тесная группка их свернула к траншейке.

— Что такое, Гамзюк? — не стерпев, окликнул бойца Самохин.

— Да вот, ранило.

— Кого ранило?

Они подошли к брустверу и осторожно положили наземь неподвижное тело, кто-то принялся расстегивать на нем шинель, а на бруствер тяжело опустился Нагорный.

— Нагорный? Что у вас случилось? — встревоженно спросил Самохин.

— Счас, счас, товарищ лейтенант...

Только тут все заметили, что Нагорный совершенно выбился из сил, трудно дыша, он распахнул на себе шинель, скинул шапку и долго еще не мог вымолвить слова.

— Счас... Значит, так... Ранили вот его... Дрозда...

— Где ранили? — спросил комбат.

— Там, возле траншеи. Мы доползли... А как побежали... Сперва ползли, а там эта... Спираль...

— Какая спираль? — удивился командир роты.

— Ну эта... Бруно...

— Никакой там спирали не было. Вчера я весь день смотрел...

— Вчера не было. Натянули... Ну мы и вперлись. Ни туда, ни сюда. Я взял, потянул...

— Зачем? Зачем ты тянул, голова и два уха! — взъярился лейтенант.

— Так а Дрозда как же?.. Его ж там ранило, — кивнул он в сторону лежавшего на земле бойца, и комбат, поморщившись в темноте, заметил, что там уже появилась маленькая фигурка Веры. — Туда как ползли, не было. А потом натянули...

— А, они вас там загородили? Вот сволочи! — выругался командир роты.

Комбат не перебивал и не переспрашивал, он ждал, давая Нагорному выговориться о том, что занимало больше всего. Факт появления там спирали Бруно не облегчал положения, скорее наоборот. Но важнее все-таки было узнать о минах.

— Мы, значит, до самой траншеи доползли, слышим, они гергечут... Вдруг и сзади как зашурудят что-то, да так сильно...

— Как то есть зашурудят? — не понял комбат.

— Ну спираль на кольях растягивают. И запутали нас, как карасей в пруду. Ну а тут его и ранило...

— А мины? — нетерпеливо спросил Самохин.

— Что? Так мин нету. Мы не нашли. Да и те, с проволокой, ходили так, смело.

Волошин внутренне вздохнул с облегчением, тревожное напряжение, охватившее его с самого начала этого переполоха, понемногу спало. Самое худшее из его опасений, кажется, не оправдалось, мин не было, и разведчики, хотя и с одним раненым, вернулись в роту. Было бы хуже, если бы они, живые или мертвые, остались за проволокой. Но эта спираль Бруно! Еще ее им не хватало, как бы в ней не застрять поутру.

— Что, сильно ранен? — тихо спросил он бойцов, возившихся с раненым.

— Не поймешь, все в крови, — ответил кто-то из них. Вера молчала.

— Гранатой его, — уже немного отдышавшись, сказал Нагорный. — Этот гад, фриц, услыхал и — гранатой. Как раз возле его разорвалась. Осколками.

— Молодец, не бросил, — сказал капитан и впервые с неприязнью подумал о Кабакове, вместо которого на бруствере лежал этот Дрозд. Получилось куда как негоже — тот своей неприкрытой трусостью выгадал себе жизнь. А этот? Неизвестно еще, выживет ли.

— Такой тарарам устроили, — сказал Самохин о немцах.

— Как ошалели просто. Думал, тоже спекусь, но... Едва вытащил.

— Быстро перевязывайте и в тыл. Старшина Грак!

— Я, товарищ комбат!

— Лично займитесь. Раненого быстро в санроту!

— Есть!

Стрельба все-таки постепенно утихала, постреливали лишь два пулемета с флангов, остальные вроде замолкли. Только ракеты с короткими промежутками все светили над склоном, наверное, немцы опасались новой вылазки разведчиков и старательно освещали склон. Теперь становилось понятно, почему они избегали светить в первой половине ночи — устанавливали препятствие, обносились этой проклятой спиралью Бруно. Да, конечно, если промедлить еще пару дней, то на склонах высоты появится не одна спираль, будет и минное поле, и прово-

лочное заграждение в три кола, а может, и кое-что другое.

Действительно, генерал прав: надо спешить.

Все бы ничего, если бы была своя минрота, а у Иванова было побольше снарядов, и он бы мог как следует поддержать пехоту. Во время атаки да и потом, на высоте. Теперь стало ясно, что немцы устраивались прочно и надолго, что так просто высоту они не отдадут, будут драться за нее упорно. Видно, чем-то она им приглянулась, эта высотка.

В траншейку прибежал младший лейтенант Ярощук, разглядев здесь комбата, боком протиснулся к нему в своем драном, обшарпанном полушубочке.

— Куда это вы запропастились, Ярощук? — с укором сказал комбат. — Все поле облазил, так и не нашел.

— А я тут. Вон, четыреста метров каких. Хотел рубануть давеча... А что? Они вон как лупят, а нам молчать, что ли?

— Не стоит, — сказал комбат. — Поберегите прыть. Понадобится.

— Прыти-то хватит.

— И боеприпасы тоже. Вы вот что, Ярощук: к утру подтащите пулеметы поближе. Начнется атака, будете поддерживать. Огнем через болото. Вот тогда и покажете прыть.

— Есть. Я сейчас. Я уже тут и позицию присмотрел.

— Вот давайте, — закончил с ним разговор комбат, и Ярощук побежал в темноту, к своему взводу ДШК.

— Ах гады, испортили отдых, — поежился на ветру Самохин. В траншею возле блиндажа как-то украдкой от комбата соскочила и исчезла Вера. Раненого уже перевязали, и старшина Грак с двумя бойцами понесли его в тыл.

— Хороший боец был, — с сожалением сказал Самохин и погрозил в темноту. — Ну а тому хрену я покажу. Покажу, как за чужие спины прятаться. Сачок чертов!

Комбат знал, кого он имел в виду, но промолчал. Трудно в таких вещах разобраться, еще труднее предусмотреть все их тонкости. В душе он тоже был зол на Кабакова, но все-таки показывать ему что-либо не стал бы. Еще неизвестно, что в самом скором времени ждет самого Кабакова. Как бы его удел не оказался похуже.

— Ну что ж, — сказал комбат. — Скоро завтрак. Кормите бойцов и... Ваша, Самохин, полоса отсюда и

прямо по склону. Восьмая чуть примет вправо. Направляющим пустите взвод Нагорного, ему дорога знакома. Впрочем, приказ еще отдам.

— Ясно, товарищ капитан. Как там, артиллерии не подкинули?

— Нет, не подкинули, Самохин. Спарядов немного дали. По двадцать штук на орудие.

— Только по двадцать? Маловато.

— Что делать. Вся надежда на взвод ДШК. Если Ярощук не подведет.

— Не должон. Он боевой младшой.

— Он-то боевой, да...

Волошин не стал уточнять своих еще во многом ему самому неясных сомнений — перед боем всего не учтешь, что-то все равно вылезет, неожиданное и чаще всего неприятное, вынуждающее быть настороже и решительно ко всему готовым.

Оглядываясь на высоту, он пошел в роту Кизевича. Главная забота ночи наконец свалилась с его плеч, без мин управиться будет легче во всех отношениях. Но попрежнему неясно было с высотой «Малой» — кто там? Или действительно наши и он напрасно сомневается, гоняет людей и порет горячку?

Как и подобает дисциплинированному ординарцу, Гутман все время держался сзади, но вдруг несколько шагов подбежал и поравнялся с комбатом:

— Теперь Самохин покажет кузькину мать этому Кабакову. Через него ж Дрозд пострадал?

— Через него, да, — подтвердил комбат.

— Я б его, эту гниду!.. Ух, ненавижу трусов!

— Да? Сам никогда не боялся?

— Я? Боялся, почему? Но чтоб за других прятаться!.. Этого за мной не было.

— Видишь ли, Гутман, все дело в том, что люди в жизни все разные, разными приходят на фронт. А тут вдруг ко всем одни требования, и, конечно, не все им соответствуют. Надобно время притереться, а времени-то и нет. Вот и получаются... несоответствия.

— Ага! Кому-то как раз. А другим страдать? Нет, так я не согласен.

— Конечно, за других страдать — непорядок. Но приходится. На войне все приходится.

— Нет, я так не хочу. Мне так неинтересно. Так даже страшно.

— А как же ты хочешь?

— Я? Чтоб с музыкой! Чтоб помнили, гады! У меня больно к ним счет большой. Одной родни было в Киеве человек тридцать. Мне их много надо угробить. Может, отпустите меня в роту, а, товарищ капитан?

Комбат промолчал. Эта просьба прозвучала для него несколько неожиданно, и комбат, хотя и чувствовал ее обоснованность, не хотел сразу решать. Ординарец из Гутмана был неплохой, проворный, с понятием; и хотя он вполне бы сгодился теперь на должность взводного в любой роте, но за два часа до предстоящей атаки Волошин не хотел отпускать его. В бою надежный ординарец значит не меньше начальника штаба.

— Об этом потом, — сказал он, подумав. — Вот возьмем высоту, потом.

Гутман легонько вздохнул.

— Еще как возьмем?

— Сомневаешься?

— Да я ничего. Мне что сомневаться?

Они уже подходили к левому флангу девятой роты, как сзади послышался глухой стук ног бегущего, и комбат остановился.

— Товарищ комбат!

— Да. Что такое?

В темноте к ним вплотную подбежал Прыгунов.

— Товарищ комбат! Командир полка срочно к телефону вызывает.

Волошин, делая вид, что прислушивается к почти уже успокоившейся высоте, полминуты выждал, подавляя в себе внезапно вспыхнувшее чувство досады, — этот неурочный вызов командира полка сулил мало хорошего. Но деваться было некуда, от начальства не спрячешься, и он распорядился:

— Гутман, идите к Кизевичу и узнайте, как с разведкой бугра. Я жду точных данных.

12

На КП никто уже не спал, разведчиков ни одного не было, Чернорученко с обиженным видом продувал трубку, проверяя связь, и, как только в землянку влез командир батальона, сообщил встревоженным голосом:

— Командир полка там ругаются...

— Понятно, будет ругаться, — спокойно сказал Во-

лошин и, не поворачиваясь к телефонисту, спросил Маркина, который перематывал на ногах портянки: — Как с завтраком? Узнавали?

— Завтрак готов. Прыгунов уже пошел...

— Прыгунов успеет. А роты оповестили?

— Роты уже знают.

— Надо скорее накормить роты. Пойдите и проследите, чтобы все в темпе. Без проволочки.

Как всегда, Маркин молча поднялся и вышел, а командир батальона опустился возле телефона.

— Вызывайте десятого.

Пока Черноручено крутил ручку, Волошин почти с ненавистью смотрел на этот аппарат в желтом футляре. Иногда он даже страстно желал, чтобы эта связь с командиром полка прервалась хоть на два часа, он бы вздохнул свободней. Но всегда получалось так, что рвалась она в момент, наименее для того подходящий, когда он действительно в ней нуждался, а в остальное время работала, в общем, исправно, и командир полка в любой угодный для себя момент мог вызвать его для доклада, дачи указаний, а чаще всего для разноса.

— Что́ там снова у вас? Опять светомаскировка? — недовольно начал Гунько, когда он доложил о себе.

— Нет, не светомаскировка. На нейтралке обнаружены разведчики.

— Чьи разведчики?

— Мои, разумеется.

— Ну и что?

— Один ранен.

— Хоть не оставили его там? Немцам, говорю, не оставили? — В голосе командира полка прозвучала тревога.

— Нет, не оставили. Вынесли и уже отправили в тыл.

— Так, — майор помолчал. — Когда будете докладывать о готовности?

— Когда подготовлюсь. Подразделения только еще начинают завтрак.

— Давай, давай, шевелись, Волошин. У тебя задача номер один. Наибольшей важности. Ее надо выполнить во что бы то ни стало.

— Понятно, что надо выполнить.

— Нет, не понятно, а обязательно. Понимаешь? Кровь из носу, а высоту взять.

— А как поддержка?

— Будет, будет поддержка. Рота Злобина будет целиком задействована на вас.

— Это хорошо. Как приданная?

— Нет. Будет поддерживать. Со своих опэ.

Это была минрота второго батальона, у которой тоже, конечно, негусто с минами, и вся она состояла из трех восьмидесятидвухмиллиметровых минометов. Но и то была радость. Наверно, почувствовав удовлетворение комбата, командир полка попытался подкрепить его, сообщив:

— И это — для контроля и помощи тебе поднимаю весь штаб. Скоро к тебе придут командиры...

Волошин, криво улыбнувшись, хмыкнул в телефонную трубку.

— Вот это помощь! Мне стволы нужны. Артиллерия с боеприпасами.

— Будет, будет. Я тут вот увязываю. Все необходимые распоряжения уже отданы.

— Да-а, — опечалясь, вздохнул Волошин. — Распоряжений, конечно, хватит...

— Подбросим патрончиков. Лукашик уже отправился, повез, что там у него наскреблось.

— Товарищ десятый, — оживляясь, перебил его командир батальона. — А как все же с атакой? Разрешили бы на полчаса раньше. Или на полчаса позже?

— Нет, будете выполнять, как назначено. Артбатарея открывает огонь ровно в шесть тридцать.

Волошин поморщился. Он так и знал, что это его обращение окончится неудачей, но вот не удержался. И напрасно. Кажется, это был последний спокойный их разговор, последующие в горячке боя уже будут другими — на басах, с нервами и матом. Гунько с началом боя совершенно менялся, и тогда о чем-либо упросить его или переубедить было невозможно. Переубеждало его только начальство, с которым он оставался неизменно покладистым.

Пока командир батальона разговаривал по телефону, принесли завтрак — Волошин услышал, как за его спиной оживился всегда апатичный Черноручение, с удовольствием принимаясь хлопотать возле котелков и буханок мерзлого хлеба.

Комбат положил на аппарат трубку.

— Вот, товарищ комбат, завтракайте.

Телефонист поставил на уголок ящика плоский алюминиевый котелок, облитый супом, на снятую крышку

уважительно положил пайку хлеба. Прыгунов на соломе развязывал вещевой мешок.

— Тут вот доппаек вам, товарищ капитан. Старшина завернул. Что тут? А, вот сало...

Он осторожно извлек из вещмешка что-то завернутое в измятую, изодранную газету, положил на ящик.

— Вот, вам и лейтенанту.

Волошин понял: это был доппаек за март — месячная командирская надбавка к солдатской фронтовой норме, всегда неожиданная и даже удивлявшая своей изысканной утонченностью, — в виде рыбных консервов, масла, печенья. Впрочем, масло и консервы теперь были заменены салом, что тоже весьма неплохо. Глядя, как Прыгунов старательно выискивает в вещмешке раскрошившиеся остатки печенья, Волошин взял один кусочек на зуб, попробовал и с небрежной щедростью подвинул к краю весь измятый отсыревший кулек.

— Угощайтесь, Черноученко!

— Да ну...

— Ешьте, ешьте. Пока Гутмана нет.

— Это вам, — смутился Черноученко. — Мы вот — пашано.

— Гутман придет, приберет, — сказал Прыгунов, принимаясь с Черноученко за свой котелок с супом. — И лейтенанту тут. Всем вместе.

«Не хотят — пусть прибирает Гутман», — подумал комбат. Он же есть это печенье просто стыдился, глядя, как отстранились от него бойцы. Тем не менее, как и все, он тоже был голоден и, чувствуя, как катастрофически убывали минуты тихого времени, знал: скоро станет не до еды. Он быстро выхлебал свои полкотелка остывшего пшенного супа и засунул в полевую сумку складную алюминиевую ложку.

В этот момент зазуммерил телефон.

— Начинается!

Действительно начиналось. Звонил ПНШ-2, требовал сведения о разведке обеих высот, и Волошин грубо ответил, что сам еще не получил этих сведений. С ПНШ он отвел душу, он выговорил ему без обиняков все, что думал об организации его службы в части. Капитан обиделся, они поспорили, но только он положил трубку, как зазвонил начальник артиллерии. Этому надо было увязать некоторые моменты артподготовки минроты Злобина с действиями его батальона. Начальника артиллерии

Волошин, в общем, уважал, это был толковый кадровый капитан, с которым они отлично договаривались на тактических учениях под Свердловском, но теперь Волошин срезал его первым вопросом:

— Сколько?

— Что — сколько?

— Сколько дынь на меня отпущено? Бэка? Два?

— Ого, захотел! — развеселился капитан. — Бэка! По двадцать дынек на ствол. Уразумел?

— Уразумел. Что и увязывать? Какое тут может быть взаимодействие!

— Тем более надо взаимодействовать, — сказал начарт. — Когда дынек навалом, тогда действительно... Тогда ешь от пуза, и еще останется. А тут каждая дынька на учете.

— Вот что, капитан, — сказал Волошин. — Я попрошу об одном. Чтоб не все сразу. Чтоб — на потом. Сначала уж я сам как-нибудь. Понял ты меня?

— Я-то понял, — вздохнул начарт в трубку. — Да надо мной поймут ли?..

«Над тобой вряд ли поймут», — подумал Волошин, заслышав, как в траншее застучали шаги и кто-то, тихо разговаривая, затормошил палатку. По беззаботному смеху и долетевшим обрывкам разговора комбат понял, что это шли работники штаба, отряженные ему для контроля и помощи. И действительно, в тесную землянку втиснулись три плотные командирские фигуры в полушубках, с раскрасневшимися от морозного ветра лицами, озабоченные и в то же время затаившие важность возложенных на них обязанностей.

— Привет, комбат, — фамильярно подал ему руку первый вошедший, капитан Хилько, начхимслужбы полка, с виду человек крайне простецкий в отношениях с командирами и подчиненными.

— Мы думали, комбат еще спит, — сказал другой, тонкий, с чернявым нервным лицом полковой инженер, фамилии которого Волошин не помнил, в полк тот прибыл недавно. — Это нас подняли ни свет ни заря.

— Да, вас подняли зря, — сказал комбат, невольно сопротивляясь этой навязываемой ему фамильярности. Вообще-то он был не против фамильярности как таковой, но теперь чувствовал, что за ней таилось желание этих людей поглубже влезть в суть его и без того мало веселых дел, и он не мог не воспротивиться этому.

— Как то есть зря? — удивился третий с новенькими погонами майора, плотный, с брюшком, человек в годах, которого Волошин видел впервые и теперь не без некоторой опаски присматривался к нему. — Как это зря? Разве атака отменяется?

— Атака не отменяется, — сказал Волошин. — Атака в шесть тридцать.

— Вот-вот! Полковник именно так и ориентировал. Командир дивизии, — уточнил майор, кого он имел в виду, и комбат понял, что майор, по всей видимости, из штаба дивизии. — Значит, значит... — говорил он, пытаясь озябшими руками достать из брючного кармашка часы. Волошин опередил его, вынул свои и сказал:

— Значит, осталось полтора часа.

— Правильно. Поэтому не будем терять времени. Меня интересует наличие конского состава.

— Восемь лошадей, — не сразу, с некоторым удивлением ответил комбат.

— Так, так, — заторопился майор. — Ветеринарная обеспеченность? — задал он следующий вопрос.

— Очевидно, вы что-то спутали, — с желчным спокойствием сказал комбат, начавший догадываться, что перед ним ветврач штаба дивизии. — У меня атака, а не выводка конского состава.

— То есть как? — округлил глаза майор.

— Очень просто. Нашли время чем интересоваться! У меня к атаке половина готовности.

— Половина готовности? — в совершенном изумлении переспросил ветврач. — Так ведь через полтора часа...

— Уже через час двадцать.

— Ну и ну, — пробормотал майор, склонившись к фонарю и пытаясь записать что-то.

— Да, время идет, — подтвердил инженер. — Я только хотел бы посмотреть схему инженерных заграждений батальона. Атака атакой, но и по части обороны не грех позаботиться.

— Это у начальника штаба, — сухо сказал комбат.

— А где начштаба?

— В ротах.

— Хорошо, я подожду.

— Да, вы подождите, — вдруг спохватился комбат, поняв, что появилась возможность отделаться от этих проверяющих. Но отделаться от них можно было, лишь

удалившись в боевые порядки рот, — туда уж они вряд ли сунутся. — Черноручeнко!

— Я! — поднял голову телефонист.

— Берите катушку, аппарат и за мной шагом марш.

— То есть как? — удивился инженер.

— Я ухожу в роты.

— Но ведь здесь ваш КП.

— Здесь КП. Здесь будет начштаба батальона. Вот с ним и займитесь. Он в курсе всего.

Черноручeнко, предупредив телефониста на другом конце провода, торопливо выдергивал колышки, которыми крепился кабель. Прыгунов сгреб вещмешки, взвалил на плечо запасную катушку, и комбат, не дожидаясь их, рванул палатку над входом.

Он уже был спокоен. Его минутная вспышка быстро улеглась, это было не самое худшее — «контроль и помощь» тоже имели свои уязвимые места, и с ними можно было бороться. В роты вряд ли они сунутся, останутся в землянке, тем более что на съедение им он отдавал Маркина. Маркину, конечно, достанется. Но комбат не чувствовал угрызений совести — он в самом деле не имел уже ни минуты времени на эти бесплодные разговоры — отныне все его существо, каждый нерв и каждая мысль были заняты боем.

Он выбежал из траншеи и пошел по бурьяну вниз. Слева, в стороне совхозного поселка, видно, тоже поднялся переполох — светили ракеты, и трассирующие очереди красными роями мелькали над темной землей по краю звездного неба. Наверно, обнаружили себя разведчики — сегодня второй батальон чуть позже третьего тоже возобновлял свое наступление, не принесшее успеха вчера. Конечно, взяв эту проклятую высоту, Волошин очень помог бы второму, впрочем, так же, как и второй помог бы ему, взяв совхоз. Но с их ослабленными силами что-нибудь взять было непросто, думал комбат, видать, крови сегодня прольется вдоволь. Останется ли что от батальона?

А что, если предпринять маневр, не предусмотренный ни командиром полка, ни уставом, и еще до начала артподготовки и до рассвета послать за болото роту — в момент атаки она бы прикрыла продвижение остальных, взяв огонь на себя. Да и сама помогла бы огнем. В самом деле. Ночью в темноте выдвинуться, наверно, удастся, кустарники на болоте маскировали от ракет и хотя не укрывали

от огня с высоты, все-таки стрелкам в них было надежнее. Но чтобы послать роту, надо опять связываться с командиром полка, сделать это без его ведома комбат не имел права. Разве что взвод? Скажем, того же Нагорного...

Волошин быстро шагал вниз, к болоту, под затаившейся в ночи высотой. Ветер не утихал, было дьявольски холодно, мороз жал, наверное, градусов на семнадцать. Близился рассвет, стало совсем темно, только звезды в разрывах облаков сверкали беспокойно и остро. Но знал он, скоро их блеск начнет слабеть, небо станет наливаться синькой, из ночных потемок выступит серый, неуютный полевой простор, и для батальона пробьет его час — шесть тридцать.

Волошин на ходу оглянулся — Черноручeнко с Прыгуновым отставали, возясь со своей катушкой, которая временами потрескивала, заедая кабель, наверно, задевала зубчатка. Он хотел как можно быстрее обосноваться в роте, но без связи теперь не мог обойтись ни минуты и остановился, поджидая бойцов. Он чувствовал минутное облегчение оттого, что удалось обхитрить проверяющих, которые, по существу, ничем ему помочь не могли, а помешать могли сколько угодно. Каждый из них считал себя вполне сведущим в его действиях, а главное — был вправе указать, не одобрить и даже потребовать. Как же — они посланы в батальон сверху, из полка и дивизии и, значит, полагали себя умнее и дальновиднее. Даже и этот дивизионный ветеринар, которого так озадачила неготовность к атаке.

«Пусть себе сидят на КП, ждут Маркина, — подумал Волошин. — Втроем скучно не будет».

Он, однако, ошибся.

Только он пришел в роту Самохина и приказал Черноручeнко поставить графин в траншейке, а Прыгунова послал разыскать по цепи Самохина, как сзади, в некотором отдалении от роты, услышал приглушенный голос. Сначала ему показалось, что это кто-то из бойцов, но затем он услышал характерные интонации Гутмана и обрадовался тому, что Гутман наконец принесет весть о разведке бугра за болотом.

Действительно, это был Гутман, который быстро шел вниз к блиндажу, но за ним, отставая, ворошилась еще одна фигура в полушубке, присмотревшись к которой комбат узнал недавнего своего знакомца из штадива.

— Товарищ комбат, вот представителя дивизии при-

вел, — бодро сказал Гутман, словно ожидая поощрения за свой поступок. Комбат в душе чертыхнулся, глядя, как настырный майор, пыхтя и отсапываясь, лезет в узковатую для него траншею.

— Быстро, однако, вы ходите, комбат. Хорошо, вот ваш ординарец попался... — говорил он как ни в чем не бывало.

13

По мере того как приближался назначенный для атаки час, все быстрее бежало время, и Волошин боялся, что не успеет, запарится со столь кратковременной подготовкой, запарятся командиры рот, не успеют бойцы. Но роты вовремя получили завтрак, бойцы разобрали подвезенные им боеприпасы и теперь с тревожной напряженностью коротали остаток этого трудного перед атакой часа. Нагорный тоже, кажется, успел. Прошло минут двадцать, как его взвод (впрочем, скорее отделение — четырнадцать человек), тихо соскользнув с обмежка, исчез в предутренней темноте кустарника, и пока там, за болотом, все было тихо. Но что бы ни делал комбат, чем бы ни занимался в своей приблиндажной траншейке, всем своим обостренным вниманием он был там, за болотом. Он очень боялся, что немцы до времени обнаружат бойцов Нагорного и сорвут весь его замысел, который он до поры скрыл от командира полка и старался скрыть от этого дотошного представителя штаба дивизии, все лезшего к нему с расспросами, зачем и куда он посылает бойцов. Но шло время, а сторожкая предутренняя тишина над болотом ничем не нарушалась, вселяя в комбата слабенькую надежду.

Между тем разведчики Кизевича все не возвращались, и это тяжелым камнем лежало на душе комбата. До последней минуты надеясь на их появление, он тянул время в траншейке и не отдавал приказа. Рядом ждали вызванные для того командиры подразделений, с ракетницей наготове лежал на тыльном бруствере Гутман, а он все тянул, вслушивался и все нетерпеливее поглядывал в сторону девятой — не идет ли Кизевич. Но Кизевич, по-видимому, тоже ждал до последней минуты, и комсорг Круглов, полулежавший сзади на бруствере, поняв беспокойство комбата, сказал вполголоса:

— Да, влопались, наверно, ваши разведчики.

Наверное, влопались, подумал комбат, но где? Если там, на бугре, свои, то где же они могли влопаться? Значит, не свои, пожалуй...

Однако тянуть дальше стало невозможно, до начала артподготовки оставалось тридцать минут, небо все больше светлело, уже стал хорошо просматриваться кустарник на болоте, и комбат встрепенулся.

— Гутман, бегите за командиром девятой.

Ординарец, сорвавшись с бруствера, проворно побежал краем болотца. В траншее примолкли, почувствовав скорое начало самого важного, для чего они тут собрались, — отдачи боевого приказа, после которого утро будет принадлежать не им. Начнется бой, трудный и долгий, может быть, на весь день до вечера, и для кого-то из них этот день станет последним днем жизни. Но каждый из них, стоящих теперь в траншее, давил в себе это знобящее чувство, скрывая его за торопливой закуркой, коротенькой шуткой, пустой, мало что значащей репликой. Они были не новички на войне и умели владеть собой даже в таком тягостно томящем ожидании, как эти последние перед атакой минуты.

Комбат обвел взглядом присутствующих и, не увидев командира батареи, спросил:

— А где капитан Иванов?

— А вон бежит, кажется, — сказал, оглянувшись, Круглов.

Действительно, с пригорка, слегка пригибаясь, запоздало сбежал командир батареи и, шурша палаткой, упал боком на бруствер. Два телефониста с тяжелой катушкой тянули за ним телефонную связь.

— Сюда, сюда давайте! — негромко крикнул им капитан и виновато сказал собравшимся: — Задержался, прошу прощения. С боеприпасами морока. Только что привезли.

Стоя вполоборота, Волошин сдержанно кивнул головой. Взгляд комбата скользнул по молчаливой фигуре лейтенанта Муратова и остановился на стоящем поодаль Самохине, который, обжигая пальцы, сосредоточенно докуривал «бычок». Он хотел о чем-то спросить лейтенанта, но по другую сторону траншейки завозился со своим измятым блокнотом ветврач из дивизии.

— Товарищ командир батальона, прошу ответить еще на один вопрос. Как обеспечивается подвоз боеприпасов?

— Все, что дали, уже подвезли, — сказал Волошин. — Больше не предвидится.

— Как то есть?

— Просто. Больше сегодня не дадут. Выдали все, что было.

— Ах, что было, — понял ветврач.

— Товарищ майор, — сказал комбат. — Я бы посоветовал вам, пока не рассвело, отправиться на мой КП. А то как начнется, отсюда не выберетесь.

Майор обиженно вскинул тронутое щетиной, слегка оплывшее за ночь немолодое лицо.

— А я не намерен выбираться, товарищ комбат. Я прислан командиром дивизии до момента взятия высоты. Я обязан присутствовать в батальоне и осуществлять контроль за выполнением его приказа.

— Ну как хотите, — спокойно сказал комбат, сразу потеряв интерес к майору; у него была пропасть дел поважнее.

Он ждал Кизевича с Гутманом, но сперва прибежал один Гутман, на ходу бросивший комбату: «Нет разведчиков», потом из сумерек показался командир девятой. Его мрачный вид красноречиво подтверждал невеселое сообщение ординарца, и командир батальона разочарованно отвернулся. Далее ждать не имело смысла.

— Товарищи командиры!..

В траншейке и на бруствере все разом притихли, хотя и так почти все молчали, прекратился шорох палаток о землю, наступала важная минута, требовавшая сосредоточенного внимания всех.

— Слушайте боевой приказ, — твердым, слегка напрягшимся голосом начал комбат. — Ориентиры. Номер один...

Отдавая приказ, он старался следовать пунктам недавно введенного боевого устава пехоты, хотя у него и была своя, отработанная продолжительной практикой схема приказа. Но он покосился на ветврача, который озябшими пальцами что-то старательно корябал в своем блокноте, наверно записывая его слова. Впрочем, это комбата мало заботило: его внимание поглотил замысел боя, трудная, может быть, несбыточная возможность ворваться на высоту и одолеть на ней немцев. Он хотел бы побольше сказать о противнике, но он недостаточно знал о нем, система его огня не была раскрыта полностью, его огневые

возможности тоже. Поставить задачи ротам не составляло труда, тут все было привычно, хотя комбата и не переставал беспокоить правый открытый фланг батальона. На случай неприятностей из-за этого фланга он приказал командиру девятой атаковать высоту уступом, с загнутым в сторону болотного бугра флангом — видно, это будет нелишне. Ему же он передавал один из двух пулеметов Ярощука, чем сразу же вызвал вспыльчивое несогласие младшего лейтенанта.

— Что ж их раскидывать! Так взвод, а то...

Комбат короткой паузой игнорировал его замечание и продолжал разъяснять задачи:

— Повторяю, главный замысел боя состоит в быстроте действий. Роты преодолевают болото броском, как можно скорее выходят на рубеж взвода Нагорного. Командир девятой! Ваша задача особенно важная — как можно глубже охватить высоту «Большую» справа и ни на минуту не упускать из виду высоту «Малую» за болотом.

— А если там немцы? — сказал с бруствера сидевший поодаль Кизевич.

— Если там немцы, вы не сможете осуществить охватный маневр. Тогда надо сперва сбивать немцев оттуда.

— Кем сбивать? Взводом?

— Это будет видно. В ходе боя.

Он еще не успел закончить отдачу приказа, как внизу, в наспех отрытой ячейке, завозился у телефона Черноручекно.

— Десятый вызывает.

С неудовольствием прервав разговор, комбат опустился на корточки и взял из рук телефониста трубку.

— Волошин, осталось пятнадцать минут. Я жду доклада о готовности, — раздраженно напомнил командир полка. — Что вы долго возитесь там? Оперативнее надо.

— Я отдаю боевой приказ, — сказал Волошин.

— Отдавайте и докладывайте. Ровно в шесть тридцать артиллерия должна открыть огонь.

— Я буду готов вовремя.

— Ну-ну. Я жду.

Комбат выпрямился в траншее и неожиданно для себя встретился взглядом с командиром восьмой Муратовым.

— Главный удар осуществляет восьмая, лейтенант Муратов.

— Как всегда, — неопределенно-глухо отозвался Муратов.

Волошин подумал: действительно, как всегда. Но что делать, такова участь всех частей и подразделений, находящихся в центре боевого порядка, которые в наступлении идут в лоб и теряют больше других. Зато в обороне больше достается фланговым, все неприятности обороняющихся обычно происходят на флангах.

— Какие вопросы? Что не ясно? — спросил комбат, взглянув на часы. Действительно, надо торопиться, его время было на исходе. Но все озабоченно молчали, в траншее сделалось очень тихо, только Круглов, забавляясь, бросал с бруствера комочки земли на лед.

— Если вопросов нет — по местам! — сказал комбат, с особой отчетливостью почувствовав, что уже совсем ничего не осталось. Осталось дождаться назначенной минуты и послать в небо гроздь зеленых ракет. Потом будет бой.

Командиры выскочили из траншеи и, придерживая на бегу полевые сумки, побежали в свои подразделения. В траншее стало свободнее, вместе с комбатом в ней остался Самохин, странный в своем службистском упрямстве ветврач, капитан Иванов со связистами. Из распахнутого блиндажа выглядывали связные — по одному от роты. Чернорученко жался в своей ячейке, а Круглов на бруствере, торопливо прикурив у Гутмана, сказал, обращаясь к комбату:

— Пойду, наверно, к Кизевичу. Гляжу, тут командиров хватает.

— Правильно! — одобрил Волошин, подумав, что в той отдаленной роте присутствие лишнего командира окажется весьма кстати. — Идите в девятую. Там, в случае чего...

— Ясно, — сказал комсорг и прощально взмахнул рукой. — Ну, пусть будет удача!

— Пусть, — согласился комбат и шагнул к Иванову. — Паша, как батарея?

— Батарея готова, — сказал Иванов, опуская от глаз бинокль, в который он рассматривал высоту. — Вот только еще не видать ни черта.

Он уже пристроился на бровке бруствера, усадив у ног телефониста, молоденького шустрого паренька в зеленой шинельке. Из-за борта полушубка капитана торчал уголок блокнота и таблицы стрельбы с заложенным в них

карандашом. Никаких артприборов у Иванова не было, пристрелку, как всегда, он вел глазомерно, обходясь стареньким, обшарпанным биноклем.

— Да, еще темновато, — взглянув на высоту в бинокль, подтвердил Волошин.

— Еще минут двадцать надо. Пока рассветет. Вблизи видать, а даль вся в потемках. Куда же стрелять? Разрыва не увидишь.

— Надо, значит, подождать, — сказал лейтенант Самохин, запихивая в карманы гранаты. Затем он закинул за плечо ППШ и бросил комбату: — Ну я пошел в цепь.

— Значит, бросок, — напомнил на прощание Волошин. — Два броска — и чтоб на вершине! Только так, не иначе.

— Постараемся, товарищ капитан, — сказал лейтенант, легко выскакивая из траншеи.

Внизу опять зазуммерил телефон, и малоподвижное лицо Черноручепко напряглось, озабоченным взглядом телефонист поискал комбата.

— Вас.

Комбат взял трубку и, уже зная, какой услышит вопрос, сказал почти зло:

— Еще не готов. Как буду готов, доложу.

— Вы затягиваете время, вы срываете сроки атаки! — раздраженно заговорил командир полка. — Что за безобразие, капитан?

— Что время? Мне ни черта не видать! Артиллеристы еще не просматривают высоты.

— Глаза им протереть, твоим артиллеристам! — загремело в трубке. — Уже вполне рассвело, светлее не будет.

— Товарищ десятый, надо выждать еще десять минут, — спокойно сказал комбат. — Зачем же палить в божий свет как в копейку? Снаряды еще понадобятся.

— Вы просто не готовы, вы только ссылаетесь на артиллеристов! Вы не организовали атаку! — зло кричал командир полка, и Волошин почувствовал, с каким бы удовольствием он тоже перешел на крик. Но он изо всех сил старался сохранять спокойствие и не потерять самообладания, которое еще очень пригодится ему сегодня.

— Товарищ десятый! Действительно, я не готов. Как буду готов — доложу.

Он отпустил клапан и передал Черноручепко трубку, тут же столкнувшись со встревоженным взглядом майора.

— Это кто? Это из штаба дивизии?

— Это из штаба полка, — сказал Волошин.

Майор, промолчав, достал свои толстые старинные часы на белой серебряной цепочке.

— Осталось четыре минуты, — поеживаясь от волнения, сказал он чуть дрогнувшим голосом.

— Надо подождать, — сказал, отрываясь от бинокля, Иванов. — Еще ни черта не видать.

Комбат откинулся к задней стенке траншеи, он думал. Конечно, начинать артподготовку, когда еще не просматривалась вершина высоты, было нелепостью, но он знал также, что всякая задержка с атакой даром ему не пройдет. Уж Гунько взыщет, отведя на нем душу за все последние неудачи полка, особенно если к ним прибавится еще и неудача его батальона. Это уж точно. Тем не менее он решил с твердостью:

— Подождем!

Рядом в немом удивлении застыл майор.

— Как? Вы откладываете атаку?

— Да. На пятнадцать минут.

— Я протестую. Вы нарушаете приказ. Я буду докладывать.

— Можете докладывать, — спокойно сказал комбат. — Вы видите — темно. Куда же стрелять? Командир батареи не видит целей.

Майор рассеянно смотрел на него.

— Но приказ в шесть тридцать.

— Приказ отдавался ночью, когда вовсе было темно. Да вот не развиднело по приказу.

Ветврач обескураженно замолчал, сраженный очевидностью доводов комбата, но и игнорировать срок приказа он тоже не мог и рассеянно поглядывал на руку с лежавшими в ней часами.

Волошин тоже вынул часы — минутная стрелка неуклонно приближалась к шестерке, затем незаметно для глаза переползла ее, и внизу опять зазуммерил телефон.

— Скажи, что комбат ушел в цепь, — сказал Волошин, и Черноручепко, путаясь и заикаясь, стал объяснять в трубку отсутствие командира батальона.

— Так будет лучше. Ну как видимость, Паша? — спросил он Иванова.

— Еще бы десяток минут. Едва заметна стала траншея.

Волошин поднял бинокль.

— Видишь окончание траншеи, самый ее нижний отросток-ус? Там блиндаж или, может быть, дзот с пулеметом.

— Да, вижу. Вчера еще мои засекли.

— Далее на изломе траншеи еще пулемет, ночью засек сам. Этот самый опасный, на два склона работает.

— Вот его мы и прихлопнем, — уверенно сказал Иванов. — В первую очередь.

— Далее все по траншее. Там пулеметов пять-шесть. Надо накрыть.

— Попробуем.

— Ну и спираль Бруно. Хотя бы по одному попаданию на роту.

Не отрываясь от бинокля, Иванов скомандовал телефонисту:

— Батарея, к бою!

— Батарея, к бою, — как эхо тенорком отозвался внизу телефонист и ясными глазами из-под сбитой набекрень шапки посмотрел вверх на комбата, ожидая новых его команд.

— По пулемету... Гранатой, взрыватель осколочный... Заряд четвертый... Репер номер один левее ноль-сорок. Прицел сорок восемь. Первому один снаряд — зарядить!

Телефонист, передав все дословно, несколько секунд выжидал и наконец поднял на комбата все тот же ожидающий взгляд синих глаз.

— Первое готово! — почти пропел он.

— Ну что? — вопросительно взглянул на комбата Иванов. — Я готов.

Волошин решительно протянул руку к трубке. Черноручко понимающе попросил дать «десятого».

— Я готов! — сказал комбат, как только услышал в трубке микрофонный щелчок клапана. Командир полка со стоном что-то вскричал, но комбат, упреждая его, вскинул левую руку по направлению к Гутману.

— Гутман, ракету!

Гутман был наготове и, хрустнув курком немецкой ракетницы, вскинул ее над головой.

Волошину показалось, что зеленая гроздь ракеты порхнула в тусклое небо мгновением раньше, чем хлопнул выстрел ракетницы, и красиво распустилась в высоте над чахлым кустарником болота.

— Огонь! — тотчас негромко скомандовал Иванов.

Секунду спустя сзади туго ударило в воздух, слабо отдавшись за лесом, и первый гаубичный снаряд, распарывая упругий воздух, прошел над головами. Потом на несколько секунд его ход где-то там замер, будто затерявшись в небе, но вот почти у самой макушки высоты возле траншеи обвально грохнул разрыв. Ветер, подхватив облако пыли, быстро понес ее наискось по склону.

14

Бойцы торопливо повыскакивали из окопчиков и, пригибаясь, с затаенным до поры опасением на лицах сыпанули с обмежка к болоту. В течение нескольких секунд комбат видел почти весь свой батальон, за исключением скрытой пригорком роты Кизевича, затем болотный кустарник быстро поглотил всех. Первый дружный рывок обнадеживал, теперь бы еще пару таких рывков, и батальон был бы на склоне. Но комбат знал, что скоро ударят немцы и все может обернуться иначе.

Иванов, не отрываясь от бинокля, продолжал передавать команды, и вверху через их головы, потрескивая и постанывая, шли тяжелые гаубичные снаряды, которые с мощным глубинным грохотом обрушивались на высоту. Теперь он бил по траншее — с блиндажом и пулеметом поближе, наверно, было покончено. Немцы молчали, и Волошин хотел было уже сказать командиру батареи, чтобы тот сделал паузу — зачем без толку бить по молчащей траншее? Но только он подумал о том, как с высоты длинно застегал пулемет. Волошин чуть подвернул окуляры бинокля и увидел за болотом, в самом начале склона, несколько серых фигурок, с усилием бегущих по склону вверх. Кто-то из них там упал, поднялся, вперед вырвался один в телогрейке с коротким автоматом в руках, и Волошин узнал в нем Нагорного. Пока роты под прикрытием артогня преодолевали болото, Нагорный атаковал траншею.

— Паша, ты видишь? — вскрикнул комбат. — Вон мои вырвались! Скорей накрой пулемет!.. И проходы, проходы в спирали...

— Где же он? От черт, не разобрать...

Пулемет длинно бил по взводу Нагорного, его пули с протяжным визгом неслись с высоты над болотом, но засечь его позицию не удавалось. Комбат до боли вдавливал окуляры бинокля в глазницы, пока не услышал, как сзади

задудукали оба его ДШК, и через траншейку и кустарник на высоту понеслись дымные, заметные в небе струи крупнокалиберных трасс. Волошин подумал, что Ярощук видит цель, и устремил взгляд следом за трассами, но заметить, куда они там вонзались, было невозможно. Дымнотрассирующие очереди мчались по направлению к высоте и бесследно исчезали на ней.

Комбат напряг зрение, ожидая, что из кустарника покажутся наконец подоспевшие роты, но рот еще не было видно. Похоже было на то, что Нагорный поторопился, хотя это было лучше, чем если бы он промедлил — промедление с атакой сводило на нет всю его затею с отвлекающей вылазкой. Нагорный ударил вовремя и четырнадцатью своими бойцами прикрыл роты. Даже если он и не ворвется в траншею, этот его маневр сделает свое дело.

Однако огонь с такого расстояния был уничтожающ, и Волошин, внутренне сжавшись, ждал того неизбежного момента, когда Нагорный заляжет, к тому же наткнувшись на невидимую отсюда, но где-то там растянутую спираль Бруно. Он и действительно залег, несколько человек упали на серый склон, то ли укрываясь от пулеметного огня, то ли были убиты. Но тут же, будто по его желанию, на высоте выросли подряд три пыльных приземистых разрыва, которые, наверно, не накрыли траншеи, зато землей и пылью отгородили от нее распластавшихся на склоне бойцов. И взвод поднялся. Несколько человек, только что показавшихся ему убитыми, вдруг подхватились с земли и бесстрашно побежали вверх, в еще не осевшую от разрывов пыль, которую ветер косо гнал с высоты.

— Молодец! — сказал Волошин. — Ну давайте же, давайте!

Последние его слова относились к соседям-минометчикам, которые открыли наконец огонь и так подсобили Нагорному. Комбата захлестнуло запоздалое чувство признательности этому беззаветному труженику войны, без лишних слов, без рисовки, только за истекшие сутки сделавшему для батальона столько, сколько не сделал никто. А он не нашел времени сказать ему доброе слово, пошутить в разговоре — все с холодной командирской официальностью, в приказном порядке. Запоздалое сожаление на минуту шевельнулось в душе комбата и тут же забылось, вытесненное другими заботами.

— Ага, вон он, подлец! Вижу! — радостно вскричал

Иванов и закомандовал телефонисту: — Левее ноль-ноль два, уровень больше ноль-ноль один!..

Начиналась ювелирная стрельба, точности которой мог позавидовать снайпер. Иванов умел, когда было нужно, вопреки артиллерийской теории положить три снаряда в одну воронку, в своем деле он тоже был снайпер.

Тем временем минометчики дали еще несколько удачных залпов, на задымленной верхушке заплясали кустистые разрывы мин, между которыми ровно и мощно крошили траншейный бруствер гаубичные разрывы Иванова. Пологий склон высоты заволокло дымным туманом, который свежий утренний ветер не успевал сносить прочь, и рваные клочья пыли косо тянулись в хмурое небо. Видимость резко ухудшилась, бой громыхал вовсю, все там беспорядочно ахало, содрогалось, визгом и грохотом наполняя холодный рассветный простор. Но роты, наверно, уже выходили из болота, и надо было не дать им промедлить перед решительным броском на склон.

Волошин левой рукой выхватил у Черноручепко трубку.

— Алё, десятый! Нет десятого? Передайте от пятого с «Орла» — смена НП. Карандаши — на высоте, меняю НП. Поняли? Меняю НП.

И, бросив в руки Черноручепко трубку, он с живостью распрямился в траншее.

— Гутман! Черноручепко! Снять связь и за мной! Быстро!

Черноручепко с несвойственной ему живостью одной рукой выдернул заземление, другой сгреб аппарат. Гутман подхватил катушку с наполовину смотанным кабелем, взглянув на которую комбат с опаской подумал: не хватит. Этого кабеля до высоты не хватит, как тогда быть? Впрочем, связные от рот уже взбирались на бруствер, и он крикнул Иванову, продолжавшему управлять огнем:

— Минут десять поддай!

— Десять поддам! — крикнул в ответ Иванов. — Но не больше...

— А ты поточнее, — бросил Волошин с бруствера.

— Уровень меньше ноль-ноль один, — командовал Иванов.

«Ну теперь накроет», — подумал комбат, сбегая по мерзлой траве на измызганные плахи впаянного в кустарник льда. Однако первое обнадеживающее чувство, вы-

званное удачным началом, быстро исчезало, он знал наверняка, что несколькими пулеметами дело не обойдется, что вскоре немцы ударят чем-нибудь и покрепче. Ударят из минометов, и это будет похуже. Но пока на высоте мощно грохотали свои разрывы и дробным треском заливался пулемет, хотелось думать, авось обойдется. Ему бы еще минут двадцать, за это время восьмая под прикрытием артогня наверняка бы достигла ближнего отростка траншеи. Особенно если за него удалось зацепиться Нагорному.

Волошин размашисто бежал по льду, истоптанному грязными подошвами только что пробежавших здесь рот, за ним вплотную держались трое связных. Черноручепко с Гутманом вскоре отстали, запутав в кустарнике провод, и он приказал одному из связных, тощему парню в короткой шинели и голубых до колен обмотках, быстро помочь им. Боец с напряженным непониманием взглянул на него, но потом закинул назад сбившуюся на живот противогазную сумку и остановился. Комбат, пригнув голову, продрался сквозь лозовые заросли, выскочил на льдистый, с ноздреватым снегом прогал и оглянулся: за ним из-за куста, широко расставляя ноги и осклизаясь, бежал ветврач. Его расстегнутая кобура опустело болталась на животе, узенький ремешок тянулся к руке с зажатым в ней вороненым наганом, которым майор неуклюже взмахивал, стараясь сохранить равновесие на скользких подошвах.

— А вы куда? — крикнул Волошин, не сдержавшись в своем возбуждении. Ветврач только раскрыл рот, чтобы ответить, как вдруг оба они оглушенно вздрогнули, на мгновение потеряв дар речи.

«Ну вот, наконец! — со странным злорадством подумал комбат, инстинктивно вжав голову в плечи. — Наконец. Началось!»

В облачной высоте над болотом оглушительно грохнуло раз и второй, тугим звоном заложив левое ухо. Волошин посмотрел вверх — над болотом, словно брошенный в небо клок шерсти, неслось на ветру черное дымное облачко. «Пристрелочный!» — подумал комбат и опять оглянулся. Ветврач лежал под нависшими ветвями ольхи, уронив на лед голову в подвязанной под подбородком ушанке. Подумав, что он ранен, Волошин побежал назад.

— Вы что? Ранены?

Ветврач встрепенулся и с вопросительным ожиданием в глазах внимательно посмотрел на комбата.

— Н-нет, я не ранен, — выдавил он, заикаясь.

— Встать и бегом! Бегом!! — скомандовал Волошин, сознавая, что от бризантных разрывов, густо обдававших землю осколками, здесь не укрыться, надо как можно быстрее выскочить из района поражения.

— Бегом!

В следующее мгновение с пронзающим треском грохнули еще четыре разрыва, несколько, правда, дальше, чем прежде, ближе к краю болота, как раз над тем местом, где были роты. Сотни стальных осколков горячим вихрем прошлись по ветвям кустарника, срезая ветки и насквозь прожигая толстый, достигающий самого дна лед. Ветврач снова упал, но тут же поднялся; сзади, ломая кустарник, его настигал Гутман.

Больше комбат не оглядывался, разом забыв о своей безопасности, — тревога за роты, над которыми теперь оглушительно загрохотали счетверенные разрывы бризантных, опалила его. Он бросился напрямик к близкому уже краю болота, решив во что бы то ни стало поднять батальон на последний бросок, в котором был выход и единственная возможность достичь траншеи. Под высотой на болоте они долго не выдержат, в голом промерзшем грунте не скоро окопаешься, да и окопы от этого огня не помогут. Черт бы их взял, эти бризантные, уж лучше бы минометы, горячечно думал комбат, мчась по кустарнику.

Он выскочил из него под новый залп, раздирающе грохнувший, казалось, в нескольких метрах над головой, и, сшибленный с ног этим залпом, нелепо упал на жесткую, заиндевевшую траву лужайки. Но тотчас вскочил, окинув взглядом подножие высоты, где неровно залегли бойцы восьмой роты. Кто-то из них уже лихорадочно работал лопаткой, кто-то истошно матерился справа, и он повернул на этот мат, ожидая увидеть там командира роты, и увидел кучку бойцов, на коленях возившихся возле кого-то, лежавшего на траве. Еще не добежав до них, он увидел хромовые сапоги Муратова, волочащиеся по траве, в то время как двое бойцов, подхватив командира роты под мышки и пригибаясь, тащили его к кустарнику.

— Стой! — крикнул он, не услыхав своего голоса, снова накрытого очередной серией разрывов, — один из бойцов упал на колени, выронив руку ротного, и уткнулся плечом в траву. Другой лег рядом, растерянным взглядом шаря по окрестности и не узнавая комбата.

— Что с лейтенантом? — спросил Волошин, приседая

рядом, но, только взглянув на мертвенно-бескровное лицо Муратова, сразу понял: все. Серые крупинки мозга из развороченного затылка убитого густо облепили его воротник и плечи с новенькими, аккуратно подшитыми погонами. Шинель на боку была широко распорота осколком, обнажив желтую овчину шубного жилета.

— Оставить убитого! — приказал он.

— Товарищ комбат! — взмолился боец, пожилой человек со слезящимися глазами. — Товарищ комбат, как же так? Его же ранило, мы потащили, а тут... Как же так, товарищ комбат?..

— В цепь! — жестко приказал он, взглядом ища кого-нибудь из сержантов. Но сержантов поблизости не было видно — на траве лежало ничком несколько бойцов в новых, не обмятых еще шинелях и в новеньких, насупутых на шапки касках — вчерашнее его пополнение. Их предстояло поднять для атаки, заставить преодолеть под таким огнем несколько сотен метров склона, и эта задача показалась ему, уже немало повидавшему на войне, более чем затруднительной.

Но другого не оставалось.

Стараясь пересилить треск и дзиганье очередей, он приподнялся на руках и прокричал, раздельно выговаривая каждое слово:

— Ро-та!.. При-го-то-виться... К а-атаке!

Внешне рота почти не отреагировала на эту команду, впрочем, реагировать на нее теперь и не требовалось — требовалось ее уяснить и главное — собраться с духом перед самым отчаянным броском вперед. Понимая это и выждав минуту, он скомандовал снова:

— Поотделенно... Короткими перебежками... Вперед!

И лег грудью на землю, с трепетным напряжением ожидая: поднимутся или нет? В цепи, очевидно, замешкались, и он подумал о том, как бы теперь пригодился старый командирский прием: встать самому и скомандовать просто: «За мной!» Но за этот прием он неоднократно порицал своих командиров рот и не мог позволить его себе. Все-таки у него был батальон, судьба которого во многом зависела от него, живого. Мертвый он батальону не нужен.

До него донеслось из цепи несколько невнятных обрывков команд, несколько человек в разных ее местах все же вскочили и, пригнувшись, бросились вперед на обмежек. Прямо перед комбатом мелькнула помятая, с

рудыми подпалинами на полях шинелька бойца, который проворно взлетел на пригорок, но вдруг выронил к ногам винтовку, повернулся, словно пытаясь оглянуться, и плашмя свалился наземь. Попадали тотчас и другие, поднявшиеся по команде первыми. Пулеметные струи с множеством мелькающих зеленоватых трасс теперь сошлись все сюда и густо стегали по обмежку, взбивая травянистый дерн и с жужжащим, замирающим визгом разлетаясь в стороны. Те из лежащих бойцов, чья очередь была подняться, еще плотнее припали к земле, и он не подал новой команды. Он уже понимал, что атаковать под таким огнем невозможно, что так очень просто он положит тут весь батальон. И он начал вслушиваться в громыхающую разноголосицу боя, стараясь найти в ней хоть какую-нибудь возможность для выполнения задачи, и не находил никакой. Какая ни есть возможность, которую на несколько минут предоставил внезапный удар Нагорного, была безвозвратно упущена, и теперь все решало соотношение сил, которое складывалось явно не в пользу атакующих. Огонь сплошь был немецкий, наша сторона смолкла. Несколько минометных разрывов еще треснули на высоте, и больше разрывов там не было. Замолчала и батарея Иванова, выпустившая, наверно, все, что она могла выпустить. Он не засекал времени, но прошло, наверное, побольше десяти минут. Зато высота теперь заходилась в звоне и гуле полдюжины пулеметов, потоки пуль с густым визгом, не переставая, шли над болотом, хотя здесь, за небольшим, по колено, обмежечком, отделявшим сенокос от пашни, было относительно укрытно, если бы не этот бризантный обстрел. От бризантных укрыться тут было негде.

Тем временем немецкий корректировщик, наверно, уже пристрелялся, и разрывы, с небольшим отклонением по дальности и высоте, почти в линию, грохали над батальонной цепью, взбивая осколками травяной покров, брызгая крошками льда с болота, поднимая быстро сдуваемые ветром облачка пыли на пашне. Комбат на четвереньках пробежал несколько шагов к обмежку и оглянулся, лихорадочно соображая, что предпринять. Гутман с Черноручченко, пригнувшись, уже волокли к нему конец провода, за ними на четвереньках ползли трое связных, и за всеми короткими перебежками продвигался ветврач в испачканном, мокром на животе полушубке.

— Связь! Живо!

Черноручченко, устроившись на боку, непослушными

руками начал присоединять конец провода к клеммам, а комбат, не оборачиваясь, прокричал:

— Связной седьмой роты!

Ему никто не ответил, и он крикнул громче:

— Связной седьмой!

Из-за сплошного пулеметного треска и грохота разрывов вверху, которые, впрочем, начали несколько смещаться вправо, наверное, в район девятой Кизевича, рядом ни черта не было слыхать, и Гутман, обернувшись на локте, крикнул трем связным, намертво припавшим к земле в десяти шагах сзади:

— Эй вы! Оглохли там?

Один из бойцов заворошился, с напряжением на лице вглядываясь в комбата, и тот выругался.

— Какого черта молчишь? А ну бегом за командиром роты!

Боец, сильно пригибаясь, едва не наступая на обвисшие полы шинели, с винтовкой в правой руке побежал вдоль болота налево.

— Передайте по цепи: сержанта Ершова — ко мне!

Гутман прокричал громче, и, кажется, его команду передали дальше. Если Ершов жив, он как-нибудь управится с седьмой, но неизвестно было, как сложились дела в девятой.

— Связной девятой!

— Я! — приподнялся на траве белобрысый боец.

— Бегом за командиром роты.

Только боец отбежал полсотни шагов, как опять грохнуло над самой цепью восьмой, и в воздухе, четко обозначив углы трапеции, зачернели четыре кляксы. Это тоже класс, невольно мелькнуло в голове у Волошина, пристрелялись что надо. Кто-то неподалеку, бросив в цепи винтовку, неуклюже пополз в кустарник, волоча раненую, с размотавшейся обмоткой ногу. Кто-то кричал леденящим душу паническим голосом:

— Перебьет так всех к черту! Чего лежать?

— Да. Дает, сволочь, чых-пых! — сказал Гутман.

Черноручелко все возился со связью, продувая трубку, и Волошин вскипел:

— Ну, ты долго там?

Связист, однако, поднял к комбату бледное лицо, растерянно заморгав добрыми глазами.

— Нет связи. Перебило, наверно...

— На линию, марш! Быстро!

Черноручено что-то умоляюще бросил Гутману и, закинув за спину карабин и подхватив в руку провод, побежал в болото.

Волошин, вслушиваясь в густой неумолчный грохот, с неотступностью упрямца старался обнаружить в нем что-либо утешительное для батальона, но ничего обнаружить не мог. Теперь уже весь огонь исходил со стороны немцев, наши в цепи не стреляли, замолкла артиллерия и затаились ДШК за болотом, подавленные этим гогочущим сквалом пуль и осколков, низвергшихся на батальон. Разрывы бризантных в небе яростно громыхали над районом девятой, откуда спустя четверть часа вместо старшего лейтенанта Кизевича прибежал краем кустарника разбитной боец в телогрейке. Комбат давно знал его в лицо, но фамилии теперь вспомнить не мог. Кашляя от удушливой, оседавшей в болоте тротиловой вони, боец упал возле Волошина.

— Вот записка от комроты.

Он протянул измятый в потной горсти клочок бумаги, на котором без подписи было набросано рукой Кизевича: «Наступать не могу, залег в болоте. Выбивают бризантные. Фланкирующие пулеметы с той высоты не дают продвигаться. Прошу разрешения отойти».

«Час от часу не легче, — подумал Волошин. — Не хватало бризантных, так еще и фланкирующие «с той высоты». Не оборачиваясь, комбат прокричал бойцу:

— Потери большие?

— А?

— Потери, говорю, большие?

— Наверно, человек двадцать. Вон он как лупит с воздуха. А с фланга пулеметы. Старший лейтенант там ругается...

Минуту спустя прибежал и распластался рядом вызванный с фланга восьмой командир взвода Ершов, спокойный с виду человек, в телогрейке и извоженных в земле ватных брюках.

— Какие потери? — спросил комбат.

— В роте не подсчитывал, — утирая потное лицо, сказал Ершов. — Наверное, человек восемь. Пригорочек спасает.

Пригорочек спасал восьмую, это определенно, иначе бы они тут не лежали. А вот у девятой пригорочка не оказалось, и потому ей приходится худо.

Сзади, неуклюже двигая задом, к комбату подполз ветврач и просипел сдавленным голосом:

— Что случилось, комбат? Почему не поднимаются в атаку?

Комбат посмотрел на него отсутствующим взглядом — в громыхании и треске боя он явственно различал пулеметные очереди за болотом, бившие во фланг роты Кизевича, и с неприязнью подумал о своих разведчиках. А заодно и о полковых, на которых ночью с такой уверенностью ссылался майор Гунько. Понаразведывали, называется! На его голову.

— Почему не поднимаете роты в атаку? — настойчиво сипел в ухо ветврач. Лежа рядом, он тяжело дышал, все не выпуская из рук неизвестно для какой надобности вынутый из кобуры наган, ствол которого был плотно забит землей.

— Прочистите оружие, — холодно сказал Волошин. — Разорвет ствол.

Ветврач, спохватясь, начал выколачивать из канала ствола землю, а Волошин с еще большей, чем прежде, неприязнью подумал, что такие вот честные проверяльщики — куда большее зло, чем те, кто, слабо понимая в деле, не особенно и рвется в него, предпочитая отсидеться в землянке, где безопаснее, чем в этом аду.

Он ждал лейтенанта Самохина, которого все не было, и он стал сомневаться, передан ли его вызов, не остался ли где на дороге его посыльный. Связи тоже не было. Гутман, держа прижатую к уху трубку, все дул в нее, но, видно, линия упорно молчала.

Когда из кустарника сзади появился лейтенант Круглов со сбившейся набок пряжкой ремня и без тени обычного добродушия на невозмутимом лице, комбат понял, что положение девятой в самом деле критическое. Комсорг размашисто рухнул слева от него, отер потное, в пыли и копоти лицо.

— Комбат, спасайте девятую! Через полчаса всю выбьет.

— Кизевич жив?

— Жив пока. Но потери большие. Главное — эта шрапнель. Да и пулеметы справа. Сперва надо брать ту высоту за болотом. Иначе дрянь дело. Без толку людей положите, — возбужденно заговорил Круглов.

Комбат, подумав, оглянулся на Гутмана.

— Как связь?

Гутман вместо ответа развел руками.

— Ракетницу! — потребовал комбат.

Он выхватил из рук ординарца ракетницу, лежа, пошарив в кармане, вынул белый с красной головкой патрон.

— Что ж... Будем считать, фокус не удался. Фокусники!

И, вскинув руку, послал в дымное от разрывов небо недолго погоревший там красный огонек ракеты.

Роты по-пластунски и перебежками начали отход за болото.

15

Он понимал, на что шел, и знал, как его отход будет воспринят командиром полка. Но он иначе не мог. Он не мог поднимать батальон под таким огнем с высоты — это было бы сознательным убийством. Роты, срезанные пулеметным шквалом, навсегда бы остались на ее мерзлых склонах, с кем бы тогда он вернулся на свой КП? Вернуться один с горсткой управления он бы не смог, значит, и он должен был остаться на этой проклятой высоте. Но он умирать не собирался, он еще хотел воевать, у него были свои счеты с немцами.

Лежа за обмежком, он проследил, как последние бойцы восьмой роты скрылись в кустарничке, и сам поднялся на ноги. Наверное, все же край кустарника с высоты не просматривался, пули оттуда почти все шли верхом. Подбежав к телу Муратова, он оглянулся: сзади никого уже не оставалось. Гутман, повесив на плечо автомат, принялся сматывать кабель. Но тут навстречу ординарцу из кустарника выскочил запаренный Черноручвенко, и комбат крикнул Гутману:

— Заберите Муратова!

Все по тому же истоптанному множеством ног шершавому льду он перебежал болото. Следом, тюкая об лед и сшибая мерзлые ветки, проносились пули, одна на излете стеганула его по поле шинели, прибавив к старым две новые дырки. Комбату, однако, было не до шинели, недалеко уже виднелась спасительная траншейка седьмой, где из-за бруствера ожидающе высовывалась знакомая голова Иванова.

Несколько бойцов впереди проворно юркнули в свои

недавно оставленные и снова счастливо обретенные окопчики. Следом и чуть в стороне запоздало, но с прежним оглушительным звоном лопнули разрывы бризантных. Комбат не спеша усталым шагом направился по открытому пространству к траншейке. Его теперь запросто могли срезать пулеметной очередью сзади, могли накрыть разрывом бризантного, но он уже не слишком опасался за собственную жизнь после того, как столько человеческих жизней осталось на той стороне болота. Не взглянув на виновато поникшего за бруствером Иванова, он спрыгнул в траншею, очутившись рядом с несколько раньше добежавшим туда ветврачом. Командиры встретили его молча, и он молчал, глядя, как из кустарника, выпутывая провод, торопливо выбирался Черноручепко. Ему срочно нужна была связь с командиром полка.

— Да-а, ерунда какая-то получается, — чувствуя настроение Волошина, сказал наконец Иванов.

— Почему так плохо работала артиллерия? — привстав в траншее, горячечно заговорил ветврач. — Почему вдруг замолчали орудия?

— Чтобы артиллерия хорошо работала, нужны боеприпасы, — сказал Иванов. — А боеприпасов-то кот наплакал.

— Это почему? Кто виноват?

— А это вы в штабе дивизии справьтесь, кто виноват, — стоя боком к майору, сказал комбат. — Подвоз и снабжение в армии осуществляются сверху вниз.

Майор горестно и звучно вздохнул, наверно начав наконец понимать что-то, и Иванов сказал:

— Восемь снарядов осталось. Как было последние выпустить?

Он вроде оправдывался перед ветврачом или перед командиром батальона, но комбат его не обвинял и даже не обижался на него, понимая, что без снарядов командир батареи ему не помощник.

В подавленном молчании Волошин стоял, прислонясь к тыльной стенке траншеи. Тем временем из кустарника Гутман с двумя бойцами вынесли на палатке тело Муратова. Сойдя со скользкого льда, они, то ли от усталости, то ли не зная, куда направиться дальше, нерешительно опустили его на траву, но Гутман заторопил их, и бойцы снова взялись за углы палатки. Тяжело взобравшись на обмежек, они положили убитого возле входа в траншейку, и у комбата на секунду перехватило в горле,

когда он вспомнил об их ночном разговоре о часах. Вот оно, суеверие! Впрочем, разве он один? У тех многих, что остались под высотой, вряд ли были какие-нибудь часы. Да и особые предчувствия тоже.

— Накройте лейтенанта! — крикнул он Гутману. — Палаткой накройте.

Рядом негромко выругался Иванов, который вообще никогда не ругался.

Бой, однако, утихал, немецкая батарея сбавила темп, вроде совсем собираясь прекратить огонь, унимались по одному и пулеметы. Волошин продолжал угрюмо молчать, представляя себе, как немецкие пулеметчики на высоте разряжают теперь свои перегревшиеся «машиненгеверы», меняют раскаленные стволы, закуривают и хвастают друг перед другом, как лихо отбили атаку русских. Что ж, они победили, и хотя комбат не чувствовал себя побежденным, настроение его было более чем скверным. Ожидая, пока Черноручснко наладит связь, он смотрел на высоту и кустарник, из которого еще тянулись отставшие и раненые. Последними вышли два бойца, один ослабело опирался на плечо другого. Они брели, словно слепые, безразлично оглохшие к выстрелам сзади, о чем-то устало переговариваясь между собой. Потом раненый оставил плечо товарища и опустился наземь, другой начал тормошить его, понуждая подняться, и, вскинув голову, тонким голосом прокричал на пригорок:

— Товарищ комроты! Санитара!

Волошин повернулся по направлению его взгляда и увидел лейтенанта Самохина, решительно шагавшего вдоль окопчиков своей роты.

— А ну помоги им! — на ходу крикнул он там кому-то и, подойдя к траншее, грузно ввалился в нее, едва не сбив с ног Черноручснко.

— Что ж это получается, товарищ капитан?

Волошин хмуро взглянул в горевшие недобрым огнем глаза ротного. Голова его под косо надвинутой ушанкой была свежезабинтована, а сквозь марлю бинта проступило и расползалось влажное пятно крови. Лейтенант болезненно дотронулся до повязки грязной рукой, и лицо его исказилось в страдальческой гримасе.

— Что, сильно? — спросил комбат.

— Меня ерунда! — махнул рукой лейтенант. — Вот полроты как корова языком слизала. Последнего сержанта ухлопали. Грак ранен в обе ноги. Как же так,

товарищ комбат? Это же безобразие! И эта артиллерия, черт бы ее подрал! Ее бы саму в цепь, пусть бы поползала под их пулями.

— Артиллерия ни при чем, — мрачно заметил Волошин. — Артиллерии снаряды нужны.

— Тогда нечего было и начинать это смертоубийство, — горячился Самохин. — Надо было сидеть, пока не подвезут снаряды. А так что? Голыми руками воевать? Он вон — полдня бризантными крошит.

Оба капитана подавленно молчали, ветврач с сокрушенным видом опустился на каску на дне траншеи. Черноручено тем временем наладил связь и переговаривался с телефонистом штаба.

— Сколько человек осталось? — спросил Волошин, собираясь с духом перед докладом командиру полка, которому, помимо прочего, предстояло также сообщить о потерях.

— В роте? Сорок восемь.

— Черноручено, вызывайте десятого!

— Есть!

Предстояло все объяснить начистоту, как есть, и, хотя он понимал, что разговор будет нелегкий, он готов был к любому. Он не чувствовал какой-либо своей вины в том, что батальон отошел на исходные, ибо был убежден, что взять высоту при таком соотношении сил было делом немыслимым.

— Товарищ комбат, — поднял растерянное лицо Черноручено. — Десятого нет.

— Как нет? Вызывайте начальника штаба.

В оставшуюся до разговора минуту следовало внутренне успокоиться, чтобы четко и доказательно сформулировать свои аргументы, и в беспорядочных звуках угасшего боя он не сразу услышал то, что, наверное, раньше его уловил Гутман. Комбат перехватил направленный на Самохина многозначительный взгляд ординарца, его чуткую настороженность в подвижных глазах, и тогда вдруг услыхал сам. С высоты слабенько, как из-за дальнего пригорка, простучало раз и второй и заглохло. Потом еще простучало. Стреляли из автомата. Но эти звуки коротеньких очередей явственно отличались от выстрелов немецкого автомата — это был ППШ.

Комбат резко повернулся к Самохину.

— Нагорный вернулся?

— Ну да! Нагорный вернется! Он вон куда выскочил...

Волошин лихорадочно зашарил по склону высоты биноклем, но склон был пуст, разрытый снарядами его верх чернел пыльными пятнами, бруствер траншеи местами был разворочен до бурой глины, немцев там не было видно. Очереди тоже как будто заглохли. Прошло минут пять, и с высоты не донеслось больше ни единого выстрела.

Может, все это им показалось? Может, стреляли немцы? — неуверенно подумал комбат. Тем не менее тревога за судьбу Нагорного колючей занозой вонзилась в его сознание и не давала успокоиться. Судьба этой горстки бойцов была целиком на его совести, тут уж он ни в малейшей степени ни на кого сослаться не мог.

Однако неужели Нагорный ворвался в траншею?

То, что еще недавно казалось комбату желанной удачей, теперь почти вызывало испуг, и он замирал в предчувствии, что именно так и случилось. Но тогда что ж! Тогда сержант там обречен и погибнет, пока батальон будет сидеть на исходной позиции и ждать, что предпримет начальство. Сам он, конечно, предпринять ничего уже не мог.

А может, это им показалось? Может, Нагорный где-либо схоронился в воронках, дождется ночи и выберется обратно? Или он давно уже погиб? Погибший, он не вызывал тревоги, разве что слабое, почти привычное для командира чувство человеческой жалости, слишком обычной в подобных случаях. Волошин обвел взглядом лица командиров в траншее, но лица эти были мрачно-спокойными, похоже, никто из них особо не вслушивался в редкие, почти случайные выстрелы на высоте. Разве что Гутман...

Но Гутман, кажется, уже был занят другим. Обернувшись в траншее, он недолго повглядывался в тыл и предупреждающе окликнул комбата:

— Товарищ капитан!

Волошин оглянулся. В сбегавшей к болоту гривке кустарника с пригорка вниз пробиралась группа людей, в первом из них, в накинутой поверх шинели палатке, он сразу узнал командира полка.

Так вот почему его не оказалось в штабе!

Впрочем, все было в порядке вещей. Произошла неудача, и начальство пожаловало в батальон, чтобы во всем разобраться на месте. Что ж, возможно, так оно

и лучше. Может, майор еще и наблюдал все это побоище, значит, долго объяснять ему не придется.

— Гутман! — окликнул он ординарца. — Бегом в девятую взять сведения о потерях!

Минуту спустя в траншейке стало тесно от невпроворот набившихся в нее людей. Командир полка прибыл сюда со всей своей свитой: адъютантом, ординарцем, заместителем по политчасти майором Миненко; сюда же прибежал и Маркин, и двое проверяющих из штаба полка. Хорошо, что бризантный обстрел прекратился и редкие разрывы грохали теперь в стороне совхоза, а то бы одного меткого залпа было достаточно, чтобы обезглавить полк.

Волошин, отстранив к стенке начхима, торопливо протиснулся навстречу командиру полка.

— Товарищ майор, атака не удалась, батальон отошел...

— Кто разрешил? — резко перебил его командир полка.

— Не было связи. Немецкая артиллерия...

— Кто разрешил? — жестче прежнего оборвал его командир полка, неподвижным взглядом уставясь ему куда-то на грудь. В траншее сделалось тихо. Предчувствуя скандал, все напряженно рассматривали комья земли на бруствере.

— Я же вам объясняю, — повысил голос Волошин, собрав воедино всю свою выдержку, чтобы хоть внешне казаться спокойным.

— Кто разрешил отойти? — четко вырубая каждое слово, добивался командир полка. — Вы получили приказ на атаку?

— Я получил приказ на атаку, но мне не хватило времени разведать высоту, товарищ майор. А там оказалось более восьми пулеметов! К тому же батальон попал под губительный огонь бризантных и потерял треть состава...

— Я спрашиваю, — тише и оттого еще более зловеще повторил свой вопрос командир полка. — Я вас спрашиваю, кто вам разрешил отвести батальон на исходный рубеж?

Волошин замолк. Он уже знал эту манеру многих начальников долбить подчиненного вопросом, не давая тому ответить. Наверное, и теперь отвечать не имело смысла, его ответ вовсе не интересовал командира полка.

— Кто разрешил отойти?

Стоящий за командиром полка одетый в новенький белый полушубок майор Миненко с неизменной улыбочкой на добродушном лице заметил язвительно:

— Похоже, он первый день командует батальоном. И не понимает, что, прежде чем принять такое решение, следует посоветоваться.

Все время тщательно сохраняемое спокойствие комбата вдруг разлетелось вдребезги.

— Я не первый день командую батальоном и знаю, что следует. Но одного знания недостаточно. Чтобы доложить, надобна связь, а ее...

— А кто же должен заботиться о связи? — ядовито произнес командир полка, допустив явный промах в знании недавно введенного боевого устава, и комбат не замедлил этим воспользоваться.

— В данном случае — ваш штаб, товарищ майор. Согласно новому боевому уставу связь в частях организуется сверху вниз и справа налево.

— Грамотный! — невозмутимо сказал командир полка своему заместителю, кивнув в сторону комбата. — Грамотный. А почему не взята высота?

— Я объяснил почему. Не подавив огневых средств, я не могу губить людей в бесплодной атаке, — сказал он твердо и даже с некоторым вызовом, тут же поняв, что в этот раз сам допустил оплошность, — о людях говорить не следовало. И действительно, командир полка подхватил язвительно:

— Ага, жалеешь людей! Жалостливый! Ты слышь, Миненко? — кивнул он замполиту. — Ему людей жалко. На приказ ему наплевать — его одолела жалость. Вы слышали? — обращался майор ко всем, кто находился в траншее. Но все угнетенно молчали. — Может, ты еще и себя пожалеешь?

— Я себя не жалею. Но бойцов — да. И понапрасну губить батальон не стану, — четко произнес комбат, подумав, что теперь уж терять ему нечего. Но он ошибался. Он еще не знал, что ему уготовил командир полка.

— Вот как? — удивился майор. — Тогда я тебя отстраняю. Я тебя отстраняю от командования! — Плотное, обветренное лицо командира полка выражало предел решимости. — Ты понял?

— Я понял, — мало что понимая, спокойно ответил Волошин и, чтобы не пошатнуться от охватившей его странной расслабленности, прислонился к стенке тран-

шеи. Командир полка тем временем сдержанно-мстительным взглядом окинул командира в траншее.

— Лейтенант Маркин!

— Я вас слушаю, — отозвался издали начальник штаба.

— Командуйте батальоном.

— Есть! — не очень уверенно ответил Маркин.

— Навести в батальоне порядок и атаковать высоту. К тринадцати ноль-ноль доложить о взятии! Ясно?

— Ясно, — заметно упавшим голосом выдавил Маркин, и Волошин подался от стенки.

— Каким образом он ее возьмет к тринадцати? — вмешиваясь в ставшее уже не своим дело, бесцеремонно заговорил он. — Вон на соседней немцы. Они бьют батальону во фланг и спину. Сначала надо взять высоту «Малую»...

Командир полка смерил Волошина презрительным взглядом.

— Каким образом взять? Могу посоветовать. Выстроить батальон и сказать: видите высоту? Вот там будет обед. В обед там будет кухня. И возьмут.

— Товарищ командир полка! — послышался незнакомый голос из дальнего конца траншеи.

Все в удивлении повернули головы в сторону незнакомого майора, который, странно задвигав плечами под измызганным полушубком, сказал:

— Товарищ командир полка. Одну минутку... Я не согласен.

«Интересно, с чем он еще не согласен, этот ветврач? — невольно мелькнуло в смятенном сознании Волошина. — Что он еще скажет?» Однако, хрипя астматической грудью, ветврач протиснулся по траншее к командиру полка.

— Я не согласен со снятием командира батальона.

— Вы? — удивился Гунько. — Кто вы такой?

— Я — уполномоченный штадива, майор ветеринарной службы Казьков.

«Вот как!» — совсем уже недоуменно подумал Волошин, который не рассчитывал тут ни на чье заступничество, и поступок этого ветеринара явился приятным для него утешением.

— Ну и что? — холодно бросил командир полка. — Ну и что, что вы уполномоченный? Командир батальона не обеспечил выполнение боевой задачи, вот я его и от-

страняю от должности. Кстати, с ведома командира дивизии.

— Вы не правы! — резко сказал ветврач. — Я находился в батальоне и видел все своими глазами. Командир батальона действовал правильно.

— Много вы понимаете! — сказал командир полка. — Здесь я хозяин, и я принимаю решения. Вот со своим заместителем. Маркин!

— Я, товарищ майор!

— Вызывайте командиров подразделений, ставьте задачу.

— Есть вызывать командиров подразделений! — как эхо, повторил Маркин, и этот его послушный ответ вернул Волошину ощущение неотвратимой реальности. В одночасье и со всей отчетливостью он понял, что вот сейчас стараниями этого исполнительного Маркина будет окончательно погублен его батальон. И, чтобы воспрепятствовать этому, он ухватился за последний свой аргумент, других у него не осталось.

— А снаряды для батареи нам выделены? Батарея сидит без снарядов, кто подавит их пулеметы? — зло заговорил он, с нескрываемой неприязнью глядя в глаза командира полка.

— Снаряды я вам не рожу! — сказал тот. — Пусть их лучше поищет у себя командир батареи.

— Батарея — не снарядный завод, — твердо сказал сзади Иванов. — Все, что было, я уже израсходовал.

— Так уж и все?

— До последнего снаряда. Можете проверить.

Наступила тягостная пауза, командир полка растерянно поглядел по сторонам, но тут же быстро нашелся:

— Раз нет снарядов, значит, по-пластунски! По-пластунски сблизиться с противником и гранатами забросать траншею. Поняли?

— Так точно, — с готовностью, хотя и без подъема, повторил Маркин.

— Гранаты у бойцов есть?

— Есть.

— Товарищ комполка, — снова заворошился в траншее ветврач. — Под таким огнем невозможно даже и ползком. Я видел...

— Мне наплевать, что вы видели! — вскипел Гунько. — Вы не затем присланы в полк, чтобы мешать выполнению боевой задачи.

— Я прислан контролировать ее выполнение, — озлился и ветврач. — И я доложу командиру дивизии. Вы неправильно ставите задачу...

— Не вам меня учить, товарищ ветврач. Маркин! Всех в цепь! Командир батареи, приказываю ни на шаг не отставать от командира батальона. Пулеметы... Где пулеметы ДШК?

— Здесь. На своих позициях, — оглянулся Маркин.

— Пулеметы — вперед! Всему батальону ползком вперед! Поняли? Только вперед!

— Понял, товарищ майор, — отвечал издали Маркин, и до Волошина все с более очевидной ясностью стал доходить роковой смысл происходящего в этой траншее. Представив, какой груз ложится на бывшего его начштаба, он неприятно поежился — вряд ли Маркин с ним справится. Но теперь это его не касалось, он перестал быть командиром батальона и ни за что не отвечал больше. Он стал тут посторонним.

— Позвольте я доложу командиру дивизии, — не унимался ветврач. — Я прошу не начинать атаки до моего доклада комдиву.

— Это не ваше дело, — сказал командир полка и спросил, полуобернувшись к Волошину: — Командиры рот на местах?

— Кроме командира восьмой, который убит, — мрачно сказал Волошин. — И в роте не осталось ни одного среднего командира.

— А тут где-то Круглов был, — вспомнил замполит.

— Я здесь, товарищ майор, — послышалось издали, от входа в блиндаж.

— Вот он временно и заменит комроты, — решил Миненко.

— Круглов, принимайте роту. И батальон — вперед! — повысил голос командир полка, суровым взглядом поедая Маркина, который озабоченно поежился в траншейке.

— Есть!

Явно довольный собой и своей распорядительностью, командир полка сноровисто выскочил из траншеи, за ним вылезли остальные. По одному они перебежали открытый участок поля и скрылись в гривке кустарника. Штабисты тоже ушли, и последним с некоторой нерешительностью выбрался из траншеи ветврач. Он был озабочен и, ни с кем не простившись, побрел следом за всеми.

В траншее стало свободнее. Маркин в ожидании прихода Кизевича и Ярощука упорно молчал, придавленный грузом свалившейся на него обязанности. Иванов тихо переговаривался с огневой позицией, выясняя количество оставшихся там огурчиков. По его подсчетам, их должно было быть на шесть штук больше, чем докладывал старший на батарее.

— Маркин! — сказал Волошин, утратив всякую официальность по отношению к своему преемнику. — Вы не очень старайтесь!

Маркин недоуменно пожал плечами.

— Я — что? Приказ! Слыхали?

— Приказ приказом. Но не очень старайтесь. Поняли?

Маркин не ответил. Кажется, он ничего не понял из намеков Волошина, и тот объяснять не стал, тем более что с тыла к траншее уже бежал Ярощук, скоро должен был подойти Кизевич. Стараясь сохранить остатки спокойствия, Волошин протиснулся за его спиной и влез в опустевший блиндаж.

В траншее он был уже лишний.

16

В блиндаже он сел на солому и откинулся спиной к стене. Коварная фронтовая судьба, думал он, как привыкнуть к твоим неожиданностям? Только вчера его поздравляли с наградой, а сегодня он уже отстранен от командования. Он больше не командир батальона, все его планы насмарку, теперь здесь командуют другие. Он никогда не чувствовал себя честолюбцем и теперь всеми силами пытался сохранить выдержку, но это ему не удавалось. Было обидно. Может, в другой обстановке он бы даже вздохнул с облегчением, избавленный от гнетущего бремени ответственности, но теперь он вздохнуть не мог. Даже если он никогда не вернется к своему батальону и будет начисто отрешен от его судьбы, он не мог так просто и вдруг выбросить из своей души эту сотню людей. Только с ними он мог оставаться собой, командиром и человеком, без них он терял в себе все.

Затаившись в блиндаже, Волошин отчетливо слышал звучавшие в десяти шагах от него разговоры и с ноющим сердцем ждал той минуты, когда его отсутствие будет наконец замечено. Наверно, кто-то должен спросить о нем, удивиться, и он со смешанным чувством подумал, как бы

его отстранение не вызвало протеста среди его подчиненных. Все-таки он старался быть хорошим для них командиром и, наверно, пострадал из-за этого. Но прибежал Ярощук, притащился измотанный, злой Кизевич, еще кто-то, позвали из цепи Круглова, и только когда Маркин принялся излагать план повторной атаки, из-за бруствера послышался голос Кизевича:

— А комбат где? Ранен, что ли?

Маркин замолк, и Круглов тихо объяснил командиру девятой:

— Командир полка отстранил...

— Едрит твои лапти...

Кизевич пробормотал еще что-то безучастное к нему, так, словно его отстранение было чем-то само собой разумеющимся. Впрочем, Волошин понимал, что командирам подразделений не до него: роты понесли потери, один из троих, кто в такие минуты всегда был рядом, лежал теперь под палаткой на выходе из траншейки, задача оставалась невыполненной, и повторная атака не обещала ничего хорошего. Не видя никого из тех, кто собрался теперь наверху, Волошин тем не менее отлично чувствовал их настроение.

Слушая ряд сбивчивых распоряжений Маркина, командиры угрюмо молчали. Только Самохин раза два выругался, выражая свое несогласие с атакой в прежнем направлении, да Кизевич сказал, что пока с высоты «Малой» во фланг ему будет бить пулемет, он не сдвинется с места, что сначала надо взять «Малую». Маркин нерешительно согласился и приказал Кизевичу самостоятельно атаковать «Малую» в то время, как остальные будут штурмовать «Большую».

— Командиру батареи — двигаться за мной, ДШК — в боевых порядках стрелковых рот, — закончил Маркин словами командира полка. — Сигнал на атаку — зеленая ракета. А у кого ракетница?

— У комбата была, — сказал откуда-то сверху Гутман.

— Принесите ракетницу, — приказал Маркин.

Волошин вытащил из-за портупеи ракетницу, достал из кармана несколько сигнальных патронов и все молча сунул в протянутые руки ординарца.

Время было на исходе. Маркин спешил и торопливо закончил приказ на новую атаку. Командиры рот, тоже торопясь, повыскакивали из траншеи, направляясь по

своим ротам, и Волошин прикрыл глаза: кажется, наступало самое тягостное. Скоро загрохочет снова, над болотом забушует огонь, и на мерзлую землю польется горячая кровь его батальона, а он будет лежать здесь и терзаться от своей беспомощности. Ну что ж, он здесь не нужен! Он вдруг стал не нужен командиру полка, не нужен батальону, которым отныне командовал другой. Ну и пусть! — хотелось ему утешить себя. Оттого ему хуже не будет. Как-нибудь он перемучается до конца боя, а там будет видно. Еще он посмотрит, как они справятся без него, вряд ли эта смена комбата поможет в атаке, он почти был уверен в противном. Командиру полка да и Маркину еще предстоит познать, что такое эта высота. И поделом! Но — батальон!.. Как Волошин ни успокаивал себя, он не мог примириться с тем, что в ближайшее время уготовано его батальону. Как он мог равнодушно смотреть на него глазами тех, для кого этот батальон — не более чем инструмент для выполнения ближайшей задачи, а все предыдущее и все последующее их не касалось.

Сидя на измятой соломе в подземной тиши блиндажа, он не мог, да и не старался побороть в себе все нарастающий гнев против командира полка. Но он был лишен всякой возможности, был действительно от всего отстраненным. Командир полка не назначил его даже командиром роты, а просто выставил из батальона. Сжившись за годы службы с беспокойным чувством командирской ответственности и вдруг оказавшись без всякой ответственности и даже без привычного круга забот, Волошин почти растерялся. Но что он мог сделать? Он не мог даже пожаловаться, так как жаловаться на строгость начальника в армии запрещалось уставом. Он мог только ждать, когда батальон возьмет высоту или весь останется на ее склонах.

Где-то в глубине подсознания появилось тихонькое, но упрямое желание: пусть не получится и у Маркина, пусть и у него атака не удастся. В самом деле, не удалась ему, почему должна удаться его подчиненному, который во всех своих командирских качествах уступал Волошину? Разве что настойчивости в исполнении приказа у начштаба будет побольше, все-таки он в этом батальоне почти новичок — месяц как прибыл из фронтового резерва. Волошин чувствовал, что Маркин в своем в общем-то понятном для него рвении выполнить задачу щепетильни-

чать с людьми не будет и за несколько часов может положить батальон. Что тогда скажет Гунько?

Никогда еще за годы военной службы не приходилось Волошину оказываться со своим непосредственным начальником в таких отношениях, в каких он очутился с этим майором после назначения того командиром полка. Теперь даже трудно было припомнить, с чего все началось. Наверно, с каких-то досадных мелочей, а может, и не с мелочей даже — просто они были слишком разные люди, чтобы длительное время сосуществовать в согласии. Привыкнув к известной самостоятельности, предоставляемой ему прежним командиром полка, Волошин не мог примириться с придирчивой опекой майора, во многом продолжал поступать по-своему и независимо, и тогда обнаружилось, что новый командир полка не терпит никакой независимости. Другой бы на его месте, возможно, закрыл глаза на некоторую самостоятельность лучшего из своих комбатов, но Гунько закрывать глаз не стал и всей властью старшего начальника обрушился на комбата-три. То, что случилось сегодня, вызрело за месяц их отношений.

Да, примириться с тем, что случилось, Волошину было непросто, особенно если он не чувствовал себя виноватым и, напротив, во всем винил командира полка. Но он не мог не понимать также всей уязвимости своего положения, того, что в армии всегда остается правым старший начальник... Впрочем, черт с ним, с этим начальником, вдруг подумал Волошин. Разве он воевал для Гунько? Или находился у того в услужении? Точно так же, как и командир полка, он служил Родине и, как мог, трудился для общего дела победы. В этом смысле они были равными. Несправедливости командира полка были не более чем несправедливостями майора Гунько. Но ведь, кроме майора, была великая армия, Родина, его личный долг перед ней и перед его батальоном, который он воспитал, сколотил и благодаря которому возвысился до своего положения и вчерашней награды.

Сильно загремело в стороне совхоза, залпом ударила артиллерия, земля за спиной тяжело содрогнулась, посыпался песок в углу блиндажа. Волошин взглянул на часы, было ровно десять, наверно, начали артподготовку первый и второй батальоны, вот-вот должны были встать и его роты. Что в этот раз ждет их на склонах?

Артиллерийская стрельба тем временем превращалась

в сплошной отдаленный грохот, в котором звучно треснули знакомые разрывы бризантных. Наверное, немецкая батарея, все утро измывавшаяся над его батальоном, сманеврировав траекториями, перенесла огонь на тот фланг полка. Теперь там несладко, но для его батальона в этом, может, спасение, подумал Волошин. Если без промедления воспользоваться этим переносом, поднять людей и броском ворваться на высоту... Но почему медлит Маркин?

Маркин, однако, не медлил, просто Волошин не услышал сигнального выстрела из ракетницы, до него донеслось только несколько приглушенных команд в цепи восьмой роты, которых, впрочем, было достаточно, чтобы понять, что батальон поднялся. На этот раз без артподготовки, даже без короткого огневого налета. Группа управления комбата покинула траншею одновременно с ротами, Иванов с телефонистом, поспешно подобрав свое имущество, тоже побежал следом за всеми. В блиндаже и поблизости стало тихо, и Волошин затаил дыхание.

Для него не было надобности следить за продвижением рот к знакомой до мелочей высоте, он с закрытыми глазами мог представить все, что происходило на ее склонах. Напряженно вслушиваясь в отдаленный раскатистый грохот, он ждал первых выстрелов по батальону, больше всего опасаясь бризантных. Но бризантные грохотали над вторым батальоном, предоставляя тем самым некоторый шанс его ротам.

Минут пять немцы молчали, может, не замечая броска батальона, а может, намеренно подпуская его поближе для короткого кинжального удара в упор, и эти минуты, как всегда, были самыми напряженно-мучительными. В томительном ожидании Волошин немного отошел от тягостных личных переживаний, весь устремляясь туда, вслед за ротами. Он знал: ждать осталось немного, восьмая уже наверняка преодолела болото и вышла к обмежку, значит, вот-вот должно грохнуть. Должно начаться самое важное и самое трудное.

Как он ни ждал этих первых оттуда выстрелов, грохнули они неожиданно, и он даже вздрогнул, услыхав в слитном отдаленном грохоте четкий сдвоенный залп. Минные разрывы ухнули где-то поблизости, земляной пол блиндажа качнулся, большой мерзлый ком с бруствера упал на дно и разбился.

Тотчас раскатисто залились пулеметы.

Не тронувшись с места, он замер на смятой соломе, стараясь по звукам определить ход боя. Но пулеметы строчили на всей высоте, еще несколько раз раскатисто грохнуло, наверно, в болоте. Огонь усиливался, стрелкам становилось все хуже, и теперь должна была сказать свое артиллерия: обнаружившую себя батарею надо было по возможности скорее засечь и подавить. Но чем было давить? Тем десятком снарядов, которые сумел сберечь Иванов?

Немецкие минометчики со временем перешли на беглый огонь, и тяжелые мины с продолжительным, сверлящим сознание визгом обрушивались из-за высоты. Рвались они в некотором отдалении от исходной позиции батальона, наверное, за болотом, значит, роты уже успели перебежать кустарник. Но на склонах им станет хуже. Все будет решаться на склонах.

Замерев в блиндаже, он внимательно вслушивался в беснующийся грохот боя и думал, что вскоре должен наступить перелом в ту или другую сторону. Так долго продолжаться не может. Открывшие огонь ДШК почему-то враз смолкли, и в этом был первый нехороший признак; батарея Иванова вообще, кажется, ни разу не выстрелила. И вдруг в коротенькой паузе между разрывами он услыхал крики. Он уже знал, что так может кричать командир, когда, кроме голоса, у него нет других средств воздействовать на подчиненных. И он ясно понял, что там не заладилось. Не в состоянии больше вынести свою отрешенность, Волошин выскочил из блиндажа.

Левый фланг батальона, где наступала седьмая, явно потерял боевой порядок, и часть бойцов, скученно перебегая по склону, устремилась назад, к болоту. Некоторые из них уже достигли кустарника и торопливо исчезали в нем, направляясь к спасительным своим окопчикам, а на пути их отхода в болоте мощно ухали черные фонтаны разрывов. Восьмая, перешедшая через болото, кажется, уже залегла под знакомым обмежком, девятая справа, передвигаясь в редком кустарничке, вроде пыталась еще наступать. Волошин не знал, где находится Маркин, но, поняв, что батальону плохо, краем кустарника бросился навстречу отходившей седьмой.

Он не думал тогда, что прав на вмешательство в ход боя у него уже не было, что вообще все происходящее его не касалось, но он почувствовал остро, что смешение боевого порядка грозит батальону разгромом. И он, слегка

пригибаясь, бежал в кустарнике под раскатистым громыханием взрывов, то и дело осклизаясь на разбитом минами льду. Однажды его сбило с ног недалеким разрывом, и, падая, он больно ушибся коленом о лед. Вскочив, едва не столкнулся с бойцом, который в перекосившейся на голове новенькой каске мчался навстречу, и Волошина передернуло от одного растерзанного вида бойца, нижняя челюсть которого отвисла, округлив рот, смуглое лицо помертвело от залившей его неестественной бледности. Волошину сперва показалось, что боец ранен, но, увидев, как тот проворно метнулся в кустах под нарастающим визгом мин, капитан понял, что это от страха. Тогда, остановившись, он негромко, но властно крикнул:

— А ну стой! Стой!

Рядом грохнул разрыв, обдав обоих хлюпкой болотной жижей. Волошин упал, распластался за кустом и боец. Но не успело опасть поднятое в воздух мелкое крошево льда, как боец подхватился и с завидным проворством бросился прочь. Капитан выхватил пистолет.

— Стой! Назад!

Он выстрелил подряд два раза над его головой, боец присел, жалостно, с невысказанной тоской в глазах оглянулся.

— Назад! — крикнул Волошин, взмахнув в сторону высоты пистолетом. — Назад! — И снова выстрелил поверх головы бойца.

Не сразу, с усилием преодолевая охвативший его озноб и пригнувшись на тонких, в обмотках, ногах, боец подбежал к капитану и упал на лед.

— Как фамилия? — крикнул Волошин. — Фамилия как?

— Гайнатулин.

— Гайнатулин, вперед! — кивнул головой Волошин.— Вперед, марш!

Мелко дрожа, боец поднялся, и они небыстро побежали в измятом кустарнике, по залитому грязью и развороченному разрывами льду. Пулеметы с высоты сыпали пулями по всему болоту, порой их близкие очереди, ударяясь о лед, больно стегали по лицу ледяной мелочью и пронзительно рикошетировали в небо. В поднебесье разноголосо визжало и выло, доносились невнятные крики, то и дело заглушаемые мощными взрывами мин. Падая и вскакивая, Волошин уже подбегал к краю кустар-

ника, когда встретил еще трех бойцов, перебегавших между разрывами в тыл, и тоже завернул их обратно. Возле разверзшейся во льду и болотной жиже воронки на краю кустарника дергался, пытаясь встать, раненый, из развороченных крупным осколком внутренностей по шинели и коленям лилась темно-бурая кровь. Боец то вскидывался на колени, зажимая руками живот, то падал, что-то силясь сказать подбежавшим.

— Двоим взять! Быстро! Сдать на медпункт — и назад!

Бойцы с нескрываемым страхом на лицах подступили к раненому, а капитан с остальными двумя выбежал из кустарника.

Тут начинался открытый участок поля с промерзшей травой болотца, далее полого поднимался склон, и огненно-трассирующие очереди с высоты густо мелькали окрест, казалось, во всех направлениях пронизывая пространство. Уже не увертываясь от них, Волошин пробежал десяток шагов и упал, по жесткой траве недолго прополз вперед, выискивая взглядом кого-либо из командиров седьмой. Но людей тут было немного, наверно, седьмая успела уже скрыться в кустарнике, несколько человек, похоже убитых, в неестественных позах лежали на забросанной комьями примятой стерне. Переждав серию минных разрывов, когда, казалось, вот-вот все обрушится в преисподнюю, он опять вскинул голову и увидел бойца, который то замирал, припадая к земле, наверно, пережидая близкие очереди, то, поспешно перебирая конечностями, полз в его сторону.

— Товарищ комбат!...

Волошин вгляделся в сплошь серое, словно присыпанное пылью лицо ползущего, на шапке которого задержалось несколько комочков земли. Глаза его, однако, твердо и озабоченно глянули на капитана, и тот вдруг узнал в нем пулеметчика седьмой Денищика.

— Товарищ комбат, беда...

— Что такое, Денищик? Где пулемет?

— Да вот пулемет разбило.

— Ты цел?

— Я-то цел. А напарника... И это, командира роты убило, — трудно дыша, сообщил Денищик и умолк.

Волошин, с усилием преодолев спазму в горле, спросил погодя:

— Много... убитых?

— Хватает. Вон лежат... Да что — пулеметы секут так...

— Денищик! — быстро оправляясь от его известия, сказал капитан. — Ползком в кустарник, и всех — назад! Всех назад в цепь!

— Хорошо, хорошо, товарищ комбат, — с готовностью подхватился боец. — Я понимаю.

— Гайнатулин! — оглянулся Волошин, и лежавший сзади боец недоуменно сморгнул глазами. — Гайнатулин, за мной, вперед!

Но не успели они одолеть по-пластунски и двух десятков шагов, как сзади из кустарника снова донесся крик, в котором послышалось что-то знакомое, и капитан оглянулся.

Денищик еще не мог уползти так далеко, туда, где из низкорослого густого кустарничка ползком и пригнувшись появлялись беглецы седьмой роты. Кто-то их выгонял из укрытия, они оглядывались и, оказавшись на открытом, сразу же падали, начиная неохотно ползти вперед. Вскоре, однако, капитан увидел и того, чей голос уже несколько раз встревожил его, — это была Веретенникова.

Волошин про себя выругался — только здесь ее не хватало! А он думал, что она на рассвете отправилась в тыл. Выходит, на что-то надеясь, Самохин, пока был жив, скрывал ее в роте. И вот доскрывался. Впрочем, с лейтенантом уже ничего не поделаешь, но что делать с ней?

Тем временем Веретенникова тоже заметила здесь капитана и, зло прокричав на бойцов, почти не пригибаясь, краем кустарника устало побежала к нему.

Однако рота вроде бы задержалась, беглецы по одному возвращались, укладываясь на склоне в неровную изогнутую цепь. Надо было подумать, как продвигаться дальше, — седьмая не имела права отставать от соседей справа. Оглядывая широкий выпуклый склон, над которым настильно мелькали бледные в свете дня трассы, Волошин заметил край завалившегося в недалекой воронке щита пулемета и подумал, что, наверное, это и есть пулемет Денищика. А может, и не его, а другой, но попадание было меткое, вряд ли кому удалось там уцелеть. Воронка же была единственным здесь укрытием, следовало попытаться использовать ее. Но сперва он дождался Веру, которая, подбежав, тяжело рухнула наземь.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!..

Минуту она рыдала, уткнувшись лицом в подвернутый рукав шинели, плечи ее содрогались, шапка сползла на затылок. Волошин недобро молчал, впрочем, целиком разделяя ее несчастье, но чем он мог ей помочь? Утешать в таком положении было бы ханжеством. К тому же он не мог отрешиться от сердитого чувства, что эта своенравная девчонка так и не выполнила его приказа, самовольно оставшись в батальоне и тем осложнив свое и без того непростое здесь пребывание.

— Так, хватит! — строго сказал капитан. — Хватит. Слезами никому не поможешь. Где он?

— Я же говорила... Я ж так и знала, — подняла некрасивое, мокрое от слез лицо Вера. — Он же все рвался, все вперед и вперед. Я все одергивала, не пускала... А тут... вырвался!

— Где он лежит?

— Там, под самой этой спиралью. Он же вперед всех выскочил, ну и...

— Так, ясно! Давайте на левый фланг! Давайте всех слабаков — вперед! Я послал Денищика, вы ему в помощь.

— Я их задержала, — сказала Вера, вдруг успокаиваясь, и грязными пальцами вытерла лицо. — Я их повыгоняла из болота. А то бросили, побежали...

— Всех — на склон, в цепь! И дожидайся сигнала вперед!

Вера быстро поползла назад, в сторону левого фланга роты, и он снова оглянулся на Гайнатулина.

— Гайнатулин, за мной, вперед!

17

Казалось, они целую вечность ползли по склону к этой развороченной взрывом воронке, то и дело замирая от проносящихся над головами потоков пуль, прижимаясь грудью к изодранной минными осколками земле, пережидая грохочущий шквал разрывов и задыхаясь от потоков вихрящейся на ветру пыли. Однажды Волошину так пахнуло в лицо землей, что он, обливаясь слезами, минуту протирал забитые песком глаза, пока наконец стал что-то видеть. В спешке он не мог даже оглянуться назад, но чувствовал, что Гайнатулин ползет, и время от времени

покрикивал через плечо: «Гайнатулин, вперед! Не бойся, Гайнатулин! Вперед!»

Наконец, добравшись до воронки, он перевалил через крайние, безобразно навороченные взрывом глыбы и оказался в ее спасительной земной глубине. Тут уже можно было вздохнуть. Руки его до локтей погрузились в измельченную взрывом, густо нашпигованную осколками землю, которой до плеч был засыпан боец-пулеметчик с окровавленным разбитым затылком. Земля на дне воронки обильно пропиталась его липкой кровью, ноги у бойца были растерзаны взрывом, а одна рука все еще цепко держалась за ручку опрокинутого набок ДШК с загнутой набекрень стальной пластиной щита. Волошин с усилием оторвал эту руку от пулемета и надавил на спуск. Пулемет, к его удивлению, вздрогнул, коротенькой очередью взбив впереди землю, и конец длинной засыпанной пылью ленты с патронами живо шевельнулся в воронке.

— Гайнатулин, сюда!

Волошин, как спасению, обрадовался этому пулемету, заботливо сдунул с прицельной рамки песок, высвободил из-под комьев всю ленту с полсотней желтых крупнокалиберных патронов. Потом, вцепившись в пулеметные ручки, осторожно высунулся из воронки — надо было определить дальность и поставить прицел.

Но тут же, к своему огорчению, он обнаружил, что не видит траншеи — покатый изгиб склона скрывал ее от его глаз, впрочем, как и его от немцев, иначе бы ему сюда, наверно, не доползти. Это было весьма огорчительно, тем более что он уже понадеялся на свою удачу. Значит, надо было выбираться из этой воронки, что под таким огнем было почти безрассудством. Гайнатулин тем временем, видно поборов в себе испуг, стал вроде спокойнее и откопал в воронке еще две коробки с патронами. Боеприпасов прибавилось, надо было немедля открывать огонь.

Волошин повел взглядом по склону вправо, куда заметно сместились разрывы и устремилась теперь половина пулеметного огня с высоты: там, вдалеке за болотцем, у подножия высоты «Малой», копошились бойцы девятой. Отсюда трудно было понять: то ли они готовились к броску на высоту, то ли этот бросок не получился и они собирались откатиться в болото. Правда, высотка была далековата даже и для его ДШК, но он решительно повернул пулемет в ее сторону.

— Гайнатулин, готовь коробку!

Он установил на рамке прицел, равный восьмистам метрам, старательно навел по самой верхушке траншеи и плавно надавил на спуск. Пулемет мощно заходил в руках (понадобилась немалая сила, чтобы удержать его на наводке), и очередь из десятка крупнокалиберных двенадцатимиллиметровых пуль с визгом ушла за болотце. Кажется, она пришлась с недолетом, Волошин прибавил прицел и снова старательно навел по траншее.

На этот раз он выпустил три очереди кряду, верхушка высоты закурилась от разрывных, и он порадовался своему довоенному увлечению пулеметной стрельбой. Правда, тогда он стрелял из «максимов», это было попроще. Зато ДШК — сила, которую не сравнить с «максимкой». Только бы хватило патронов.

То и дело подправляя наводку, он начал бить разрывными по наискось лежавшей от него высоте, во фланг немецкой траншеи, сам оставаясь в относительной от нее безопасности. В промежутках он видел, как зашевелились под ней серые фигурки бойцов, и обрадованно подумал: авось пособил? Если не упустить момента и немедленно воспользоваться этим огнем, то, может, и удастся сблизиться для рукопашной. На рукопашную теперь была вся надежда, других преимуществ у них не осталось.

Девятая, однако, все медлила. Временами минные разрывы в болоте и на склоне совершенно закрывали от него высоту, и он переставал видеть, что там происходит. Но когда была видимость, он упрямо нажимал спуск, почти физически чувствуя, как его огонь разметывает земляной бруствер немецкой траншеи. Самое время было атаковать.

После шестой или седьмой очереди, когда он уже хорошо пристрелялся, сзади вдруг послышался шум, и кто-то ввалился в его воронку. Волошин оторвался от пулемета — сплевывая песок, у его ног сидел весь закопченный, запыленный, с разодранной полой полушубка лейтенант Маркин.

— Куда вы бьете? — сорванным голосом закричал новый комбат. — Куда, к черту, лупите?

— Выручаю Кизевича. Вон под самой высотой залег.

— Что мне Кизевич! — сквозь грохот раздраженно закричал Маркин. — Мне эта высота нужна. Ее приказано взять.

— Не взяв ту, не возьмешь эту! — также раздражаясь, прокричал Волошин. По обеим сторонам воронки сокрушающе грохнуло несколько разрывов, взвыли осколки. Один из них, словно зубилом, звонко рубанул по краю щита, оставив косой рваный шрам на металле. Сверху весомо зашлепали комья и густо посыпалась земля, отряхнувшись от которой они торопливо вскинули головы: еще кто-то ввалился в воронку, за ним следующий — оказалось, это был Иванов с телефонистом. Тоже отплевываясь, командир батареи тыльной стороной ладони протер запорошенные глаза.

— Дают, сволочи! Хорошо хоть, воронок нарыли. А то бы хана.

— Некогда в воронках сидеть! — сказал Маркин. — Пора подниматься. Связь с огневой есть?

— Связь-то есть, — сказал Иванов. — Пока что. А ну проверь, Сыкунов.

— Слушай, — обернулся к нему Волошин. — Кидани парочку по той высоте. Смотри, вон Кизевич у самой траншеи лежит. Ему бы чуть-чуть. Хоть для психики.

— Разве что парочку, — сказал Иванов, доставая из-за пазухи свой измятый блокнот. — А ну передавай, Сыкунов.

— Ни в коем случае! — встрепенулся Маркин. — Вы что? Кизевич большей частью отвлекает. Главное для нас — это высота.

— Они же там все полягут! — закричал Волошин. — Вы посмотрите, куда они добрались. Отойти им нельзя.

— Отойдут, — спокойно сказал Маркин. — Жить захотят — отойдут. Дело нехитрое.

— Теперь им легче вперед, чем назад!

— Давайте весь огонь сюда, по траншее! — жестко затребовал Маркин. — И батареи и ДШК. Через десять минут я поднимаю седьмую с восьмой.

— А девятая? — спросил Волошин и, взглянув в холодные глаза своего начштаба, не узнал их — столько в них было безжалостной твердости. Конечно, это его право распорядиться приданной артиллерией, имея в виду главную задачу, но ведь Кизевич вплотную приблизился к своей удаче или к погибели. По существу, вся судьба девятой решалась в эти короткие секунды, как было не пособить ей?

— Два снаряда всего, — умоляюще сказал Волошин, едва сдерживая быстро накипавший гнев. — Два снаряда!

— Нет! — отрубил Маркин. — Открывайте огонь для седьмой.

Иванов чужим голосом скомандовал доворот от репера и отвернулся с биноклем в руках, а Волошин на коленях бросился к пулемету. Дрожащими руками он снова навел его на верхушку «Малой». Наверное, следовало проверить наводку, но он, весь горя бешенством, надавил спуск, потом, прицелясь, еще и еще, пока пустой конец ленты не выскользнул из приемника.

С успокоительным сознанием исполненного он выглянул из-за колеса пулемета: на высоте за болотцем ветер сносил последние клочья пыли, и он подумал, что стрелял не напрасно. Серые неуклюжие вдали фигурки, которые копошились на склоне, оказались в какой-нибудь сотне метров от немецкой траншеи. Но фигурки не торопились. Ругая их про себя за медлительность, он с неприязнью подумал об их командире Кизевиче, который, впрочем, никогда не отличался сноровкой, всегда медлил и опаздывал. Но вдруг он увидел несколько мелькнувших на самой высоте человек, которые тут же неизвестно куда и пропали, наверно, соскочили в траншею. Там, вдали, слабо бабахнули разрывы гранат, еще кто-то промелькнул на гребне задымленной высоты, и он обрадованно понял: ворвались! Теперь для девятой все будет решаться в траншее.

— Кизевич ворвался! — крикнул он Маркину и схватил из-под ног новую коробку с патронами. Безразличный к его словам Маркин сидел на скосе воронки, со злым видом уставясь на телефониста, который встревоженным голосом вызывал в трубку «Березу», и Волошин понял, что связь с огневой оборвалась. Окончательно убедившись в этом, телефонист бросил на аппарат трубку и чуть приподнялся, чтобы выскочить из воронки на линию. Но не успел он сделать и шага, как, ойкнув, схватился за грудь и осел к ногам Иванова.

— Сыкунов, что? Куда тебя, Сыкунов? — всполошился Иванов, обеими руками хватаясь за связиста и пытаясь расстегнуть неподатливые крючки его шинели. Но лицо телефониста быстро бледнело, веки странно задергались, и слабеющим голосом он выдавил:

— Я все... Убит я...

Кажется, он действительно был убит, полузакрытые глаза его остановились на какой-то далекой точке, рука упала с груди, и Иванов опустил его на дно воронки.

— От черт!

Рядом вскочил на колени Маркин.

— Мне нужен огонь! Огонь мне, капитан! Посылайте этого! — указал он на Гайнатулина. — Эй, слышь? Быстро на линию, устранить порыв!

Гайнатулин, сморгнув глазами, перевел взгляд на Волошина.

— Вряд ли сумеет, — сказал Волошин. — Он из новеньких.

— А мне наплевать, из новеньких или из стареньких. Мне нужна связь. У меня атака срывается.

Связь, конечно, нужна, подумал Волошин, но зачем же так грубо? Он обернулся к Гайнатулину, к которому уже привык за эти несколько часов боя и оставаться без которого теперь не хотел. К сожалению, кроме него, послать на линию тут было некого.

— Давай! — сказал он. — Ползком, провод — в руку. Соединишь порыв — и назад. Понял?

Боец что-то понял, кивнул головой и на четвереньках переполз через край воронки. Перед глазами Волошина мелькнули нестоптанные, усеянные гвоздями подошвы его ботинок, и боец скрылся в поле.

Они стали ждать. Связист уже отошел, на его бескровном лице быстро затвердела чужая, отсутствующая гримаса. Иванов с Маркиным подвинули его тело со дна к краю воронки, где он меньше мешал живым и где лежал иссеченный осколками пулеметчик. Маркин свободнее вытянул ноги и требовательно уставился на Иванова, нервно сжимавшего в руке молчащую трубку. Обычно свойственная капитану выдержка на этот раз заметно изменяла ему, и было отчего. Хотя и прежде связь с огневой позицией рвалась зачастую в неподходящее время, но момента похуже этого просто невозможно было придумать.

Волошин осторожно выглянул из воронки — минные разрывы теперь колошматили высоту «Малую», откуда немцы явно вознамерились вышибить роту Кизевича. Здесь же, по склонам, где расползлись и попрятались по воронкам остатки седьмой и восьмой, только стегали настильные пулеметные трассы. Волошин отомкнул пустую

патронную коробку, чтобы заменить ее полной, которая оказалась, однако, сильно покоробленной взрывом. Чтобы не возиться с ней, он выволок из нее всю ленту и подровнял патроны. Он уже успел свыкнуться с этим пулеметом и теперь не без иронии подумал про себя, что если из него не получился комбат, так, может, получится пулеметчик. Во всяком случае, он нашел в этом бою свое дело и уже готов был примириться со своей злой участью. Что же еще ему оставалось?

— Але, «Береза», але! — вдруг обрадованно закричал в трубку Иванов. — Это я. Сыкунова нет, убит Сыкунов. Слушайте команды. Сейчас передаю команды...

Волошин облегченно вздохнул и с удовлетворением подумал о Гайнатулине — молодец, не подвел. Переживет первый страх, пообвыкнет и будет хороший боец, если только немецкая пуля минует его в предстоящей атаке, в которой он нужен был и Волошину. Одному с пулеметом ему не справиться.

— Да, но отсюда же ни черта не видать, — выглянул из воронки Иванов. — Надо выдвигаться.

— Выдвигайтесь! — мрачно сказал Маркин и вынул из кармана трофейную, из белого металла, ракетницу.

— Осторожно, — сказал Иванову Волошин. — Тут они пулеметами просто стерню стригут.

Иванов смотал с начатой катушки длинный конец провода и, прихватив за ремень аппарат, вывалился из воронки.

Оба комбата, дожидаясь начала атаки, остались в воронке. Отношения между ними окончательно рушились, говорить никому не хотелось, и Волошин следил, как змеилась-двигалась на скосе воронки красная нитка провода. Он знал, что, пока она шевелилась, с Ивановым все было в порядке.

— Вы с пулеметом останетесь? — имея в виду предстоящую атаку, спросил Маркин.

— Я с пулеметом. Да, вам известно, что Самохин убит?

— Знаю. Седьмой пока покомандует Вера.

— Нашли командира!

— А что? Девка бедовая...

— Бедовая, да беременная. Вы подумали о том?

— Ну что ж, что беременная. Никто ее тут не держал. Сама осталась. Так что...

— Черт бы вас взял! — не сдерживаясь, выругался Волошин, забыв в этот момент, что час назад сам послал Веру наводить порядок в седьмой. Но тогда он уже утратил свои полномочия отправить ее в тыл, те полномочия, которые вместе с многими другими перешли к Маркину и которыми новый комбат распорядился по-своему. И все-таки было досадно, главным образом от сознания того, что Вере в батальоне не место. Ни до, ни тем более во время этой не заладившейся с самого начала атаки, которая, кроме еще одной, совершенно нелепой смерти, ничего хорошего им не сулит.

Пригнув голову, Волошин сидел на скосе воронки. Провод тихо шевелился у его ног, медленно уходя в поле. Значит, Иванов все полз, наверно, еще не видя траншеи. Но вот широкая петля провода замерла на краю воронки, Волошин торопливо расправил ее изгиб, но провод не шевельнулся. «Сейчас скомандует», — подумал Волошин. Однако минула минута, другая, команды все не было слышно. Молчала и батарея.

— Ну что он там? — нетерпеливо сказал Маркин и выглянул из воронки.

Волошин тоже выглянул, но Иванова нигде не увидел, наверное, тот скрылся за выпуклостью этого склона. Высовываться дальше не имело смысла, они еще подождали, но провод больше не двигался, и гаубичная батарея сзади продолжала молчать.

— Черт знает что! — теряя терпение, выругался Маркин, и в сознание Волошина ворвалась тревога. Как на беду, ни в воронке, ни поблизости от нее нигде никого не было. Погодя немного, не в состоянии одолеть беспокойство за друга, Волошин бросился по его следу из воронки.

— Вы куда? — крикнул вслед Маркин.

— Я счас...

Он торопливо пополз по проводу, красной ниткой пролегшему по стерне, и еще издали увидел капитана неподвижно лежащим ничком на искромсанном очередями склоне. С упавшим сердцем Волошин подумал, что наихудшее из его опасений сбылось. Отсюда уже видна была высота и брустверный бугорок ближнего конца траншеи с торчащим на сошках стволом немецкого пулемета. Пулемет, впрочем, попыхивая дымком, бил несколько в сторону. Волошин подполз к Иванову сбоку и легко перевернул на спину его сухощавое тело, уронив на прошлогод-

нюю стерню его измятую шапку; с уголка губ капитана сползла по щеке тонкая струйка крови. Иванов простонал и отсутствующим взглядом посмотрел на Волошина.

— Дружище, куда тебя? — лихорадочно ощупывая его, спросил Волошин.

— Вот попало, — простонал Иванов и вдруг зашарил подле руками.

— Больно, да? Я перевяжу. Где больно?

— Связь... Связь скорей надо...

— Подожди ты со связью. Давай в воронку назад!

— Нет, надо... передать на огневую...

— Я передам, ладно, — заверил Волошин и перекинул его руку себе на шею, намереваясь тащить его по склону к воронке.

— Передать доворот, — упрямо твердил Иванов, беспомощно запрокинув голову. — Дай трубку.

Дрожащими руками, волнуясь и матерясь, Волошин расстегнул футляр аппарата и вынул телефонную трубку. Иванов приподнял слабеющую руку, в которую Волошин, отжав клапан, вложил его трубку.

— «Береза»! — едва слышно произнес командир батареи.

— «Береза» слушает! — тотчас бодро отозвалось в трубке. — «Береза» слушает, товарищ капитан.

— «Береза», я ранен. Даю доворот: репер номер три, правее ноль-сорок. Уровень больше ноль-ноль три...

Лежа рядом, Волошин отчетливо различал в трубке повторение его команд, чего сам Иванов, кажется, уже не слышал. Командир батареи быстро терял силы, и с ними, казалось, уходило его сознание. Он молчал, трубка тоже замолкла, почти выпав из его руки, потом из нее зазвучало с тревогой:

— Что, можно огонь? Можно огонь, товарищ комбат?

— Огонь... Беглый огонь, — немеющими губами прошептал Иванов и затих. Испугавшись, что на огневой могли не расслышать его команду, Волошин подхватил трубку и громко прокричал в нее:

— Всеми снарядами огонь! Открывайте огонь! Вы слышали, комбат скомандовал огонь?

Затем он сунул трубку в футляр и, забросив руку Иванова себе за шею, поволок его назад, к спасительной недалекой воронке.

Он еще не дополз до нее, как земля под ним пружинисто вздрогнула и четыре гаубичных разрыва прогрохотали

на высоте возле траншеи. Это было так близко, что осколки со звенящим визгом прошли над их головами, и он испугался, как бы какой из них не угодил в раненого. Он свалил его со спины на краю воронки, потом, ухватив под мышки, стащил вниз. Маркина здесь уже не было, на скосе одиноко стоял пулемет, да напротив успокоенно лежали двое убитых. К ним он положил раненого.

Иванов был плох, кажется, то и дело терял сознание, и Волошин, не успев отдышаться, бросился его перевязывать. Он расстегнул ремень с пистолетом, испачканный в крови полушубок, под которым оказалась мокрая, в липкой крови гимнастерка, и тут же понял, что пуля ударила капитана в грудь. Это было плохо, рану в груди перевязать непросто, особенно в таких условиях, когда нет времени и под руками всего один индпакет. Боясь, что вот-вот последует команда в атаку, Волошин туго обернул бинт поверх окровавленной гимнастерки и запахнул полушубок. Ему надо было не прозевать начало атаки, в которой всегда много дел пулеметчику.

Но, кажется, пока он возился с раненым, атака уже началась. Впереди на траншее еще рвануло несколько разрывов, забросав склон комками земли, и кто-то там уже мелькнул в пыли и дыму, на секунду пропал, потом мелькнул снова. Стрелять по траншее было уже поздно, и Волошин, испугавшись, что опоздал, выкатил тяжелый ДШК из воронки и, пригибаясь, потащил его вверх. В отдалении и сзади бежали бойцы восьмой роты.

Видно, ошеломленные этим броском, немцы на минуту растерялись, даже прекратили минометный огонь по высоте «Малой», переносить же его на атакующих в такой близости от своей траншеи они, видать, не отваживались. Седьмая с восьмой, живо воспользовавшись минутной заминкой немцев, ворвались на высоту, почти достигнув траншеи. Но оттуда враз ударили пулеметы, атакующие один за другим стали падать.

Почуяв на бегу, как густо завзыкали вокруг него пули, Волошин торопливо развернул пулемет и тоже упал, прикрываясь покоробленным его щитом. Стаскивая с плеча тяжелую, с патронами, ленту, он увидел появившегося откуда-то лейтенанта Круглова, который на четвереньках, что-то крича, быстро переползал к нему:

— Товарищ капитан!.. Товарищ капитан, вон видите?.. Вон зараза, из-за бруствера...

Он уже увидел заливавшийся на бруствере пулемет, наводчик которого тоже, наверно, заметил их сбоку. Направленный несколько в сторону ствол вдруг круто вывернулся и, казалось, уперся в Волошина. Не успев еще поднять предохранитель, Волошин передернулся, как от ожога, оглушенный стремительным треском осыпавшей его пулеметной очереди. Однако погнутый, искромсанный осколками щит ДШК спас его, очередь сыпанула дальше по наступающим, и он, передернув затвор, длинно ударил по пулемету, злорадно ощущая, как его разрывная очередь сметает с рыхлой земли все, что было на бруствере. Когда он расслабил на спуске онемевшие от усилия пальцы, пулемета там уже не было, лишь что-то пыльно серело неживым бугорком.

— Рота! — вскочив, хрипло закричал Круглов. — Рота, вперед!

Волошин, глянув в сторону, увидел, как вскочившие неподалеку несколько бойцов побежали вслед за комсоргом к траншее, кто-то, не добежав, упал, но кто-то уже взметнулся на бруствере и тут же исчез в траншее.

Огромное напряжение, столько времени томившее Волошина, вдруг разом спало от одной облегчающей мысли — наконец зацепились, и он тоже поднялся, чтобы бежать к траншее.

18

Им повезло. Полтора десятка бойцов, оказавшихся на стыке седьмой и восьмой рот, ворвались в траншею.

Весь в горячем поту, волоча за собой пулемет, Волошин заметил, как поодаль в траншее мелькнули немецкие каски, несколько раз глубинным подземным грохотом ухнули ручные гранаты, но, когда он вскочил на разрытый ногами и засыпанный гильзами бруствер, в траншее уже все было кончено. Он с облегчением спрыгнул в свежую, еще не утратившую сырого земляного запаха траншею, соображая, где бы приткнуться с громоздким пулеметом, который, по-видимому, надо было протащить дальше, куда побежали бойцы. Но для этого в узкой траншее ему нужна была помощь. Оглянувшись, он увидел бегущего по стерне молодого бойца в новой шинельке и остановился, поджидая его, как откуда-то сверху, с невидимой отсюда позиции, звучно и грозно ударили размереп-

ные очереди. Низкие красноватые трассы мелькнули наискось по склону, и боец, не добежав двух десятков метров до бруствера, рухнул на землю. Кажется, его срезало по самым коленям. В следующее мгновение эти трассы низко пронеслись над головой Волошина, тот инстинктивно присел, схватившись руками за ручки ДШК, но отсюда не было видно за нарытым на гребне бруствером, откуда бил этот немецкий крупнокалиберный. Бил, однако, тот здорово — настильно по склону, во фланг восьмой, несколько человек которой, не добежав до траншеи, беспомощно распластались на стерне. Другие начали торопливо отползать под спасительную защиту едва заметного бугорка сзади. Тотчас вверху густо и пронзительно взвыли немецкие мины, кучно легшие пыльными взрывами поперек склона, затем по подножию высоты, по болоту.

Волошин скатил пулемет пониже, на бровку, вперед казенник в противоположную стенку траншеи. Он понял все. Надежда на удачу не сбылась, момент был упущен, батальон оказался разорванным на три части, бой усложнился, и теперь с уверенностью определить его исход не смог бы и сам господь бог. Во всяком случае, ворвавшейся в траншею горстке бойцов скоро придется несладко.

Стараясь, однако, сохранить выдержку, он опустился на дно траншеи и под вой и грохот разрывов свернул цигарку. В его более чем затруднительном с утра положении наступил перелом, в этой безнадежности он вдруг обрел спокойную уверенность в себе, почти определенность. Все его недавние заботы начисто отлетали прочь, ему предстояло нечто иное, и он почувствовал, что все им пережитое — мелочи, самое главное придется еще пережить. И хотя он не питал никаких иллюзий относительно предстоящего, он был спокоен. Здесь он пребывал в привычной роли солдата и не зависел ни от Гунько, ни от Маркина, а лишь от немцев и самого себя. Его солдатская судьба была теперь в собственных руках.

Он только раз затянулся, как повыше в траншее послышались непонятные крики и близкая автоматная очередь стеганула сверху по брустверу. Похоже, их пытались отсюда вышибить, и кто-то там не удержался. Но бежать под этот огонь из траншеи наверняка означало погибнуть. Выдернув из кобуры пистолет, Волошин выждал четверть минуты и, пригибаясь, побежал по зигзагообразным изломам траншеи. На втором или на третьем пово-

роте он наскочил на присевшего бойца с примкнутым к винтовке штыком, тот напряженно вглядывался вперед, откуда доносились крик и треск автоматных очередей. Несколько пуль разбили землю на бруствере, обдав обоих песком и пылью.

— Что там? — спросил Волошин.

Боец пожал плечами, держа наготове винтовку, сам, однако, не торопясь подаваться вперед, и Волошин крикнул ему:

— Давай назад, к пулемету!

Они с трудом разминулись в тесной траншее, на дне которой он с брезгливостью переступил через убитого, в распахнутой шинели немца, и на очередном повороте едва не угодил под густую очередь вдоль траншеи, успев, однако, отшатнуться за выступ. Откуда-то спереди на него налетел Круглов.

— Что такое, лейтенант?

— Дрянь дело, комбат! Жиманули обратно...

— Спокойно! — сказал Волошин, перегораживая траншею перед выскочившим следом бойцом, по щеке которого лилась на воротник кровь. — Спокойно. А ну, гранаты! Гранатами — огонь!

Боец что-то возбужденно кричал, поминая какого-то Лешку и машинально вытирая плывшую из разбитого виска кровь, но дальше не побежал, сорвал с брезентового ремня гранату и, матерно выругавшись, швырнул ее вдоль траншеи. Когда она грохнула за поворотом, обдав их пылью и тротиловым смрадом, спереди из-за колена к ним выскочили еще двое, и в одном, что был без шинели, в измятой неподпоясанной гимнастерке, Волошин узнал Чернорученко.

— Черноруденко, ты что? Где Маркин?

Черноруденко вскинул на него недоумевающий взгляд и отвернулся.

— Там, — бросил он и, подхватив винтовку, выстрелил по траншее дважды. Туда же ударил из пистолета Круглов.

— Так. Отсюда ни шагу! — начиная чувствовать обстановку, сказал Волошин. — Отсюда ни с места. Вы поняли?

— Так точно, товарищ комбат, — сказал Чернорученко, перезаряжая винтовку.

Их собралось за траншейным изломом пятеро, откуда-то спереди наседали немцы, то и дело осыпая бруствер

и повороты траншеи автоматными очередями, и они, отстреливаясь, время от времени швыряли туда гранаты. Немцы тоже швыряли гранаты, две из которых разорвались, к счастью, за бруствером, одну Черноручепко, ухватив за длинную ручку, словчился швырнуть обратно. Было ясно, что с ходу вышибить немцев из этой траншеи у них не хватило силы, и теперь их самих будут отсюда выкуривать. Это уже было похуже, тем более что помочь им некому.

— Да, положеньице! — сказал Круглов, стоя на одном колене в траншее. Все держали оружие наизготовку. Первым возле излома стоял, пригнувшись, боец с окровавленной щекой, за ним — Черноручепко. Волошин оглянулся, ища взглядом еще кого-нибудь сзади, и увидел лишь одного бойца из вчерашнего пополнения, глаза которого на смуглом лице смотрели удивительно спокойно, почти бесстрастно, будто все, что происходило вокруг, было для него делом давно привычным.

— По-русски понимаешь? — спросил Волошин.

— Понимаю, — тихо ответил боец.

— Давай по траншее за пулеметом. Вдвоем возьмете пулемет — и сюда. Понял?

Боец побежал по траншее, и Круглов с надеждой спросил:

— А патроны? Патроны хоть есть?

— На одну очередь.

Круглов хотел что-то сказать, как впереди стукнуло, он приподнялся и выстрелил из пистолета. За ним выстрелили Черноручепко и раненный в висок боец. Потом они подождали, но из-за поворота никто не выскакивал, и Волошин опустил пистолет.

— Так, сколько нас здесь всего? Четверо? — спросил он. — Кажется, больше бежало.

— Остальные там, — обернулся Черноручепко. — В блиндаже.

— В каком блиндаже?

— А там блиндаж есть. Как фрицы ударили, они не успели. Мы выскочили, а те нет.

Час от часу не легче, подумал Волошин. И без того небольшие силы ворвавшихся были еще и разобщены в траншее. Разумеется, немцы быстро прикончат их в каком-то там блиндаже, потом возьмутся за оставшихся.

— Лейтенант, надо пробиться к тем, — сказал Волошин.

— Оно бы неплохо. Но...

— Надо пробиться. Дайте гранату.

Черноручено бросил Волошину круглое яичко немецкой гранаты, из которой тот выдернул пуговичку со шнурком и швырнул ее через бруствер. Как только за поворотом грохнуло, Волошин крикнул:

— Быстро вперед!

Черноручено с раненым проворно метнулись за поворот, и он поверх их голов выстрелил вдоль следующего отрезка траншеи. Пробежав десять шагов, они втроем затаились возле очередного поворота, раненый боец, очевидно, поняв суть дела, выставив автомат за угол, стрекнул короткой очередью. Потом, пригнувшись, прыгнул за угол, за ним прыгнул Волошин и оба свалились на дно — боец от выстрела из-за поворота, а Волошин, наскочив на бойца. Это падение, однако, уберегло капитана от очереди, которая прошлась выше, осыпав его землей. Тут же грохнул винтовочный выстрел Черноручено, и немец в неподпоясанной, с широким воротником шинели, выронив из рук автомат, осел поперек траншеи. Волошин с земли выстрелил в него два раза и, подхватив автомат, вскочил на ноги.

У очередного поворота они затаились, прижавшись спинами к закопченному взрывом гранаты земляному выступу, явно чувствуя присутствие за ним немцев, которые, видно, тоже чего-то ожидали. Конечно, ожидали, когда они туда сунутся. Но они медлили, потому что гранат у них больше не было. Волошин взглядом спросил у Круглова, и тот сокрушенно развел руками: кончились, мол. Надо было кому-то выскочить с автоматом и внезапностью огорошить немцев. «Но какая может быть внезапность, — подумал Волошин, — если они там держат пальцы на спусках направленных сюда автоматов?» Не найдя ничего другого, он схватил комок земли и, размахнувшись, швырнул его через бруствер. Тотчас ударил автомат, засыпав их всех песком, и Волошин, пригнувшись, головой вперед ринулся за поворот. Он не отпустил из-под пальца спуска, пока автомат не замолк, в поднятой очередями пыли впереди мелькнуло несколько спин немцев, но никто из них не упал, он подхватил из-под ног сумку с торчащим в ее боку обрывком кирзы и, задыхаясь, прижался к очередному повороту траншеи.

Похоже, однако, немцы убежали дальше. Волошин осторожно глянул из-за выступа и увидел идущие вниз ступеньки и вход в блиндаж, из которого торчал коротенький ствол ППШ. Очевидно, это и был тот блиндаж, о котором говорил Черноручепко.

— Эй, — подал голос Волошин. — Свои!

Ствол дрогнул, и из входа выглянуло чумазое молодое лицо, на котором обрадованно блеснули глаза.

— Комбат! Товарищ комбат!..

«Я не комбат», — хотел сказать Волошин, но, не сказав ничего, пробежал до следующего поворота и прижался к издолбанной очередями земляной стене.

— Живы? — заглядывая в блиндаж, спросил Круглов.

— Лейтенант ранен.

— Давай выходи! — скомандовал Круглов. — Один пусть останется, остальным — выходи!

Держа наизготовку немецкий автомат, Волошин стоял настороже, прижимаясь спиной к стене, не зная, что́ за поворотом, и ежесекундно ожидая оттуда очереди или гранаты. Но там, кажется, никого не было, похоже, немцы убежали. Хотя он знал, что немцы далеко не убегут, наоборот, скоро начнут их выкуривать из этой траншеи, которая была для них тут последним убежищем. На склоне им гибель.

— А ну давай все сюда! — приказал он, когда несколько бойцов выглянуло из блиндажа. — Доставай лопатки! Быстро перерыть траншею. Зарыть проход.

Он отступил шаг назад, и первый боец — рослый, в старой телогрейке парень из стариков, по фамилии Лучкин, вонзив в бровку лопату, отвалил к ногам пласт еще свежей, по-летнему сырой земли. По другую сторону начал обрушивать землю другой боец, в новенькой зеленой каске.

— Так. Остальные прикройте их. Взять в руки гранаты, — распорядился Круглов. — Ни черта. Еще мы посмотрим.

Отплевываясь от поднятой в траншее пыли, Волошин отошел на несколько шагов назад, прислушался. Невидимый пулемет справа все стучал очередями по склону, визжа, неслись через высоту мины, и их раскатистые разрывы непрерывно сотрясали землю. Но в траншее стрельба прекратилась. Конечно, немцы не могли их оставить в покое, значит, готовились ударить как следует. От-

резав их от основных сил батальона, они, конечно, могли не спешить. Деваться тут все равно было некуда.

Из блиндажа выглянул все тот же чумазый боец в сбитой набекрень шапке:

— Товарищ капитан. Лейтенант зовет.

Оглянувшись на застывшего возле бойцов Круглова, Волошин повернул назад и спустился по ступенькам в добротный, под двумя бревенчатыми накатами, блиндаж. В его полутьме трудно было рассмотреть что-либо, он только увидел торчащие на проходе ноги в сапогах и обмотках и несколько напряженно серевших в полутьме лиц, по виду которых становилось ясно, что это раненые. Тут же, привалясь спиной к стене, полулежал на шинели Маркин.

— Что с вами? — спросил Волошин. — Серьезно ранены?

— Да вот в ногу, — шевельнул лейтенант забинтованной, без сапога, голенью. — Так что, видно, опять вам командовать.

Куда как здорово, подумал Волошин, принять это командование в такое завидное время. Батальон разрублен на несколько частей, одна из которых застряла под высотой, другая сунулась в эту мышеловку, управления никакого, комбат ранен и теперь уступает командование. Но так или иначе, он тут старший по званию, придется, видно, руководить ему.

— Зачем было рваться впереди всех? Что и кому вы доказали этим? Теперь вы понимаете положение батальона?

— Я уже отпонимался, — с мрачной отрешенностью сказал Маркин. — Я ранен.

— А до ранения вы не удосужились подумать?

— А что мне думать? Прикажут — полезешь куда и шило не лезет.

— Да-а, — вздохнул Волошин и, тихо выругавшись, опустился у прохода.

Шла война, гибли сотни тысяч людей, человеческая жизнь, казалось, теряла обычную свою цену и определялась лишь мерой нанесенного ею ущерба врагу. И тем не менее, будучи сам солдатом и сам ежечасно рискуя, Волошин не мог не чувствовать, что все-таки самое ценное на войне — жизнь человека. И чем значительнее в человеке истинно человеческое, тем важнее для него своя собственная жизнь и жизни окружающих его людей. Но

как бы ни была дорога жизнь, есть вещи выше ее, даже не вещи, а понятия, переступив через которые человек разом терял свою цену, становился предметом презрения для ближних и, может быть, обузой для себя самого. Правда, к Маркину это последнее, по-видимому, не относилось.

Уронив на колени руки, Волошин посидел минуту и почувствовал, как запекло в правой кисти — по пальцам на сапог живо сбежала теплая струйка. Он тронул кисть левой рукой и увидел на пальцах кровь. «Что за чертовщина, — подумал он, — даже не заметил, когда ранило».

— У кого есть бинт? — спросил он, сдвигая рукав шинели.

— Вот у ёго, — послышалось за его спиной, и Волошин вздрогнул. Из полутемного угла блиндажа на него страдальчески смотрели знакомые глаза рядового Авдюшкина, и Волошина пронзило испугом: Авдюшкин был из пропавшей группы Нагорного.

— Авдюшкин, ты?

— Я, товарищ комбат.

— Ты что, ранен?

— Раненый, товарищ комбат. Вот ноги у мэнэ простреленные.

— А Нагорный?

— Нагорный убытый. Его гранатой убыло. Тут, в траншейке.

— Утром?

— Утречком, ну, — постанывая, с усилием говорил Авдюшкин. — Как мы сунулись, ну и он навалився. Всих пэрэбыли. Тилькы я остався. И то во фрыц цэй спас. Пэрэвязав ноги.

— Какой фриц?

— Во, цэй, — кивнул головой Авдюшкин, и только теперь Волошин рассмотрел в сумраке блиндажа тоже бледное лицо немца, который тихо сидел в углу за Авдюшкиным. — Тэж ранитый.

— Пристрелить надо, — сказал от входа чумазый. — Еще его не хватало...

— Ни, не дам, — убежденно сказал Авдюшкин. — Вин мэнэ спас, цэ хороший фриц. А то б я кровью сплыл в этом блиндажи. А ну, фриц, дай комбату бинта.

Фриц действительно что-то понял из их разговора и,

поворошив в кармане шинели, достал свежий сверток бинта, который Авдюшкин протянул Волошину.

Волошин левой рукой начал торопливо обертывать кисть правой. Рана, в общем, была пустяковая, пуля скользнула по мякоти, он даже не заметил когда. Однако кровью залило весь рукав.

Связывая концы бинта, он прислушался к очередям и разрывам на склоне, с недоумением заметив, что в траншее все пока стихло. После всего происшедшего за это утро его уже не так, как вначале, мучил случай с Нагорным, хотя он по-прежнему сознавал свою вину по отношению к сержанту и его бойцам. Но к этому времени в его переживаниях столько перемешалось, наслоясь одно на другое, что о Нагорном он перестал думать. Он с сожалением и печалью подумал об Иванове, без всякой помощи оставленном им в воронке, где тот, возможно, и погиб. Волошин всегда заботился в первую очередь о раненых, стараясь их вовремя эвакуировать из-под огня, а вот лучшего своего друга эвакуировать не сумел. Не смог. А здесь что ж? Здесь ему придется все-таки вступать в командование — не батальоном, конечно, от которого он был отрезан, а этой маленькой группой, чтобы как-нибудь отбиваться до вечера. Вечером, возможно, к ним и пробьются. Но ему не понравилась эта неожиданная история с Авдюшкиным и его спасителем-немцем, с которым теперь неизвестно что было делать. Может, лучше бы этот Авдюшкин молчал о своей перевязке, так было бы проще. Так нет, раззвонил перед всеми, теперь разбирайся.

— Так, — сказал он, перевязав руку. — Надо отбивать траншею. Иначе они нас выбьют отсюда.

— С кем отбивать? — мрачно сказал Маркин.

— С кем есть. Надо собрать все гранаты. Может, немецкие гранаты остались?

— Немецких полно, — зашевелился в углу раненый. — Вот, целый ящик.

— А ну давай его сюда.

Волошин вылез в траншею — сверху все грохали разрывы и стегали пулеметы по склону, не давая подняться ротам. Ротам следовало срочно помочь отсюда, чтобы те смогли помочь им. Только объединив все усилия, они могли спасти себя и чего-то достичь. Разъединенность была равнозначна гибели.

Бойцы уже перерыли траншею, соорудив в ней не-

высокую, по пояс, перемычку, и Волошин скомандовал:

— Стоп! Больше не надо. Всем запастись гранатами. Вон в блиндаже гранаты.

Глазами он сосчитал бойцов. У завала их оставалось шестеро, двоих он снарядил к пулемету, плюс двое их, офицеров; раненые в блиндаже, конечно, не в счет. Но и без раненых их набирается больше десятка. Если воспользоваться этой непонятной паузой и с помощью гранат ударить вдоль по траншее, может, и удалось бы пробиться к вершине, чтобы заткнуть глотку тому крупнокалиберному пулемету, который сорвал им все дело. Тогда, возможно, поднялась бы восьмая с остатками седьмой.

Бойцы торопливо разобрали из разделенного на соты желтого ящика немецкие гранаты с длинными деревянными ручками, пустой ящик сунули в устланную соломой и засыпанную гильзами ячейку сбежавшего пулеметчика. Волошин опустился на ящик.

— Что, будем штурмовать траншею? — спросил, обернувшись, Круглов. Волошин задержал взгляд на энергичном, подвижном лице комсорга.

— А что ж остается, лейтенант? Лучше штурмовать, чем убегать. Как вы считаете?

Комсорг подошел ближе и опустился на корточки, жадно досасывая немецкую сигарету.

— Боюсь, мало сил, капитан.

— Больше не будет. Подавим пулемет — поднимутся роты.

Круглов сунул в землю и притоптал сапогом окурок.

— Если подавим. И если поднимутся.

Это, конечно, вся война — если. Но отойти с этой высоты после стольких жертв и усилий он не мог, потому что повторить все сначала ни у него самого, ни у батальона уже не было силы. Сидеть же в бездействии означало предоставить инициативу немцам, которые, конечно, не замедлят ею воспользоваться. Значит, надо пытаться. Надо отбить хотя бы половину траншеи.

— Что ж, ясно, — сказал Круглов, вставая, и негромко скомандовал бойцам: — Приготовиться к штурму!

19

Все в ряд они выстроились у поворота с левой стороны траншеи. Первым стал лейтенант Круглов, за ним прижался к стене Волошин, затем Черноручено и остальные. Перед броском на минуту замерли, прислушиваясь. Из-за бортов шинелей, из карманов телогреек, из-под ремней у бойцов густо торчали деревянные ручки гранат, лица у всех были напряженны и решительны. Ничего, однако, не услыхав за грохотом разрывов в поле, Круглов по недавнему примеру Волошина снял с головы каску и бросил ее за колено. Но ожидаемой очереди оттуда не последовало, и комсорг первым рванулся за поворот, за ним, пригнувшись, сорвались бойцы. За поворотом никого не оказалось — разбитая снарядами, с развороченным бруствером траншея была пуста. Они добежали до следующего поворота и снова остановились. Вроде бы начало было обещающим. Круглов обрадованно взглянул на Волошина, но тот ответил ему прежним, озабоченным, взглядом — ему это нравилось меньше. Немцы исчезли, но не могли же они бросить траншею, кто-то же должен прикрыть их пулеметы, значит, где-то они их поджидают. За которым коленом только?

Они прошли еще два-три поворота и нерешительно остановились — траншея разветвлялась на две: одна шла в прежнем направлении, вторая под острым углом забирала в сторону и выше. Волошин взглядом указал Круглову на ту, что ответвлялась в сторону, а сам шагнул прямо.

Он сделал всего три шага и, вздрогнув, резко обернулся, — сзади послышался вскрик, тотчас два гранатных разрыва обдали его песком, вонью и дымом. Шедший за ним Черноручено размахнулся гранатой, но бросить ее не успел — из-за развилки в их сторону испуганно шарахнулись два бойца, вслед которым жарко пахнула автоматная очередь. Брызнув комками глины, пули густо вонзились в гладкую стену траншеи. Потом еще грохнуло дальше, и Волошин понял, что это бросили гранаты бойцы, выдернул из ручки шнурок и одновременно с Черноручено метнул гранату. Сдвоенно щелкнув запалами, гранаты скрылись за бруствером, и еще до того, как они разорвались, из-за поворота вывалился бледный, без шапки, в распоротом на плече полушубке Круглов.

— С-сволочи!..

Он падал, слепо хватаясь за стенку траншеи, и Волошин, крикнув Черноручепко: «Возьми лейтенанта!», швырнул через бруствер в отросток траншеи две гранаты подряд. Оказавшиеся по ту сторону отростка бойцы бросили еще несколько гранат.

Они сунулись головами под стену, пережидая серию оглушающих, засыпавших их землей взрывов и глядя, как Черноручепко, обхватив за поясницу Круглова, поволок его по траншее. Швырнув еще по гранате, бойцы стали пятиться следом, и Волошин, чтобы не остаться одному, рывком проскочил разделявшие их три шага напротив отростка, из которого снова шибануло автоматным огнем. Однако на долю секунды он упредил пули и даже успел заметить там двух пригнувшихся немцев в касках и ничком распластанного на дне бойца со стриженым окровавленным затылком.

Обсыпанные землей, они отбежали десяток шагов до следующего колена и остановились, направив на поворот оружие в ожидании того, кто первым оттуда выскочит. Волошин понял, что глупейшим образом переоценил свои наступательные возможности. С десятком человек траншеи ему не отбить, немцы запросто вышибут его отсюда, если только он срочно не предпримет что-то спасительное.

— Стоп! — тихо скомандовал он, вдруг осененный новой мыслью. — А ну разойдись пореже! По одному за поворот! Гранаты бросает первый. Ну, живо!

Бойцы, пригибаясь, послушно побежали по траншее, исчезая за ее изломами, последнего, подпоясанного поверх телогрейки немецким ремнем с выпиленной из пряжки свастикой, он задержал за рукав.

— Ты со мной! Бери две гранаты!

Не успел боец перехватить в левую руку винтовку, как в воздухе над бруствером, кувыркаясь, мелькнула длинная рукоятка гранаты. Они едва пригнулись под стену — выше на бруствере оглушительно грохнуло. Потом грохнуло дальше и сзади, осколками косо секануло по одной стороне траншеи, больно стегнув по щеке песком и тугой звуконепроницаемой пробкой залепив Волошину ухо. Зная, что последует дальше, он, не поднимаясь, выстрелил три раза за поворот, и, кажется, вовремя — кто-то там лишь сунулся, тенью мелькнув в пыли, и снова исчез за выступом. Не дожидаясь новой гранаты, капитан отскочил назад, едва успев пригнуться под бро-

шенной через него гранатой напарника. Сзади послышались немецкие выкрики, кто-то угрожающе прокричал за изломом, и он понял, что их напирало много. Они вышибали его подавляющей силой пехоты, от которой спасения тут, кажется, не было.

Но он все же надеялся. У них еще оставались гранаты, две он подобрал под ногами в траншее и торопливо свернул колпачки. Однако, когда впереди, где остался боец, сразу ударилось о бруствер и стенки несколько брошенных оттуда гранат, он со скверным, почти затравленным чувством подумал, что, наверно, долго не выдержит. Переждав прогрохотавшие взрывы, он бросил свои гранаты, но секанувшая вдоль по траншее автоматная очередь опять вынудила его на четвереньках спасаться за следующим поворотом, где еще можно было укрыться. Там, опустившись на одно колено, его поджидал с двумя гранатами в руках тот самый флегматичный боец из пополнения, который недавно бросился ему в глаза своим почти библейским спокойствием. Капитан сгорбился рядом. Оставленный им за предыдущим изломом боец больше не появился.

Точно так же, как еще недавно они, теперь их последовательно и методически вышибали гранатами немцы. Спасали траншейные изломы. Заполошно дыша, Волошин пытался вспомнить, сколько еще поворотов осталось сзади, — казалось, не более четырех. В этих поворотах была вся их возможность, мера их жизней, другой вроде уже не предвиделось.

— Ну бросай! — кивнул головой Волошин. — Потом я.

Боец не спеша левой рукой дернул за пуговку и, выждав, пока щелкнет запал, правой без размаха сунул гранату за земляной поворот.

— Беги, капитан! — оглянулся он в дыму после взрыва. — Давай свой гранат!

— Вместе! — поняв его намерение, встряхнул головой Волошин. — Бегом к блиндажу!

— Беги скоро!! — крикнул тот, хватаясь за винтовку, похоже, к излому уже ринулись немцы. Боясь не успеть, Волошин вскочил и, отбежав на несколько шагов, оглянулся.

— Беги!

Не увидев, что стало с бойцом, он в следующее мгновение содрогнулся от новой тревоги — сзади в траншее

началась частая пальба из винтовок, там же загремели и гранатные взрывы, как ему показалось — у блиндажа, и он бросился по траншее назад.

Бойцы, по-видимому, уже отбежали дальше, он наткнулся лишь на одного, которому крикнул: «Ни с места!», а сам, обежав два поворота, увидел свою перемычку и перед ней еще одного бойца, с колена торопливо бьющего вдоль траншеи из винтовки.

— Что там?

— Немцы, — бросил боец, клацнув затвором. — Двоих уложил.

Из входа в блиндаж тоже торчало несколько стволов, которые стреляли туда же. Значит, ошибки не было, немцы ударили с тыла, по-видимому захватив и начало траншеи. Они сжимали их тут, как в гармошке, с обеих сторон, оттесняя всех к середине, где, на счастье, еще оставался блиндаж. Но что им блиндаж? В такой обстановке блиндаж не укрытие, а скорее братская могила для всех.

Однако что было делать?

Спасаясь от полоснувшей по траншее автоматной очереди, Волошин сунулся в земляной проем блиндажа и упал на ступеньках, пережидая ошалелое щелканье пуль по стене, с которой обрушился целый пласт глины, наполнив траншею пылью. Под боком у него оказался знакомый кирзовый сапог с овальной заплаткой на заднике, и он увидел перед собой оттопыренные уши Черноученко, который коротенькими очередями тыркал по углу траншеи, и тот постепенно крошился, обваливаясь комками и удлиняя обзор по траншее. Горячие гильзы из его автомата сыпались капитану на голову и за шиворот, он тоже поднял свой пистолет, чувствуя при этом, что патроны в магазине вот-вот должны кончиться. Но он знал, что, пока они простреливают отсюда траншею, немцы прорваться в блиндаж не смогут, пятнадцатиметровый отрезок по обе стороны от входа для них был закрыт. Но — гранаты! Немцы могли забросать их гранатами, от которых спасения в траншее не было. Разве что в блиндаже.

В траншейном поединке наступила неопределенная пауза. С бруствера временами слетали разбитые пулями комья земли, и Волошин, оглушенный на правое ухо, не сразу понял, что это стреляли снизу. Оттуда же, ослабленный расстоянием, доносился четкий перестук ДШК, который вел огонь по траншее, очевидно, не давая нем-

цам блокировать блиндаж поверху. Что ж, это была посильная помощь его батальона, и в душе капитана на миг потеплело от благодарности тем, что лежали внизу. «Главное, — думал он, — не дать немцам сунуть гранату в блиндаж, в траншее же пусть рвут сколько угодно».

Повернувшись ровнее, он разрядил пистолет, сунул его за борт шинели, потом, зачерпнув горсть патронов в кармане, принялся торопливо набивать магазин. Но Чернорученко опять полоснул по траншее очередью, и он схватился за пистолет.

— Товарищ комбат, дайте я, — сказал кто-то рядом, и он, оглянувшись, увидел бойца с широко забинтованной головой, который, держа в руках автомат, лез занять его место на входе.

Помедлив, Волошин встал. Боец влез на его место, а капитан спустился на две ступеньки ниже и стал возле двери. В блиндаже, на устланном соломой полу, тесно лежали раненые, в полумраке серели бинты и слабо шевелились бледные лица, в углу кто-то тихо раскачивался в нательной сорочке, остро пахло лекарством. Несколько пар глаз из тесной полутьмы с вопросительным ожиданием уставились на Волошина, и он вдруг ощутил такую беспомощность, какой не ощущал под градом осколков в траншее.

— Ничего! — сказал он в утешение не так им, как больше самому себе. — Будем отбиваться. У кого есть оружие? Давай ближе к выходу.

— Оружие есть. Но что оружие...

— Пока есть оружие, мы — бойцы. Будем держаться.

Ответом ему было трудное, напряженное молчание, кто-то обреченно простонал, и он перевел взгляд на Маркина, который в прежней позе лежал на шинели.

— Черт! Не удалось! — тихо, ни к кому не обращаясь, проговорил Маркин. — Все к чертовой матери!

«Да уж не удалось», — подумал Волошин и, вспомнив комсорга, зашарил по блиндажу взглядом:

— А Круглов здесь? Что с Кругловым?

— Все, нет Круглова, — обернулся на ступеньках Черноруценко. — Вот его автомат. А там сумка, — кивнул он на блиндаж.

Волошин внутренне сжался — значит-таки и Круглов! Еще одного не стало из многих, с кем вместе прошли

они весь этот недолгий, но устланный смертями путь батальона... Чья теперь очередь?

Кто-то в наброшенной шинели и с забинтованной рукой, неуверенно ступая между телами, пробрался к двери и передал Черноученко два снаряженных магазина. Бойца с разрезанным до плеча рукавом, у которого оказалась граната, Волошин посадил возле двери. Но одной гранаты для них было мало.

— Гранат надо больше. У кого еще есть гранаты?

— Вот последняя, — сказал Авдюшкин. — Для сэбе берегав. Да черт з ей...

Он протянул из угла Ф-1, которую Волошин планкой нацепил себе на ремень возле пряжки. Других гранат у него не осталось. Теперь он снова был готов к бою и, стоя у сырого, из неошкуренной ели косяка, поглядывал в траншею. Рядом на ступеньках, выставив в разные стороны автоматы, сидели Черноученко и мрачный боец с толсто забинтованной головой.

— Это... Нате вот еще каски, — заботливо передали из блиндажа две немецкие каски. Черноученко одну насунул поверх шапки, а вторую раненый боец, примерив, зло бросил в траншею.

— Падлой смердит.

Волошин вынул из брючного кармана часы и с удивлением ахнул: было четверть четвертого. А он все думал, что еще утро. Действительно, до вечера осталось совсем немного, хорошо бы дотянуть до вечера. Вслушиваясь одним ухом в громыхание боя, он думал: «А вдруг поднимется батальон?» Если бы он поднялся, может, что-то бы и удалось, пока еще было не поздно. Тогда, может, и они бы тут пригодились.

Но батальон, наверно, уже не имел сил подняться.

Вдруг оба сидящих на ступеньках схватились за автоматы, и одновременно с обеих сторон траншеи слишком знакомо мелькнуло в воздухе. Одна из гранат, прежде чем разорваться, ударилась концом в стенку напротив и отлетела дальше, другая торчком поскакала куда-то по дну траншеи. Как только они рванули, взбив облако пыли, оба автоматчика ударили из своих ППШ, наполнив блиндаж гулким автоматным треском. Волошин, прижимаясь спиной к стене, держал наготове пистолет. Трудно волоча простреленные, без сапог ноги, из угла блиндажа

выполз и лег возле входа Авдюшкин. В его сжатой руке блеснула малая саперная лопатка.

— Ах гады! Ну идите, гады! — треща автоматом, исступленно кричал на ступеньках раненый.

Очередного броска гранаты Волошин не успел заметить, возможно, ее перебросили через бруствер, только рядом в траншее вдруг оглушительно грохнуло, пахнув в растворенную дверь блиндажа жарким смрадом взрывчатки, и немецкая каска с головы Черноученко с железным звоном ударилась о притолоку. На ступеньках, откинувшись навзничь, конвульсивно задергался Черноученко, выпустив из рук автомат. Волошин подхватил этот забитый песком, горячий еще ППШ и отпрянул к закачавшейся на петлях двери.

— Дверь! Дверь! — закричало в блиндаже несколько голосов. — Держите дверь!

Чьи-то проворные руки мощным рывком грохнули плотно закрывшейся дверью, отрезая от себя все, что было за ней в траншее. Волошин не знал, что произошло с Черноученко, убит тот или ранен, не знал, в каком состоянии раненный в голову боец, автомат которого, однако, тоже замолк. Испугавшись, что в блиндаж вот-вот ворвутся немцы, капитан через доски двери выпустил наружу три короткие очереди и снова замер у двери. На минуту все там затихло.

— Маты моя ридная! — взмолился кто-то из раненых.

— Мовчи! — крикнул на него с пола Авдюшкин. — Без тэбе тошно.

Опять настала гнетущая пауза, которая, казалось, предшествовала последней схватке. Теперь уже помочь им не мог никто в целом мире, и даже они сами помочь себе не могли. Предстояло, наверно, проститься друг с другом и подумать, как подороже отдать свои жизни.

— Ух, сволочи! Ух, какие же они сволочи!.. — навзрыд плакал в углу раненый в нательной сорочке. — Неужто конец нам?

— Подождите, — не зная еще, чем можно их и себя утешить, сказал Волошин. — Еще не все потеряно. Еще мы подержимся. У нас ведь броня.

— Броня?

— А как же! — ободряюще сказал капитан. — Вот — земля родная. Лучше нет в мире брони. Попробуй пробей, — стукнул он кулаком в стену. — Там, на косогоре,

бугорка не было. А тут... Там бы такой блиндаж!

— А це правда! — раздался вдруг просветленный голос. — Я там за лопаточку ховався...

Не успел он договорить, как стены блиндажа снова содрогнулись от мощного взрыва, потом еще одного и еще двух кряду. Дверь они держали подпертой у самой земли ногами. Волошин изо всех сил упирался в ее уголок каблуком сапога, и у него едва доставало силы удержать ногу при взрывах. Вся верхняя часть двери, иссеченная осколками, засветилась десятками щелей и дыр. Держа ее каблуком снизу, он ждал, когда она рухнет на них или разлетится в щепки, и тогда... Тогда предстояла последняя схватка с минимальными для них шансами выйти отсюда живыми. Но дверь выдержала. Гранаты все-таки рвались в отдалении, за три метра в траншее, и он удивился, что ни одна из них не разорвалась под дверью. Впрочем, он тут же смекнул: скатиться гранатам к двери не давали двое убитых. Рухнув на ступеньках у входа, мертвые защищали живых, приняв на себя всю силу взрывов и все осколки. Им доставалось. Волошин уже почувствовал под подошвой жидкую лужицу и понял, что́ это было. Мертвые истекали живой, еще теплой кровью.

У стены встревоженно завозился Маркин.

Не выпуская из рук пистолета, он выдернул из-под изголовья сумку, коротко бросив в наступившей затем тишине:

— У кого спички?

Кто-то дал ему спички, и лейтенант, поворошив в сумке, выдернул оттуда несколько бумажек, свернул их в трубку. В блиндаже загорелся коптящий небольшой костерок, в который Маркин, нервно сминая, начал совать бумаги. «Предусмотрительный малый», — подумал про него Волошин. У него в полевой сумке тоже нашлось бы кое-что из бумаг, подлежащих уничтожению в такую минуту, но он все тянул, словно на что-то надеясь. Маркин, оказывается, в этом отношении был предусмотрительнее и уже ни на что не надеялся. Что ж, видимо, он был прав.

— Карта у вас? — поднял к нему мрачное лицо начштаба.

Карта с нанесенной на нее обстановкой батальона была у Волошина, и, хотя обстановка эта здорово изменилась за сутки, капитан молча вынул карту из сумки и бросил Маркину.

Блиндаж скоро наполнился дымом. К горящим документам начштаба, именным спискам и картам кое-кто из бойцов начал подбрасывать свои бумаги, которые быстро пожирал огонь. Волошин увидел, как таяла в огненном ворохе маленькая карточка девушки — сначала ее плечо, блузка, затем кудряшки прически, ровненький носик, челочка на лбу. Скоро остался узенький обрез поля, который бесследно смешался с черной золой.

А немцы все медлили. С трудом вынеся эту мучительную паузу, Волошин повернул автомат стволом к двери и протрещал несколькими очередями. Иссеченная пулями и осколками дверь светилась многочисленными дырами, сквозь которые, однако, можно было наблюдать лишь узкий отрезок траншеи напротив. Заглянув в одну из дыр, Волошин увидел вблизи разбитое взрывом лицо Чернорученко... В траншее, кажется, никого не было, немцы, наверно, скрывались за поворотами. Время от времени капитан заглядывал в эту узкую вертикальную дыру в доске и в третий или четвертый раз увидел нечто такое, что его удивило.

Сначала ему показалось, что это был дым, струи которого, расходясь под потолком, тянулись по воздуху к двери и которые собирались теперь в траншее. Но, приглядевшись, он понял, что это было что-то другое. Плотно-серое дымное облако быстро наполняло траншею, уже скрыв ее противоположную стену, затягивая изуродованный профиль Чернорученко. Тошнотворно-удушливый химический запах, проникнув, заполнял блиндаж, бойцы завозились, закашлялись, и лежавший у двери раненный в руку боец вскричал:

— Братцы! Да они же нас газом! Вы чуете?

— Тихо! — крикнул Волошин. Но было поздно.

Весь блиндаж встревоженно завозился, задвигался, кто-то в темноте заплакал, многие начали удушливо кашлять, и Волошин почувствовал, как у него самого нестерпимо защипало в носу и по щекам потекли слезы. Он опустился на корточки у стены и думал: «Неужели же они в самом деле решились применить газ?» Но отчего бы и нет? Если они применили все, что столетиями проклинало человечество, отчего бы не применить еще и газ?.. Он давно не носил с собой противогаза, оставив его в обозной повозке. Впрочем, здесь почти все были без противогазов, и теперь за эту оплошность им предстояло расплатиться жизнью.

Дымной, удушливой мглы натекало в блиндаж все больше, стало темно, дышать становилось нечем. Уткнувшись лицом в суконный рукав шинели, Волошин с трудом делал мелкие, недостаточные для легких вдохи... Наверху своим чередом шел огневой бой, к которому он хотя и прислушивался, но уже давно перестал в нем разбираться. Видно, этот бой уже их не касался. С каждой минутой Волошин все больше страдал от удушья, от сознания своей беспомощности, от бессильной злой ненависти к тем, кто обрекал их на эту мучительную гибель. Он не сразу почуял, как кто-то потянул его за рукав, и недоуменно поднял глаза.

— Товарищ комбат, возьмите!

Чья-то солдатская рука протягивала ему знакомую матерчатую сумку с противогазом, в котором теперь было спасение. Однако он не сразу решился протянуть свою руку навстречу, он не был готов к этому жесту великодушия. Чтобы спастись одному, когда погибали остальные, нужна была решимость особого рода, которой он не обладал. Но рука его инстинктивно, почти без участия воли, взметнулась к узенькой перекрученной лямке.

— Я комбат! Я здесь комбат! — вдруг почти выкрикнул под стеной Маркин, и Волошин, содрогнувшись, отдернул руку.

— Что, спастись хочешь? — просипел он. — Отдайте ему! Отдайте противогаз лейтенанту!

— Я — не спастись! Но здесь я назначен комбатом. Понятно?

— Ты!.. — негодующе выдавил из себя Волошин. — О чем заботишься!

Маркин ничего не сказал больше, противогаз он тоже не взял, и его подобрала с прохода чья-то поспешно протянувшаяся из угла рука. Волошин закашлялся, пораженный вдруг и нелепо прорвавшимся честолюбием бывшего своего начштаба. Но поздно было проявлять честолюбие и хвататься за крохи утерянных возможностей — какое теперь имеет значение, кто из них назначен комбатом. Один противогаз спасти их не может.

Опускаясь все ниже у порога и обливаясь слезами, Волошин, однако, почувствовал нечто такое, что во второй раз ввергло его в смятение. Он не знал, какой это был газ и сколько может продлиться тут их агония, но вдруг почувствовал, что вот ведь живет, что смерть не наступает, что просто тут нечем дышать от наплывшего

дыма, что, может, это и не газ. Только он подумал о том, как снаружи донеслось несколько дальних встревоженных криков, и он, напрягшись, чтобы расслышать их, не сразу увидел, как кто-то решительно шагнул по телам к двери и широко рванул ее на себя.

— Немец! Немца держите! — взвопили в блиндаже.

Волошин, который ближе других был к двери, вскочил, бросился следом, но сразу запнулся на выходе и растянулся поперек тел убитых. Когда он поднялся, немец уже скрылся в клубах серого дыма. Задохнувшись, Волошин нажал на спуск автомата, полоснув слепой очередью в дымную мглу траншеи, и сам рванулся вперед, тут же ударившись грудью о ее высокую бровку. Он еще не успел вскочить на ноги, как снова упал, больно сбитый в дыму сапогами бегущего. Не зная, кто это, и совсем задыхаясь от дыма, он из последних сил ухватил бежавшего за ноги, опрокинув его в траншею, и, наткнувшись руками на холодный металл оружия, рванул его на себя. Кажется, он не ошибся, это был немец, по крайней мере автомат оказался немецкий. Волошин понял это на ощупь и с земли выпустил весь магазин и по отпрянувшему от него немцу и вдоль по траншее, где в клубах серого дыма слышались возня, гортанные вскрики, заполошная суматоха бегущих. Где-то рядом, багрово полыхнув пламенем, разорвалась граната, с разных направлений ударили очереди, но, обливаясь слезами, он уже не мог понять, кто и куда стрелял. Ни секунды не медля, он вскочил и, низко пригибаясь, бросился по траншее к недалекому ее колену.

Здесь он вдохнул на пол-легкого, услышал сзади два или три вскрика, знакомую матерщину и понял, что это выскочили из блиндажа свои. Не дожидаясь их, он шагнул за колено и побежал вниз по траншее. Наверно, это было опрометчиво — так вот вслепую бежать по еще неизвестно кем занятой траншее, ежесекундно рискуя получить очередь в грудь. Но он задыхался, ему надо было вдохнуть хоть глоток чистого воздуха, вместо которого по траншее валил удушливый кислый дым. И очереди в упор пока не было. Немцы тоже куда-то исчезли, и он, чуть осмелев и слепо натыкаясь на земляные углы, шатко брел дальше.

В них не стреляли, немцев здесь не было, почти вплотную за ним кто-то бежал, и это его успокаивало. Не останавливаясь, он жадно хватал ртом дымный, но

уже посвежевший воздух, пока не стал различать бруствер, бровку траншеи, потемневшее небо вверху. Ветер дул навстречу, вскоре он услыхал одним ухом недалекую автоматную стрельбу (как будто на высоте) и пошел медленнее. В глазах все плыло и качалось, обожженные ядом легкие натужно хрипели в груди.

Он шел по траншее вниз в проклятый тот ус, в который с пулеметом ворвался утром. За ним волоклись по траншее раненые. Он не видел их и не знал, сколько их было, но он слышал их заполошный кашель и голоса. Немцы исчезли. Нигде в траншее их не было, и это его удивляло и пугало одновременно.

Несколько раз он натыкался на трупы. Но он не смотрел вниз и не знал, свои это или немцы, а шатаясь, как пьяный, и мало что понимая, все шел по траншее в ту сторону, где утром оставил роты и где был его батальон.

Его остановил радостный вскрик сзади, и он, не поняв, в чем дело, испуганно отпрянул, схватившись за ствол автомата.

— Едрит твои лапти, комбат! — вдруг басом прогудело вверху. Он остолбенело откинулся к стенке, чтобы не упасть, привалился плечом к бровке траншеи, в которую, обрушив сухой пласт земли, ввалился старший лейтенант Кизевич. — Комбат! — почти закричал он и неуклюже облапил его своими длинными руками в меховых варежках. — Живой, значит?

— Я? — не сразу найдясь, переспросил Волошин.

— Ты, кто же! А мы уже вас похоронили. Как увидели, что вас немцы жарят...

— Ты? А рота? — с трудом оправляясь от удушья, слабым голосом проговорил Волошин и закашлялся.

— Вон рота. Слышь, немцев погнала. С тылу зашли, понимаешь? Пуля что: пуля дура — штык молодец! — засмеялся командир роты, и Волошин подумал, какой все-таки молодец у него командир девятой и как он прежде не мог заметить этого. Повернув голову, он вслушивался левым ухом в редеющую автоматно-винтовочную пальбу за высотой и, кажется, впервые поверил в свое спасение.

— Эй, товарищ комроты! — сдавленно крикнул кто-то из бойцов на бруствере. — Вон бежать!

— Кто? — встревоженно выглянул из траншеи Кизевич.

— Немцы бежать!

— А ты что? Бей их! Бей, чего смотришь! Команду тебе надо, что ли?

Боец ударил из карабина, а Кизевич присел в траншее и подрагивающими от возбуждения руками начал вертеть цигарку. Ветер выдувал махорку, старший лейтенант большими пальцами едва удерживал ее на обрывке газеты.

— Однако ты вовремя. Еще бы пару минут и... — превозмогая саднящую боль в груди, проговорил Волошин.

— Хе, вовремя! За это генерала благодари. Нагрянул на КП и попер. Всех! Так шуганул, что откуда и сила взялась. Сам не ожидал. И всего трое раненых.

— Генерал? Вот как...

— Ну.

Пониже опустившись в траншее, Кизевич торопливо прикурил от зажигалки-патрона и, жадно затянувшись, поднялся. За высотой разгоралась перестрелка, и комроты внимательно посмотрел через бруствер. Медленно отходя от пережитого, Волошин не сводил глаз со своего бывшего ротного, и Кизевич вдруг спохватился:

— Да, новость! Гунька-то комдив отстранил. Теперь полком Миненко командует.

— Это хорошо, это хорошо, — рассеянно повторял Волошин, охваченный новым строем мыслей и чувств. Что-то явно поворачивало в лучшую сторону, вот только радости от этого пока что было немного.

— А Маркин живой? — спросил Кизевич и, вдруг заторопившись, вогнал в автомат новый магазин-рожок.

— Маркин живой. Там, в блиндаже, повыше, — кивнул Волошин.

— Ну я — доложить. Комбат все-таки...

— Конечно, конечно, — понимающе согласился Волошин и посторонился, пропуская комроты-девять.

20

Было тихо.

Как и прошлой ночью, в студеной темноте пронизывающе дул ветер и жал крепкий морозец. Огневой бой, неистово громыхавший весь день, постепенно затих, немцев вытеснили из совхоза и каким-то чудом выбили с высоты, верхушка которой черным покатым горбом вырисовывалась совсем рядом на фоне чуть-чуть светлею-

щего закрайка неба. Порой из-за этого горба взмывали огненные рои пуль и, уходя над головой в беззвездное небо, постепенно затухали вдали. Мгновение спустя доносился густой пулеметный рокот МГ, — отойдя за совхоз, немцы огрызались. Роты за высотой молчали.

Волошин хоронил убитых.

Трое легкораненых и два бойца из комендантского взвода сносили их со склонов высоты к отростку траншеи, где гаубичный снаряд вырыл днем вместительную воронку. Воронку наскоро углубили, зачистили стены, и получилась могила. Не очень, правда, аккуратная, зато на хорошем месте, с широким обзором в тыл — на болото и пригорок со вчерашним КП. Немецкие очереди сюда не залетали, и ничто уже не тревожило отрешенный покой убитых.

Волошин помогал бойцам вытаскивать погибших из обрушенной гранатами, залитой кровью траншеи, натревожил руку, и теперь она разболелась вся, от кисти до плеча — наверно, рана все-таки оказалась серьезнее, чем он предположил вначале. Капитан стоял на куче свеженакопанной земли у могилы. Ниже, на разостланных немецких одеялах, в ряд лежали убитые. Крайним отсюда он положил вынесенного из траншеи лейтенанта Круглова в густо окровавленной и уже схваченной морозом суконной гимнастерке. Иссеченный пулями полушубок комсорга Волошин накинул на себя — от потери крови и пережитого его пробирала стужа. Один боец снимал с убитых шинели, вынимал из карманов документы, которые складывал на брошенную у ног плащ-палатку. Волошин молчал, скорбно переживая недавнее; всем у могилы деловито распоряжался Гутман. После смещения Волошина Гутман, чтобы не идти к Маркину, убежал в девятую, где по собственной инициативе возглавил взвод новичков из пополнения. При атаке на высоту «Большую» его ранило осколком гранаты в шею. Маркина с простреленной голенью отправили в тыл.

Молчаливый боец из новеньких подравнивал дно могилы, в которую предстояло опустить убитых.

— Раз, два, три, четыре, пять... Итого восемнадцать, — сосчитал неподвижные тела Гутман и заглянул в воронку. — Маловата, холера, надо расширить. Вот еще волокут...

Волошин с кучи земли сошел вниз — в темноте видно было, как два бойца за руки и за ноги несли про-

висшее до земли тело, которое устало опустили на стерню возле мертвой шеренги — на одеялах места для всех не хватало. Волошин наклонился над мертвенно-успокоенным лицом, на секунду блеснув потускневшим лучом фонарика, да так и застыл, пригнувшись.

— Вера?

— Ну, — тяжело отсапываясь, сказал боец. — Там, на спирали, лежала. Зацепилась — насилу выпутали.

«Вот так оно и бывает, — покаянно подумал он, расслабленно выпрямляясь. — Не хватило настойчивости вовремя отправить из батальона, теперь пожалуйста — закапывай в землю...» Где-то в середине ряда лежал с простреленной головой Самохин, здесь же ляжет и Вера, его фронтовая любовь, невенчанная жена ротного. И с ними остается так и не рожденный третий.

Сглотнув застрявший в горле комок, Волошин отошел в сторонку, рассеянно глядя, как бойцы, немного отдышавшись, опять пошли в темень. Каждый раз он ждал и боялся, что следующим они принесут Иванова. Но Иванова пока что не было. Не было его и в воронке, где его днем оставил Волошин. Возможно, командира батареи все-таки успели отправить в тыл, после ранения его никто здесь не видел.

Вскоре бойцы принесли кого-то еще, сняли подсумки, шинель, вынули из гимнастерки документы, которые передали Волошину. Развернув новенькую, обернутую газеткой красноармейскую книжку, он повел по ней слабым пятном из фонарика и прочитал фамилию: Гайнатулин. «Вот и еще один знакомец, — подумал капитан, — значит, не минула и его немецкая пуля. Немного же пришлось тебе испытать этой войны, дорогой боец, хотя и испытал ты ее полной мерой. За один день пережил столько всего, от трусости до геройства, а как погиб — неизвестно».

— Давайте опускать! — поторапливал Гутман, спрыгнув в могилу. — Подтаскивайте, мы перенимаем.

Втроем с капитаном бойцы стали подтаскивать тела убитых к краю могилы, и придерживая их за ноги, помалу подавать в яму Гутману. Тот вдвоем с еще одним бойцом подхватывал их окровавленные, растерзанные осколками, с перебитыми конечностями тела и оттаскивал к дальнему краю ямы. Первым там положили лейтенанта Круглова, потом тех, кого они повытаскивали только что из траншеи. Среди них Волошин задержал на краю

могилы телефониста Черноручено, бок о бок с которым пережил три трудных месяца под адским огнем, в ровиках, траншеях, землянках и так привык к этому неторопливому, малоразговорчивому бойцу, постоянному смотрителю их камелька на КП. Но вот его больше не будет. Тело Черноручено уже задеревенело в неудобной, застигнутой смертью позе — скрюченные руки с иссеченными в лохмотья рукавами торчали локтями в стороны, и когда капитан распрямил одну, она опять упруго согнулась, занимая первоначальное положение. Лица телефониста было не узнать, так его изуродовало разрывом гранаты, и Волошин тихо сказал:

— Ребята, перевязать бы надо.

У кого-то нашелся перевязочный пакет, и Гутман, стоя в могиле, быстро обмотал бинтом голову и лицо Черноручено. Потом они опустили его на дно.

Они заложили один ряд и начали класть второй. Крайним в этом ряду лег лейтенант Самохин, бойцы несли следующего, и Волошин, вдруг вспомнив, сказал:

— Постойте. Давайте сюда санинструктора!

— А что? Какая разница, — возразил боец в бушлате, которому, видно, не хотелось делать лишнюю ходку.

— Давай, давай... Там она, недалеко.

Они подняли с земли и поднесли к яме худенькое, почти мальчишеское тело Веретенниковой. Гутман аккуратно уложил ее рядом с Самохиным.

— Пусть лежат. Тут уже никого бояться не будут.

«Тут уже никому ничего не страшно, уже отбоялись», — подумал Волошин, горестно глядя в потемок ямы, где Гутман, посвечивая фонариком, аккуратно оправил на Вере гимнастерку, сложил на груди ее всегда залитые йодом руки. Скольких эти руки спасли от смерти, повытаскивали из огня в случайные полевые укрытия, перевязали, досмотрели, вдохнули надежду. Но вот настал и ее черед, только спасти ее не было возможности, оставалось предать земле...

Так, тело за телом, уложили и весь второй ряд. Последним остался Гайнатулин, места для которого в ряду уже не было, и его втиснули в узкую щель в изголовье.

— А что, чем плохо? — сказал Гутман. — Отдельно, зато как командир будет.

Он выбрался из ямы, в которую они принялись друж-

но сдвигать с краев землю, словно торопясь скорее отделаться от убитых. Волошину было неудобно управляться с его перевязанной рукой, и он выпрямился. Погребение заканчивалось, оставалось засыпать могилу и соорудить на ней земляной холмик, в который завтра тыловики вкопают дощатую, с фанерной звездой пирамидку. На этом долг живых перед мертвыми можно будет считать исполненным. Батальон, возможно, продвинется дальше, если будет приказ наступать, получит новое пополнение, из фронтового резерва пришлют офицеров, и еще меньше останется тех, кто пережил этот адский бой и помнил тех, кого они закопали. А потом и совсем никого не останется. Постоянным будет лишь номер полка, номера батальонов, и где-то в дали военного прошлого, как дым, растет их фронтовая судьба.

— Ну во, и порядок! — опираясь на гладкий черенок немецкой лопаты, с выдохом сказал Гутман. — Можно курить. Что не доделано, завтра по светлому доделают.

Заканчивая подчищать землю возле могилы, бойцы вытирали вспотевшие лбы и по одному молча отходили к брустверу возле траншеи. Волошин, закурив сам, передал свой портсигар Гутману, у которого охотно закурили остальные. Вместо спичек у кого-то нашлась «катюша», — побрызгав синеватыми искорками с кремня, боец высек огонь, и все по очереди прикурили от трута — обрывка тесьмы из ремня.

— Думал, сегодня закопают, — прервал молчание Гутман. — Да вот самому закапывать пришлось. Чудо, да и только.

— Как шея? — спросил капитан.

— Болит, холера. Недельки две придется покантоваться в санбате. Давно уже не был, прямо соскучился.

Волошин, не поддержав словоохотливого ординарца, устало сидел на бруствере, притупленно ощущая, что в этот злополучный день что-то для него бесповоротно окончилось. С каким-то большим куском в его жизни отошло его трудное командирское прошлое, и вот-вот должно было начаться новое. Сегодня он побыл в шкуре бойца и хотя и прежде недалеко отходил от него, но все-таки тогда была дистанция. Сегодня же она исчезла, и он полною мерой испытал всю необъятность солдатского лиха и уплатил свою кровавую плату за этот вершок отбитой с боем земли.

Бойцы рядом докуривали, и он чувствовал, что приближалось время подниматься и идти. Только куда? Как и трое из них, он был ранен и формально имел право идти в санроту, откуда его могли на недельку-другую отослать в медсанбат. Соблазнительно было поваляться где-нибудь на соломе в тыловой деревенской школе, выспаться, отдохнуть от извечных командирских забот, атак и обстрелов, от усложняющихся отношений с начальством. Но если бы там можно было забыть обо всем пережитом, вычеркнуть из памяти то, что и там будет грызть, давить, мучить! Увы! Он знал, что через день-два тыловая деревенька станет ему в тягость и он начнет рваться туда, где бой, кровь и смерть — его фронтовая судьба, кроме которой у него ничего больше нет. Другой, на беду или к счастью, ему не дано.

На душе у капитана было скорбно и сумрачно, как только и может быть после похорон. Не зная, на что решиться, он устало сидел, воротником полушубка прикрываясь от ветра. Пока дымилась цигарка, можно было тянуть время и решать, но, докурив, надо было встать и идти. Вниз по склону в санчасть или назад, за высоту, в батальон.

— Стой, тихо! — вдруг вскрикнул Гутман и вскочил с бруствера. Сидевший рядом боец схватил с колен карабин, но карабин не понадобился — Гутман обрадованно тихо вскрикнул, обращаясь к Волошину: — Глядите, глядите! Товарищ капитан, Джим!

Волошин обернулся почти испуганно — в ночных сумерках было видно, как, перемахнув через черную щель траншеи, на бруствер вскочил их сильный, истосковавшийся по своим Джим. Не обращая внимания на посторонних и круто взмыв в воздух, он очутился на груди у Волошина, едва не повалив его наземь и обдав знакомым запахом собачьей шерсти, усталым от долгого бега дыханием, бурной радостью от этой, видать, долгожданной встречи. Заскулив тихонько и радостно, Джим шершавым языком упруго лизнул его по грязной щеке, и Волошин, не отстраняясь, сжал на своих плечах его сильные холодные лапы.

— Джим!.. Ах ты, Джим!.. — с горькой радостью ласкал он обретенную свою утрату, думая о другом. После всего, что случилось, радость обретения Джима оказалась куцей, невсамделишной, заслоненной болью множества утрат.

— Смотрите, смотрите — он же сорвался! — дернул Гутман на собаке ошейник, с которого свисал недлинный конец оборванного поводка. — Вот же скотина!

— Скотина — не то слово, Гутман, — сказал Волошин, усаживая собаку рядом.

— Ну, не скотина, конечно. Собака! Собачка что надо.

Волошин ощупал свои карманы, в которых, однако, кроме песка и нескольких пистолетных патронов, ничего больше не было, и Джим, склонив голову, заинтересованно проследил за этим знакомым ему движением.

— Ах, Джим, Джим...

Быстро, однако, успокоясь от первой радости встречи, Джим привычно застриг ушами, осторожно оглядываясь по сторонам. Бойцы, отступив на два шага, устало поглядывали то на собаку, то в небо над высотой, в котором со стороны совхоза то и дело взмывали вверх трассирующие пулеметные очереди и блуждали недалекие отсветы немецких ракет.

Немецкий пулемет из-за высоты выпустил длинную очередь, часть пуль, ударившись о землю, с пронзительным визгом разлетелась в стороны.

— Так, Гутман! — сказал Волошин, переходя на свой обычный командирский приказной тон. — Ведите раненых.

— А вы что?

— Я остаюсь.

— Остаетесь? — неопределенно переспросил Гутман, молча замерев в двух шагах от Волошина.

— Да. Пока остаюсь.

— Ну что ж. Тогда до свидания.

— До свидания, Гутман, — вставая, сказал капитан. — Спасибо за службу. И за дружбу.

— Да что... Не за что, товарищ капитан. Дай бог еще встретиться, — потоптался на месте Гутман и повернулся к бойцам: — Ну что? Ша-агом марш!

Они быстро пошли вниз по изрытому минами склону, а он, обернувшись к едва черневшему в ночи могильному холмику, постоял так минуту. Это была не первая зарытая им могила, но, как всегда, ее вид вызывал в нем горькое чувство тоски по тем, кто оставался там, и почему-то больше всего — по себе самому. Хотя, если разобраться, в его положении он скорее мог быть объектом зависти, чем сострадания. Тем не менее тяжелый камень пред-

чувствия лежал на его душе. Будто понимая состояние хозяина, Джим проскулил, тихонько и требовательно потерся о его сапоги.

— Что ж, пошли, Джим.

Все было решено — он возвращался к себе в батальон. Неважно, что его ждало там, не имело значения, что будет с ним дальше. Главное — быть с теми, с кем он в муках сроднился на пути к этой траншее, погибал, воскресал и, как умел, делал свое солдатское дело. Что бы ни случилось в его судьбе, ему не стыдно глядеть в глаза подчиненным, совесть его спокойна. И пусть он для них уже не комбат, что это меняет? Он — их товарищ. Тех, кто вышиб немцев из этой траншеи, и тех, кто остался в свежей, только что закопанной им могиле, где очень просто мог бы лежать и он. Но воля случая распорядилась иначе. В полном соответствии со своей слепой властью.

Она не властна только над его человечностью. Над тем, что отличает его от Маркина и, как ни странно, сближает с Джимом. Над тем, что в нем — Человек.

Потому что Человек иногда, несмотря ни на что, становится выше судьбы и, стало быть, выше могущественной силы случая.

Он устало шагал за собакой вдоль разрытого траншейного бруствера, обходя разверзшиеся в темноте воронки, держа путь к недалекой вершине высоты, из-за которой мелькали в небе огненные светляки пуль и доносилось отдаленное рычание немецких «машиненгеверов».

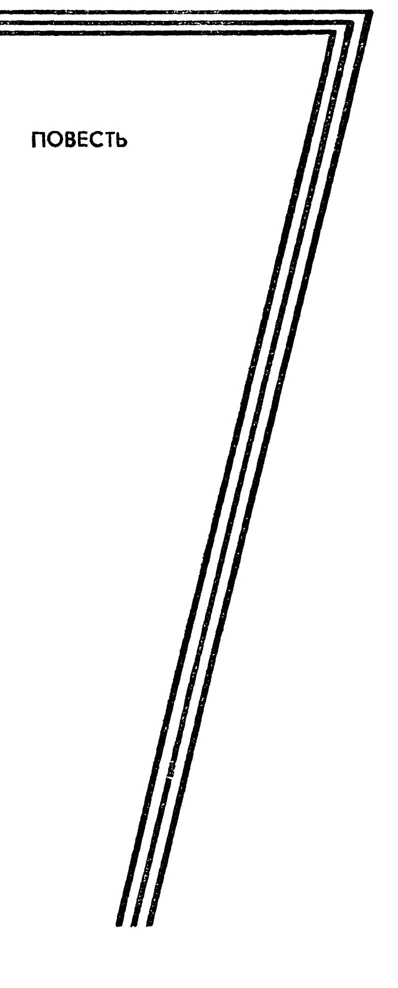
Война продолжалась.

«Командир 294-го стрелкового полка Герой Советского Союза майор Волошин Николай Иванович убит 24 марта 1945 года и похоронен в братской могиле, находящейся в 350 метрах северо-западнее населенного пункта Штайндорф (Восточная Пруссия)».

Справка из архива.

1976 г.

Сотников



повесть

1

Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверное, и летом немного ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, все заровняло снегом, и, если бы не лес — ели вперемежку с ольшаником, который неровно расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор, — было бы трудно и понять, что это дорога. И все же они не ошиблись. Вглядываясь сквозь голый, затянутый сумерками кустарник, Рыбак все больше узнавал еще с осени запомнившиеся ему места. Тогда он и еще четверо из группы Смолякова как-то под вечер тоже пробирались этой дорогой на хутор и тоже с намерением разжиться какими-нибудь продуктами. Вон как раз и знакомый овражек, на краю которого они сидели втроем и курили, дожидаясь, пока двое, ушедшие вперед, подадут сигнал идти всем. Теперь, однако, в овраг не сунуться: с края его свисал наметенный вьюгой карниз, а голые деревца на склоне по самые верхушки утопали в снегу.

Рядом, над вершинами елей, легонько скользила в небе стертая половинка месяца, который почти не светил — лишь слабо поблескивал в холодном мерцании звезд. Но с ним было не так одиноко в ночи — казалось, вроде кто-то живой и добрый ненавязчиво сопровождает их в этом пути. Поодаль в лесу было мрачновато от темной мешанины елей, подлеска, каких-то неясных теней, беспорядочного сплетения стылых ветвей; вблизи же, на чистой белизне снега, дорога просматривалась без труда. То, что она пролегала здесь по нетронутой целине, хотя и затрудняло ходьбу, зато страховало от неожи-

данностей, и Рыбак думал, что вряд ли кто станет подстерегать их в этой глуши. Но все же приходилось быть настороже, особенно после Глинян, возле которых они часа два назад едва не напоролись на немцев. К счастью, на околице деревни повстречался дядька с дровами, он предупредил об опасности, и они повернули в лес, где долго проплутали в зарослях, пока не выбрались на эту дорогу.

Впрочем, случайная стычка в лесу или в поле не очень страшила Рыбака: у них было оружие. Правда, маловато набралось патронов, но тут ничего не поделаешь: те, что остались на Горелом болоте, отдали им что могли из своих тоже более чем скудных запасов. Теперь, кроме пяти патронов в карабине, у Рыбака позвякивали еще три обоймы в карманах полушубка, столько же было и у Сотникова. Жаль, не прихватили гранат, но, может, гранаты еще и не понадобятся, а к утру оба они будут в лагере. По крайней мере, должны быть. Правда, Рыбак чувствовал, что после неудачи в Глинянах они немного запаздывают, надо было поторапливаться, но подводил напарник.

Все время, пока они шли лесом, Рыбак слышал за спиной его глуховатый простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих, и Рыбак, сбавив шаг, оглянулся — изрядно отстав, Сотников едва тащился в ночном сумраке. Подавляя нетерпение, Рыбак минуту глядел, как тот устало гребется по снегу в своих неуклюжих, стоптанных бурках, как-то незнакомо опустив голову в глубоко надвинутой на уши красноармейской пилотке. Еще издали в морозной ночной тишине послышалось его частое, затрудненное дыхание, с которым Сотников, даже остановившись, все еще не мог справиться.

— Ну как? Терпимо?

— А! — неопределенно выдавил тот и поправил на плече винтовку. — Далеко еще?

Прежде чем ответить, Рыбак помедлил, испытующе вглядываясь в тощую, туго подпоясанную фигуру напарника. Он уже знал, что тот не признается, хотя и занемог, будет бодриться: мол, обойдется, — чтобы избежать чужого участия, что ли? Уж чего другого, а самолюбия и упрямства у этого Сотникова хватило бы на троих. Он и на задание попал отчасти из-за своего самолюбия — больной, а не захотел сказать об этом командиру, когда тот

у костра подбирал Рыбаку напарника. Сначала были вызваны двое — Вдовец и Глущенко, но Вдовец только что разобрал и принялся чистить свой пулемет, а Глущенко сослался на мокрые ноги: ходил за водой и по колено провалился в трясину. Тогда командир назвал Сотникова, и тот молча поднялся. Когда они уже были в пути и Сотникова начал донимать кашель, Рыбак спросил, почему он смолчал, тогда как двое других отказались, на что Сотников ответил: «Потому и не отказался, что другие отказались». Рыбаку это было не совсем понятно, но погодя он подумал, что, в общем, беспокоиться не о чем: человек на ногах, стоит ли обращать внимание на какой-то там кашель, от простуды на войне не умирают. Дойдет до жилья, обогреется, поест горячей картошки, и всю хворь как рукой снимет.

— Ничего, теперь уже близко, — ободряюще сказал Рыбак и повернулся, чтобы продолжить путь.

Но не успел сделать и шага, как Сотников сзади опять поперхнулся и зашелся в долгом нутряном кашле. Стараясь сдержаться, согнулся, зажал рукавом рот, но кашель оттого только усилился.

— А ты снега! Снега возьми, он перебивает! — подсказал Рыбак.

Борясь с приступом раздирающего грудь кашля, Сотников зачерпнул пригоршней снега, пососал, и кашель в самом деле понемногу унялся.

— Черт! Привяжется, хоть разорвись!

Рыбак, впервые озабоченно нахмурился, но промолчал, и они пошли дальше.

Из оврага на дорогу выбежала ровная цепочка следа, приглядевшись к которому Рыбак понял, что недавно здесь проходил волк (тоже, наверное, тянет к человеческому жилью — несладко на таком морозе в лесу). Оба они взяли несколько в сторону и дальше уже не сходили с этого следа, который в притуманенной серости ночи не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше снега: волк это определял безошибочно. Впрочем их путь подходил к концу, вот-вот должен был показаться хутор, и это настраивало Рыбака на новый, более радостный лад.

— Любка там, вот огонь девка! — негромко сказал он, не оборачиваясь.

— Что? — не расслышал Сотников.

— Девка, говорю, на хуторе. Увидишь, всю хворь забудешь.

— У тебя еще девки на уме?

С заметным усилием волочась сзади, Сотников уронил голову и еще больше ссутулился. По-видимому, все его внимание теперь было сосредоточено лишь на том, чтобы не сбиться с шага, не потерять посильный ему темп.

— А что ж! Поесть бы только...

Но и упоминание о еде никак не подействовало на Сотникова, который опять начал отставать, и Рыбак, замедлив шаг, оглянулся.

— Знаешь, вчера вздремнул на болоте — хлеб приснился. Теплая буханка за пазухой. Проснулся, а это от костра пригрело. Такая досада...

— Не диво, приснится, — глухо согласился Сотников. — Неделю на пареной ржи...

— Да уж и парёнка кончилась. Вчера Гронский остатки роздал, — сказал Рыбак и замолчал, стараясь не заводить разговора о том, что в этот раз действительно занимало его.

К тому же становилось не до разговоров: кончался лес, дорога выходила в поле. Далее по одну сторону пути тянулся мелкий кустарник, заросли лозняка по болоту, дорога от которого круто сворачивала на пригорок. Рыбак ждал, что из-за ольшаника вот-вот покажется дырявая крыша пуньки, а там, за изгородью, будет и дом с сараями и задранным журавлем над колодцем. Если журавль торчит концом вверх — значит, все в порядке, можно заходить; если же зацеплен крюком в колодезном срубе, то поворачивай обратно — в доме чужие, Так, по крайней мере, когда-то условились с дядькой Романом. Правда, то было давно, с осени они сюда не заглядывали — кружили в других местах, по ту сторону шоссе, пока голод и жандармы опять не загнали их туда, откуда месяц назад выгнали.

Скорым шагом Рыбак дошел до изгиба дороги и свернул на пригорок. Волчий след на снегу также поворачивал в сторону хутора. Очевидно, чувствуя близость жилья, волк осторожно и нешироко ступал обочиной, тесно прижимаясь к кустарнику. Впрочем, Рыбак уже перестал следить за дорогой — все его внимание теперь было устремлено вперед, туда, где кончался кустарник.

Наконец он торопливо взобрался по склону на верх пригорка и тут же подумал, что, по-видимому, ошибся — наверно, хуторские постройки были несколько дальше. Так нередко случается на малознакомой дороге, что некоторые участки ее исчезают из памяти, и тогда весь путь сдается короче, чем на самом деле. Рыбак еще ускорил свой шаг, но опять начал отставать Сотников. Впрочем, на Сотникова Рыбак уже перестал обращать внимание — неожиданно и как будто без всякой причины им завладела тревога.

Пуньки все еще не было в ночной серости, как не было впереди и других построек, зато несколько порывов ветра оттуда донесли до путников горьковато-едкий смрад гари. Рыбак сначала подумал, что это ему показалось, что несет откуда-то из леса. Он прошел еще сотню шагов, силясь увидеть сквозь заросли привычно оснеженные крыши усадьбы. Однако его ожидание не сбылось — хутора не было. Зато еще потянуло гарью — не свежей, с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и пепла. Поняв, что не ошибается, Рыбак вполголоса выругался и почти бегом припустил серединой дороги, пока не наткнулся на изгородь.

Изгородь была на месте — несколько пар перевязанных лозой кольев с жердями криво торчали в снегу. Тут, за полоской картофлянища, и стояла когда-то та самая пунька, на месте которой сейчас возвышался белый снеговой холмик. Местами там выпирало, бугрилось что-то темное — недогоревшие головешки, что ли? Немного в отдалении, у молодой яблоневой посадки, где были постройки, тоже громоздились занесенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посередине. На местах же сараев — не понять было — наверно, не осталось и головешек.

Минуту Рыбак стоял возле изгороди все с тем же неумолкавшим ругательством в душе, не сразу сообразив, что́ здесь случилось. Перед его глазами возникла картина недавнего человеческого жилья с немудреным крестьянским уютом: хатой, сенями, большой закопченной печью, возле которой хлопотала бабка Меланья — пекла драники. Плотно закусив с дороги, они сидели тогда без сапог на лежанке и смешили хохотунью Любку, угощавшую их лесными орехами. Теперь перед ним было пожарище.

— Сволочи!

Преодолев минутное оцепенение, Рыбак перешагнул жердь и подошел к печи, укрытой шапкой свежего снега. Совершенно нелепым выглядел на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было, наверно, обвалилась во время пожара и сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилась под снегом.

Сзади тем временем притащился Сотников, который молча постоял немного у изгороди и по чистому снегу подворья отошел к колодезному срубу. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру. Рыбак в сердцах пнул сапогом пустое дырявое ведро, обошел разломанный, без колес, ящик полузаметенной снегом телеги. Больше тут нечем было поживиться — то, что не сожрал огонь, наверное, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и никого на ней уже не было. Даже не сохранилось человеческих следов, лишь волчьи петляли за изгородью — наверно, волк тоже имел какие-то свои виды на этот злосчастный хутор.

— Подрубали, называется! — бросил Рыбак, уныло возвращаясь к колодцу.

— Выдал кто-то, — сипло отозвался Сотников.

Боком прислонившись к срубу, он заметно поеживался от стужи, и, когда переставал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармони.

Рыбак, запустив в карман руку, собрал там между патронов горсть пареной ржи — остаток его сегодняшней нормы.

— Хочешь?

Без особой готовности Сотников протянул руку, в которую Рыбак отсыпал из своей горсти. Оба принялись молча жевать мягкие холодные зерна.

Пожалуй, им начинало всерьез не везти, и Рыбак подумал, что это невезение перестает быть случайностью: кажется, немцы зажимали отряд как следует. И не так важно было, что вдвоем они остались голодными, — больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отощали на одной картошке, без хлеба, к тому же четверо было ранено, двоих несли с собой на носил-

ках. А тут полицаи и жандармерия обложили так, что, пожалуй, нигде не высунуться. Пока пробирались лесом, Рыбак думал, что, может, эта сторона болота еще не закрыта и удастся пройти в деревню, на худой конец тут был хутор. Но вот надежда на хутор рухнула, а дальше, в трех километрах, было местечко, в нем полицейский гарнизон, а вокруг поля и безлесье — туда путь им заказан.

Дожевывая рожь, Рыбак озабоченно повернулся к Сотникову.

— Ну ты как? Если плох, топай назад. А я, может, куда в деревню подскочу.

— Один?

— Один, а что? Не возвращаться же с пустыми руками.

Сотников зябко подрагивал от холода: на ветру начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели.

— Что ты шапки какой не достал? Разве это согреет? — с упреком сказал Рыбак.

— Шапки же в лесу не растут.

— Зато в деревне у каждого мужика шапка.

Сотников ответил не сразу.

— Что же, с мужика снимать?

— Не обязательно снимать. Можно и еще как.

— Ладно, давай потопали, — оборвал разговор Сотников.

Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле, Сотников враз ссутулился, глубже втянул в воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться от ветра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце и, стряхнув его, повернулся к напарнику.

— На, обмотай шею. Все теплей будет.

— Да ладно...

— На, на! А то, гляди, совсем окочуришься.

Сотников нехотя остановился, зажал между коленей винтовку и скрюченными, негнущимися пальцами кое-как закутал полотенцем шею.

— Ну во! — удовлетворенно сказал Рыбак. — А теперь давай рванем в Гузаки. Тут пара километров, не больше. Что-нибудь расстараемся, не может быть...

2

В поле было еще холоднее, чем в лесу, навстречу дул упругий, не сильный, но обжигающе-морозный ветер, от него до боли заходились окоченевшие без перчаток руки: как Сотников ни прятал их то в карманы, то в рукава, то за пазуху — все равно мерзли. Тут недолго было обморозить лицо и особенно уши, которые Сотников, морщась от боли, то и дело тер суконным рукавом шинели. За ноги он не опасался: ноги в ходьбе грелись. Правда, на правой отнялись, потеряв чувствительность, два помороженных пальца, но они отнимались всегда на морозе и обычно начинали болеть в тепле. Но на холоде мучительно ныло все его больное простуженное тело, которое сегодня вдобавок во всему начало еще и лихорадить.

Им еще повезло — снег в поле был достаточно тверд или не слишком глубок, они почти всюду держались поверху, лишь местами проваливаясь то одной, то другой ногой, проламывая затвердевший от мороза наст. Теперь шли вдоль гривки бурьяна по склону вниз. В поле было немного светлее, чем в лесу, серый призрачный сумрак вокруг раздвинулся шире, внизу на снегу мельтешили от ветра сухие стебли бурьяна. Спустя четверть часа впереди затемнелся какой-то кустарник — спутанные заросли лозняка или ольшаника над речкой, и они не спеша пошли к этим зарослям.

Сотников чувствовал себя все хуже: кружилась голова, временами в сознании что-то как будто проваливалось, исчезало из памяти, тогда на короткое время он даже забывал, где находится и кто с ним. Наверно, в самом деле надо было воротиться или вовсе не трогаться из леса в таком состоянии, но он просто не допускал мысли, что может всерьез заболеть. Не хватало еще болеть на войне. Никто из них не болел так, чтобы освобождали от заданий, да еще таких пустяковых, как это. Кашляли, простуживались многие, но простуда не считалась в лесу болезнью. И когда там, у костра на болоте, командир вызвал его по фамилии, Сотников не подумал о болезни. А узнав, что предстоит сходить в село за продуктами, даже обрадовался, потому что все эти дни был голоден, к тому же привлекала возможность какой-нибудь час погреться в домашнем тепле.

И вот погрелся.

В лесу все-таки было легче, а тут, на ветру, он по-

чувствовал себя совсем плохо и даже испугался, что может упасть: так кружилась голова, и от слабости вело из стороны в сторону.

— Ну, как ты?

Остановившись, Рыбак обернулся, подождал, и от этого его простого вопроса, на который не обязательно было отвечать, у Сотникова потеплело в душе. Больше всего он боялся из напарника превратиться в обузу, хотя и знал, что если случится наихудшее, выход для себя найдет сам, никого не обременяя. Даже и Рыбака, на которого как будто можно было положиться. После недавнего перехода шоссе, когда им двоим выпало прикрыть отход остатков разбитого отряда, они как-то сблизились между собой и все последние дни держались вместе. Наверно, потому вместе попали и на это задание.

— Вот лощину протопаем, а там за бугром и деревня. Недалеко уже, — подбадривал Рыбак, замедляя шаг, чтобы идти рядом.

Сотников догнал его, и они вместе пошли по склону. Снег тут стал глубже, чем был на пригорке, ноги чаще проламывали тонковатый наст; месяц теперь блестел за их спинами. Ветер сильными порывами раздольно гулял в снежном поле, короткие полы шинели хлестали по озябшим коленям Сотникова. Рыбак вдруг обернулся к товарищу:

— Все спросить хочу: в армии кем был? Наверно, не рядовым, а?

— Комбатом.

— В пехоте?

— В артиллерии.

— Ну тогда ясное дело: мало ходил. А я вот в пехоте всю дорогу топаю.

— И далеко протопал? — спросил Сотников, вспоминая свой путь на восток.

Но Рыбак это понял иначе.

— Да вот как видишь. От старшины до рядового дошел. А ты кадровый?

— Не совсем. До тридцать девятого в школе работал.

— Что, институт окончил?

— Учительский. Двухгодичный.

— А я, знаешь, пять классов всего. И то...

Рыбак не договорил — вдруг провалился обеими ногами, негромко выругался и взял несколько в сторону.

Тут уже начинался кустарник, заросли лозы, камыша, снег стал рыхлее и почти не держал наверху; под ногами, кажется, было болото. Сотников в нерешительности остановился, выбирая, куда ступить.

— За мной, за мной держи. По следам, так легче, — издали сказал Рыбак, направляясь в кустарник.

Они долго пробирались по широкой пойменной лощине, пока вылезли из зарослей мерзлого тростника, отчаянно шелестевшего вокруг, перешли засыпанную снегом речушку и снова пошли лугом, разгребая ногами рыхлый, глубокий снег. Сотников совершенно изнемог, тяжело дышал и едва дождался, когда кончится эта болотистая низина и начнется поле. Наконец кустарник остался позади, перед ними полого поднимался склон, снега здесь стало меньше. Но идти вверх оказалось не легче. Сотникова все больше одолевала усталость, появилось какое-то странное безразличие ко всему на свете. В ушах тягуче, со звоном гудело — от ветра или, может, от усталости, и он огромным усилием воли принуждал себя двигаться, чтобы не упасть.

На середине длинного склона стало и вовсе плохо: подкашивались ноги. Хорошо еще, что снегу тут было мало, а местами его и вовсе посдувало ветром, и тогда под бурками проступали пыльные глинистые плешины. Рыбак вырвался далеко вперед — наверно, старался достичь вершины холма, чтобы оглядеться, — кажется, уже скоро должна была появиться деревня. Но еще не дойдя до вершины, он остановился. Сотникову показалось издали, что он там что-то увидел, но отсюда ему плохо было видно, что́ именно. Снеговой холм полого поднимался к звездному небу и где-то растворялся там, исчезая в тусклом мареве ночи. Позади же широко и просторно раскинулась серая, притуманенная равнина с прерывистой полосой кустарника, слабыми очертаниями каких-то пятен, расплывчатых теней, а еще дальше, почти не просматриваясь отсюда, затаился в темени покинутый ими лес. Он был далеко, тот лес, а вокруг стыло на морозе ночное поле — если что случится, помощи ждать неоткуда.

Рыбак все еще стоял, отвернувшись от ветра, когда Сотников кое-как приволокся к нему. Он уже не придерживался его следа — ступал куда попало, лишь бы не упасть. И, подойдя, неожиданно увидел: под ногами была дорога.

Они ничего не сказали друг другу, вслушались, вгляделись и медленно пошли вверх — один по правой, а другой по левой колеям дороги. Дорога, наверно, вела в деревню — значит, может, еще удастся дойти туда, не свалиться в пути. Вокруг простирался все тот же призрачный ночной простор — серое поле, снег, сумрак со множеством неуловимых теневых переходов, пятен. И нигде не было видно ни огонька, ни движения — смолкла, затихла, притаилась земля.

— Стой!

Сотников шагнул и замер, коротко скрипнул и затих под его бурками снег. Рядом неподвижно застыл Рыбак. Откуда-то с той стороны, куда уходила дорога, невнятно донесся голос, обрывок какого-то окрика вырвался в морозную ночь и пропал. Они тревожно вгляделись в ночь — недалеко впереди, в ложбинке, похоже, была деревня: неровная полоса чего-то громоздкого мягко серела в сумраке. Но ничего определенного там нельзя было разобрать.

Замерев на дороге, оба всматривались, не будучи в состоянии понять, действительно ли это был крик или, может, им показалось. Вокруг с присвистом шуршал в бурьяне ветер и лежала немая морозная ночь. И вдруг снова, гораздо уже явственней, чем прежде, донесся человеческий крик — команда или, может, ругательство, а затем, разом уничтожая все их сомнения, вдали бабахнул и эхом прокатился по полю выстрел.

Рыбак, что-то поняв, с облегчением выдохнул, а Сотников, наверно, оттого, что долго сдерживал дыхание, вдруг закашлялся.

Минуту его неотвязно бил кашель, как он ни старался унять его, все прислушиваясь, не донесутся ли новые звуки. Правда, и без того уже было понятно, чей это выстрел: кто же еще, кроме немцев или их прислужников, мог в такую пору стрелять в деревне? Значит, и в том направлении путь им закрыт, надо поворачивать обратно.

— Шуруют, сволочи! Для великой Германии.

Выстрелов, однако, больше не было, раза два ветер донес что-то похожее на голос — разговор или окрик. Выждав, Рыбак сквозь зубы зло сплюнул на снег.

Они еще постояли недолго, прислушиваясь к ветреной тиши, обеспокоенные вопросом: что делать дальше, куда податься? Будто еще на что-то надеясь, Рыбак продол-

жал вглядываться в ту сторону, где во мраке исчезала дорога; Сотников же, отвернувшись от ветра, начинал мелко, простудно дрожать.

— Значит, туда нечего и соваться, — решил Рыбак, озадаченно переминаясь на скрипучем снегу. — Может, давай ложбинкой пройдем? Тут где-то, помнится, еще должна быть деревушка.

— Давай, — односложно согласился Сотников и зябко передернул плечами.

Ему было все равно куда идти, лишь бы не стоять на этом пронизывающем ветру. Чувства его дремотно тупели, по-прежнему кружилась голова. Все его усилия теперь уходили только на то, чтобы не споткнуться, не упасть, ибо тогда он, наверное, уже не поднялся бы.

Они свернули с дороги и по снежной целине направились туда, где широким пятном темнел какой-то кустарник. Снег на склоне сначала был мелкий, по щиколотку, но постепенно становился все глубже, особенно в низинке. К счастью, низинка оказалась неширокой, они скоро перешли ее и повернули вдоль зарослей мелколесья, близко, однако, не подходя к ним. Сотников плохо ориентировался на этой местности и во всем полагался на Рыбака, который облазил здешние места еще осенью, по черной тропе, когда их небольшой отряд только еще собирал силы на Горелом болоте. Начав с небольшой диверсии на дороге, этот отряд затем перешел к делам поважнее — взорвал мост на Ислянке, сжег льнозавод в местечке, но после убийства какого-то крупного немецкого чиновника оккупанты всполошились. В конце ноября три роты жандармов, оцепив Горелое болото, начали облаву, из которой они едва вырвались тогда в соседний Борковский лес.

Сотников, однако, в то время был далеко отсюда и едва ли помышлял о партизанах. Он делал третью попытку пробиться через линию фронта и не допускал мысли, что может оказаться вне армии. Двенадцать суток пробиралась из-под Слонима на восток небольшая группа артиллеристов — тех, кто уцелел из всего когда-то мощного корпусного артиллерийского полка. Но на Березине во время переправы почти вся она была расстреляна из засады, а кто уцелел или не пошел ко дну, очутился в плену у немцев. В числе этих последних, на счастье или на беду, оказался и Сотников.

Да, это были отличные ребята, его артиллеристы, раз-

ведчики, огневики и связисты. Круглый год он получал с ними только пятерки и благодарности от начальства за боевую подготовку, мастерство и меткую стрельбу на полковых, армейских и показных учениях. Думалось, разразится война, и им будут обеспечены блестящая победа, ордена, газетная слава и все прочее, к чему они были вполне подготовлены и чего, безусловно, заслуживали. По крайней мере, больше других.

Но на войне все получилось иначе. Случилось так, что в распоряжении батареи осталось несколько считанных секунд, и наибольший результат дали те, кто скорее сориентировался, проворнее успел зарядить, кто просто оказался ловчее и не растерялся в момент, когда у него самого задрожали руки.

Рыбак уверенно шагал впереди вдоль опушки леска, Сотников опять приотстал, его суконные растоптанные бурки, недавно доставшиеся ему от убитого партизана из местных, ровно шорхали по снежной замяти. Их путь лежал вниз, ветер заходил сбоку, месяц тускло и ровно блестел с небосклона. По-прежнему было морозно и ветрено, от стужи у Сотникова все сжалось, одеревенело внутри. Казалось, никогда в жизни он не испытывал такого собачьего холода, как в эту февральскую ночь. От усталости и однообразного шуршания ветра в бурьяне голова его полнилась гулом и путаницей невнятных фраз, разговоров. В тусклой сумятице мыслей порой явственно проглядывало что-то из его прошлого...

Наихудшее из всего состояло для Сотникова в том, что это был его первый и его последний фронтовой бой, к которому комбат готовился в течение всей своей службы в армии. К сожалению, этот злосчастный бой еще раз засвидетельствовал тот непреложный, но нередко игнорируемый факт, что в усвоении опыта предыдущей войны не только сила, но, наверное, и слабость армии. Наверно, характер каждой следующей войны слагается не столько из типических закономерностей предыдущей, сколько из незамеченных или игнорированных ее исключений и неожиданностей, что и формирует как ее победы, так и ее поражения. Жаль, что Сотников понял это слишком для себя поздно, когда уроки его короткой фронтовой науки были для него уже бесполезны, а вся его батарейная мощь превратилась в груду покореженного металла на булыжном шоссе под Слонимом.

Все это представлялось теперь как страшный, кош-

марный сон, и хотя и потом на его долю выпало немало чудовищных испытаний, тот первый бой никогда не изгладится в его памяти.

...Четвертый день грохочущая колонна полка тащилась по лесным и проселочным дорогам на запад, потом свернула на юг, но не проехала и десятка километров, как ее повернули на север. Трактора своим неумолчным ревом оглушали окрестность, от перегрева кипела вода в радиаторах, пот и пыль разъедали лица бойцов. С раннего утра до темноты над ними висела немецкая авиация, «юнкерсы» непрерывно осыпали колонну бомбами. Все на дороге было завалено песком и землей, смрадно горели тягачи, уцелевшие безостановочно объезжали их: колонна не прекращала движения. Бойцы со станин беспорядочно палили вверх из винтовок, но пользы от такой их стрельбы было мало. Они даже не могли заставить самолеты подняться выше, и те носились над дорогой, едва не задевая верхушки посадок.

Сотников сидел на головном в батарее тракторе и как избавления, как самого большого счастья жаждал команды съехать с этой проклятой дороги и развернуться. Уж он бы тогда встретил немцев. Он бы обрушил на их головы такое, что им и не снилось. Но не было даже команды остановиться, полк все двигался и двигался, и каждые два часа над ним разгружались обнаглевшие «юнкерсы» и «хейнкели», перед которыми вся эта огневая мощь была беззащитной.

Так наступила последняя ночь их блуждания по западнобелорусским дорогам.

Полк был уже далеко не тот, что вначале: несколько расчетов погибло, в его батарее почти прямым попаданием бомбы разворотило на дороге орудие. Правда, три еще оставались исправными, разве что со вмятинами на щитах, с изодранной гусматикой колес и множеством осколочных шрамов на стволах и станинах. У второго орудия потек пробитый накатник. Четверых погибших батарейцы везли в прицепе на снарядных ящиках, семерых раненых отправили в тыл. Впрочем, это были еще не самые большие потери — другим батареям досталось хуже. Полковая колонна сократилась едва не наполовину, несколько орудий осталось на дороге: поврежденные трактора не могли их тянуть, а запасных не было. Теперь почти всю ночь двигались на восток, и в этом был плохой признак: ПНШ, закуривший из его пачки, на-

мекнул на окружение, оно и в самом деле было похоже на то. Бойцы не спали все четверо суток, некоторые, сидя на станинах, немного вздремнули под утро — ночь была самой спокойной порой, если бы не эта неопределенность в обстановке, черной плахой нависшая над полком. Перед рассветом сделали короткую остановку в какой-то деревне, навстречу шли пехотинцы; невдалеке, видно было в ночи, зажженное авиацией, что-то горело ярким, на полнеба, пламенем — говорили, станция. Никто им не объяснил ничего, видно, командиры знали не больше бойцов, но людям как-то само собой передалось, что совсем близко немцы. Вскоре командир полка майор Парахневич повернул колонну на боковую, обсаженную вербами дорогу. Поехали куда-то на юг. Ночью было спокойнее без авиации, зато они были слепы и глухи: за ревом тракторов ничего невозможно было услышать, а в летней ночной темноте немного увидишь. Перед самым рассветом Сотников не выдержал и только задремал на сиденье, как громовой взрыв на обочине вырвал его из сна. Комбата обдало землей и горячей волной взрыва, он тут же вскочил: «Комсомолец» сильно осел на правую гусеницу. И тут началось...

Как раз светало, за вербами ярко синел край неба и серело овсяное поле, а откуда-то спереди, от головы колонны, их начали расстреливать танки. Не успел Сотников соскочить с трактора, как рядом запылал тягач третьей батареи, провалилась в воронку гаубица. Оглушенный близкими ударами взрывов, он скомандовал батарее развернуться вправо и влево, но не так просто было вывернуться с громоздкими орудиями на узкой дороге. Второй расчет бросился через канаву в овес и тут же получил два снаряда в трактор, гаубица опрокинулась, задрав вверх колесо. Утро светилось ярким пламенем горящих тракторов, посадки застлало солярным дымом — танки расстреливали полк на дороге.

Это было наихудшее, что могло случиться, — они погибали, а вся их огневая мощь оставалась почти неиспользованной. Поняв, что им отведено несколько скупых секунд, Сотников с расчетом кое-как развернул прямо на дороге последнюю уцелевшую гаубицу и, не укрепляя станин, едва успев содрать чехол со ствола, выстрелил тяжелым снарядом. Сначала нельзя было и разглядеть, где те танки: головные в колонне машины горели, уцелевшие бойцы с них бежали назад, дым и покоре-

женные трактора впереди мешали прицелиться. Но полминуты спустя между вербами он все же увидел первый немецкий танк, который медленно полз за канавой и, свернув орудийный ствол, гахал и гахал выстрелами наискосок по колонне. Сотников оттолкнул наводчика (орудие было уже заряжено), дрожащими руками кое-как довернул толстенный гаубичный ствол и наконец поймал это еще тусклое в утренней дымке страшилище на перекрестке панорамы.

Выстрел его грохнул подобно удару грома, гаубица сильно сдала назад, больно ударила панорамой в скулу; внизу, из-под незакрепленных сошников, брызнуло искрами от камней, одна станина глубоко врезалась сошником в бровку канавы, вторая осталась на весу на дороге. Сквозь пыль, поднятую выстрелом, он еще не успел ничего разглядеть, но услышал, как радостно закричал наводчик, и понял, что попал. Он тут же опять припал к панораме — едва не закрывая собой все ее поле зрения, за дорогой двигался второй танк, комбат вперил гаубичный ствол в его серое лбище — так близко тот казался в оптике — и крикнул: «Огонь!» Замковый отреагировал вовремя, выстрел опять оглушил его, но в этот раз он успел уклониться от панорамы и за пылью перед стволом увидел, как то, что за секунду до выстрела было танком, хрястнуло, будто яичная скорлупа, и от мощного внутреннего взрыва частями развалилось в стороны. Неповоротливая, тяжелая, предназначенная для стрельбы из далекого тыла гаубица своим мощным снарядом разнесла танк вдребезги.

Неожиданно их охватил азарт боевой удачи. Уже не обращая внимания на потери, на убитых и раненых, что, истекая кровью, корчились на пыльном булыжнике, на огонь, пожиравший их технику, и град пуль оттуда, из танков, несколько уцелевших расчетов вступили в неравный бой с танками. Тем временем рассвело, уже стало видать, куда целиться. Несколько пожаров дымно пылали за дорогой: немецкие машины горели.

Сотников выпустил шесть тяжелых снарядов и разнес вдребезги еще два танка. Но какое-то подсознательное, обостренное опасностью чувство подсказало ему, что удача кончается, что судьбой или случаем отпущенные секунды использованы им полностью, что следующий, второй или третий снаряд из танка будет его. Впереди живых, наверное, уже не осталось, последним притащил-

ся оттуда и упал, обливая кровью станину, командир полка: рядом в канаве бахали из карабинов несколько бойцов — метили в танковые щели. Возле ящиков уткнулся головой в землю заряжающий Коготков, сзади никого больше не было. Тогда Сотников на четвереньках сам бросился к снарядному ящику. Однако он не успел доползти до него, как сзади оглушающе грохнуло, тугая волна взрыва распластала его на булыжнике, и черное удушливое покрывало на несколько долгих секунд закрыло собой дорогу. Задохнувшись от земли и пыли, он краешком сознания все же почувствовал, что жив, и тут же под лавой земляной трухи, которая низринулась сверху, рванулся к орудию. Но гаубица уже немощно скособочилась на краю воронки, ствол взрывом свернуло в сторону, смрадно горела резина колесного обода. И тогда он понял, что это конец. Он плохо еще соображал, сам уцелел или нет, но чувствовал, что оглох: взрывы вокруг ушли за непроницаемую толстую стену, другие звуки все разом исчезли, в голове стоял протяжный болезненный звон. Из носа показалась кровь, он грязно размазал ее по лицу и сполз с дороги в канаву. Напротив, за вербами, тяжело переваливаясь на гусеницах, шел, наверно, тот самый, подбивший его танк. Свежий утренний ветер стлал черные космы дыма от пылающего трактора, жирно воняло087 соляркой и тротилом от взрывов, дымно тлела гимнастерка на плече уже неживого командира полка.

Потрясенный неожиданностью разгрома, Сотников минуту осоловело смотрел на ползущие за дорогой немецкие танки, их номера и черно-белые, выбитые по трафарету кресты. И тогда кто-то дернул его за рукав, он повернул голову — рядом появилось запачканное сажей и кровью лицо старшины батареи, который что-то кричал ему и показывал рукой в тыл, куда по канаве бежали бойцы.

Они вскочили и сквозь вонючий дым над дорогой, пригнувшись, также побежали туда...

3

Рыбак обошел мысок мелколесья и остановился. Впереди, на склоне пригорка, в едва серевшем пространстве ночи, темнели крайние постройки деревни. Как она выглядела отсюда, Рыбак уже не помнил: когда-то, в начале осени, они проходили стороной по дороге, но в дерев-

ню не заходили. Впрочем, сейчас это его мало заботило — важнее было определить, нет ли там немцев или полицаев, чтобы ненароком не угодить в западню.

Он недолго постоял возле кустарника, прислушиваясь, но ничего подозрительного в деревне вроде не было слышно. Донеслось несколько разрозненных, приглушенных ночью звуков, лениво протявкала собака. По-прежнему упруго и настойчиво дул ветер, тихо посвистывая рядом в мерзлых ветвях, пахнуло дымом — где-то, наверно, топили. Тем временем сзади подошел Сотников и, остановившись, тоже всмотрелся в серые сумерки.

— Ну что?

— Вроде тихо, — негромко сказал Рыбак. — Пошли помалу.

Было бы удобнее и короче свернуть к крайней в этой деревне избушке, что темнела невдалеке, по самые окна увязнув в сугробе, — там начиналась улица. Но возле крайней всегда больший риск напороться на неприятность: в конце улицы обычно заканчивают свой маршрут караульщики и патрули, там же устраивает засады полиция. И он свернул по снегу в сторону. Вдоль проволочной в две нитки ограды они перешли лощинку, направляясь к недалеким постройкам, тесно сгрудившимся в конце огородов на отшибе. Это было гумно. Там еще постояли минуту за растрескавшимся углом пуньки или тока с продранной крышей, прислушались, и Рыбак с оглядкой вышел на пригумье. Отсюда было рукой подать до низенькой, сиротливо покосившейся избушки при одном сарайчике, куда вела утоптанная в снегу тропинка. Рыбак сделал по ней два шага, но тут же соступил в снег — на тропинке пронзительно заскрипело под сапогами. За ним принял в сторону Сотников, и они пошли так, по обе стороны стежки к избе.

Они еще не достигли сарайчика, как до их слуха явственно донесся стук — во дворе кто-то рубил дрова, рубил вроде бы с неохотой, вполсилы. Рыбак обрадовался: если рубят дрова — значит, в деревне, наверно, все тихо, чужих нет. К тому же не надо стучать в окно, проситься впустить — обо всем можно будет расспросить дровосека. Правда, он тут же подумал, что неосторожностью можно спугнуть человека — завидев чужих, запрется, тогда попробуй его вытащить из избы. И он как можно тише обошел сарайчик, переступил через концы брошенных на снегу жердей и вышел из-за угла.

В темновато-серых сумерках двора у ограды кто-то возился с поленом. Он не сразу понял, что это женщина, которая, заслышав сзади шаги, вдруг испуганно вскрикнула.

— Тихо, мамаша! — негромко сказал Рыбак.

Растерявшись, она замерла перед ним — низенькая пожилая тетка в грубом, толсто повязанном на голове платке — и не могла вымолвить слова. Рыбак из предосторожности взглянул на ведущую в сени дверь, та была закрыта, больше во дворе вроде никого не было. Впрочем, он не очень и опасался — он уже знал, что в этой деревне спокойно. Полицаи, пожалуй, засели за самогон, а немцы вряд ли тут появлялись.

— Ой, господи боже, и напугалась же! Ой, господи...

— Ладно, хватит креститься. Полицаев в деревне много?

— А нет полицаев. Был один, так в местечко перебрался. А больше нет.

— Так, — Рыбак прошелся по двору, выглянул из-за угла. — Деревня как называется?

— Лесины. Лесины деревня, — полная внимания и еще не прошедшего испуга, отвечала тетка.

Ее топор глубоко сидел в суковатом еловом полене, которое она, очевидно, тщетно пыталась расколоть пополам.

Рыбак уже прикинул, что неплохо бы тут и отовариться: подход-выход хороший, на пути гумно, лесок — если что, все это прикроет их от чужого глаза.

— Кто еще дома?

— Так одна ж я, — будто удивившись их неосведомленности, ответила женщина.

— И больше никого?

— Никого. Одна вот живу, — вдруг пожаловалась она, все не сводя с него выжидательно-тревожного взгляда, наверно стараясь угадать тайную цель их ночного визита.

Рыбака, однако, мало тронул этот ее жалостливо-покорный тон, ему уже были знакомы эти наивные повадки деревенских теток, разжалобить его было трудно. Теперь он изучал обстановку на дворе — увидел раскрытые ворота в сарай и заглянул в его глухой, полный навозного запаха мрак.

— Что, пусто?

— Пусто, — упавшим голосом подтвердила женщина, не отходя от топора. — Забрали все чисто.

— Кто забрал?

— Ну, известно кто. Как у красноармейской матери. Чтоб им подавиться, иродам!

Тут Рыбак с мимолетным сочувствием взглянул на женщину — если та перешла на проклятия, значит, не врет, можно верить. И он про себя недовольно хмыкнул, поняв, что и здесь, наверно, ничего не выйдет, — не до нитки же обирать ее, и без того обобранную немцами. Придется искать дальше.

Сотников, ссутулясь, уныло ожидал под стеной, и Рыбак шагнул к женщине.

— Что, не расколешь?

Тетка догадалась, что он поможет, и, заметно обрадовавшись, как-то сразу сбросила с себя пугливую настороженность.

— Да вот, лихо на него, вбила — не выдеру. С вечера бьюсь, ни туда ни сюда.

— А ну дай!

Рыбак закинул за спину карабин и обеими руками взялся за гладкое сухое топорище. Хакнув, сильно ударил поленом о колоду, потом еще. Ударял метко, с удовольствием, ощущая силу в руках и привычную с детства сноровку, когда так же вот зимними вечерами колол на утро дрова. Пилить не любил, а колоть всегда был готов с охотой, находя как бы извечное удовлетворение в этой трудной, не лишенной мужского удальства работе.

На четвертом ударе трещина криво обежала сук, и полено развалилось надвое. Он расколол еще и половинки.

— От спасибо, сынок. Дай тебе бог здоровьичка, — без тени недавней скованности благодарила тетка.

— Спасибом не отделаешься, мать. Продукты имеются?

— Продукты? А какие продукты? Бульбочка есть. Мелкая, правда. Если что, заходите, сварю затирки.

— Это что! Нам с собой надо. Скотину какую.

— Э, скотину. Где ее взять теперь...

— А там кто живет? — Рыбак показал рукой через огород, где за островерхим тыном белела снежная крыша соседней постройки. Кажется, там топили: ветер заносил во двор запах дыма и чего-то съестного.

— А Пётра Качан. Он теперь старостой тут, — простодушно сообщила тетка.

— Да? Здешний староста? Ты слышишь? — Рыбак повернулся к Сотникову, который, прислонясь к бревну, терпеливо стоял под стеной.

— Ну. Поставили старостой.

— Сволочь, да?

— А не сказать. Свой человек, тутошний.

Рыбак, помедлив, решил:

— Ладно, пошли к старосте. Он-то уж, наверно, побогаче тебя.

Они не стали искать стежку, подлезли под жердь в изгороди, перешли засыпанный золой и картофельной кожурой огород и через дыру в старом тыне пролезли во двор старосты.

Тут порядка было побольше, чем на соседнем дворе, во всем чувствовалась заботливая рука хозяина. С трех сторон двор обступали постройки: изба, сарай, легкий навес; у крыльца стояли сани с остатками сена в розвальнях — верное свидетельство того, что хозяин находится дома. Под крышей сарая высился ладный штабелек наготовленных, напиленных и поколотых дров.

Когда они еще переходили огород, Рыбак приметил в замерзшем окошке тусклые отблески света — наверно, от коптилки — и теперь уверенно ступил на скрипучие доски крыльца.

Он не стучал — дверь была не заперта, справиться с ней ему, сельскому жителю, было привычно и просто: повернул на четверть оборота завертку, и дверь, тихо скрипнув, сама растворилась. Он прошел в темные сени, вдыхая полузабытые, густо устоявшиеся крестьянские запахи, осторожно повел рукой по стене. Пальцы его наткнулись на какую-то залубеневшую от стужи одежду, затем на дверную планку. Нащупав подле нее прокаленную морозом завесу, он легко отыскал одинаковую во всех деревенских домах скобу. И эта дверь оказалась незапертой, он потянул ее на себя и переступил высоковатый порог, передавая скобу в холодные руки Сотникова.

На опрокинутой посреди стола миске горела коптилка, огонек ее испуганно выгнулся от клуба холодного воздуха. Пожилой, с коротко подстриженной бородой человек, сидевший за столом в наброшенном на плечи тулупчике, поднял седую голову. На его широком, непривычно освещенном снизу лице коротко блеснул недоволь-

ный взгляд, тут же, однако, и потухший под низко опущенными седыми бровями.

— Добрый вечер, — со сдержанной вежливостью поздоровался Рыбак.

Конечно, можно бы и без этого приветствия немецкому прислужнику, но Рыбаку не хотелось сразу начинать неприятный для него разговор. Старик, однако, не ответил, даже не пошевелился за столом, только еще раз, уже без всякого любопытства, поглядел на них у порога.

Сзади все несло холодом — Сотников неумело громыхал дверью, тщетно стараясь захлопнуть ее. Рыбак обернулся, с привычным пристуком закрыл дверь. Хозяин наконец медленно выпрямился за столом, не меняя, однако, безучастного выражения на лице, будто и не догадывался, кто они, эти непрошеные ночные пришельцы.

— Ты здешний староста? — официально спросил Рыбак, вразвалку направляясь к столу. В трофейных его сапогах было скользко с мороза, и он невольно сдерживал шаг.

Старик вздохнул и, наверно поняв, что предстоит разговор, закрыл толстую книгу, которую перед тем читал у коптилки.

— Староста, ну, — сказал он ровным, без тени испуга или подобострастия голосом.

В то время в запечье послышался короткий шорох, и из-за занавески, поправляя на голове платок, появилась маленькая, ху́денькая и, видно по всему, очень подвижная женщина — наверно, хозяйка этой избы. Рыбак снял с плеча и приставил к ногам карабин.

— Догадываешься, кто мы?

— Не слепой, вижу. Но ежели за водкой, так нету. Всю забрали.

Рыбак со значением взглянул на Сотникова: старый пень — не принимает ли он их за полицаев? Впрочем, так, может, и лучше, подумал он и, сохраняя добродушную невозмутимость, сказал:

— Что ж, обойдемся без водки.

Староста помолчал, будто размышляя над чем-то, подвинул на край стола миску с коптилкой. На полу стало светлее.

— Если так, садитесь.

— Ага, садитесь, садитесь, детки, — обрадовалась приглашению хозяина женщина. Подхватив от стола скамей-

ку, она поставила ее у печки, в которой, видно было, догорали на ночь дрова. — Тут будет теплее, наверно же, озябли. Мороз такой...

— Можно и присесть, — согласился Рыбак, но сам не сел — кивнул Сотникову: — Садись, грейся.

Сотникова не надо было уговаривать — он тотчас опустился на лавку и прислонился спиной к побеленному боку печи. Винтовку держал в руках, будто опирался на нее, пилотку на голове не поправил даже — как была глубоко насунута на примороженные уши, так и осталась. Рыбаку тем временем становилось все теплее, он расстегнул сверху полушубок и сдвинул на затылок шапку. Хозяин оставался за столом с независимо-бесстрастным видом, а хозяйка, сложив на животе руки, настороженно и трепетно следила за каждым их движением. «Боится», — подумал Рыбак. Следуя своей партизанской привычке, он, прежде чем сесть, прошелся по избе, будто невзначай заглянул в темный запечек и остановился возле красного фанерного шкафа, отгораживавшего угол с кроватью. Хозяйка уважительно отступила в сторону.

— Там никого, детки, никого.

— Что, одни живете?

— Одни. Вот с дедом так и коптим свет, — с заметной печалью сказала женщина. И вдруг не предложила, а как бы запросила даже: — Может, вы бы поели чего? Верно ж, голодные, а? Конечно, с мороза да без горячего...

Рыбак улыбнулся и довольно потер озябшие руки.

— Может, и поедим. Как думаешь? — с деланной нерешительностью обратился он к Сотникову. — Подкрепимся, если пани старостиха угощает...

— Вот и хорошо. Я сейчас, — обрадовалась женщина. — Капусточка, наверно, теплая еще. И это... Может, бульбочки сварить?

— Нет, варить не надо. Некогда, — решительно возразил Рыбак и искоса взглянул на старосту, который, облокотясь на стол, неподвижно сидел в углу.

Над ним, повязанные вышитыми полотенцами, темнели три старинные иконы. Рыбак тяжело протопал сапогами к простенку и остановился перед большой застекленной рамой с фотографиями. Он умышленно избегал прямо взглянуть на старосту, чувствуя, что тот сам, не переставая, втихомолку наблюдает за ним.

— Значит, немцам служишь?

— Приходится, — вздохнул старик. — Что поделаешь!

— И много платят?

Дед не мог не почувствовать явной издевки в этом вопросе, но ответил спокойно, с достоинством:

— Не спрашивал и знать не хочу. Своим пока обойдусь.

«Однако! — заметил про себя Рыбак. — Видно, с характером».

В березовой раме на стене среди полдюжины различных фотографий он высмотрел молодого, чем-то неуловимым похожего на этого деда парня в гимнастерке с артиллерийскими эмблемами в петлицах и тремя значками на груди. Было в его взгляде что-то безмятежно-спокойное и в то же время по-молодому наивно уверенное в себе.

— Кто это? Сын, может?

— Сын, сын. Толик наш, — ласково подтвердила хозяйка, останавливаясь и через плечо Рыбака заглядывая на фото.

— А теперь где он? Не в полиции случайно?

Староста поднял нахмуренное лицо.

— А нам откуда знать? На фронте был...

— Ой, божечка, как пошел в тридцать девятом, так больше и не видели. С самого лета ни слуху ни духу. Хотя бы знать: живой или, может, уже и косточки сгнили... — ставя на стол миску со щами, заговорила старостиха.

— Так, так, — сказал Рыбак, не отзываясь на ее жалостливое причитание. Выждав, пока она выговорится, он с нажимом объявил старику: — Опозорил ты сына!

— А то как же! И я ж ему о том твержу день и ночь, — с жаром подхватила от печи хозяйка. — Опозорил и сына и всех чисто...

Это было несколько неожиданно, тем более что старостиха говорила вроде бы с искренней болью в голосе. Староста, однако, никак не отозвался на ее слова, неподвижно сидел с поникшим видом, и Рыбаку показалось, что этот дед просто недоумок какой-то. Но только он подумал о том, как хмурое лицо старосты нахмурилось еще больше.

— Будет! Не твое дело!

Женщина тотчас умолкла, остановившись на полуслове, а староста вперил укоряющий взгляд в Рыбака.

— А он меня не опозорил? Немцу отдал — это не позор?

— Так вышло. Не его в том вина.

— А чья? Моя, может? — строго, без тени стеснения или страха спросил старик и многозначительно постучал по столу: — Ваша вина.

— Да-а, — неопределенно произнес Рыбак, не поддержав малоприятный для него и не очень простой разговор, которому, знал, по нынешним временам нету конца.

Хозяйка расстелила коротенькую, на полстола, скатерку, поставила миску со щами, мясной запах от которых властно заглушил все его другие чувства, кроме враз обострившегося чувства голода. Рыбак не испытывал к этому человеку никакого почтения, его общие рассуждения и причины, почему он стал старостой, Рыбака не интересовали — факт службы у немцев определял для него все. Теперь, однако, очень хотелось есть, и Рыбак решил на время отложить дальнейшее выяснение взаимоотношений старика с немцами.

— Сядьте, подкрепитесь немножко. Вот хлебушка вам, — с ласковой приветливостью приглашала хозяйка.

Рыбак, не снимая шапки, полез за стол.

— Давай подрубаем, — сказал он Сотникову.

Тот вяло повертел головой:

— Ешь. Я не буду.

Рыбак внимательно посмотрел на товарища, который, покашливая, ссутулился на скамейке. Временами он даже вздрагивал, как в ознобе. Хозяйка, видно, мало понимая состояние гостя, удивилась:

— Почему же не будете? Может, брезгуете нашим? Может, еще чего дать?

— Нет, спасибо. Ничего не надо, — решительно сказал Сотников, зябко пряча в рукава тонкие кисти рук.

Хозяйка чистосердечно встревожилась.

— Божечка, может, не догодила чем? Так извините...

Рыбак удобно уселся на широкой скамье за столом, зажал меж коленей карабин и не заметил, как в полном молчании опорожнил миску. Староста все с тем же угрюмым видом неподвижно сидел в углу. Хозяйка стояла невдалеке от стола с искренней готовностью услужить гостю.

— Так, хлебушко я приберу. Это на его долю, — сказал Рыбак, кивнув в сторону Сотникова.

— Берите, берите, детки.

Староста, казалось, чего-то молча ожидал — какого-нибудь слова или, может, начала разговора о деле. Его большие узловатые руки спокойно лежали на черной обложке книги. Засовывая остаток хлеба за пазуху, Рыбак сказал с неодобрением:

— Книжки почитываешь?

— Что ж, почитать никогда не вредит.

— Советская или немецкая?

— Библия.

— А ну, а ну! Первый раз вижу библию.

Подвинувшись за столом, Рыбак с любопытством взял в руки книгу, отвернул обложку. Тут же он, однако, почувствовал, что не надо было делать этого — обнаруживать своего интереса к этой чужой, может, еще немцами изданной книге.

— И напрасно. Не мешало бы и почитать, — проворчал староста.

Рыбак решительно захлопнул библию.

— Ну, это не твое дело. Не тебе нас учить. Ты немцам служишь, поэтому нам враг, — сказал Рыбак, ощущая тайное удовлетворение от того, что подвернулся повод обойтись без благодарности за угощение и переключиться на более отвечавший обстановке тон. Он вылез из-за стола на середину избы, поправил на полушубке несколько туговатый теперь ремень. Именно этот поворот в их отношениях давал ему возможность перейти ближе к делу, хотя сам по себе переход и нуждался еще в некоторой подготовке. — Ты враг. А с врагами у нас знаешь какой разговор?

— Смотря кому враг, — будто не подозревая всей серьезности своего положения, тихо, но твердо возразил старик.

— Своим. Русским.

— Своим я не враг.

Староста упрямо не соглашался, и это начинало злить Рыбака. Не хватало еще доказывать этому прислужнику, почему тот, хочет того или нет, является врагом Советской державы. Заводить долгий разговор с ним Рыбак не имел никакого желания и спросил с плохо скрытой издевкой:

— Что, может, силой заставили? Против воли?

— Нет, зачем же силой, — сказал хозяин.

— Значит, сам.

— Как сказать, вроде так.

«Тогда все ясно, — подумал Рыбак, — не о чем и разговаривать». Неприязнь к этому человеку в нем все нарастала, он уже пожалел о времени, потраченном на пустой разговор, тогда как с самого начала все было ясно.

— Так! Пошли! — жестко приказал он.

Вскинув руки, к Рыбаку бросилась старостиха.

— Ой, сыночек, куда же ты? Не надо, пожалей дурака. Старик он, по глупости своей...

Староста, однако, не заставил повторять приказ и с завидным самообладанием неторопливо поднялся за столом, надел в рукава тулуп. Был он совсем седой и, несмотря на годы, большой и плечистый — встав, заслонил собой весь угол с иконами.

— Замолчи! — приказал он жене. — Ну!

Видно, старостиха привыкла к послушанию — всхлипнула напоследок и подалась за занавеску. Староста осторожно, будто боясь что-то задеть, вылез из-за стола.

— Ну что ж, воля ваша. Бейте! Не вы, так другие. Вон, — он коротко кивнул на простенок, — ставили уже, стреляли.

Рыбак невольно взглянул, куда указывал хозяин; действительно, на белой стене у окна чернело несколько дыр — похоже, от пуль.

— Кто стрелял?

Готовый ко всему, хозяин неподвижно стоял на середине избы.

— А такие, как вы. Водки требовали.

Рыбак внутренне передернулся: он не хотел уподобляться кому-то. Свои намерения он считал справедливыми, но, обнаружив чьи-то, похожие на свои, воспринимал собственные уже в несколько другом свете. И в то же время не верилось, чтобы староста его обманывал — таким тоном не врут. Тихонько всхлипывая, из-за занавески выглядывала старостиха. На скамейке, сгорбившись, кашлял Сотников, но он ни одним словом не вмешался в его разговор с хозяином — кажется, напарнику было не до того.

— Так. Корова есть?

— Есть. Пока что, — безо всякого интереса к новому обороту дела отрешенно ответил староста.

Старостиха перестала всхлипывать и затихла, прислушиваясь к разговору. Рыбак раздумывал: было весь-

ма соблазнительно пригнать в лес корову, но, пожалуй, отсюда будет далеко, можно не успеть до утра.

— Так, пошли!

Он закинул за плечо карабин, староста покорно надел снятую с гвоздя шапку и молча распахнул дверь. Направляясь за ним, Рыбак сдержанно кивнул Сотникову:

— Ты подожди.

4

Как только дверь за ним затворилась, хозяйка бросилась к порогу.

— Ой, божечка! Куда же он его? Ой, за что же он? Ой, господи!

— Назад! — хрипло выдавил Сотников и, не поднимаясь со скамьи, вытянул ногу, преграждая путь к двери.

Женщина испуганно остановилась. Она то всхлипывала, то смолкала, напряженно прислушиваясь к звукам извне. Сотников плохо уловил смысл недавнего здесь разговора, но то, что дошло до его затуманенного горячкой сознания, давало основание думать, что Рыбак, наверное, пристрелит старосту.

Но шло время, а выстрела не было. Закрывая рот уголком платка, женщина все охала и причитала, а Сотников сидел на скамье и стерег, чтобы она не выскочила во двор — не подняла бы крик. Чувствовал он себя плохо. Донимал кашель, очень болела голова, возле горячей печи его бросало то в жар, то в холод.

— Сынок, дай же я выйду! Дай гляну, что они там...

— Нечего глядеть.

Женщина слепо кидалась в полумраке избы, все причитая, наверно, чтобы разжалобить его и прорваться к двери. Но ничего не выйдет, он не поддастся на эти ее причитания. Он очень хорошо помнил, как прошлым летом его чрезмерная доверчивость к такой же вот тетке едва не стоила ему жизни. И та с виду тоже сама простота, с благообразным лицом, в белом платочке на голове.

Выйдя из леска, он сразу заметил ее среди свекольной ботвы на огороде и подумал: вот хорошо! Она укажет, как попасть на тропу через болото Черные Выгоры, которое, как сказали ему вчера, можно перейти,

лишь разыскав единственную тропку, берущую начало вот от этой деревни.

Он выбрался из мокрого кустарника и вдоль полоски рослой конопли, никем не замеченный, близко подошел к ней, сосредоточенно колупавшейся в грядках. До сих пор его глазам видится ее подоткнутая темная юбка, белые, незагоревшие икры ног и какая-то поношенная куртка с заплаткою на плече. Женщина ломала ботву и не сразу увидела его. Он сдержанно поздоровался, и она, к удивлению, не испугалась, только пристально вгляделась в него, слушая и будто не понимая его такой простой просьбы.

Потом она все очень толково объяснила — и как попасть на тропинку и перейти кладки, и по какую руку оставить хвойный грудок, чтобы не угодить в трясину. Он поблагодарил и хотел уже идти дальше, как она, оглянувшись, сказала: «Погоди, наверное же, голодный», — торопливо сложила в подол ботву и повела его по меже на усадьбу. И надо же было ему согласиться! Но он и в самом деле, как весенний волк, был выморен голодом и покорно пошел за ней, радостно предвкушая сытный деревенский завтрак.

Пока они шли, она так же ласково обращалась к нему «сынок» и еще, помнил, раза два назвала его «горотничком» — был он небритый, как и сейчас, неумытый, мокрый по колени от росы и вообще весьма жалкий на вид. Разговаривать по-здешнему тоже не умел и скрыть свое явно армейское происхождение не мог — сразу было видать, кто он и откуда. Оружия в то время у него никакого не было — лишь накануне чудом удалось избежать смерти, когда уже не оставалось малейшей надежды спастись...

Старостиха тем временем все не могла успокоиться, металась по избе и плакала.

— Сыночек, ну как же это? Он же его застрелит!

— Надо было раньше о том думать, — холодно сказал Сотников, стараясь прислушаться к звукам со двора.

— А, деточка, разве я не говорила, разве мало просила! На какое же лихо ему было браться? Были которые помоложе. Но хорошие сами не хотели, а недобрых люди боялись.

— А его не боятся?

— Петра? Ай, так его же тут все знают, мы же тут

весь век свой живем, нашей вон родни полсела. Он же старается ко всем по-хорошему.

— Так уж и по-хорошему!

— Может, и не совсем так. Может, и правда твоя, сынок, — не выходит ко всем по-хорошему. Его же заставляют: то хлеб сдай, то одежду какую собери, то на дорогу приказывают выгонять снег чистить. А он же где возьмет — людей надо принуждать. Своих же обирать.

— А вы как думали? На то и оккупанты, чтоб грабить.

— Грабят. А как же? Чтоб их бог ограбил! Приехали на машинах, побрали свиней. А у нас телку забрали. Говорят: сын в Красной Армии, так чтоб вину сгладить перед Германией. Чтоб она ясным огнем сгорела, та их Германия!

«Проклинай, но не очень я поверю тебе», — сонно думал Сотников, не убирая вытянутой ноги. Помнится, та тоже говорила что-то про Германию, пока собирала ему на стол и резала хлеб. Несколько раз выбегала в сени за салом и молоком в кувшине, а он сидел на скамье у стола и, глотая слюну, дожидался, дурак, угощения. Правда, однажды ему послышалось, будто в сенях кто-то тихо отозвался, потом долетел коротенький шепот, но тут же он узнал в нем сонный голос ребенка и успокоился. Да и хозяйка вернулась в избу спокойная и по-прежнему ласковая, налила ему кружку молока, нарезала сала, и его, помнится, почти что растрогала эта ее доброта. Потом он с жадностью ел хлеб с салом, запивая его молоком, и так, наверное, пропал бы ни за что, если бы какой-то инстинктивный, без видимой причины, испуг не заставил его взглянуть в заслоненное цветами окно. И он обмер в растерянности: по улице быстро шли двое с винтовками, на их рукавах белели повязки, а рядом, объясняя что-то, бежала маленькая, лет восьми, девочка.

Жаль, у него тогда отнялся язык и он ничего не сказал той ласковой тетке, — он только оттолкнул ее от двери и бешено рванул на огород, через забор на выгон, в овраг. Сзади стреляли, кричали, ругались. Уже, наверно, в овражке он расслышал среди других голосов крикливый, совсем непохожий на прежний голос той женщины — она показывала полицаям, где он скрылся в кустарнике.

А теперь вот и эта — «сынок», «деточка»...

Старостиха, не слыша ничего страшного со двора, немного успокоилась и присела перед ним на конец скамьи.

— Деточка, это же неправда, что он по своей воле. Его же тутошние мужики упросили. Ой, как же он не хотел! А тут бумага из района пришла — старост на совещание вызывали. А у нас, в Лесинах, еще никакого старосты нету. Ну, мужики и говорят: «Иди ты, Петро, ты в плену был». А он и взаправду в ту, николаевскую, два года в плену был, у немца работал. «Так, — говорят, — тебе их норов знаком, потерпи каких пару месяцев, пока наши вернутся. А то Будилу поставят — беды не оберешься». Будила этот тоже из Лесин, плохой — страх. До войны каким-то начальником работал, по деревням разъезжал — еще тогда его мужики боялись. Так он теперь нашел место в полиции. Влез как свинья в лужу.

— Дождется пули.

— И пусть, черт был по нем плакал... Так это Петра, дурака, и уговорили, пошел в местечко. На свое лихо, на горюшко свое. А теперь разве ему хочется немецким холуем быть? Каждый день божий грозятся, кричат да еще наганом в лоб тычут, то водки требуют, то еще чего. Переживает он, не дай бог.

Сотников сидел, пригревшись возле печи, и, мучительно напрягаясь, старался не уснуть. Правда, бороться с дремотой ему помогал кашель, который то отставал на минуту, то начинал бить так, что кололо в мозгу. Старостиху он слушал и не слушал, вникать в ее жалобы у него не было охоты. Он не мог сочувствовать человеку, который согласился на службу у немцев и так или иначе исполнял эту службу. То, что у него находились какие-то к тому оправдания, мало трогало Сотникова, уже знавшего цену такого рода оправданиям. В жестокой борьбе с фашизмом нельзя было принимать во внимание никакие, даже самые уважительные причины — победить можно было лишь вопреки всем причинам. Он понял это с самого первого боя и всегда придерживался именно этого убеждения, что, в свою очередь, во многом помогло ему сохранить твердость своих позиций во всех сложностях этой войны.

Спохватившись, что дремлет, Сотников попытался подняться, но его так повело по избе, что он едва не ударился о стену.

Хозяйка, сама испугавшись, кое-как поддержала его, и он подобрал с пола винтовку.

— Фу, черт!

— Сынок, да что же это с тобой? Да ты же больной! Ах божечка! В жару весь! Тебе же лежать надо. Вон как хрипит все в груди. Подожди, посиди, я зелья скоренько заварю...

Она с искренней готовностью помочь юркнула в запечек, зашумела там чем-то. И он подумал, что, наверно, и впрямь его дело дрянь, если так забеспокоилась эта тетка.

— Не беспокойтесь, мне ничего не надо.

Ему и в самом деле не хотелось уж ни пить, ни есть и ничего не нужно было, кроме тепла и покоя.

— Как же не надо, сынок? Ты же хворый, разве не видно? Я давно уже примечаю. Если, может, некогда, то на малинки сухой, может, заваришь где-либо, попьешь. А это вот зельечко...

— Ничего не надо.

Она совала ему что-то из мешочков, которые достала с печи, а он не хотел ничего брать. Он не желал этой тетке хорошего и потому не мог согласиться на ее сочувствие и ее помощь. В это время в сенях застучали, послышался голос Рыбака, и в избу заглянул староста.

— Идите, товарищ зовет.

Он встал и с гулом в голове, шатаясь от слабости, выбрался в темные сени. Сквозь раскрытую дверь на снежном дворе был виден Рыбак, у его ног лежала на снегу темная тушка овцы, которую тот, кажется, собирался поднять на плечи.

— Так. Ты иди, — ровным, без недавней неприязни голосом сказал Рыбак старосте, — и прикрой дверь. Нечего глядеть.

Староста, похоже, хотел что-то сказать, да, наверно, раздумал и молча повернулся к дому. Сенная дверь за ним плотно закрылась, потом слышно было, как стукнула дверь в избу.

— Что, отпускаешь? — сипло спросил Сотников, когда они вдвоем остались посреди двора.

— А, черт с ним.

Рыбак сильным рывком забросил на плечо овцу и шагнул за угол сарая, оттуда свернул по целине к знакомому гумну, кособокие постройки которого темнели невдалеке на снегу. Сотников потащился следом.

5

Они шли молча по прежним своим следам — через гумно, вдоль проволочной ограды, вышли на склон с кустарником. В деревне все было тихо, нигде не проглянуло ни пятнышка света из окон; в сумерках по-ночному сонно серели заснеженные крыши, стены, ограды, деревья в садах. Рыбак быстро шагал впереди с овцой на спине — откинутая голова ее с белым пятном на лбу безучастно болталась на его плече. Время, наверно, перевалило за полночь, месяц взобрался в самую высь неба и тихо мерцал там в круге светловато-туманного марева. Звезды на небе искрились ярче, нежели вечером, громче скрипел снег под ногами — в самую силу входил мороз. Рыбак с сожалением подумал, что они все-таки задержались у старосты, хорошо еще, что недаром: отдохнули, обогрелись, а главное, возвращались не с пустыми руками. С овцы, конечно, не много достанется для семнадцати человек, но по куску мяса будет. Хотя и далековато, но все-таки раздобыли, сейчас успеть бы принести до рассвета.

Он споро шагал под ношей, не слишком уже и остерегаясь на знакомом пути в ночном поле. Если бы не Сотников, которого нельзя было оставлять одного, он бы, наверное, ушел далеко. Пожалуй, впервые за эту ночь у Рыба́ка шевельнулось легкое недовольство напарником, но что поделаешь: разве тот виноват? Впрочем, мог бы где-нибудь разжиться и более теплой одежкой и тогда, наверное, был бы здоров, а теперь вот еще и помог бы нести эту овцу. Поначалу та показалась совсем нетяжелой, но как-то постепенно стала наливаться заметным грузом, который все больше давил на его плечи, заставляя пригибать голову, отчего было неудобно смотреть вперед. Рыбак начал перемещать ношу с плеча на плечо: пока груз был на одном, другое недолго отдыхало — так стало легче.

На ходу он хорошо согрелся в теплом черном полушубке, недавно совсем еще новом, который неплохо послужил ему в эту стужу. Без полушубка он бы, наверно, пропал. А так и легко, и тепло, и надеть, и укрыться где-нибудь на ночлеге. Спасибо дядьке Ахрему: не пожалел, отдал. Хотя, конечно, у Ахрема были свои на это причины, и главная из них, безусловно, заключалась в Зосе, сердце которой — это он знал точно — очень уж

прикипело к нему, завидному, но такому недолгому по войне примаку.

Ну что ж, если бы не война! Впрочем, если бы не война, где бы он встретил ее, эту Зосю? Каким образом старшина стрелковой роты Рыбак мог оказаться в той их Корчевке — маленькой, глуховатой деревеньке у леса? Наверно, и не заглянул бы никогда в жизни, разве что проехал невдалеке большаком во время осенних учений, и только. А тут вот пришлось притащиться с раненой ногой, толсто обмотанной грязной сорочкой, попроситься в избу — боялся, днем начнут ездить немцы и за здорово живешь подберут его на дороге. С рассветом они и в самом деле на мотоциклах и верхом начали объезжать заваленное трупами поле боя, но в то время он уже был надежно припрятан под кучей гороховин в пуньке. Ахрем и Зоська караулили его днем и ночью — сберегли, не выдали. А потом... А потом вокруг все утихло, водворилась новая, немецкая, власть, не стало слышно даже артиллерийского гула ночью; было очень тоскливо. Казалось, все прежнее, для чего он жил и старался, рухнуло навсегда. Очень горько ему было в то время, и тогда единственной утехой в его потайной деревенской жизни стала пухленькая, ласковая Зоська. И то ненадолго.

Здоровье никогда не подводило его, молока и сметаны хватало, рана на ноге за месяц кое-как зажила и лишь слегка напоминала о себе при ходьбе. Он все больше начинал думать о том, как быть дальше. Особенно когда узнал, что после летних успехов немец неожиданно застрял под Москвой, и, несмотря на то, что трубили, будто большевистская столица со дня на день падет, Рыбак думал: наверно, еще подержится. Москва не Корчевка, защитить ее, пожалуй, сыщется сила.

А тут объявились дружки, такие же, как он, окруженцы — кто выздоровев от ран, кто просто оправившись по хуторам и селам от первого шока разгрома, — начали сходиться, договариваться, повытаскивали припрятанное оружие. Решили: надо подаваться в лес, сколько можно сидеть по крестьянским закуткам возле добросердечных молодок, нерасписанных и невенчанных деревенских жен. И пошли.

Невеселым было его прощание с Корчевкой. Правда, он не стал, как другие, обманывать или, еще хуже, уходить тайком — объяснил все как было, и, к удивлению,

его поняли, не обиделись и не отговаривали. Зоська, правда, всплакнула, а дядька Ахрем сказал: «Раз надо — так надо: дело военное». И он, и тетка Ганулля собрали его как сына, которого у них не было. Рыбак пообещал давать знать о себе и наведываться при случае. Однажды и наведался, в конце осени, а потом стало далеко — а главное, не тянуло: наверно, отвык, что ли? А может, не было того, что привораживает всерьез и надолго, а так — появилось, перегорело и отошло. И он о том не жалел, собой был доволен — не обманывал, не лгал, поступил честно и открыто. Пусть люди судят как знают, его же совесть перед Зосей была почти чистой.

Он не любил причинять людям зло — обижать невзначай или с умыслом, не терпел, когда на него таили обиду. В армии, правда, трудно было обойтись без того — случалось, и взыскивал, но старался, чтобы все выглядело по-хорошему, ради пользы службы. Теперь злой, измученный простудой Сотников упрекнул его в том, что отпустил, не наказал старосту, но Рыбаку стало противно наказывать — черт с ним, пусть живет. Конечно, к врагу следовало относиться без всякой жалости, но тут получилось так, что очень уж мирным, покрестьянски знакомым показался ему этот Петр. Если что, пусть его накажут другие.

В избе, пока шел неприятный разговор, у Рыбака еще было какое-то желание проучить старосту, но потом, когда занялись овцой, это его желание постепенно исчезло. В сарае мирно и буднично пахло сеном, навозом, скотом, три овцы испуганно кидались из угла в угол: одну, с белым пятнышком на лбу, Петр словчился удержать за шерсть, и тогда он ловко и сильно обхватил ее шею, почувствовав какую-то полузабытую радость добычи. Потом, пока он держал, а хозяин резал ей горло и овца билась на соломе, в которую стекал ручеек парной крови, в его чувствах возникло памятное с детства ощущение пугливой радости, когда в конце осени отец вот так же резал одну или две овцы сразу, и он, будучи подростком, помогал ему. Все было таким же: и запахи в скотном сарае, и метание в предсмертном испуге овец, и терпкая парность крови на морозе...

Поле, на которое Рыбак свернул от кустарника, оказалось неожиданно широким и длинным: наверно, около

часа они шли по его целине. Рыбак не знал точно, но чувствовал, что где-то на их пути должна быть дорога, та самая, по которой недолго они шли сюда, потом начнется склон в сторону речки. Однако прошло много времени, они отмерили километра два, если не больше, а дороги все не было, и он начал опасаться, что они могли перейти ее, не заметив. Тогда нетрудно было потерять направление, не вовремя повернуть влево, в низину. Плохо, что эта местность была ему мало знакома и он даже не расспросил о ней у местных партизан в лесу. Правда, тогда он не думал, что ему придется забрести так далеко.

Рыбак остановился, подождал Сотникова, который, отстав, обессиленно тащился в сумраке. На месяц наплыла сизая плотная мгла, ночь потемнела, вдали и вовсе ничего нельзя было различить. Он сбросил на снег овцу, положил на ее бок карабин и с облегчением расправил натруженные плечи. Минуту спустя заплетающимся шагом к нему притащился Сотников.

— Ну как? Ничего?

— Знаешь... Ты уж как-нибудь. Сегодня я не помощник.

— Ладно, обойдется, — отсапываясь, сказал Рыбак и перевел разговор на другое: — Ты не приметил, мы правильно идем?

Тяжело дыша, Сотников посмотрел в ночь.

— Вроде бы правильно. Лес там.

— А дорога?

— Тут где-то и дорога. Если не свернула куда.

Оба молча вгляделись в сумеречную снежную даль, и в это время в шумном порыве ветра их напряженный слух уловил какой-то далекий неясный звук. В следующее мгновение стало понятно, что это чуть слышный топот копыт. Оба враз повернулись навстречу ветру и не так увидели, как угадали в сумерках едва заметное, неясное еще движение. Сперва Рыбаку показалось, что их догоняют, но тут же он понял, что едут не вдогон, а скорее наперерез, наверно, по той самой дороге, которую они не нашли. Ощутив, как дрогнуло сердце, он скоренько закинул за плечо карабин. Однако тут же чутье подсказало ему, что едут в отдалении и мимо, правда, останутся ли они незамеченными, он определить не мог. И он, нагнувшись, сильным рывком опять вскинул на се-

бя косматую тушу овцы. Поле поднималось на пригорок, надо было как можно быстрее перебежать его, и тогда бы, наверно, их уже не увидели.

— Давай, давай! Бегом! — негромко крикнул он Сотникову, с места пускаясь в бег.

Ноги его сразу обрели легкость, тело, как всегда в минуты опасности, стало ловким и сильным. И вдруг в пяти шагах от себя он увидел дорогу — разъезженные ее колеи наискось пересекали их путь. Теперь уже стало понятно, что эта та самая дорога, по которой ехали, он взглянул в сторону и отчетливо увидел поодаль тусклые подвижные пятна; был слышен негромкий перезвон чего-то из упряжи, сани уверенно приближались. Совладав с коротким замешательством, Рыбак, будто заминированную полосу, перебежал эту проклятую дорогу, так неожиданно и не ко времени появившуюся перед ними, и тут же ясно почувствовал, что сделал не то. Наверно, надо бы податься назад, по ту сторону, но было уже поздно о том и думать. Проламывая сапогами наст, он бежал на пригорок и с замиранием сердца ждал, что вот-вот их окликнут.

Еще не достигнув вершины, за которой начинался спуск, он снова оглянулся. Сани уже явственно были видны на дороге: их оказалось двое — вторые почти впритык следовали за первыми. Но седоков пока еще нельзя было различить в сумерках, крику также не было слышно, и он с маленькой, очень желанной теперь надеждой подумал, что, может еще, это крестьяне. Если не окликнут, то, наверно, крестьяне, — по какой-то причине запоздали в ночи и возвращаются в свою деревню. Тогда напрасен этот его испуг. Обнадеженный этой неожиданной мыслью, он спокойнее раза два выдохнул и на бегу обернулся к Сотникову. Тот, как назло, шатко топал невдалеке, будто не в состоянии уже поднапрячься, чтобы пробежать каких-нибудь сотню шагов до вершины пригорка.

И тогда ночную тишь всколыхнул злой, угрожающий окрик:

— Э-эй! А ну стой!

«Черта с два тебе стой!» — подумал Рыбак и с новой силой бросился по снегу. Ему оставалось совсем уже немного, чтобы скрыться за покатой спиной пригорка, дальше, кажется, начинался спуск — там бы они, наверно, ушли. Но именно в этот момент сани останови-

лись, и несколько голосов оттуда яростно закричало вдогон:

— Стой! Стой! Стрелять будем! Стой!

В сознании Рыбака мелькнула скверннейшая из мыслей: «Попались!» — все стало просто и до душевной боли знакомо. Рыбак устало бежал по широкому верху пригорка, мучительно сознавая, что главное сейчас — как можно дальше уйти. Наверное, на лошадях догонять не будут, а стрелять пусть стреляют: ночью не очень попадешь. Овцу, которая так некстати оказалась теперь на его плечах, он, однако, не бросил — тащил на себе, не желая расставаться со слабой надеждой на то, что еще как-либо прорвутся.

Вскоре он перебежал и пригорок и размашисто помчался по его обратному склону вниз. Ноги так несли его, что Рыбак опасался, как бы не упасть с ношей. Немецкий карабин за спиной больно бил по бедру прикладом, тихонько звякали в карманах патроны. Еще издали он приметил что-то расплывчато-темное впереди, наверно, опять кустарник, и повернул к нему. Крики позади умолкли, выстрелов пока не было. Похоже было на то, что они с Сотниковым уже скрылись из поля зрения тех, на дороге.

Но вот склон пригорка окончился, стал глубже снег, и Рыбак, охваченный новой заботой, глянул назад. Сотников отстал так далеко, что показалось: вот-вот его схватят живьем. Впрочем, тот и теперь как будто совсем не спешил — не бежал, едва тащился в снеговом сумраке. И самое скверное было то, что Рыбак ничем не мог пособить ему, он только безостановочно стремился вперед, тем самым увлекая товарища. Надо было добежать до кустарника, который вроде уже недалеко чернел впереди.

— Стой! Бандитское отродье, стой! — опять раздались сзади угрожающие, с ругательством крики.

Значит, все-таки догоняют. Не оглядываясь — неудобно было оглянуться с овцой, — Рыбак по крикам понял, что те уже на пригорке и, наверно, увидели их. Слишком невыгодным оказалось их положение, особенно Сотникова, которому до кустарников еще бежать и бежать. Ну что ж... Как всегда, в минуту наибольшей опасности каждый заботился о себе, брал свою судьбу в собственные руки. Что до Рыбака, то который уже раз за войну его выручали ноги.

Кустарник, оказывается, был значительно дальше, чем показалось в ночи. Рыбак не одолел еще и половины пути к нему, как сзади загрохали выстрелы. Стрелки были, однако, более чем никудышные, он, не оглядываясь, понял это по тому, как тугой струной над ним прошла пуля. Слишком высоко прошла, это он понял точно. И он заставил себя под теми пулями добежать до кустарника.

Наверно, тут начиналось луговое болотце — на снежной равнине ощетинился голыми ветвями ольшаник, в рыхлом снегу под ногами мягко бугрились кочки. Рыбак упал в самом начале кустарника, свалил со спины овцу. Пожалуй, надо было бежать дальше, но у него уже не оставалось сил. Сзади вовсю шла перестрелка, и он понял, что их задержал Сотников. Сначала это обрадовало Рыбака: значит, оторвался, теперь в кустарнике можно запутать свой след и уйти. Но прежде надо было оглядеться. С карабином в руке он привстал на коленях и увидел вдали Сотникова, который слабо шевелился под самым пригорком. Однако отсюда сквозь серый сумрак ночи невозможно было понять, куда он двигался или, может, вовсе стоял на одном месте. После трех-четырех выстрелов с пригорка один грохнул ближе — в нем Рыбак отчетливо узнал выстрел Сотникова. Но все-таки какой смысл в их положении начинать перестрелку с полицией, этого Рыбак не знал. Наверно, надо было как можно скорее уходить — кустарник на их пути позволил бы оторваться от преследователей. Но Сотников будто не понимал этого, похоже, залег и даже перестал шевелиться. Если бы не его выстрелы, можно было бы подумать, что он убит.

А может, он ранен?

От этой мысли Рыбаку стало не по себе, но чем-либо помочь Сотникову он не мог. Полицаи сверху, с пригорка, наверное, отлично видят одинокого на снегу человека, и, хотя пока не бегут к нему — они, безусловно, расстреляют его из винтовок. Если же Рыбак бросится на помощь, убьют обоих — в этом он был уверен. Так случалось во время финской, когда проклятые кукушки набивали по четыре-пять человек за минуту, и все тем же самым примитивным способом: к первому подстреленному бросался на выручку сосед по цепи и тут же ложился рядом; потом к ним полз следующий. И каждый

из этих следующих понимал, что его ждет там, но и не мог удержаться, видя, как погибает товарищ.

Значит, пока есть возможность, надо уходить: Сотникова уже не спасешь. Решив так, Рыбак скоренько забросил за спину карабин, решительным усилием взвалил на плечи овцу и, спотыкаясь о кочки, припустился краем болота.

Наверно, он далеко уже ушел с того места и снова выбился из сил. Выстрелы сзади стихли, и он, прислушиваясь к тишине, с неясным облегчением думал, что, по-видимому, там все уже кончено. Но спустя минуту или две выстрелы раздались снова. Бабахнуло три раза, одна пуля с затухающим визгом прошла над болотом. Значит, Сотников еще жил. И именно эти неожиданные выстрелы отозвались в Рыбаке новой тревогой. Они сдерживали его бег и будоражили его обостренные опасностью чувства. Овца все тяжелела, порой ее мягкий, податливый груз казался чужим и нелепым, и он механически тащил ее, думая совсем о другом.

Через минуту впереди показался неглубокий овражек-промоина, возможно — берег замерзшей речушки. Наверно, следовало перейти на другую сторону, но только Рыбак сунулся туда, как, поскользнувшись, выпустил ношу и на спине сполз по снегу до низа. Выругавшись, вскочил, разгребая руками снег, выбрался наверх и вдруг отчетливо понял, что уходить нельзя. Как можно столько силы тратить на эту проклятую овцу, если там оставался товарищ? Конечно, Сотников был еще жив и напоминал о себе выстрелами. По существу, он прикрывал Рыбака, тем спасая его от гибели, но ему самому было очень плохо. Ему уже не выбраться. А Рыбаку так просто было уйти — вряд ли его теперь догонят.

Но что он скажет в лесу?

Вся неприглядность его прежнего намерения стала столь очевидной, что Рыбак тихо выругался и в смятении опустился на край овражка. Вдали, за кустарником, грохнул еще один выстрел, и больше выстрелов с пригорка уже не было. «Может, там что изменилось», — подумал Рыбак. Наступила какая-то тягучая пауза, в течение которой у него окончательно созрело новое решение, и он вскочил.

Стараясь не рассуждать больше, он быстрым шагом двинулся по своему следу назад.

6

Сотников не имел намерения начинать перестрелку — он просто упал на склоне, в голове закружилось, все вокруг поплыло, и он испугался, что уже не поднимется.

Отсюда ему хорошо было видно, как Рыбак внизу изо всех сил мчался к кустарнику, руки его по-прежнему были заняты ношей, и Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал: спасаться уже поздно. Задыхаясь от усталости, он неподвижно лежал в снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватят. Тогда он вытащил из снега винтовку и, чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в сумерки. Пусть знают, что так просто он им не дастся.

Наверно, его выстрел подействовал: они там, в поле, вроде бы остановились. И он подумал, что надо воспользоваться случаем и все же попытаться уйти. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны, он все же совладал со своей слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал. В это время они появились неожиданно близко от него — три неподвижных силуэта на сером горбу пригорка. Наверное, заметив его, крайний справа что-то вскрикнул, и Сотников, почти не целясь, выстрелил второй раз. Было видно, как они там шарахнулись от его пули, присели или пригнулись в ожидании новых выстрелов. Он же, загребая бурками снег, шатко и неуверенно побежал вниз, каждую секунду рискуя снова распластаться на заснеженном склоне. Рыбак уже был далеко, под самым кустарником, и Сотников подумал: может, уйдет? Он и сам из последних сил старался подальше отбежать от этого пригорка, но не сделал и сотни шагов, как сзади почти залпом ударили выстрелы.

Несколько шагов он еще бежал, уже чувствуя, что упадет, — в правом бедре вдруг запекло, липкая горячая мокрядь поползла по колену в бурок. Еще через несколько шагов почти перестал чувствовать ногу, которая быстро тяжелела и с трудом подчинялась ему. Через минуту он рухнул на снег. Сильной боли, однако, не чувствовал, было только нестерпимо жарко в груди и очень жгло выше колена. В штанине все стало мокрым. Некоторое время лежал, до боли закусив губу. В сознании уже не было страха, который он пережил раньше, не было даже сожаления — пришло лишь трезвое и будто

не его, а чье-то постороннее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели. Слегка удивляло, что она настигла его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз в самые безвыходные минуты смерть все-таки обходила его стороной. Но тут обойти уже не могла.

Сзади опять послышались голоса — наверно, это приближались полицаи, чтобы взять его. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге и едва превозмогая слабость, он приподнялся на руках, сел. Полы шинели, бурки, рукава и колени были густо выводяны в снегу, на штанине выше колена расплывалось мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на это внимание — двинув затвором, выбросил из винтовки стреляную гильзу и достал новый патрон.

Он снова увидел троих на склоне — один впереди, двое сзади, — неясные тени не очень уверенно опускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу, лег и тщательнее, чем прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел, что там, на склоне, все разом упали, и сразу же в ночной тишине загрохали их гулкие винтовочные выстрелы. Он понял, что задержал их, заставил считаться с собой, и это вызвало короткое удовлетворение. Расслабляясь после болезненного напряжения, опустился лбом на приклад. Он слишком устал, чтобы непрерывно следить за ними или хорониться от их выстрелов, и тихо лежал, приберегая остатки своей способности выстрелить еще. А те, с пригорка, дружно били по нему из винтовок. Раза два он услышал и пули — одна взвизгнула над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав лицо снегом. Он не пошевелился — пусть бьют. Если убьют, так что ж... Но пока жив, он их к себе не подпустит.

Смерти в бою он не боялся — перебоялся уже за десяток самых безвыходных положений, — страшно было стать для других обузой, как это случилось с их взводным Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу тот был ранен осколком в живот, и они совершенно измучились, пока тащили его по болоту мимо карателей, когда каждому нелегко было уберечь собственную голову. А вечером, когда выбрались в безопасное место, Жмаченко скончался.

Сотников больше всего боялся именно такой участи,

хотя, кажется, такая его минует. Спастись, разумеется, не придется. Но он был в сознании, имел оружие — это главное. Нога как-то странно мертвела от стопы до бедра, он уже не чувствовал и теплоты крови, которой, наверно, натекло немало. Те, на пригорке, после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся. Остальные остались лежать, а этот один черной тенью быстро скатился со склона и замер. Сотников потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильней стала болеть нога. Болело почему-то колено и сухожилие под ним, хотя пуля попала выше, в бедро. Он сжал зубы и слегка повернулся на левый бок, чтобы с правого снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула еще одна тень — сдается, они там по всем правилам армейской тактики, перебежками, приближались к нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрелил наугад, приблизительно — мушка и прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохали выстрелы оттуда — на этот раз около десятка, не меньше. Когда выстрелы утихли, он вынул из кармана новую обойму и перезарядил винтовку. Все-таки патроны надо было беречь, их оставалось всего пятнадцать.

Наверное, много времени он пролежал в этом снегу. Тело начало мерзнуть, нога болела все больше; от стужи и потери крови стал донимать озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли, будто пропали в ночи — нигде на пригорке не появилось ни одной тени. Но он чувствовал, что вряд ли они оставят его тут — постараются взять живым или мертвым. И он подумал: а может, они подползают? Или он стал плохо видеть? От слабости в глазах начали мельтешить темные пятна, слегка подташнивало. Он испугался, что может потерять сознание, и тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сберечь остатки своих малых сил, — не сдаться живым.

Сотников осторожно приподнял голову — в морозных сумерках впереди что-то мелькнуло. Человек? Но вскоре он с облегчением понял, что ошибся: перед стволом мельтешила былинка бурьяна. Тогда, сдерживая стон, он пошевелил раненой ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли, немного подвигал коленом. Пальцев ступни он уже не чувствовал вовсе. Впрочем,

черт с ними, с пальцами, думал он, теперь они ни к чему. Вторая нога была вполне здоровой.

Времени, наверно, прошло немало, а может, и не так много — он уже утратил всякое ощущение времени. Его тревожила теперь самая главная мысль: не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что они ползут, и чтобы как-нибудь задержать их приближение, он приложился к винтовке и опять выстрелил. Но полицаи медлили что-то, и он подумал, что, может, они заползли в лощину и пока не видят его. Тогда он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок.

Смерзшийся бурок вообще плохо снимался с ноги, сейчас его надо было содрать не вставая. И Сотников скорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка ничего не дала. Через минуту он уже изнемог, жарко дышал, обливаясь холодным потом. Но, передохнув немного и оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок.

Он стащил его после пятой или шестой попытки и, вконец обессилев, несколько минут не мог пошевелиться. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок и приподнял голову. Сдается, перед ним никого не было. Теперь пусть бегут — он был готов прикончить себя, стоило только впереть в подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск. И он порадовался тихой злой радостью: все-таки живым его не возьмут. Но у него еще были две обоймы патронов — ими он даст последний свой бой. Он привстал выше — где-то должны же они быть, эти его противники, не сквозь землю же они провалились...

Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он уже плохо видел в ночи? Впрочем, ночь как будто потемнела, месяц вверху опять куда-то исчез. Значит, жизнь все-таки окончится ночью, подумал он, в мрачном, промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей. Потом его, наверное, отвезут в полицию, разденут и зароют где-нибудь на конском могильнике. Зароют, и никто никогда не узнает, чей там покоится прах. Братская могила, которая когда-то страшила его, сейчас стала недостижимой мечтой, почти роскошью. Впрочем, все это мелочи. У него уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прослужившая ему на войне. Ни

разу она не заела, ни единым механизмом не подвела при стрельбе, бой ее был удивительно справен и меток. Другие имели скорострельные немецкие автоматы, некоторые носили СВТ — он же не расставался со своей трехлинейкой. Ползимы она была его надежной защитницей, а теперь вот, наверно, достанется какому-нибудь полицаю...

Начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее — как тогда нажать спуск? Превозмогая слабость и боль, он пошевелился в снегу и вдруг заметил на пригорке движение. Только не оттуда к нему, а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени медленно двигались по склону вверх. Скоро они были уже на самом верху пригорка, и он не мог понять, что там случилось. Они наверняка куда-то отправлялись — возможно, к саням или за помощью, он не смел даже и подумать, что они оставляли его. Но он явственно видел: они возвращались к дороге.

Значит, он оставался один. Но ведь он все равно долго не выдержит так на морозе, посреди поля и будет лишь медленно погибать от стужи и потери крови. Будто злясь на них за это их вероломство, Сотников кое-как прицелился и выстрелил.

И тут он понял, что опасался напрасно: невдалеке под пригорком прозвучал выстрел в ответ. Значит, караульщик все же остался. Те, наверное, отправились за помощью, а одного оставили следить за ним и держать его под обстрелом. Наверно, они сообразили, что он ранен и далеко не уйдет. Что ж, все правильно.

Однако новый поворот дела даже воодушевил его — с одним можно было побороться. Плохо, правда, что он не видел своего противника — наверно, удачно замаскировался, гад. А по выстрелам ночью не очень угадаешь, где тот засел. Полицай же, по всей вероятности, держал его на прицеле — стоило Сотникову приподнять голову, как вдали грохал выстрел. Значит, придется лежать и мерзнуть. Озноб уже тряс его непрерывно, и Сотников подумал, что долго так не протянет.

Но он тянул, неизвестно на что надеясь, хотя так просто мог бы покончить со всем. Может, он захотел спастись? По-видимому, захотел, особенно теперь, когда те сняли осаду. Только как? Ползти он не мог, раненой ногой старался не двигать даже. Но здоровая его нога

уже замерзала — значит, он вовсе оставался без ног. А без ног какое спасение?

Оставив в снегу винтовку, он повернулся на бок и, не поднимая головы, поискал бурок. Тот лежал близко, голенищем в снегу. Он дотянулся до бурка, высыпал снег и начал нащупывать его окоченевшей ногой, чтобы надеть. Надеть, однако, не удалось — это оказалось труднее, чем снять. Нога только вошла в голенище, как опять закружилась голова, и он сжался, стараясь перетерпеть приступ слабости и боли. В это время бахнул и гулким морозным эхом покатился по полю выстрел — оттуда же, из-под пригорка. Потом бахнуло в другой раз и в третий. Пуль, однако, он не услышал, да он и не вслушивался вовсе. Боком, скорчившись в своем снежном лежбище, он изо всех сил старался натянуть бурок. И он натянул его, хотя и не до конца, кое-как, и ему стало легче. Он даже повернул лицо, чтобы не так сильно жгло на снегу щеку и лоб.

И вдруг он услышал непонятно откуда донесшийся голос:

— Сотников, Сотников...

Это поразило его, и он подумал, что, наверное, ему уже мерещится. Тем не менее он оглянулся — сзади в темноте ворошилось что-то живое, вроде бы даже полз кто-то и повторял с тихой настойчивостью:

— Сотников, Сотников!

Ну, разумеется, это Рыбак! Сотников отчетливо расслышал его низкий встревоженный голос и тогда разом обмяк в своем мучительном напряжении. Хотя еще было неясно, хорошо это или нет, что Рыбак вернулся (может, путь к отходу был также отрезан), но он вдруг понял: гибель откладывается.

7

Они поползли к кустарнику — впереди Рыбак, за ним Сотников. Это был долгий, изнурительный путь. Сотников не успевал за товарищем, а иногда и вовсе замирал в снежной борозде, и тогда Рыбак, развернувшись, хватал его за ворот шинели и тащил за собой. Он также выбился из сил — мало того, что помогал Сотникову, еще волок на себе обе винтовки, которые все время сваливались со спины и застревали в снегу. Ночь потемнела, в сумрачной дымке совсем пропал месяц — это, возможно,

и спасло их. Правда, из-под пригорка два раза хлопнули выстрелы — наверно, тот полицай все же что-то заметил.

Кое-как добравшись до края кустарника, они залегли между мягких заснеженных кочек — темные ветки ольшаника неплохо скрывали их в ночных сумерках. Рыбак был весь мокрый — таял снег в рукавах и за воротником полушубка, от обильного пота взмокла спина. Он так устал, как не уставал, наверное, никогда в жизни, и беспомощно лежал ничком, лишь поглядывая в сторону пригорка: не бегут ли за ними. Но сзади никого не было, полицай хоть и заметил что-то, но преследовать, наверно, не отважился — тут недолго было и самому схлопотать пулю.

— Ну, как ты? — подал голос Рыбак, все еще жарко дыша густым, видимым даже в сумерках паром.

— Плохо, — едва слышно признался Сотников.

Он лежал на боку, запрокинув голову в плотно облегавшей ее смерзшейся пилотке. Раненая его нога была слегка приподнята коленом вверх и мелко, нервно дрожала. Рыбак тихо про себя выругался.

— Давай трогать. А то... обложут — не вырвешься.

Он приподнялся, но, прежде чем встать, вытащил изза воротника у Сотникова смятое свое полотенце и дрожащими от усталости руками туго перевязал его ногу выше колена. Сотников раза два дернулся от боли и задержал дыхание, подавляя стон. Рыбак, привстав на колени, подставил ему спину:

— Ну, цепляйся.

— Подожди, я сам, может...

Слабо заворошившись на снегу, Сотников кое-как поднялся на одно колено, с болезненной осторожностью отставляя в сторону раненую ногу, попытался подняться совсем, но это ему не удалось.

— Куда тебе! А ну держись!

Рыбак подхватил его под руку, и Сотников наконец встал; сильно припадая на раненую ногу, сделал два шага. Это ободрило Рыбака — если человек на ногах, то, наверно, не все потеряно. А то, как приполз к Сотникову и узнал, что тот ранен, стало не по себе: что он мог сделать с ним в таком положении? Теперь Рыбак понемногу стал успокаиваться, подумав, что, может, еще каклибо удастся вывернуться.

С помощью Рыбака Сотников неуклюже переступил раз и другой. Они полезли в негустой здесь, низкорослый кустарник с его рыхлым и довольно глубоким снегом. Сотников одной рукой держался за Рыбака, а другой хватался на ходу за стылые ветки ольшаника и, сильно припадая на раненую ногу, изо всех сил старался ступать быстрее. В груди у него все хрипело с каким-то нехорошим присвистом, иногда он начинал глухо и мучительно кашлять, и Рыбак весь сжимался: их легко могли услышать издали. Но он молчал. Он уже не спрашивал о самочувствии, — не давая себе передышки, настойчиво тащил Сотникова сквозь заросли.

За кустарником после лощины, оказавшейся довольно просторным замерзшим болотом, опять начался крутоватый подъем на пригорок. Они наискось вскарабкались на него, и Рыбак почувствовал, что силы его на исходе. Он уже не в состоянии был поддерживать Сотникова, который все грузнее оседал книзу, да и сам так изнемог, что они, не сговариваясь, почти одновременно рухнули в снег. Потом, сосредоточенно и громко дыша, долго лежали на склоне с удивительным равнодушием ко всему. Правда, Рыбак понимал, что с минуты на минуту их могут настичь полицаи, он все время ждал их рокового окрика, но все равно тело его было бессильно одолеть сковавшую усталость.

Может, четверть часа спустя, несколько справясь с дыханием, он повернулся на бок. Сотников лежал рядом и мелко дрожал в ознобе.

— Патроны остались?

— Одна обойма, — глухо прохрипел Сотников.

— Если что, будем отбиваться.

— Не очень отобьешься.

Действительно, с двадцатью патронами не долго продержишься, думал Рыбак, но другого выхода у них не оставалось. Не сдаваться же в конце концов в плен — придется драться.

— И откуда их черт принес? — Рыбак с новой силой начал переживать случившееся. — Вот уж действительно: беда одна не ходит...

Сотников молча лежал, с немалым усилием подавляя стоны. Его потемневшее на стуже, истерзанное болью лицо с заиндевевшей от дыхания щетиной вдруг показалось Рыбаку почти незнакомым, чужим, и это вызвало в нем какие-то скверные предчувствия. Рыбак

подумал, что дела напарника, по-видимому, совсем плохи.

— Очень болит?

— Болит, — буркнул Сотников.

— Терпи, — грубовато подбодрил Рыбак, подавляя в себе невольное и совершенно неуместное теперь чувство жалости. Затем он сел на снег и начал озабоченно осматривать местность, которая показалась совсем незнакомой: какое-то холмистое поле, недалекий лесок или рощица, а где был большой, нужный им лес, он не имел о том никакого понятия. Закрутившись во время бегства в кустарнике, он вдруг перестал понимать, где они находились и в каком направлении можно выйти к своим.

Это отозвалось в душе новой тревогой — не хватало еще заблудиться. Он хотел заговорить об этом с Сотниковым, но тот лежал рядом, будто не чувствуя уже ни тревоги, ни стужи, которая становилась все нестерпимее на холодном ветру в поле. Разгоряченное при ходьбе тело очень скоро начал пробирать мороз. Пока, однако, усталость приковывала их к земле, и Рыбак всматривался в сумеречные окрестности, мучительно соображая, куда податься.

Он пытался определить это, тщетно восстанавливая в памяти их путаный путь сюда, а инстинкт самосохранения настойчиво толкал его в направлении, противоположном кустарнику, за которым их настигла полиция. Казалось, полицаи опять появятся по их следу оттуда, следовательно, надо было уходить в противоположную сторону.

Когда это чувство окончательно овладело им, Рыбак встал и повесил на плечо обе винтовки.

— Давай как-нибудь...

Сотников начал с трудом подниматься, Рыбак и на этот раз поддержал его, но тот, оказавшись на ногах, высвободил локоть.

— Дай винтовку.

— Что, пойдешь?

— Попробую.

«Что ж, пробуй», — подумал Рыбак, с облегчением возвращая ему винтовку. Опираясь на нее, как на палку, Сотников кое-как ступил несколько шагов, и они очень медленно побрели по снежному полю.

Час спустя они уже далеко отошли от болота и слепо

тащились пологим полевым косогором. Рыбак чувствовал, что скоро начнет светать, что на исходе последние часы ночи и что они теперь очень просто могут не успеть. Если утро застигнет их в поле, тогда уже наверняка им не выкрутиться.

Пока их спасало то, что снег тут был неглубокий, ноги проваливались не так часто, как на болоте. Вокруг на снегу серели высохшие стебли бурьяна, местами они казались чуть гуще, и Рыбак обходил эти места, выбирая, где было помельче. Он старался не спускаться в лощину, боясь залезть там в сугробы, на пригорках было надежнее. Но их след слишком отчетливо обозначился на снегу — раз, оглянувшись, Рыбак испугался: так просто было их догнать даже ночью. Оглядываясь вокруг, он подумал, что какой бы опасной для них ни была дорога, которая уже едва их не погубила сегодня, но, видимо, опять надо выбираться на нее. Только на дороге можно спрятать среди других два своих следа, чтобы не привести за собой полицаев в лагерь.

Из сгустившихся ночных сумерек едва проступало снежное поле с редкими пятнами кустарника, одинокими полевыми деревцами; в одном месте что-то неясно зачернело, и, подойдя ближе, Рыбак увидел, что это валун. Дороги нигде не было. Тогда он круто повернул вверх — идти так стало труднее, но появилась надежда, что наверху, за пригорком, все-таки появится лес. В лесу удалось бы скрыться, потому что полицаи вряд ли сразу сунутся следом — наверно, сначала подумают и тем дадут возможность оторваться от преследователей.

Рыбак не впервые попадал в такое положение, но всякий раз ему как-то удавалось вывернуться. В подобных случаях выручали быстрота и находчивость, когда единственно правильное решение принималось без секунды опоздания. И он уходил. Тут тоже была такая возможность, по неизвестной причине предоставленная им полицаями, и он бы отлично воспользовался ею, если бы не Сотников. Но с Сотниковым далеко не уйдешь. Они еще не взобрались на холм, как напарник в который уж раз трудно закашлял, несколько минут тело его мучительно содрогалось, как будто в напрасных потугах выкашлять что-то. Рыбак остановился, потом вернулся к товарищу, попробовал поддержать его под руку. Но Сотников с трудом стоял на ногах, и он опустил его на твердый, вылизанный ветром снег.

— Что, плохо?

— Видно, не выбраться...

Рыбак промолчал — ему не хотелось заводить о том разговор, неискренне обнадеживать или утешать, он сам толком не знал, как выбраться. И даже в какую сторону выбираться.

Он недолго постоял над Сотниковым, который немощно скорчился на боку, подобрал раненую ногу. В сознании Рыбака начали перемешиваться различные чувства к нему: и невольная жалость оттого, что столько досталось одному (мало было болезни, так еще и подстрелили), и в то же время появилась неопределенная досада-предчувствие — как бы это Сотников не навлек беды на обоих. В этом изменчивом и неуловимом потоке чувств все чаще стала напоминать о себе, временами заглушая все остальное, тревога за собственную жизнь. Правда, он старался гнать ее от себя и держаться как можно спокойнее. Он понимал, что страх за свою жизнь — первый шаг на пути к растерянности: стоит только поддаться испугу, занервничать, как беды посыплются одна за другой. Тогда уж наверняка крышка. Теперь же хотя и пришлось туго, но не все еще, возможно, потеряно.

— Так. Ты подожди.

Оставив Сотникова, где тот лежал на снегу, Рыбак потащился по склону вверх, чтобы осмотреться. Ему все казалось, что за холмом лес. Они столько уже прошли в этой ночи, и если шли правильно, то должны очутиться где-то поблизости от леса.

Плохо, что совсем пропал месяц и поодаль ничего не было видно — ночь тонула в морозной туманной мгле: глухие предутренние сумерки обволакивали все вокруг. Тем не менее леса поблизости не было. За пригорком опять простиралось неровное, с пологими холмами поле, на котором что-то смутно серело, наверно, рощица, очень уж куцая рощица — гривка в поле, не больше. Всюду виднелись неопределенные пятна, темные брызги бурьяна, размытые, нечеткие силуэты кустов. Но вот из снежного полумрака выглянула коротенькая прямая черта — обозначилась на земле и исчезла. Рыбак с неожиданной легкостью заторопился к ней ближе и не заметил, как черточка эта как-то вдруг превратилась на снегу в темноватую полоску дороги. Довольно накатанная, с уезженными колеями и следами конских копыт, она яви-

лась как никогда кстати. Рыбак завернул назад и легко сбежал вниз с пригорка к скрюченному на снегу Сотникову.

— Дорога тут! Слышь!

Тот вяло приподнял кругловатую, неестественно маленькую в пилотке голову, заворошился, вроде начал вставать.

— С дороги где-нибудь сошмыгнем — не найдут. Только бы успеть — не напороться на какого черта.

С помощью Рыбака Сотников молча поднялся, непослушными пальцами удобнее охватил ложу винтовки.

Они медленно побрели к дороге. Рыбак тревожно оглядывался в сумерках — не покажутся ли где люди. Его напряженный взгляд привычно обшаривал поле, с наибольшим усилием стремясь проникнуть туда, где исчезал в ночи дальний конец дороги. И вдруг совершенно неожиданно для себя он заметил, что небо над полем как будто прояснилось, сделалось светло-синим, звезды притушили свой блеск, только самые крупные еще ярко горели на небосклоне. Этот явный признак рассвета взволновал его больше, чем если бы он увидел людей. Что-то в нем передернулось, подалось вперед, только бы прочь от этого голого, предательски светлеющего поля. Но ноги были налиты неодолимой усталостью, к тому же сзади едва ковылял Сотников. Хочешь или нет, приходилось медленно тащиться подвернувшейся дорогой — другого выхода не было.

Поняв это, он приглушил в себе нетерпение, тверже сжал зубы. Он ни слова не сказал Сотникову — тот и так едва брел, видно расходуя последние свои силы, и у Рыбака что-то сдвинулось внутри — он уже знал: удачи не будет. Ночь кончалась и тем снимала с них свою опеку, день обещал мало хорошего. И Рыбак с поникшей душой смотрел, как медленно и неуклонно занималось зимнее утро: светлело небо, из-под ночных сумерек яснее проступал снежный простор, дорога впереди постепенно длиннела и становилась видной далеко.

По этой дороге они потащились в сторону рощи.

8

Сотников не хуже Рыбака видел, что ночь на исходе, и отлично понимал, чем для них может обернуться это преждевременное утро.

Но он шел. Он собрал в себе все, на что еще было способно его обессилевшее тело, и, помогая себе винтовкой, с огромным усилием передвигал ноги. Бедро его мучительно болело, стопы он не чувствовал вовсе, мокрый от крови бурок смерзся и закостенел; другой, не до конца надетый, неуклюже загнулся на половине голенища, то и дело загребая снег.

Покамест они брели до леска, рассвело еще больше. Стало видно поле окрест, покатые под снегом холмы; слева, поодаль от дороги, в лощине тянулись заросли мелколесья, кустарник, но, кажется, это был тот самый кустарник, из которого они вышли. Большого же леса, который сейчас так нужен был им, не оказалось даже на горизонте — будто он провалился за ночь сквозь землю.

Рыбак, как обычно, настойчиво стремился вперед, что, впрочем, было понятно: они шли как по лезвию бритвы, каждую секунду их могли заметить, догнать, перехватить. К счастью, дорога все еще лежала пустая, а хвойный клочок впереди хотя и медленно, но все-таки приближался. Опираясь на винтовочный приклад и сильно хромая, Сотников сквозь боль то и дело бросал туда нетерпеливые взгляды — он жаждал скорее дойти, и не столько затем, чтобы скрыться с дороги, а больше чтобы обрести покой.

На беду, не успели они одолеть и половины пути к этой рощице, как Рыбак, выругавшись, будто вкопанный встал на дороге.

— Твое-мое! Это ж кладбище!

Сотников вскинул голову — действительно, теперь уже стало видать, что хвойный клочок, показавшийся им рощицей, на деле был сельским кладбищем: под раскидистыми ветвями сосен ясно виднелись несколько деревянных крестов, оградка и кирпичный памятник в глубине на пригорке. Но самое худшее было в том, что из-за сосен выглядывали соломенные крыши близкой деревни: ветер, видно было, косо тянул в небо хвост дыма из трубы.

Рыбак высморкался, рассеянно вытер пятерней нос.

— Ну, куда деться?

Деваться действительно было некуда, но и не стоять же так, посреди дороги. И они, еще более приунывшие и встревоженные, потащились к деревне.

Поначалу им вроде везло: деревня, наверно, только

еще просыпалась, и они, никого не встретив на своем пути, благополучно добрались до кладбища. Разных следов тут было в избытке — на дороге и возле нее в поле. По слабо обозначенной на снегу тропинке они поспешно свернули под низко нависшие ветви сосен. Обычно Сотников с трудом преодолевал в себе какое-то пугающе-брезгливое чувство при виде этого печального пристанища, всегда старался обойти его, не задерживаясь. Но теперь это кладбище, казалось, послано богом для их спасения — иначе где бы они укрылись на виду у деревни.

Они торопливо прошли мимо свежего, еще не присыпанного снегом глинистого бугорка детской могилки, и раскидистые суковатые сосны да несколько оград на снегу заслонили их от деревенских окон. Идти тут стало легче — Сотников, усердно помогая себе руками, хватался то за крест, то за комель дерева или штакетник ограды. Порядком отойдя от дороги, он подобрался к толщенному комлю сосны и тяжело рухнул в снег. За эту проклятую ночь все в нем исстрадалось, намерзлось, зашлось глубинной неутихающей болью.

Он страдал от своей физической беспомощности и лежал, прислонясь спиной к шершавому комлю сосны, закрыв глаза, чтобы не встретиться взглядом с Рыбаком, не начать с ним разговор. Он знал, о чем будет этот разговор, и избегал его. Он чувствовал себя почти виноватым оттого, что, страдая сам, подвергал риску товарища, который без него, конечно, был бы уже далеко. Рыбак был здоров, обладал больше, чем Сотников, жаждой жить, и это налагало на него определенную ответственность за обоих.

Так думал Сотников, нисколько не удивляясь безжалостной настойчивости Рыбака в попытках выручить его минувшей ночью. Он относил это к обычной солдатской взаимовыручке и не имел бы ничего против Рыбаковой помощи, будь она обращена к кому-нибудь третьему. Но сам он, хотя и был ранен, ни за что не хотел признать себя слабым, нуждавшимся в посторонней помощи — это было для него непривычно и противно всему его существу. Как мог, он старался справиться с собой сам, а там, где это не получалось, умерить свою зависимость от кого бы то ни было. И от Рыбака тоже.

Однако Рыбак, видно мало вникая в переживания

товарища, продолжал заботиться о нем и, немного передохнув, сказал:

— Подожди тут, а я подскочу. Вон хата близко. В случае чего в гумне перепрячемся.

«Подождать — это хорошо, — подумал Сотников, — лишь бы не идти». Ждать он готов был долго, только бы дождаться чего-нибудь обнадеживающего. Рыбак устало поднялся на ноги, взял карабин. Чтобы тот не бросался в глаза, перехватил его, словно палку, за конец ствола и широко зашагал по заснеженным буграм могил. Сотников раскрыл глаза, повернувшись немного на бок, подобрал поближе винтовку. Между стволов сосен совсем недалеко была видна крайняя изба деревни, развалившийся сарай при ней; на старом, покосившемся тыне ветер трепал какую-то забытую тряпку.

Людей там как будто не было.

Рыбак вскоре пропал из его поля зрения, но в деревне по-прежнему было тихо и пустынно. Чтобы удобнее пристроить раненую ногу, Сотников ухватился за шероховатую, в лишаях палку ограды, и та, тихо хрустнув, осталась в его руке. Могила была старая, наверно, давно заброшенная, в ее ограде из-под снега торчал одинокий камень, не было даже креста. Струхлевшая ограда доживала свой век — видно, это было последнее, что осталось от человека на земле. И вдруг Сотникову стало нестерпимо тоскливо на этом деревенском кладбище, среди могильных оград и камней, гнилых, покосившихся крестов, глядя на которые он с печальной иронией подумал: «Зачем? Зачем весь этот стародавний обычай с памятниками, который, по существу, не более чем наивная попытка человека продлить свое присутствие на земле после смерти? Но разве это возможно? И зачем это надо?

Нет, жизнь — вот единственная реальная ценность для всего сущего и для человека тоже. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она станет категорией-абсолютом, мерой и ценою всего. Каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, будет не меньшею ценностью для общества в целом, сила и гармония которого определяются счастьем всех его членов. А смерть, что ж — смерти не избежать. Важно только устранить насильственные, преждевременные смерти, дать человеку возможность разумно и с толком использовать и без того не так уж продолжительный

свой срок на земле. Ведь человек при всем его невероятном могуществе, наверно, долго еще останется все таким же физически легко уязвимым, когда самого маленького кусочка металла более чем достаточно, чтобы навсегда лишить его единственной и такой дорогой ему жизни.

Да, физические способности человека ограничены в своих возможностях, но кто определит возможности его духа? Кто измерит степень отваги в бою, бесстрашие и твердость перед лицом врага, когда человек, начисто лишенный всяких возможностей, оказывается способным на сокрушающий взрыв бесстрашия?»

Сотников на всю жизнь запомнил, как летом в полевом шталаге немцы допрашивали пожилого седого полковника, искалеченного в бою, с перебитыми кистями рук, едва живого. Этому полковнику, казалось, просто неведомо было чувство страха, и он не говорил, а метал, в гестаповского офицера гневные слова против Гитлера, фашизма и всей их Германии. Немец мог бы прикончить его кулаком, мог застрелить, как за час до того застрелил двух политруков-пехотинцев, но этого человека он даже не унизил ругательством. Похоже, что он впервые услышал такое и просто опешил, потом схватился за телефон, что-то доложил начальству, видно ожидая решения свыше. Разумеется, полковника затем расстреляли, но те несколько минут перед расстрелом были его триумфом, его последним подвигом, наверно, не менее трудным, чем на поле боя; ведь не было даже надежды, что его услышит кто-то из своих (они случайно оказались рядом, за стенкой барака).

Медленно и все глубже промерзая, Сотников терпеливо поглядывал на край кладбища, где сразу же, как только он появился, увидел Рыбака. Вместо того чтобы пойти напрямик, Рыбак старательно прошел вдоль ограды к полю, наверное, чтобы не было видно из деревни, и только потом повернул к нему.

Минуту спустя он был уже рядом и, запыхавшись, упал в снег под сосной.

— Кажись, порядок. Понимаешь, там хата, клямка на щепочке. Послушал, будто никого...

— Ну?

— Так это, понимаешь... Может, я тебя заведу, погреемся, а потом...

Рыбак умолк в нерешительности, озабоченно погля-

дел в утренний простор поля, который уже был виден далеко. Голос его сделался каким-то неуверенным, будто виноватым, и Сотников догадался.

— Ну что ж! Я останусь.

— Да, знаешь, так лучше будет, — заметно обрадовался Рыбак. — А мне надо... Только где тот чертов лес, не пойму. Заблудились мы.

— Спросить надо.

— Спросим... А ты это, потерпи пока. Потом, может, переправим куда-нибудь. Понадежнее.

— Ладно, ладно, — нарочито бодрым тоном ответил на это Сотников.

— И ты не беспокойся, я договорюсь. Накажу, чтоб смотрели, и все прочее...

Сотников молчал. В общем, все было логично и, пожалуй, правильно, тем не менее что-то обидное шевельнулось в его душе. Правда, он тут же почувствовал, что это от слабости и как следствие проклятой ночи. На что было обижаться? Отношения их вполне равноправные, никто никому не обязан. И так, слава богу, Рыбак для него сделал все, что было возможно. Можно сказать, спас при самых безнадежных обстоятельствах, и теперь пришло время развязать ему руки.

— Что ж, тогда пошли. Пока никого нет.

Сотников первым попытался подняться, но только чуть двинул раненой ногой, как его пронзила такая лютая боль, что он вытянулся на снегу. Выждав минуту, кое-как совладал с собой и, крепко сжав зубы, поднялся.

По краю пригорка между молодых сосенок они сошли с кладбища. Невдалеке попалась хорошо утоптанная стежка, которая привела их на голый, ничем не огороженный двор. Несколько на отшибе от села стояла довольно большая, но уже старая, запущенная изба с замазанными глиной углами, выбитым и заткнутым какой-то тряпкой окошком. В почерневшем пробое на двери действительно торчала наспех воткнутая щепка — наверно, кто-то недалеко вышел и дома никого не осталось. Сотников подумал, что так, может, и лучше: по крайней мере, на первых порах обойдутся без объяснений, не очень приятных в подобных случаях.

Рыбак вынул щепку, пропустил в сени напарника, дверь тихо прикрыл изнутри. В сенях было темновато. Под стенами громоздились какие-то кадки, разная хозяйская рухлядь, стоял громадный, окованный ржавым же-

лезом сундук, угол занимали жернова. Сотников уже видел однажды это нехитрое деревенское приспособление для размола зерна: два круглых камня в неглубоком ящике и укрепленная где-то вверху палка-вертушка. Маленькое, затянутое паутиной окошко в стене позволило им отыскать дверь в избу.

Опираясь о стену, Сотников кое-как добрался до этой двери, с помощью Рыбака перелез высокий порог. Изба встретила их затхлой смесью запахов и теплом. Он протянул руку к ободранному боку печи — та была свеженатоплена, и в его тело хлынуло такое блаженство, что он не сдержал стона, наверно, впервые прорвавшегося за всю эту ужасную ночь. Он обессиленно опустился на коротенькую скамейку возле печи, едва не опрокинув какие-то горшки на полу. Пока устраивал ногу, Рыбак заглянул за полосатую рогожку, которой был занавешен проход в другую половину избы, — там раза два тихонько проскрипела кровать. Сотников напряг слух — сейчас должно было решиться самое для них главное.

— Вы одни тут? — твердым голосом спросил Рыбак, стоя в проходе.

— Ну.

— А отец где?

— Так нету.

— А мать?

— Мамка у дядьки Емельяна молотит. На хлеб зарабатывает. Ведь нас четверо едоков, а она одна работница.

— Ого, как ты разбираешься! А там что — едоки спят? Ладно, пусть спят, — тише сказал Рыбак. — Ты чем покормить нас найдешь?

— А бульбочку мамка утром варила, — отозвался словоохотливый детский голос.

Тотчас на полу там затопали босые пятки, и из-за занавески выглянула девочка лет десяти со всклокоченными волосами на голове, в длинноватом и заношенном ситцевом платье. Черными глазенками она коротко взглянула на Сотникова, но не испугалась, а с хозяйской уверенностью подошла к печи и на цыпочках потянулась к высоковатой для нее загнетке. Чтобы не мешать ей, Сотников осторожно подвинул в сторону свою бедолагу ногу.

Под окном стоял непокрытый стол, возле него была скамья с глиняной миской; девочка переставила миску на конец стола и вытряхнула в нее из горшка картошку.

Движения ее маленьких рук были угловаты и не очень ловки, но девочка с очевидным усердием старалась угодить гостям — вынула из посудника нож, повозившись в темном углу, поставила на стол тарелку с большими сморщенными огурцами. Потом отошла к печи и с молчаливым любопытством стала рассматривать этих вооруженных, заросших бородами, наверное, страшноватых, но, безусловно, интересных для нее людей.

— Ну давай подрубаем, — подался к столу Рыбак.

Сотников еще не отогрелся, намерзшееся его тело содрогнулось в ознобе, но от картошки на столе струился легкий, удивительно ароматный парок, и Сотников встал со скамейки. Рыбак помог ему перебраться к столу, устроил на скамье раненую ногу. Так было удобнее. Сотников взял теплую, слегка подгоревшую картофелину и привалился спиной к побеленной бревенчатой стене. Девочка с прежней уважительностью стояла в проходе и, колупая край занавески, бросала на них быстрые взгляды своих темных глаз.

— А хлеба, что, нет? — спросил Рыбак.

— Так вчера Леник все съел. Как мамку ждали.

Рыбак, помедлив, достал из-за пазухи прихваченную у старосты горбушку и отломил от нее кусок. Затем отломил другой и молча протянул девочке. Та взяла хлеб, но есть не стала — отнесла за перегородку и снова вернулась к печи.

— И давно мать молотит? — спросил Рыбак.

— От позавчера. Она еще неделю молотить будет.

— Понятно. Ты старшая?

— Ага, я большая. Катя с Леником маленькие, а мне уже девять.

— Много. А немцев у вас нету?

— Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке Гелене ходили. У нас подсвинка рябого забрали. На машине увезли.

Сотников кое-как проглотил пару картофелин и опять зашелся в своем неотвязном кашле. Минут пять тот бил его так, что казалось — вот-вот что-то оборвется в груди. Потом немного отлегло, но стало не до картофеля, он только выпил полкружки воды и закрыл глаза. В ощущениях его что-то плыло, качалось, болезненно-сладостная истома убаюкивала, он засыпал. В замутненном сознании быстро отдалялись смешивающиеся голоса Рыбака и девочки.

— А мать как звать? — хрустя огурцом, спрашивал Рыбак.

— Дёмчиха.

— Ага. Значит, ваш папка Демьян.

— Ну. А еще Авгинья мамку зовут.

Было слышно, как Рыбак заскрипел скамьей, наверно, потянулся за новой картофелиной, под столом загремели его сапоги. Разговор на какое-то время умолк, но затем прозвучал вкрадчивый, с лукавым любопытством голос девочки:

— Дядя, а вы партизаны?

— А тебе зачем знать? Мала еще.

— А вот и знаю, что партизаны.

— Знаешь, так помолчи.

— А того дядю, наверно, ранили, да?

— Ранили или нет, о том ни гугу. Поняла?

Девочка промолчала. Разговор на минуту затих.

— Я за мамкой сбегаю, хорошо?

— Сиди и не рыпайся. А то еще накличешь какую холеру.

— ...Холера на них! Люди мы или скотина?

— Были люди...

Но это уже не настоящее — это голоса из прошлого. Сознание Сотникова еще успевает отметить этот почти неуловимый переход в забытье, и дальше уже видится тот, раненный в ногу лейтенант, который едва ковыляет в колонне, опираясь на плечо более крепкого товарища. У лейтенанта забинтована еще и голова. Бинт старый, грязный, с запекшейся коркой крови на лбу; иссохшие губы и нехороший лихорадочный блеск покрасневших глаз придают его исхудавшему лицу какой-то полусумасшедший вид. От его раненой ноги распространяется такой смрад, что Сотникова слегка мутит: сладковатый запах гнили на пять шагов отравляет воздух. Их гонят колонной в лес — реденький соснячок при дороге. Под ногами пересыпается белый, с хвойными иголками песок, нещадно жжет полуденное солнце. Конные и пешие немцы сопровождают колонну.

Говорят, гонят расстреливать.

Это похоже на правду — тут те, кого отобрали из всей многотысячной массы в шталаге: политработники, коммунисты, евреи и прочие, чем-либо вызвавшие подозрение у немцев. Сотникова поставили сюда за неудачный побег. Наверно, там, на песчаных холмах в сосняке, их расстре-

ляют. Они уже чувствуют это по тому, как, свернув с дороги, настороженно подобрались, стали громче покрикивать их конвоиры — начали теснее сбивать в один гурт колонну. На пригорке, видно было, стояли и еще солдаты, наверно, ждали, чтобы организованно сделать свое дело. Но, судя по всему, случаются накладки и у немцев. Колонна еще не достигла пригорка, как конвоиры что-то загергетали с теми, что были на краю соснячка, затем прозвучала команда всем сесть — как обычно делалось, когда надо было остановить движение. Пленные опустились на солнцепеке и под стволами автоматов стали чего-то ждать.

Все последние дни Сотников был словно в прострации. Чувствовал он себя скверно — обессилел без воды и пищи. И он молча, в полузабытьи сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве без особых мыслей в голове и, наверно, потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом: «Хоть одного, а прикончу. Все равно...» — «Погоди ты. Посмотрим, что дальше». — «Разве неясно что». Сотников осторожно повел в сторону взглядом — тот самый его сосед-лейтенант незаметно для других доставал из-под грязных бинтов на ноге обыкновенный перочинный ножик, и в глазах его таилась такая решимость, что Сотников подумал: такого не удержишь. А тот, к кому он обращался — пожилой человек в комсоставской, без петлиц гимнастерке, — опасливо поглядывал на конвоиров. Двое их, сойдясь вместе, прикуривали от зажигалки, один на коне чуть поодаль бдительно осматривал колонну.

Они еще посидели на солнце, может, минут пятнадцать, пока с холма не послышалась какая-то команда, и немцы начали поднимать колонну. Сотников уже знал, на что решился сосед, который сразу же начал забирать из колонны в сторону, поближе к конвоиру. Конвоир этот был сильный, приземистый немец, как и все, с автоматом на груди, в тесном, пропотевшем под мышками кителе; из-под мокроватой с краев суконной пилотки выбивался совсем не арийский — черный, почти смоляной чуб. Немец торопливо докурил сигарету, сплюнул сквозь зубы и, по-видимому намереваясь подогнать какого-то пленного, нетерпеливо ступил два шага к колонне. В то же мгновение лейтенант, словно коршун, бросился на него сзади и по самый черенок вонзил нож в его загорелую шею.

Коротко крякнув, немец осел наземь, кто-то поодаль

крикнул: «Полундра!» — и несколько человек, будто их пружиной метнуло из колонны, бросились в поле. Сотников тоже рванулся прочь. Лейтенант, который сначала бежал, но вдруг споткнулся, упал на бок под самые ноги Сотникову и тут же ножом широко полоснул себя поперек живота. Сотников перескочил через его тело, едва не наступив на судорожно скрюченную руку, из которой, коротко сверкнув мокрым лезвием, выпал в песок маленький, с указательный палец, ножик.

Замешательство немцев длилось секунд пять, не больше, тотчас же в нескольких местах ударили очереди — первые пули прошли над его головой. Но он бежал. Кажется, никогда в жизни он не мчался с такой бешеной прытью, и в несколько широких прыжков взбежал на бугор с сосенками. Пули уже густо и беспорядочно пронизывали сосновую чащу, со всех сторон его осыпало хвоей, а он все мчал, не разбирая пути, как можно дальше, то и дело с радостным изумлением повторял про себя: «Жив! Жив!»

К сожалению, соснячок оказался совсем узенькой недлинной полоской, которая через сотню шагов неожиданно окончилась, впереди разлеглось установленное рядами крестцов сжатое поле. Однако деваться ему было некуда, и он рванулся дальше — по стерне через поле, туда, где курчавились зеленые кусты низкорослого ольшаника.

Тут его скоро заметили, сзади раздался крик, треснул недалекий выстрел — пуля, словно кнутом, хлестко стеганула его по брюкам, разрубив пустой портсигар в кармане. Сотников явственно почувствовал этот удар и оглянулся: низко пригнувшись над гривой лошади и вскинув правую, с пистолетом руку, за ним скакал всадник. От лошади, понятно, не уйдешь, и Сотников повернулся лицом к преследователю. Конь едва не сшиб его с ног, в последний момент он как-то увернулся от его копыт, метнувшись за ближайший в ряду крестец. Немец, резко откинувшись в седле, выбросил руку — грохнувший выстрел перебил на верхнем снопе перевясло — солома, туго пырснув в стороны, осыпалась на стерню. Но Сотников все же уцелел и в отчаянном порыве схватил изпод ног камень — обычный, размером в кулак, полевой булыжник. Опять как-то уклонившись от лошади, он с силой бросил камень прямо в лицо всаднику, тот преждевременно грохнул выстрелом, но и в этот раз мимо. По-

чувствовав спасительную силу в этих камнях, Сотников начал хватать из-под ног и швырять в немца, который вертелся на разгоряченном коне вокруг, норовя выстрелить наверняка. Еще два выстрела прогремели в поле, но и они не задели беглеца, который, обрадовавшись своей удаче, с камнем в руке бросился за другой ряд крестцов.

Пока немец управлялся со вздыбившимся конем, Сотников пробежал десяток шагов к следующему ряду и снова круто обернулся, чтобы ударить навстречу. На этот раз он попал в голову лошади, и немец снова промазал. Сотников швырнул в него еще три камня подряд, увертываясь от лошадиных копыт и все дальше перебегая от крестца к крестцу. Но вот крестцы кончились, в ряду остался последний. Сотников в изнеможении упал за ним на колени, сжав в руке камень. В этот раз немец решительно направил коня на крестец, видимо намереваясь сшибить беглеца копытами. Конь высоко взвился на задних ногах и, екнув селезенкой, тяжело прыгнул, обрушивая крестец и заваливая снопами Сотникова. Падая, тот, однако, радостно вскрикнул — промелькнувший перед ним парабеллум в руке немца круто выгнулся вверх затвором: вышла обойма. Поняв свою оплошность, немец сгоряча резко осадил коня, и тогда Сотников, вскочив, со всех ног бросился к недалекому уже кустарнику.

Его преследователь потерял несколько очень важных секунд, пока перезаряжал пистолет — для этого надо было придержать коня, — и Сотников успел добежать до ольшаника. Тут уже конь ему был не страшен. Не обращая внимания на опять раздавшиеся выстрелы и ветки, раздиравшие его лицо, он долго бежал, пока не забрался в болото. Деваться было некуда; и он влез в кочковатую, с окнами стоячей воды трясину, из которой уже никуда не мог выбраться. Там он понял, что если не утонет, то может считать себя спасенным. И он затаился, до подбородка погрузившись в воду и держась за тоненькую, с мизинец, лозовую ветку, все время напряженно соображая: выдержит она или нет. Если бы ветка сломалась, он бы уже не удержался, силы у него не осталось. Но ветка не позволила ему скрыться с головой в прорве, мало-помалу он отдышался и, как только вдали затихла стрельба, с трудом выбрался на сухое.

Была уже ночь, он отыскал в небе Полярную и, почти не веря в свое спасение, побрел на восток.

9

Сотников неподвижно лежал на скамье за столом, наверно, уснул, а Рыбак пересел поближе к окну и из-за косяка стал наблюдать за тропинкой. Он немного перебил голод картошкой, делать тут ему было нечего, но уйти было нельзя — приходилось ждать. А кому не известно, что ждать и догонять хуже всего.

Наверно, по этой или еще по какой-либо причине в нем начала расти досада, даже злость, хотя злиться вроде и не было на кого. Разве на Сотникова, которого он не мог оставить на этих детей. Хозяйка не возвращалась, послать за ней он не решался: как в таком деле полагаться на ребятенка?

И он сидел у окна, неизвестно чего ожидая, прислушиваясь к случайным звукам извне. По ту сторону перегородки повставали дети, слышалась их приглушенная возня в кровати — иногда на проходе отодвигалась дерюжка, и в щели появлялось мурзатое, любопытствующее личико. Но оно тут же исчезало. Девочка там крикливо командовала, никого не выпуская из-за перегородки.

Рыбак до мельчайших подробностей изучил стежку за окном, остатки разломанной изгороди и край неогороженного кладбища с колючим кустарником по меже. Тряпка, затыкавшая разбитое стекло, неплохо скрывала его в окне. На сыром гниловатом подоконнике стояло несколько грязных пустых пузырьков от лекарств, валялись клубок льняных ниток и тряпичная кукла, глаза и рот которой были искусно нарисованы чернилами. Напротив за столом беспокойно дышал во сне Сотников, которого надо было устроить надежнее, но для того нужна была хозяйка. Томясь и нервничая в неопределенном своем ожидании, Рыбак почти с неприязнью слушал нездоровое дыхание товарища, все больше сокрушаясь оттого, что им так не повезло сегодня. И все из-за Сотникова. Рыбак был незлой человек, но, сам обладая неплохим здоровьем, относился к больным без излишнего сочувствия, не понимая иногда, как это возможно простудиться, занемочь, расхвораться. «Действительно, — думал он, — заболеть на войне — самое нелепое, что можно и придумать».

За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное чувство к слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не могли, не умели.

Он-то старался уметь и мочь все. Правда, до войны кое в чем было трудновато, особенно когда дело касалось грамотности, образования — он не любил книжной науки, для которой нужны были терпение и усидчивость. Рыбаку больше по душе было живое, реальное дело со всеми его хлопотами, трудностями и неувязками. Наверно, поэтому он три года прослужил старшиной роты — характером его бог не обделил, энергии также хватало. На войне Рыбаку в некотором смысле оказалось даже легко, по крайней мере, просто: цель борьбы была очевидной, а над прочими обстоятельствами он не очень раздумывал. В их партизанской жизни приходилось очень несладко, но все-таки легче, чем прошлым летом на фронте, и Рыбак был доволен. В общем, ему пока что везло, наибольшие беды его обходили, он понял, что главное в их тактике — не растеряться, не прозевать, вовремя принять решение. Наверное, смысл партизанской борьбы заключался в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, чинить вред врагу, и тут он чувствовал себя полноценным партизанским бойцом.

— Мамка, мамка идет! — вдруг радостно вскричала детвора за перегородкой.

Рыбак метнул взглядом в окно и увидел на стежке женщину, которая мелкими шажками торопливо семенила к избе. Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на голову, свидетельствовали не о первой молодости хозяйки, хотя, по-видимому, она еще не была и старой. Следуя за ней взглядом, Рыбак осторожно подвинулся за окном. От детского крика встрепенулся за столом Сотников, но, увидев Рыбака поблизости, опять покойно вытянулся на скамье.

Когда в сенях стукнула щеколда, Рыбак отодвинулся на конец скамьи и постарался принять спокойный, вполне добропорядочный вид. Надо было как можно приветливее встретить хозяйку, не напугать и не обидеть ее: с ней предстояло договориться о Сотникове.

Она еще не открыла двери, как из-за перегородки высыпала детвора — две девочки, приподняв занавеску, остались на выходе, а лет пяти мальчик, босой, в рваных, на шлейках штанишках, бросился к порогу навстречу:

— Мамка, мамка, у нас палтизаны!

Войдя, она сразу подалась вперед, чтобы подхватить мальчика на руки, но вдруг выпрямилась и с недо-

уменным испугом взглянула на незнакомого ей человека.

— Здравствуйте, хозяйка, — со всей доброжелательностью, на которую он был способен сейчас, сказал Рыбак.

Но хозяйка уже согнала с усталого лица удивление, мельком взглянула на стол с пустой миской, и что-то на ее лице передернулось.

— Здравствуйте, — холодно ответила она, отстраняя от себя ребенка. — Сидите, значит?

— Да вот как видите. Вас ждем.

— Это какая же у вас ко мне надобность?

Нет, тут не заладилось что-то, женщина явно не хотела настраиваться на тот тон, который предлагал Рыбак, — что-то суровое, злое и сварливое послышалось в ее голосе.

Он пока смолчал, а она тем временем расстегнула старенький латаный тулупчик, стащила с головы платок. Рыбак пристально вглядывался в нее — свалянные, нечесанные волосы, запыленные мочки ушей, утомленное, какое-то серое, не очень еще и пожилое лицо с сетью ранних морщин возле рта красноречиво свидетельствовали о непреходящей горечи ее трудовой жизни.

— Какая еще надобность? — Она бросила платок на шест возле печи, опять повела взглядом на конец стола с миской. — Хлеба? Сала? Или, может, яиц на яичницу захотелось?

— Мы не немцы, — сдержанно сказал Рыбак.

— А кто же вы? Может, красные армейцы? Так красные армейцы на фронте воюют, а вы по зауглам шастаете. Да еще падавай вам бульбочки, огурчиков... Гэлька, возьми Леника! — крикнула она старшей, а сама, не раздеваясь, на скорую руку начала прибирать возле печи: горшки — на загнетку, ведро — к порогу, веник — в угол.

За столом начал настойчиво кашлять Сотников, она покосилась на него, нахмурилась, но промолчала; продолжая убирать, задернула грязную занавеску над лазом в подпечье. Рыбак поднялся, сознавая, что допустил ошибку: видимо, обращаться с ней надо было построже, с этой сварливой, раздраженной бабой.

— Напрасно, тетка. Мы к вам по-хорошему, а вы ругаться.

— Я разве ругаюсь? Если бы я ругалась, вашей бы

и ноги здесь не было. Цыц вы, холеры! Вас еще не хватало! — прикрикнула она на детей. — Гэля, возьми Леника, сказала! Леник, побью!

— А я, мамка, палтизанов смотлеть хочу.

— Я тебе посмотрю! — с угрозой топнула она к перегородке, и дети исчезли. — Партизаны!

Рыбак внимательно наблюдал за ней, размышляя: отчего бы ей быть такой злой, этой Дёмчихе? В голове его возникали самые различные на этот счет предположения: жена полицая, какая-нибудь родня здешнего старосты или, может, чем-либо обиженная при Советской власти? Но, поразмыслив, он отбросил все эти домыслы, явно не вязавшиеся с нищенским видом этой женщины.

— А где твой Дёмка? — вдруг спросил Рыбак.

Она выпрямилась и как-то настороженно, почти испуганно взглянула на него:

— А вы откуда знаете Дёмку?

— Знаем.

— Чего ж тогда спрашиваете? Разве теперь бабы знают, где их мужики? Побросали, вот и живи как хочешь.

Она взяла с порога веник и начала заметать возле печи. Все ее размашистые движения свидетельствовали о крайнем нерасположении к этим непрошеным гостям. Рыбак все думал, не зная, как наконец подступиться к Дёмчихе с тем главным разговором, ради которого он дожидался ее.

— Тут, видишь ли, тетка, товарищ того...

Она разогнулась, подозрительно взглянула на Сотникова в углу. Тот двинулся, попытался встать и заметно подавил стон. Дёмчиха на минуту замерла с веником в руках. Рыбак поднялся со скамьи.

— Вот видишь, плохо ему, — сказал он.

Сотников минуту корчился от боли в ноге, обеими руками держась за колено и сжимая зубы, чтобы не застонать.

— Черт, присохла, наверно.

— А ты не дергайся. Лежи спокойно. Тебя же не гонят.

Пока Рыбак устраивал на скамье его ногу, Дёмчиха все хмурилась, но мало-помалу резковатое выражение на ее лице стало смягчаться.

— Подложить что-нибудь надо, — сказала она и пошла за перегородку, откуда вынесла старую, с вылезши-

ми клочьями серой ваты, измятую телогрейку. — На, все мягче будет.

«Так, — мысленно отметил Рыбак. — Это другое дело. Может, еще подобреет эта злая баба». Сотников приподнялся, она сунула телогрейку под его голову, и он, покашливая, тут же опустился снова. Дыхание его попрежнему было частым и трудным.

— Больной, — уже другим тоном, спокойнее сказала Дёмчиха. — Жар, видимо. Вон как горит!

— Пройдет, — отмахнулся рукой Рыбак. — Ничего страшного.

— Ну конечно, вам все не страшно, — начала сердиться хозяйка. — И стреляют вас — не страшно. И что мать где-то убивается — ничего. А нам... Зелья надо сварить, напиться, вспотеть. А то вон кладбище рядом.

— Кладбище — не самое худшее, — кашляя, сказал Сотников.

Он как-то нехорошо оживился после короткого забытья, наверно, от температуры резко раскраснелись щеки, в глазах появился лихорадочный блеск, неестественная порывистость сквозила в его неверных движениях.

— Что же еще может быть хуже? — допытывалась Дёмчиха, убирая со стола миски. — Наверно ж, в пекло не верите?

— Мы в рай верим, — шутливо бросил Рыбак.

— Дождетесь рая, а как же.

Забрякав заслонкой, хозяйка полезла в печь, задвигала там чугунами. Однако похоже было на то, что она уже успокоилась, даже подобрела. Рыбак чувствовал это и думал, что, может, как-либо все еще устроится.

— Нам бы теплой водички — рану обмыть. Ранили его, тетка.

— Да уж вижу. Не собака укусила. Вон всю ночь под Старосельем бахали, — как бы невзначай сообщила она, опершись на ухват. — Говорят, одного полицая подстрелили.

— Полицая?

— Ну.

— А кто сказал?

— Бабы говорили.

— Ну, если бабы, то верно, — улыбнулся на конце скамейки Рыбак. — Они все знают.

Дёмчиха сердито оглянулась от печи.

— А что, нет? Бабы-то знают. А вы вот не знаете. Если бы знали — не спрашивали.

Она подала им воду в чугунке и направилась за занавеску к детям.

— Ну, вы уж сами. А то не хватало мне еще вам портки снимать.

— Ладно, ладно, — согласился Рыбак и ступил к Сотникову. — Давай бурок снимем.

Сотников сжал зубы, вцепился руками в скамью, и Рыбак с усилием стащил с его ноги мокрый, окровавленный бурок. Дальше надо было снять брюки, и Сотников, поморщившись, выжал:

— Я сам.

Видать по всему, ему было мучительно больно, и все же, расстегнув, он сдвинул до коленей также окровавленные штаны. Среди подсохших кровавых подтеков на теле Рыбак увидел наконец ранку. Она оказалась совсем небольшой, подпухшей, с синеватым ободком вокруг и с виду вовсе не страшной — типичной пулевой раной, которая еще чуть-чуть кровоточила. С другой стороны бедра выхода не было, что значило: пуля застряла в ноге. Это уже было похуже.

— Да, слепое, — озабоченно сказал Рыбак. — Придется доставать.

— Ладно, ты же не достанешь, — начал раздражаться Сотников. — Так завязывай, чего разглядывать.

— Ничего, что-то придумаем. Хозяюшка, может, и перевязать чем найдется? — громче спросил Рыбак, а сам мокрым полотенцем начал отирать с тела подсохшую кровь.

Нога Сотникова болезненно вздрагивала, тот, однако, напрягался и терпел, и Рыбак подумал, что, в общем, ранение не слишком тяжелое, если только пуля не задела кости. Если пулю извлечь, то за месяц все зарастет. Куда важнее было этот месяц где-то перепрятаться, чтобы не попасть к немцам.

Вскоре Дёмчиха появилась в дверях с чистым полотняным обрывком в руках, и Сотников стеснительно съежился.

— Не бойтесь, не укушу. Нате вот, перевязывайте чем нашла.

Все время, пока Рыбак бинтовал бедро, Сотников, сжимая зубы, подавлял стон и, как только все было окон-

чено, пластом свалился на скамью. Рыбак сполоснул в чугунке руки.

— Ну вот операция и закончена. Хозяюшка!

— Вижу, не слепая, — сказала Дёмчиха, появляясь в дверях.

— А что дальше — вот загвоздка. — Рыбак с очевидной заботой сдвинул на затылок шапку и вопросительно посмотрел на женщину.

— А я разве знаю, что у вас дальше?

— Идти он не может — факт.

— Сюда же пришел.

Наверно, она что-то почувствовала в его дальнем намеке, и они пристально и настороженно посмотрели друг другу в глаза. И эти их недолгие взгляды сказали больше, чем их слова. Рыбак снова ощутил в себе неуверенность — что и говорить: слишком тяжел был тот груз, который он собирался переложить на плечи этой вот женщины. Впрочем, она, видать, не хуже его понимала, какому подвергалась риску, если бы согласилась с ним, и потому решила стоять на своем.

В довольно беглом, до сих пор ни к чему не обязывающем разговоре наступила заминка. Сотников выжидательно притих на скамье, а Рыбак озабоченно взглянул в окно.

— Немцы!

Как ужаленный, он отпрянул к порогу, за какую-то долю секунды все же успев схватить взглядом нескольких вооруженных людей, стоящих на кладбище. Они именно стояли, а не шли, хотя он даже не понял, куда были обращены их лица, — он только увидел их силуэты с торчащими из-за спин стволами винтовок.

Сотников поднялся в углу, зашарил возле себя рукой, стараясь схватить оружие. Хозяйка как стояла, так и замерла, кровь разом отхлынула от ее лица, вдруг ставшего совершенно серым. Рыбак сначала бросился к двери, но тут же вернулся, чтобы еще раз взглянуть в окно.

— Идут! Трое сюда идут!

Действительно, трое с кладбища не спеша шли вниз к стежке, как раз, наверно, по их недавним следам. Как только Рыбак увидел это, внутри в нем все сжалось в щемящем предчувствии беды. Никогда он не пугался так, даже сегодняшней ночью в поле. Казалось, самым разумным теперь было бежать, но он бросил взгляд на скорченного на скамье Сотникова, сжимавшего в руке

винтовку, и остановился. Бежать было нельзя. Дёмчиха, наверно, также поняла это и вдруг затвердила паническим шепотом:

— На чердак! На чердак! Лезьте на чердак!

Ну, разумеется, на чердак, где же еще можно спрятаться в крестьянской избе. Они сунулись в темноватые сени, в углу которых чернел квадратный лаз на чердак, но лестницы под ним не было, и Рыбак вскочил на каменные круги жерновов. Там он перебросил на чердак винтовку и оглянулся.

— Давай твою!

Сотников, расставив руки, перебирался через порог, Дёмчиха поддерживала его. Он подал винтовку, и Рыбак также сунул ее в темную дырку чердака. Затем, едва не опрокинув жернова, втащил на них Сотникова. Верхнее бревно отсюда было еще высоко, но Рыбак все-таки дотянулся до него и, гремя по стене сапогами, как-то взобрался наверх. Тут же ухватил за протянутые руки Сотникова. Дёмчиха все время усердно, хотя и не в лад, помогала снизу. Сотников ослабело карабкался, напрягаясь из последних сил, и наконец перевалился через верхнее бревно стены.

— Там пакля! За паклю лезьте! — подсказывала снизу хозяйка.

Рыбак пробежал по мягкой чердачной засыпке. Тут, как и в сенях, господствовал полумрак, хотя из-под крыши и сквозь маленькое слуховое окошко во фронтоне пробивалось немного света, в котором был виден широкий столб кирпичной трубы, какие-то обноски на длинном шесте, сломанная прялка внизу. Поодаль под крышей он рассмотрел порядочный ворох пакли.

— Сюда давай!

Сотников, подобрав винтовку, на четвереньках подался под скос крыши в угол, куда указал Рыбак, и тот, поддев сапогом, навалил на него ворох пакли. Потом и сам затиснулся под крышу за спину товарища.

Замерев, они лежали, едва справляясь с дыханием. В нос шибало резким пеньковым запахом, костра из пакли обсыпала лицо и кололась за воротником. Напрягая слух, Рыбак старался понять, шли немцы по их следам или так просто направлялись в деревню. Если по следам, то, разумеется, будут искать. Тогда вряд ли им тут отсидеться. В груди Сотникова громко хрипело, это мешало слушать, и все же они старались не пропустить ни од-

ного звука снаружи. Голоса раздавались уже так близко, что Рыбака охватила оторопь: немцы заговорили с Дёмчихой:

— Привет, фрава! Как жисть?

Оказывается, это были полицаи, Рыбак узнал их с первого слова. Не останавливаясь, они прошагали по двору, кажется направляясь к двери. Дёмчиха почему-то молчала, и Рыбак весь напрягся, страстно желая, чтобы они прошли мимо.

— Что молчишь? Зови в гости, — глуховато донеслось снизу.

— Пусть вас на кладбище зовут, таких гостей, — был им ответ.

«Э, не надо так, — с сожалением пронеслось в голове у Рыбака. — Зачем задираться!» Чутко вслушиваясь, он почти со страхом переживал грубые слова хозяйки и очень опасался, что та каким-нибудь неосторожным словом разозлит их, и тогда не миновать беды.

— Ого! Ты что, недовольна?

— Довольна. Радуюсь, а как же!

— То-то! Водка есть?

— А у меня лавка, что ли?

— Тогда гони пару колбас!

— Еще чего захотели! Из кошки я их вам наделаю? Подсвинка забрали, а теперь колбас им!

— Вот как ты нас встречаешь! — ехидно заскрипел другой голос. — Партизан так, наверное, сметанкой кормила бы.

— Мои дети полгода сметаны не видели.

— А мы сейчас это дело проверим!

Ну конечно, нельзя было так задиристо обращаться с ними, вот они и не прошли мимо — их тяжелые шаги затопали уже в сенях. Но, кажется, дверь в избу еще не открывали, и Рыбак похолодел от неожиданного и такого естественного теперь предположения: а вдруг полезут на чердак за колбасами? Но нет, пока что стучали в сенях, наверно, откинули крышку сундука, что-то там упало и с громким жестяным стуком покатилось на пол. Боясь шевельнуться, Рыбак тихо лежал, вперив глаза в сухое почерневшее стропило, думал: нет, пришли не за ними. Ищут продукты — обычный полицейский промысел в деревне, а на кладбище, по всей вероятности, пост-засада — будут караулить дорогу.

Они все еще шарили в сенях, как Сотников рядом

неестественно напрягся, в груди у него что-то ужасающе всхлипнуло, и Рыбак почти обмер в испуге — показалось, закашляет. Но он не закашлял, как-то сдержался, притих, а они там, внизу, уже стукнули дверью, и вскоре их голоса приглушенно зазвучали в избе.

— Где хозяин? В Московщине?

— А мне откуда знать?

— Не знаешь? Тогда мы знаем. Стась, где ее мужик?

— В Москву, наверно, подался.

— О, сука, скрывает! А ну врежь ей!

— А-яй! Гады вы! — дико закричала Дёмчиха. — Чтоб вам околеть до вечера! Чтоб вам глаза ворон повыклевал! Чтоб вы детей своих не увидели!..

— Ах вот как! Стась!

В избе испуганно заверещала детвора, вскрикнула и умолкла девочка. И вдруг из напряженной груди Сотникова пушечным выстрелом грохнул кашель. У Рыбака как будто оборвалось что внутри, руки под паклей сами рванулись к Сотникову, но тот кашлянул снова. В избе все враз смолкли, будто выскочили из нее. Рыбак с невероятной силой зажимал Сотникову рот, и тот мучительно давился в неуемных потугах. Но, видимо, было поздно — их уже услышали.

— Кто там? — наконец прозвучало внизу. — Кто кашлял?

— А никто. Кошка там у меня простуженная, ну и кашляет, — слышно было, перестав плакать, испуганно заговорила Дёмчиха.

Но ее не слишком уверенный голос, наверно, не убедил полицейских.

— Стась! — властно скомандовал громкий свирепый бас.

Рыбак на выдохе задержал дыхание, с необыкновенной ясностью сознавая, что все пропало. Наверно, надо было защищаться, стрелять, пусть бы погибли и эти наемники, но неизвестно откуда явилась последняя надежда на чудо, подумалось: а вдруг пронесет!

От удара двери о стену задрожала изба, полицаи с грохотом потревоженного стада ринулись в сени, наружная дверь распахнулась, на чердаке под крышей вдруг стало светлее. Невидящим взглядом Рыбак уставился в черное ребро стропила, за которым торчал в соломе старый поржавленный серп. Несколько проникших на чер-

дак теней, скрещиваясь, заметались по соломенной изнанке крыши.

— Лестницу! Лестницу давайте! — громким басом командовал внизу полицай.

— Нету лестницы, никого там нету, чего вы прицепились? — снова заплакала Дёмчиха.

Стук, удар в стену, скрежет сапог по бревнам и совсем близко — задыхающийся голос:

— Так темно там. Ни черта не видать.

— Чего не видать? Лезь, я приказываю, туды-т твою мать!

— Эй, кто тут? Вылазь, а то гранатой влуплю! — раздалось почему-то под самой крышей.

Но шагов по потолку еще не было слышно — наверно, полицай все-таки не решался перелезть стену.

— Так он тебе и вылезет! — гудел снизу командирский бас. — Заначка там есть какая?

— Есть. Сено будто.

— Пырни винтовкой.

— Так не достану.

— От, идрит твою муттер! Тоже вояка! На автомат! Автоматом чесани!

«Это уже все, точка», — сказал себе Рыбак, почти физически ощущая, как его тело вот-вот разнесет в клочья горячая автоматная очередь. Стараясь использовать последние секунды, он мысленно метался в поисках выхода, но абсолютно нигде не находил его: так ловко попались они в эту ловушку. Наверно, все уже было кончено, надо было вставать, и вдруг ему захотелось, чтобы первым поднялся Сотников. Все-таки он ранен и болен, к тому же именно он кашлем выдал обоих, ему куда с большим основанием годилось сдаваться в плен. Но Сотников лежал будто неживой, выгнулся, напрягся всем телом, похоже даже, перестал и дышать.

— Ах, не лезешь!

Под крышей раздался сухой металлический щелчок — слишком хорошо знакомый Рыбаку звук автоматного затвора, сдвинутого на боевой взвод. Дальше должно было последовать то самое худшее, за чем ничего уж не следует. Только какая-нибудь секунда отделяла их от этого последнего мига между жизнью и смертью, но и тогда Сотников не шевельнулся, не кашлянул даже. И Рыбак, в последний раз ужаснувшись, отбросил ногами паклю.

— Руки вверх! — взвопил полицай.

Рыбак поднялся, с опаской подумав, как бы тот сдуру не всадил в него очередь. На четвереньках он выполз из-под крыши и встал. Над бревном у лаза настороженно и опасливо застыла голова в кубанке, рядом торчал направленный на него ствол автомата. Теперь самым страшным для Рыбака был этот ствол — он решал все. Искоса, но очень пристально поглядывая на него, Рыбак поднял руки. Очереди пока что не было, гибель как будто откладывалась, это было главное, а остальное для него уже не имело значения.

— А, попались, голубчики, в душу вашу мать! — ласковой бранью приветствовал их полицай, взбираясь на чердак.

10

Откуда-то притащили лестницу, на чердак влезли все трое, перерыли в углах, перетрясли паклю, забрали винтовки. Пока двое занимались обыском, пленные под автоматом третьего стояли в стороне у дымохода.

Сотников, поджав босую ногу, прислонился к дымоходу и кашлял. Теперь уже можно было не сдерживаться и накашляться вдоволь. Как ни странно, но он не испугался полицаев, не очень боялся, что могут убить, — его оглушило сознание невольной своей оплошности, и он мучительно переживал оттого, что так подвел Рыбака да и Дёмчиху. Готов был провалиться сквозь землю, только бы избежать встречи с Дёмчихой, имевшей все основания выдрать обоим глаза за все то, на что они обрекали ее. И он в отчаянии думал, что напрасно они отзывались, пусть бы полицаи стреляли — погибли бы, но только вдвоем.

С грубыми окриками их толкнули к лестнице вниз, где возле раскрытой двери в избе всхлипывала Дёмчиха и за перегородкой испуганно плакал малой. Рыбак слез по лестнице скоро, а Сотников замешкался, сползая на одних руках, и тот старший полицай — плечистый мужик угрюмого бандитского вида, одетый в черную железнодорожную шинель, — так хватил его за плечо, что он вместе с лестницей полетел через жернова наземь. Правда, он не очень ударился, только сильно потревожил ногу — в глазах потемнело, захолонулось дыхание, и он не сразу, ослабело начал подниматься с пола.

— Что вы делаете, злодеи! Он же ранен, али вы ослепли! Людоеды вы! — закричала Дёмчиха.

Старший полицай важно повернулся к другому, в кубанке.

— Стась!

Тот, видно, уже знал, что от него требовалось, — выдернул из винтовки шомпол и со свистом протянул им по спине женщины.

— Ой!

— Сволочь! — теряя самообладание, сипато выкрикнул Сотников. — За что? Женщину-то за что?

Взрыв гнева, однако, вернул часть его сил, Сотников как-то вскарабкался под стеной и, весь трясясь, повернулся к Стасю. В этот момент он не подумал даже, что его крик может оказаться последним, что полицай может пристрелить его. Он не мог не вступиться за эту несчастную Дёмчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам. Однако ловкий на подхвате Стась, видно, не собирался пока стрелять, он только ухмыльнулся в ответ и точным, заученным движением вдел шомпол в винтовку.

— Будет знать за что!

Сотников понемногу совладал с собой, справился с дыханием и начал успокаиваться. Все было просто и слишком обычно. Если не пристрелят сразу, начнутся допросы и пытки, которые, конечно же, закончатся смертью. На какое-нибудь спасение он уже не рассчитывал.

В сенях их обыскали: выгребли из карманов скудные пожитки, патроны, ременными супонями туго скрутили руки — Рыбаку сзади, а Сотникову спереди — и усадили обоих на шершавый глиняный пол. Затем старший пошел в избу к Дёмчихе, а другой, которого звали Стасем, остался на пороге их караулить.

Морозный воздух сеней обжигал больную грудь Сотникова, в голове у него тошнотворно кружилось, пощипывало на стуже примороженные уши — пилотку он потерял где-то, наверное на чердаке, и теперь сидел с всклокоченной непокрытой головой. Мерзла и потому еще больше болела раненая нога. Колено распухло, он с трудом сгибал его, босая стопа отекла и сделалась багрово-синей. Наверно, надо было попросить принести бурок, но он, представив, как больно будет надеть его, решил: черт с ним! Теперь уж все равно — пусть отмерзает нога, скоро она будет не нужна. Сидя на полу и все кашляя, он поглядывал на конвоира — молодого, ловкого парня в чер-

ной форсистой кубанке: на его красивом, с породистым носом лице порой мелькала живая, неожиданно человеческая улыбка. За этой улыбкой чудилось что-то по-молодому прямодушное и даже знакомое, солдатское, что ли, — может, потому, что тот был в армейском бушлате и справных хромовых сапожках, в которые были заправлены черные штатские брюки. На одном плече он держал на ремне винтовку, другим прислонялся к косяку и, поплевывая белой шелухой тыквенных семечек, поглядывал куда-то на улицу — ждал транспорт. Но транспорта пока не было, и он, недолго потоптавшись, уселся на пороге, зажав между ног винтовку. С малого расстояния пристально и как будто беззлобно, скорее насмешливо, осмотрел обоих.

— За паклю залезли, ха! Как тараканы!

Рыбак взглянул на него и снова опустил низко голову.

— А теперь вас помоют-побанят и того, мало-мало подвесят. Посушиться, ха-ха! — засмеялся полицай так добродушно и естественно, что Сотников невольно подумал: «Веселый, однако, малый!» Но смех этого малого как-то враз оборвался, и уже совершенно другим тоном полицай разразился матом: — Такие-сякие немазаные! Ходоронка убили? За Ходоронка мы вам размотаем кишки!

— Не знаем мы никакого Ходоронка, — уныло сказал Рыбак.

— Ах не знаете? Может, это не вы ночью стреляли?

— Мы не стреляли.

— Вы или не вы, а ребра ломать вам будем. Поняли? Стась посерьезнел, глаза его угрожающе похолодели, и все то человеческое, что молодой добротою лежало на его лице, как-то сразу исчезло, уступив место злой, бездушной решимости.

Рыбак негромко спросил:

— В армии служил?

— В какой армии?

— Красной хотя бы.

— С... я хотел на вашу армию, понял? — вдруг еще пуще вызверился полицай, по-страшному округляя свои выразительные глаза. Затем его лицо как-то постепенно преобразилось, смягчаясь, и на нем появилась все та же подкупающая улыбка. Отставив в сторону ногу, он подошвой сапога размеренно пошлепал по земляному полу сеней.

— А бушлат?

— Ах, бушлат! У одного жидка комиссара взял. Тому

не понадобится, — сказал полицай и, продолжительно посмотрев на Рыбака, спокойно добавил: — Твой полушубочек тоже приберем. Будила возьмет, его очередь. Вот так. Понял?

— А не подавитесь? — едва сдерживаясь, тихо сказал Сотников.

Стась вскинул голову.

— Что?

— Не подавитесь, говорю? Полушубочками, и вообще?

— Это зачем нам давиться? За нас Германия, понял, ты, чмур? А вот вам точно — капут! Будьте уверены, в бога душу мать! — свирепо закончил Стась.

Что ж, и это было просто и понятно, на другое нечего было и рассчитывать. Рыбак сделался унылым, опустил голову. Сотников, полулежа на боку, осторожно попробовал шевельнуться — деревенело бедро, узкая сыромятная супонь резала кисти рук.

Наконец полицай пригнал двое саней, одни остались на улице, а другие со скрипом и лошадиным топотом подъехали под самое крыльцо. Стась поднялся с порога. Первым он втолкнул в розвальни Рыбака, затем сильным рывком за ворот поднял с земли Сотникова. Кое-как Сотников добрался до саней и упал на сено возле товарища; сзади в розвальни влез полицай. Возчик — староватый напуганный дядька в рваном тулупе — осторожно приткнулся в передке. Замерзшую босую ногу Сотников, преодолевая боль, подтянул под полу шинели. Ему опять становилось скверно, казалось, сознание вот-вот оставит его, огромным усилием он превозмогал немощь и боль.

Из избы почему-то не возвращался старший полицай, за ним пошел тот, кто пригнал сюда сани. Вскоре оттуда послышались голоса и плач Дёмчихи. Сотников с тревогой вслушался — оставят ее или нет? Минуту, похоже было, там что-то искали: постукивала о перекладину лестница, плакали дети, а затем отчаянно запричитала Дёмчиха:

— Что вы надумали, сволочи? Чтоб вам до воскресенья не дожить! Чтоб вы своих матерей не увидели!

— Ну-ну! Живо, сказано, живо!

— На кого я детей оставлю? Гады вы немилосердные!..

— Живо!

Сотников взглянул на Рыбака, сидевшего к нему боком; заросшее щетиной лицо того скривилось в страдальческой гримасе. Было от чего.

По той самой тропинке, возле ограды, они выехали на

дорогу и свернули за кладбище. Сотников втянул голову в поднятый ворот шинели, слегка прислонился плечом к овчинной спине Рыбака и беспомощно закрыл глаза. Розвальни дергались под ними, полозья то и дело заносило в стороны. Стась, слышно было, все грыз свои семечки. Видимо, их везли в полицию или в СД. Значит, спокойного времени осталось немного, надо было собраться с силами и подготовиться к худшему. Разумеется, они им правды не скажут, хотя того, что пришли из леса, по-видимому, скрыть не удастся. Но только бы выгородить Дёмчиху. Бедная тетка! Бежала домой и не думала, не гадала, что ее ждало там. Сейчас она что-то кричала сзади, ругалась и плакала, свирепый полицай вызверялся на нее отборным, бесстыжим матом. Но и Дёмчиха старалась не остаться в долгу.

— Звери! Немецкие ублюдки! Куда вы меня везете? Там дети! Деточки мои родненькие, золотенькие мои! Гэлечка моя, как же ты будешь?

— Надо было раньше о том думать.

— Ах ты погань несчастная! Ты меня еще упрекаешь, запроданец немецкий! Что я сделала вам?

— Бандитов укрывала.

— Это вы бандиты, а те как люди: зашли и вышли. Откуда мне знать, что они на чердак залезли? Что я, своим детям враг? Гады вы! Фашисты проклятые!

— Молчать! А то кляп всажу!

— Чтоб тебя самого на кол посадили, гад ты печеный!

— Так! Стась, стой! — послышалось с задних саней, и они остановились, не доезжая двух тонких березок, стывших в кусте за канавой.

Рыбак и возчик обернулись, а Сотников весь съежился в ожидании чего-то устрашающе-зверского. И действительно, Дёмчиха вскоре закричала, забилась в розвальнях. Скрипнул хомут, и даже лошадь беспокойно переступила на снегу. Потом все стихло. Стась было соскочил с розвальней, но скоро опять удовлетворенно завалился на свое место.

— Хе! Рукавицу в глотку — не кричи, бешеная баба.

Сотников с усилием повернул голову и очутился лицом к лицу с конвоиром:

— Палачи! Истязатели!

— Ты, заступник! Отверни нюхалку, а то красную жижу спущу! — заорал Стась, сделав страшное выражение лица.

Но Сотников уже знал, с кем имеет дело, и с полным безразличием отнесся к этой его угрозе.

— Попробуй, гад!

— Ха, пробовать! Да знаешь, я тебя сейчас шпокну и отвечать не буду. Это тебе не Советы.

— Шпокни, пожалуйста!

— А то слабо? — Полицай в показной решимости схватился за винтовку, но лишь ткнул его стволом в грудь и выругался.

Сотников не моргнул даже — он не боялся этого выродка. Он знал, что на его вызывающее хамство надо отвечать точно таким же хамством — эти люди понимали только такое обхождение.

— Женщина ни при чем, запомни, — сказал он с расчетом на Рыбака, намекая тем, как надо отвечать на допросах. — Мы без нее залезли на чердак.

— Будешь бабке сказки сказывать, — закивал головой Стась и опустил винтовку. — Небось Будила из тебя дурь выбьет. Подожди!

— Плевать мы хотели на твоего Будилу!

— Скоро поплюешь! Кровью похаркаешь!

«Какого черта он задирается?» — раздраженно думал Рыбак, слушая злую перебранку Сотникова с полицаем.

Их везли дорогой, которой утром они тащились в деревню, только теперь поле не казалось ему таким длинным и уныло равнинным, лошадка бодро перебирала ногами, постегивая по саням жестким на морозе хвостом. Рыбак с растущей досадой думал, что едут они слишком уж быстро, ему изо всех сил хотелось замедлить езду. Чувствовала его душа, что это последние часы на свободе, с которыми быстро убывала возможность спастись — больше такой не будет. Он проклинал себя за неосмотрительность, за то, что так глупо забрался на тот проклятый чердак, что за километр не обошел той крайней избы — мало ему было науки не соваться в крайнюю, куда всегда лезли немцы. Он не мог простить себе, что так необдуманно забрел в эту злосчастную деревню — лучше бы передневали где-либо в кустарнике. Да и вообще с самого начала этого задания все пошло не так, все наперекос, когда уже трудно было надеяться на удачный конец. Но того, что случилось, просто невозможно было представить.

И все из-за Сотникова. Досада на товарища, которая все время пробивалась в Рыбаке и которую он усилием воли до сих пор заглушал в себе, все больше завладевала его чувствами. Рыбак уже отчетливо сознавал, что если бы не Сотников, не его простуда, а затем и ранение, они наверняка добрались бы до леса. Во всяком случае, полицаи бы их не взяли. У них были винтовки — можно было постоять за себя. Но если уж ты дал загнать себя на чердак, а в избе куча детишек, тогда и с винтовкой не шибко развернешься.

Рыбак коротко про себя выругался с досады, живо представив, как нетерпеливо их ждут в лесу, наверно, давно уже подобрали последние крохи из карманов и теперь думают, что они гонят корову и потому так задерживаются. Конечно, можно бы и корову. Можно бы даже две. Разве он приходил когда-либо с пустыми руками — всегда находил, доставал, выменивал. Достал бы и сейчас. Если бы не Сотников.

С Сотниковым он сошелся случайно неделю или дней десять назад, когда, вырвавшись из Борковского леса, отряд переходил шоссе. Там они тоже запоздали, вышли к дороге по-светлому и столкнулись с немецкой автоколонной. Немцы открыли огонь и, спешившись, начали их преследовать. Чтобы оторваться от фашистов, командир оставил заслон — его, Сотникова и еще одного партизана по фамилии Гастинович. Но долго ли могут устоять трое перед несколькими десятками вооруженных пулеметами немцев? Очень скоро они стали пятиться, слабо отстреливаясь из винтовок, а немецкий огонь все усиливался, и Рыбак подумал: хана! Как на беду, придорожный лесок кончился, сзади раскинулось огромное снежное поле с кудрявым сосняком вдали, куда торопливо втягивались потрепанные остатки их небольшого отряда. Мудрено было уцелеть на том поле под огнем двух десятков немцев, и Рыбак с Гастиновичем, нерасторопным пожилым партизаном из местных, короткими перебежками припустили по полю. Сотников же открыл такой частый и меткий огонь по немцам, что те по одному начали залегать в снегу. Наверно, он подстрелил нескольких фрицев. Они же с Гастиновичем тем временем добежали до кучи камней в поле и, укрывшись за ними, тоже начали стрелять по кустарнику.

Минут пять они торопливо били туда из винтовок, тем самым давая возможность отбежать и Сотникову. Под ав-

томатным огнем тому как-то удалось проскочить самый опасный участок, добежать до камней, и, только упав, он погнал их дальше. Хорошо, что патронов тогда хватало, Сотников вскоре подстрелил еще одного не в меру прыткого автоматчика, выскочившего впереди других и густо сыпавшего по полю трассирующими очередями; у остальных, наверно, поубавилось прыти, и они стали сдерживать бег. Тем не менее какая-то пуля все-таки настигла Гастиновича, который как-то странно сел на снегу и повалился на бок. К нему бросился Сотников, но помощь тому уже была без надобности, и Сотников с винтовкой убитого пустился догонять Рыбака.

Оставшись вдвоем, они залегли за небольшим холмиком, тут было безопаснее, отдышавшись, можно было бежать дальше. Но вдруг Рыбак вспомнил, что у Гастиновича в сумке осталась горбушка хлеба, которой тот разжился вчера на хуторе. Всю неделю они голодали, и эта горбушка так завладела его вниманием, что Рыбак, недолго поколебавшись, пополз к убитому. Сотников выдвинулся повыше и опять взял под обстрел немцев, прикрывая тем Рыбака, благополучно проползшего сотню метров, отделявшую их от Гастиновича. Они тут же разломали горбушку и, пока догоняли своих, съели ее.

Тогда все обошлось, отряд осел в Горелом болоте, и они с Сотниковым, хотя еще мало что знали друг о друге, стали держаться вместе — рядом спали, ели из одного котелка и, может, потому вместе попали на это задание.

Но теперь конец, это точно. Неважно, что они не отстреливались — все-таки их взяли с оружием, и этого было достаточно, чтобы расстрелять обоих. Конечно, ни на что другое Рыбак и не рассчитывал, когда вставал из-за пакли, но все же...

Он хотел жить! Он еще и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись. Сотников уже не имел для него большого значения. Оказавшись в плену, бывший комбат освобождал его от всех прежних по отношению к себе обязательств. Теперь лишь бы повезло, и совесть Рыбака перед ним была бы чистой — не мог же он в таких обстоятельствах спасти еще и раненого. И он все шарил глазами вокруг с той самой минуты, как поднял руки: на чердаке, потом в сенях, все ловил момент, чтобы убежать. Но там убежать не было никакой возможности, а потом им связали руки, — сколько он незаметно ни выкручивал их из петли,

ничего не получалось. И он думал: проклятая супонь, неужели из-за нее придется погибнуть?

А может, стоило попытать счастья со связанными руками? Но для этого надо было более подходящее место, не ровнядь, а какой-нибудь поворот, овражек с кустарником, какой-либо обрыв и, разумеется, лес. Тут же, на беду, было чистое поле, пригорок, затем дорога пошла низиной. Однажды попался мостик, но овражек при нем был совсем неглубокий, открытый, в таком не скроешься. Стараясь не очень вертеть головой в санях, Рыбак тем не менее все примечал вокруг, высматривая хоть сколько-нибудь подходящее для побега место, и не находил ничего. Так шло время, и чем они ближе подъезжали к местечку, тем все большая тревога, почти растерянность овладевала Рыбаком. Становилось совершенно очевидным: они пропали.

11

В том, что они пропали, Сотников не сомневался ни на минуту. И он напряженно молчал, придавленный тяжестью вины, лежавшей на нем двойным грузом — и за Рыбака, и за Дёмчиху. Особенно его беспокоила Дёмчиха. Он думал также и о своей ночной перестрелке с полицией, в которой досталось какому-то Ходоронку. Разумеется, подстрелил его Сотников.

Въезжали в местечко. Дорога шла между посадок — два ряда кривых верб с обеих сторон теснили большак, потом как-то сразу началась улица. Было уже не рано, но кое-где еще тянулись из труб дымы, в морозной дымке над заиндевелыми крышами невысоко висело холодное солнце. Впереди через улицу торопливо прошла женщина с коромыслом на плечах. Отойдя по тропке к дому, обернулась, с затаенной тревогой вглядываясь в сани с полицаями. В соседнем дворе выскочила из избы простоволосая, в галошах на босу ногу девушка, плеснула на снег помоями и, прежде чем пугливо исчезнуть в дверях, также с любопытством оглянулась на дорогу. Где-то заливалась лаем собака; бесприютно возились нахохлившиеся воробьи в голых ветвях верб. Здесь шла своя, неспокойная, трудная, но все-таки будничная жизнь, от которой давно уже отвыкли и Сотников и Рыбак.

Сани переехали мостик и возле деревянного с мезонином дома свернули на боковую улочку. Кажется, подъез-

жали. Как ни странно, но Сотникову хотелось скорее приехать, он мучительно озяб на ветру в поле: селение, как всегда, сулило кров и пристанище, хотя на этот раз пристанище, разумеется, будет без радости. Но все равно тянуло в какое-нибудь помещение, чтоб хоть немного согреться.

Еще издали Сотников увидел впереди широкие новые ворота и возле них полицая в длинном караульном тулупе, с винтовкой под мышкой. Рядом высился прочный каменный дом, наверно бывшая лавка или какое-нибудь учреждение, с четырьмя зарешеченными по фасаду окнами. Полицай, наверное, ждал их и, когда сани подъехали ближе, взял за ремень винтовку и широко распахнул ворота. Двое саней въехали в просторный двор, со старой, обглоданной коновязью у забора, каким-то сарайчиком, дощатой уборной в углу. На крыльце сразу же появился подтянутый малый в немецком кителе, на рукаве которого белела аккуратно разглаженная полицейская повязка.

— Привезли?

— А то как же! — хвастливо отозвался Стась. — Мы да кабы не привезли. Вот, принимай кроликов!

Он легко соскочил с саней, небрежно закинул за плечо винтовку. Вокруг был забор — отсюда уже не убежишь. Пока возчик и Рыбак выбирались из саней, Сотников осматривал дом, где, по всей вероятности, им предстояло узнать, почем фунт лиха. Прочные стены, высокое покрытое жестью крыльцо, ступени, ведущие к двери в подвал. В одном из зарешеченных окон вместо выбитых стекол желтели куски фанеры с обрывком какой-то готической надписи. Все здесь было прибрано-убрано и являло образцовый порядок этого полицейского гнезда — сельского оплота немецкой власти. Тем временем полицай в кителе вынул из кармана ключ и по ступенькам направился вниз, где на погребной двери виднелся огромный амбарный замок с перекладиной.

— Давай их сюда!

Уже все повставали из саней — Стась, Рыбак с возницей, — поодаль отряхивались полицаи и обреченно стояла Дёмчиха, при виде которой у Сотникова болезненно сжалось сердце. Со связанными за спиной руками та сгорбилась, согнулась, сползший платок смято лежал на ее затылке. Изо рта нелепо торчала суконная рукавица, и полицаи, судя по всему, не спешили освобождать ее от этого кляпа.

Сотникову стоило немалого труда без посторонней помощи выбраться из саней — как ни повернись, болью заходилась нога. Превозмогая боль, он все-таки вылез на снег и два раза прыгнул возле саней. Он намеренно подождал Дёмчиху и, как только та поравнялась с ним, отчужденно избегая его взгляда, поднял обе связанные вместе руки и дернул за конец рукавицы.

— Ты что? Ты что, чмур? — взвопили сзади, и в следующее мгновение он торчмя полетел в снег, сбитый жестким ударом полицейского сапога.

Адская боль в ноге разбежалась по его телу, потемнело в глазах, он молча сцепил зубы, но не удивился и не обиделся — принял удар как заслуженный. Пока он, зайдясь в давящем кашле, медленно поднимался на одно колено, где-то рядом злобно матерился старший полицай:

— Ах ты, выродок комиссарский! Ишь заступник нашелся. Стась! А ну в штубу его! К Будиле!

Все тот же ловкий, исполнительный Стась подскочил к Сотникову, сильным рывком схватил его под руку. Сотников снова упал связанными руками на снег, но бездушная молодая сила этого полицая бесцеремонно подхватила, поволокла его дальше — на крыльцо, через порог, в дверь. Оберегая больную ногу, Сотников сильно ударился плечом о косяк. Стась одним духом протащил его по коридору, пнул ногой створку какой-то двери и сильным рывком бросил его на затоптанный, в мокрых следах пол. Сам же на прощание разрядился трехэтажным матом и с силой захлопнул дверь.

Вдруг стало тихо. Слышны были только шаги в коридоре да из-за стены приглушенно доносился размеренный, будто отчитывающий кого-то голос. Превозмогая лютую боль в ноге, Сотников поднял голову. В помещении никого больше не было, это немного озадачило, и он с внезапной надеждой глянул на окно, которое, однако, было прочно загорожено железными прутьями решетки. Нет, отсюда уже не уйдешь! Поняв это, он опустился на пол, без интереса оглядывая помещение. Комната имела обычный казенный вид, казалась неуютной и пустоватой, несмотря на застланный серым байковым одеялом стол, облезлое, просиженное кресло за ним и легонький стульчик возле печи-голландки, от черных круглых боков которой шло густое, такое приятное теперь тепло. Но сзади по полу растекалась от двери стужа. Сотников содрогнулся в ознобе и, сдерживая стон, медленно вытянулся на боку.

«Ну вот, тут все и кончится! — подумал он. — Господи, только бы выдержать!» Он почувствовал, что вплотную приблизился к своему рубежу, своей главной черте, возле которой столько ходил на войне, а сил у него было немного. И он опасался, что может не выдержать физически, поддаться, сломиться наперекор своей воле — другого он не боялся. Вдохнув теплого воздуха, он начал кашлять как всегда, до судорожных спазмов в груди, до колотья в мозгу — самым привязчивым, «собачьим» кашлем, жестоко терзавшим его второй день. Так скверно он давно уже не кашлял, наверно, с детства, когда своей простудой причинял столько беспокойства матери, бесконечно переживавшей за его слабые легкие. Но тогда ничего не случилось, он перерос хворь и более или менее благополучно дожил до своих двадцати шести лет. А теперь что ж — теперь здоровье уже не имело для него большой ценности. Плохо только, что его хворь отнимала силы в момент, когда они были ему так нужны. За кашлем он не расслышал, как в помещение кто-то вошел, перед ним на полу появились сапоги, не очень новые, но досмотренные, с аккуратно подбитыми носками и начищенными голенищами. Сотников поднял голову.

Напротив стоял уже немолодой человек в темном цивильном пиджаке, при галстуке, повязанном на несвежую, с блеклой полоской сорочку, в военного покроя диагоналевых бриджах. Во взгляде его маленьких, очень пристальных глаз было что-то хозяйское, спокойное, в меру рассудительное; под носом топорщилась щеточка коротко подстриженных усиков — как у Гитлера. «Будила, что ли?» — недоуменно подумал Сотников, хотя ничего из того угрожающе зверского, что приписывалось полицаями этому человеку, в нем вроде не было. Однако чувствовалось, что это начальство, и Сотников сел немного ровнее, как позволила его все еще заходившаяся от боли нога.

— Кто это вас? Гаманюк? — спросил человек сдержанным хозяйским тоном.

— Стась ваш, — с неожиданно прорвавшейся ноткой жалобы сказал Сотников, тут же, однако, пожалев, что не выдержал независимого тона.

Начальник решительно растворил дверь в коридор:

— Гаманюка ко мне!

Кашель стал утихать, оставались лишь слабость и боль, очень неудобно было опираться о пол связанными руками.

Сотников мучился, но молчал, не совсем понимая смысл явно заступнического намерения этого человека.

В комнату ввалился тот самый Стась и с подчеркнутым подобострастием щелкнул каблуками своих щегольских сапог.

— Слушаю вас!

Хозяин комнаты нахмурил несколько великоватый для его сморщенного личика выпуклый, с залысинами лоб.

— Что такое? Почему опять грубость? Почему на пол? Почему без меня?

— Виноват! — двинул локтями и еще больше вытянулся Стась.

Но по той бездумной старательности, с которой он делал это, так же как и по бесстрастной строгости его начальника, Сотников сразу понял, что перед ним разыгрывается бездарный, рассчитанный на дурака фарс.

— Разве вас так инструктировали? Разве этому учит немецкое командование? — не дожидаясь ответа, долбил начальник полицая своими вопросами, а тот в деланном испуге все круче выгибал грудь.

— Виноват! Больше не буду! Виноват!

— Немецкие власти обеспечивают пленным соответствующее отношение. Справедливое, гуманное отношение...

Нет, хватит! Как немецкие власти относятся к пленным, Сотников уже знал и не сдержался, чтобы не оборвать всю эту их нелепую самодеятельность:

— Напрасно стараетесь!

Полицейский резко обернулся в его сторону, видно недослышав, озабоченно нахмурил лоб.

— Что вы сказали?

— Что слышали. Развяжите руки. Я не могу так сидеть.

Полицейский еще немного помедлил, сверля его насупленным взглядом, но, кажется, понял, что опасаться не было оснований, и сунул руку в карман. Подцепив кончиком ножа ремешок супони, он одним махом перерезал ее и спрятал нож. Сотников разнял отекшие, с рубцами на запястьях руки.

— Что еще?

— Пить, — сказал Сотников.

Он решил, пока была возможность, хотя бы утолить жажду, чтобы потом уж терпеть.

Полицай кивнул Гаманюку.

— Дай воды!

Тот выскочил в коридор, а полицай обошел стол и неторопливо уселся в своем кресле. Все время он держал себя подчеркнуто сдержанно, настороженно, будто таил что-то важное и многообещающее для арестанта. Взгляд своих острых, чем-то озабоченных глаз почти не сводил с Сотникова.

— Можете сесть на стул.

Сотников кое-как поднялся с пола и боком опустился на стул, отставив в сторону ногу. Так стало удобнее, можно было терпеть. Он вздохнул, повел взглядом по стенам, глянул за печку, в угол, у окна, не сразу поняв, что ищет орудия пыток — должны же они тут быть. Но, к его удивлению, ничего, чем обычно пытают, в помещении не было видно. Между тем он чувствовал, что отношения его с этим полицаем уже перешли границу условности и, поскольку игра не удалась, предстоял разговор по существу, который, разумеется, обещал мало приятного.

Тем временем Стась Гаманюк принес большую эмалированную кружку воды, и Сотников жадно выпил ее до дна. Полицай за столом терпеливо ждал, наблюдая за каждым его движением, о чем-то все размышлял или, может, старался что-то понять. Но, видно, молча не много понял.

— Ну, познакомимся, — довольно миролюбиво сказал он, когда Стась вышел. — Фамилия моя Портнов. Следователь полиции.

— Моя вам ничего не скажет.

— А все-таки?

— Ну, Иванов, допустим, — сказал Сотников сквозь зубы: болела нога.

— Не возражаю. Пусть будет Иванов. Так и запишем, — согласился следователь, хотя ничего не записывал. — Из какого отряда?

Ого, так сразу и про отряд! Прежде чем что-либо ответить, Сотников помолчал. Следователь, по-прежнему буравя его взглядом, взял со стола выпачканный чернилами деревянный пресс, неопределенно повертел в руках. Сотников невидяще смотрел на его пальцы и не знал, как лучше: начать игру в поддавки или сразу отказаться от показаний, чтобы не лгать и не путаться. Тем более что в его ложь этот, наверно, не очень поверит.

— А вы думаете, я вам скажу правду?

— Скажешь! — негромко и с таким внутренним убеж-

дением сказал следователь, что Сотникову на минуту стало не по себе, и он исподлобья вопросительно посмотрел на полицейского.

— Скажешь!

Начало не обещало ничего хорошего. На вопрос об отряде он, разумеется, отвечать не станет, но и другие, наверно, будут не легче. Следователь ждал, рассеянно играя прессом. Движения его худых, тонких пальцев были спокойно уверенными, неторопливыми, этой своей неторопливостью, однако, и выдававшие тщательно скрываемую до поры напряженность. Странно, что с виду он был так мало похож на палача-следователя, наверно имевшего на своем счету не одну загубленную жизнь, а скорее напоминал скромного, даже затрапезного, сельского служащего. И в то же время было заметно, как дремлет в нем что-то коварно-вероломное, ежеминутно угрожающее арестанту. Сотников ждал, когда оно наконец прорвется, хотя и не знал, как крепки нервы этого человека и за каким вопросом следователь скинет наконец с себя маску.

— Какое имели задание? Куда шли? Как давно пособником у вас эта женщина?

— Никакой она не пособник. Мы случайно зашли к ней в избу, забрались на чердак. Ее и дома в то время не было, — спокойно объяснил Сотников.

— Ну, конечно, случайно. Так все говорят. А к лесиновскому старосте вы также зашли случайно?

Вот как! Значит, уже известно и про старосту. Хотя донес, наверно, в тот самый вечер. «Пожалели, называется, не захотели связываться», — подумал Сотников. Выходило, однако, что полицаи знали о них куда больше, чем они предполагали, и Сотников на минуту смешался. Наверно, это был рассчитанный ход в допросе. Следователь отметил достигнутый им эффект, бросил свой пресс и закурил. Потом аккуратно прибрал со стола портсигар, зажигалку, крошки табака сдул на пол и сквозь дым уставился на него, ожидая ответа.

— Да, случайно, — после паузы твердо сказал Сотников.

— Не оригинально. Вы же умный человек, а хотите выехать на такой примитивной лжи! Надо было придумать что-нибудь похитрее. Это у нас не пройдет.

Не пройдет — видимо, так. Но черт с ним! Будто он надеялся, что пройдет. Он вообще ни на что не надеял-

ся, только жалел несчастную Дёмчиху, которую неизвестно как надо было выручить.

— Вы можете поступить с нами как вам заблагорассудится, — сказал Сотников. — Но не примешивайте сюда женщину. Она ни при чем. Просто ее изба оказалась крайней, а я не мог идти дальше.

— Где ранен?

— В ногу.

— Я не о том. Где, в каком районе?

— В лесу. Два дня назад.

— Не пройдет, — глядя в упор, объявил следователь. — Заливаете. Не в лесу, а на большаке этой ночью.

«Черт, знает точно или, может, ловит?» — подумал Сотников. Он не знал, как следовало держаться дальше: неудачно соврешь в мелочах — не поверит и в правду. А правду о Дёмчихе ему очень важно было внушить этому прислужнику, хотя он и чувствовал, что внушить ее будет труднее, чем какую-нибудь явную ложь.

— А если я, например, все объясню, вы отпустите женщину? Вы можете это обещать?

Глаза следователя, вдруг вспыхнувшие злобой, кажется, пронзили его насквозь.

— Я не обязан вам ничего объяснять! Я ставлю вопросы, а вы должны на них отвечать!

«Значит, не удастся», — уныло подумал Сотников. Разумеется, из своих рук они никого уже не выпустят. Знакомый обычай! Тогда, наверно, пропала Дёмчиха.

— Ни за что погубите женщину. А у нее трое ребят.

— Губим не мы. Губите вы! Вы ее в банду втянули! Почему тогда не подумали о ребятах? — ощетинился следователь. — А теперь поздно. Вы знаете законы великой Германии?

«Законы? Давно ли ты сам узнал их, проклятый ублюдок? — подумал Сотников. — Недавно еще, наверное, зубрил совсем другие законы!» Однако последний вопрос полицейского прозвучал несколько двусмысленно — похоже, что Портнов не прочь был что-то переложить с себя на плечи великой Германии.

Сотников помолчал, а следователь поднялся, отодвинул кресло и прошелся к окну, сквозь решетку рассеянно посмотрел во двор, где слышались голоса полицейских. Опять он носил в себе что-то затаенное, особенно не напирал с допросом и то ли думал, как похитрее подловить его, то ли размышлял о чем-то своем, постороннем.

В коридоре тяжело затопали, послышались голоса, ругань. По всей вероятности, там кого-то вели или даже уносили.

Когда толчея переместилась на крыльцо, следователь энергично отчеканил:

— Так, хватит играть в прятки! Назовите отряд! Его командира! Связных. Количественный состав. Место базирования. Только не пытайтесь мне лгать. Напрасное дело.

— Не много ли вы от меня хотите? — сказал Сотников.

Незаметно для себя он обратился к иронии, как обычно поступал в минуты неприятных объяснений с дураками и нахалами. Конечно, для Стася или еще кого-нибудь из этих предателей его ирония была за пределами их понимания — на этого же начальника она, кажется, действовала самым надлежащим образом. До поры тот, однако, сдерживался, только однажды криво передернул губами.

— Куда шли?

— Мы заблудились.

— Не пройдет. Ложь! Даю две минуты на размышление.

— Не утруждайтесь. Наверно, у вас много работы.

Тут он угадал точно. Морщинистое личико следователя опять передернулось, но, кажется, он умел владеть собой. Он даже не повысил голоса.

— Жить хочешь?

— А что? Может, помилуете?

Сузив маленькие глазки, следователь посмотрел в окно.

— Нет, не помилуем. Бандитов мы не милуем, — сказал он и вдруг круто повернулся от окна; пепел с кончика сигареты упал и разбился о носок его сапога, кажется, его выдержка кончилась. — Расстреляем, это безусловно. Но перед тем мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы. Последовательно переломаем кости. А потом объявим, что ты выдал других. Чтобы о тебе там, в лесу, не шибко беспокоились

— Не дождетесь, не выдам.

— Не выдашь ты — другой выдаст. А спишем все на тебя. Понял? Ну как?

Сотников молчал, ему становилось плохо. Лицо быстро покрывалось испариной, разом пропала вся его склонность к иронии. Он понял, что это не пустая угроза, не шантаж — они способны на все. Гитлер их освободил от

совести, человечности и даже элементарной житейской морали, их звериная сила оттого, конечно, увеличилась. Он же перед ними только человек. Он обременен многими обязанностями перед людьми и страной, возможности скрывать и обманывать у него не слишком большие. Было ясно, что их средства в этой борьбе оказались неравными, преимущество было на стороне противника: все, что выставлял Сотников, с необычайной легкостью опрокидывал следователь.

Расставив ноги в обвисших на коленях бриджах, Портнов вперил в него острый, теперь уже открыто неприязненный взгляд и ждал. Сотникову было чертовски трудно, казалось, опять уходит сознание, он обливался холодным потом и мучительно подбирал слова для ответа, чувствовал: это будут последние его слова. Правая рука следователя медленно потянулась к пресс-папье на столе.

— Ну?

— Сволочи! — не найдя ничего другого, выдавил из себя Сотников.

Следователь несколько поспешнее, чем надо было, схватил пресс-папье и пристукнул им по столу, будто ставил последнюю точку в этом бескровном и тем не менее страшном допросе.

— Будилу ко мне!

В коридоре зычно раздалось: «Будилу к господину следователю!», после чего Портнов, обойдя стол, спокойно уселся в кресле. На Сотникова он уже не смотрел, будто его и не было тут. Он закурил. Сдается, его миссия была закончена, начиналось второе отделение допроса.

Внешне стараясь оставаться спокойным, Сотников весь напрягся, как только отворилась дверь и на пороге появился Будила.

Вероятно, это был здешний полицейский палач — могучий, буйволоподобный детина с костлявым, будто лошадиная морда, лицом. Неприятно поражал весь его кретинически-свирепый вид, но особенно пугали вылезшие из рукавов большие косматые кисти рук, которыми впору было разгибать подковы. Наверно, по установленной здесь традиции, войдя, он с порога прицелился в жертву хмурым взглядом немного косивших глаз.

— А ну!

Объятый слабостью, Сотников продолжал сидеть, отодвигая от себя что-то безусловно ужасное. Тогда Будила с многозначительной неторопливостью шагнул к стулу.

Огромная ручища широко сгребла на запавшей груди Сотникова суконные борта шинели, напряглась и оторвала его от стульчика.

— А ну, большевистская гнида!

12

«Достукался!» — почти зло подумал Рыбак, когда Стась на дворе схватил Сотникова и поволок его в помещение. Он думал, что следом погонят и их с Дёмчихой, но для них полицаи открыли двери в подвал. Прежде чем затолкать их туда, ему развязали руки, вытянули ремешок из брюк. Дёмчиху же оставили со связанными руками и кляпом во рту.

— Давай вниз! Быстро!

В подвале царила тьма, или, может, Рыбаку так показалось после дневного света на улице. Сначала они очутились в каком-то сыром коридорчике, шедший впереди полицай загремел железным запором, и Рыбак, наткнувшись на спину Дёмчихи, остановился, потирая набрякшие зудом кисти.

— Марш, марш! Чего стал? — подтолкнул его тот, что шел сзади: оказывается, перед ним уже отворилась новая дверь в темноту.

Делать было нечего, Рыбак протиснулся между полицаем и Дёмчихой, опасливо вогнул голову и очутился за порогом какой-то затхлой каморки. Минуту он ничего не мог рассмотреть тут, маленькое окошко вверху слепо светило на потолок, внизу же было темно. В нос ударило чем-то прокисшим, несвежим, совершенно невозможным для дыхания, и он остановился, не зная, куда ступить дальше.

Сзади тем временем лязгнул засов, Дёмчиха осталась с полицаями, которые повели ее дальше. Из-за двери доносился их удаляющийся деловой разговор.

— А бабу куда? В угловую?

— Давай в угловую.

— Что-то пусто сегодня?

— Немцы вчера разгрузили. Одна жидовка где-то сидит.

Несколько пообвыкнув в темноте, Рыбак рассмотрел в углу человека. Занятый чем-то своим, тот сосредоточенно возился там, то ли раздеваясь, то ли подстилая под себя одежду — наверно, готовился лечь. Густой мрак под сте-

ной совершенно скрывал его, лишь седая голова человека да его плечи временами появлялись в скупо освещенном пространстве.

— Садись. Чего стоять? Стоять уже нечего.

Рыбак удивился и даже вроде обрадовался — голос старика показался знакомым, и он тут же вспомнил: староста! Ну так и есть, в углу устраивался их недавний знакомый — лесиновский староста Петр.

— И ты тут? — недоуменно вырвалось у Рыбака.

— Да вот попал. Овцу-то опознали, ну и...

«Так-так», — стучала в голове у Рыбака односложная мысль: все было понятно. Странно, но он только сейчас вспомнил о той злополучной овце и только сейчас с непростительным опозданием подумал, чем она может обернуться для ее хозяина.

— А при чем тут ты? Мы же забрали силой? — несколько деланно удивился Рыбак.

Староста что-то расстелил под собой, но не лег, а сел, прислонясь к стене и почти весь погружаясь во тьму. На слабом свету из окна оставались лишь согнутые его колени.

— Как сказать? Ежли забрали, так надо было доложить. А я... Да теперь что!. Теперь уже все равно.

Теперь, по-видимому, действительно уже все равно, теперь поздно выкручиваться, подумал Рыбак. Наверно, полиции уже все известно.

Не расстегивая полушубка, он уныло опустился на слежалую соломенную подстилку и тоже прислонился спиной к стене. Было совершенно непонятно, что делать дальше, но, кроме как ждать, тут вообще, наверно, ничего нельзя было делать. Только сейчас он почувствовал, как здорово измотался за истекшую ночь, его начало клонить в сон, но мысли тревожно сновали в голове, не давая забыться. Вдруг он подумал, что неплохо бы сговориться со старостой и отрицать их заход в Лесины — пусть бы Петр сказал, что приходили другие. Если разобраться, так старосте уже все равно, на кого указывать, а им, возможно, это еще помогло бы. Какой-либо вины или даже неловкости по отношению к Петру Рыбак нисколько не чувствовал — разве впервые ему таким способом приходилось добывать продукты? Да и взяли только овцу, и не у какой-нибудь многодетной семьи, а у самого старосты — было о чем заботиться. С этой стороны он оставался совершенно спокойным и только удивлялся, как

это староста не сумел оправдаться перед полицией и позволил себя засадить в этот вонючий подвал.

Прошел час или больше, Сотников не возвращался, и Рыбак не без короткого сожаления подумал, что, может, его там и убили. Разговаривать ему ни о чем не хотелось. Он чувствовал, что вот-вот должны прийти и за ним, и тогда начнется самое худшее. Все думая и прикидывая и так и этак, он старался найти какую-нибудь возможность перехитрить полицию, вывернуться совсем или хотя бы оттянуть приговор. Чтобы оттянуть приговор, видимо, имелось лишь одно средство — затянуть следствие (все-таки должно же быть какое-то следствие). Но для этого надо было найти веские факты, чтобы заинтересовать полицию, ибо, если та решит, что ей все ясно, тогда уж держать их не станет. Тогда им определенно конец.

В подвале было тихо и сонно, лишь откуда-то сверху доносились голоса, топот сапог в здании. Временами топот становился довольно громким, что-то приглушенно стучало, явственно врывался чей-то крикливый голос. Вся эта суматошная возня наверху не могла не напомнить ему о Сотникове, и у Рыбака мучительно сжималось сердце — бедный, невезучий Сотников! Но, по-видимому, та же участь ждала и его... Правда, он не хотел думать об этом — он старался понять, как уйти от расправы и, может, еще и пособить Сотникову. Но, видно, все это было напрасно. Сквозь маленькое, чем-то заставленное снаружи окошко в камеру пробивались тусклые сумерки, в которых слабо брезжило светловатое пятно на затоптанной соломе да белела под окном поникшая голова старосты. Тот неподвижно сидел у стены, погрузившись в свои, тоже, разумеется, невеселые мысли, — теперь каждый переживал за себя.

— Говорили, кто-то полицая ночью поранил, неизвестно, выживет ли, — после долгого молчания сказал старик.

Для Рыбака это сообщение не было новостью, он только забыл об этом ранении и теперь встревожился еще больше. Однако разговор перевел на другое.

— Тебя уже брали наверх? — спросил он с робкой надеждой, что очередь на допрос, возможно, еще не его.

Но староста тут же разрушил эту его надежду.

— На добыт? А как же! Сам Портнов допрашивал.

— Какой Портнов?

— Следователь их.

— Ну и как? Здорово били?

— Меня-то не били. За что меня бить?

Рыбак, затаив дыхание, слушал: хотелось по возможности предугадать, что ждало его самого.

— Этот Портнов, скажу тебе, хитрый как черт. Все знает, — сокрушенно заметил старик.

— Но ты же вывернулся.

— А что мне выворачиваться! Вины за мной никакой нет. Что перед богом, то и перед людьми.

— Такой безгрешный?

— А в чем мой грех? Что не побег докладывать про овцу? Так я стар уже по ночам бегать. Шестьдесят семь лет имею.

— Да-а, — вздохнул Рыбак. — Значит, кокнут. Это у них просто: пособничество партизанам.

Все тем же бесстрастным голосом Петр сказал:

— Ну что ж, значит, судьба. Куда денешься...

«Какая покорность!» — подумал Рыбак. Впрочем, шестьдесят семь лет — свое уже прожил. А тут всего двадцать шесть, хотелось бы еще немного пожить на земле. Не столько страшно, сколько противно, ложиться зимой в промерзшую яму...

Нет, надо бороться!

А что, если ко всей этой истории припутать старосту? В самом деле, если представить его партизанским агентом или хотя бы пособником, сказать, что он уже не впервые оказывает услуги отряду, направить следствие по ложному пути? Начнут дополнительно расследовать, понадобятся новые свидетели и показания, пройдет время. Наверно, Петру это не слишком прибавит его вины перед немцами, а им двоим, возможно, и поможет.

Предавшись своим размышлениям, он вдруг встрепенулся от неожиданности — рядом тихонько зашуршала солома, и что-то живое и мягкое перекатилось через его сапог. Староста в углу брезгливо двинул ногой: «Кыш, холера на вас!», и в этот же момент Рыбак увидел под стеной крысу. Шустрый ее комок с длинным хвостом прошмыгнул краем пола и исчез в темном углу.

— Развелось их тут, — сказал Петр. — И на людей не смотрят — носятся, как холеры какие. Наверно, еще Ицковы. Когда-то тут лавка была. Ицка конфеты продавал. Потом сельпо открыли. Сколько поменялось порядков, а крысы все шныряют.

— Крысам теперь только и шнырять.

— Ну. Кому же их выводить? Человек за человеком охотится — не до крыс. Ах ты боже мой...

Только он успел сказать это, как где-то за дверью послышался топот шагов, знакомо брякнул засов, и скоро в глаза ярко ударил свет зимнего дня. В сиянии этого света на пороге появилась поджарая фигура Стася в подпоясанном армейском бушлате, с закинутым за плечо карабином.

— Ну, где цвай бандит? К следователю!

Полицай хохотнул коротко и противно, а в Рыбаке что-то мучительно перевернулось внутри. Наверно, с излишней поспешностью он вскочил на ноги и пошел на вызов. В сознании его нелепой тревогой промелькнул вопрос: где Сотников? Сначала же, наверно, должны были привести Сотникова, а потом уже взять на допрос его. Или, может, Сотникова уже убили?

Он покорно подошел к ступенькам, обождал, пока Стась закрыл за ним дверь, потом впереди конвоира быстро взбежал наверх. Двигался он почти механически, без всякого участия сознания, не замечая ничего вокруг. Чувствовал себя отвратительно. Нет, это не было страхом: его донимало бессилие, невозможность прибегнуть к испытанному средству — силе, чтобы по-солдатски постоять за себя. Отсутствие всякого выбора предельно сузило его возможности, мысль относительно старосты осталась лишь намерением — он не продумал ее как следует, ничего не решил конкретно и теперь нес к следователю полное смятение в душе.

— Вот полушубочек и скинешь, — с силой хлопнул его по плечу Стась. — А ничего полушубочек, ей-богу! И сапоги! Ну, сапожки-то я заберу. А то жаль такие трепать, правда? — сказал он доверительно, взмахнув перед арестантом ногой в добротном хромовом сапоге. — У тебя какой номер?

— Тридцать девятый, — солгал Рыбак, замедляя шаг: после смрадного подвала хотелось хоть надышаться.

— Холера, маловаты! Эй, в рот тебе оглоблю! — вдруг вызверился полицай. — Шире шаг!

Остерегаясь тумака, Рыбак не стал упрямиться — быстрым шагом проскочил крыльцо, двери, недлинный полутемный коридор с мордатым дневальным у тумбочки. Стась вежливо постучал согнутым пальцем в филенку какой-то двери:

— Можно?

Будто во сне, предчувствуя, как сейчас окончательно рухнет и рассыплется вся его жизнь, Рыбак переступил порог и вперся взглядом в могучую печь-голландку, которая каким-то недобрым предзнаменованием встала на его пути. Ее крутые черного цвета бока всем своим траурным видом напоминали нелепый обелиск на чьей-то могиле. За столом у окна стоял щупловатый человек в пиджаке, он ждал. Рыбак остановился у порога, подумав, не тот ли это полицай-следователь, о котором говорил староста.

— Фамилия? — гаркнул человек.

Он был явно рассержен чем-то, его немолодое личико недобро хмурилось, взгляд исподлобья жестко ощупывал арестанта.

— Рыбак, — подумав, сказал арестант.

— Год рождения?

— Девятьсот шестнадцатый.

— Где родился?

— Под Гомелем.

Следователь отошел от окна, сел в кресло. Держал он себя настороженно, энергично, но вроде не так угрожающе, как это показалось Рыбаку вначале.

— Садись.

Рыбак сделал три шага и осторожно опустился на скрипучий венский стульчик напротив стола.

— Жить хочешь?

Странный этот вопрос своей неожиданностью несколько снял напряжение, Рыбаку даже послышалось в нем что-то от шутки, и он неловко пошевелился на шатком стуле.

— Ну кому ж жить не хочется. Конечно...

Однако следователь, кажется, был далек от того, чтобы шутить, и в прежнем темпе продолжал сыпать вопросами:

— Так. Куда шли?

Энергичная постановка вопросов, наверное, требовала такого же темпа в ответах, но Рыбак опасался прозевать какой-либо подвох в словах следователя и несколько медлил.

— Шли за продуктами. Надо было пополнить припасы, — сказал он и подумал: «Черт с ним! Кто не знает, что партизаны тоже едят. Какая тут может быть тайна?»

— Так, хорошо. Проверим. Куда шли?

Было видно, как следователь напрягся за столом, пристально вглядываясь в малейшее изменение в лице плен-

ника. Рыбак, однако, разгладил на колене полу полушубка, поскреб там какое-то пятнышко — он старался отвечать обдуманно.

— Так это... На хутор шли, а он вдруг оказался спаленный. Ну, пошли куда глаза глядят.

— Какой хутор сожжен?

— Ну тот, Кульгаев или как его? Который под лесом.

— Верно. Кульгаев сожжен. Немцы сожгли. А Кульгай и все кульганята расстреляны.

«Слава богу, не придется взять грех на душу», — с облегчением подумал Рыбак.

— Как оказались в Лесинах?

— Обыкновенно. Набрели ночью, ну и... зашли к старосте.

— Так, так, понятно, — соображая что-то, прикинул следователь. — Значит, шли к старосте?

— Нет, почему? Шли на хутор, я же сказал...

— На хутор. Понятно. А кто командир банды? — вдруг спросил следователь и, полный внимания, замер, вперив в него жесткий, все замечающий взгляд.

Рыбак подумал, что тут уж можно солгать — пусть проверят. Разве что Сотников...

— Командир отряда? Ну этот... Дубовой.

— Дубовой? — почему-то удивился следователь.

Рыбак продолжительным взглядом уставился в его глаза. Но не за тем, чтобы уверить следователя в правдивости своей лжи, важно было понять: верят ему или нет?

— Прохвост! Уже с Дубовым снюхался! Так я и знал! Осенью не взяли, и вот, пожалуйста...

Рыбак не понял: кого он имеет в виду? Старосту? Но как же тогда? Видно, он здесь что-то напутал... Однако размышлять было некогда, Портнов стремительно продолжал допрос:

— Где отряд?

— В лесу.

Тут же он ответил без малейшей задержки и прямо и безгрешно посмотрел в холодно-настороженные глаза следователя — пусть уверится в его абсолютной правдивости.

— В Борковском?

— Ну.

(Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который хотя и большой, но после взрыва моста на Іслянке обложен с четырех сторон. Хватит того, что там осталась

группа этого Дубового, остатки же их отряда перебрались за шестнадцать километров, на Горелое болото.)

— Сколько человек в отряде?

— Тридцать.

— Врешь! У нас есть сведения, что больше.

Рыбак снисходительно улыбнулся. Он почувствовал надобность продемонстрировать легкое пренебрежение к неосведомленности следователя.

— Было больше. А сейчас тридцать. Знаете, бои, потери...

Следователь впервые за время допроса довольно поерзал в кресле:

— Что, пощипали наши ребята? То-то же! Скоро пух-перо полетит от всех вас.

Рыбак промолчал. Его настроение заметно тронулось в гору: кажись, от Сотникова они немного узнали, значит, можно насказать сказок — пусть проверяют. Опять же было похоже на то, что следователь вроде начал добреть в своем отношении к нему, и Рыбак подумал, что это его отношение надобно как-то укрепить, чтобы, может, еще и воспользоваться им. В его положении годилось все, что могло дать хоть какую-нибудь надежду.

— Так! — Следователь откинулся в кресле. — А теперь ты мне скажи, кто из вас двоих стрелял ночью? Наши видели, один побежал, а другой начал стрелять. Ты?

— Нет, не я, — сказал Рыбак не слишком, однако, решительно.

Тут уже ему просто неловко было оправдываться и тем самым перекладывать вину на Сотникова. Но что же — брать ее на себя?

— Значит, тот? Так?

Этот вопрос был оставлен им без ответа — Рыбак только подумал: «Чтоб ты издох, сволочь!» Так хитро ловит! Да и на самом деле, что он мог ответить ему?

Впрочем, Портнов не очень и настаивал.

— Так, так, понятно. Как его фамилия?

— Кого?

— Напарника.

Фамилия! Зачем бы она стала ему нужна, эта фамилия? Но если Сотников не назвал себя, то, видно, не следует называть его и ему. Наверно, надо было как-либо соврать, да Рыбак не сразу сообразил как.

— Не знаю, — наконец сказал он. — Я недавно в этом отряде...

— Не знаешь? — с легким упреком переспросил Портнов. — А староста этот, говоришь, Сыч? Так он у вас значится?

Рыбак напряг память — кажется, он даже и не слышал фамилии старосты или его клички.

— Я не знаю. Слышал, в деревне его зовут Петр.

— Ах Петр.

Ему показалось, что Портнов какой-то путаник, но тотчас он сообразил: следователь хочет запутать его.

— Так, так. Значит, родом откуда? Из Могилева?

— Из-под Гомеля, — терпеливо поправил Рыбак, — Речицкий район.

— Фамилия?

— Чья?

— Твоя.

— Рыбак.

— Где остальная банда?

— На... в Ворковском лесу.

— Сколько до него километров?

— Отсюда?

— Откуда же?

— Не знаю точно. Километров восемнадцать будет.

— Правильно. Будет. Какие деревни рядом?

— Деревни? Дегтярная, Ульяновка. Ну и эта, как ее... Драгуны.

Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку.

— А какие у вас связи с этой... Окунь Авгиньей?

— Дёмчихой? Ей-богу, никаких. Просто зашли перепрятаться, ну и поесть. А тут ваши ребята...

— А ребята и нагрянули! Молодцы ребята! Так, говоришь, никаких?

— Точно никаких. Авгинья тут ни при чем.

Следователь бодро вскочил из-за стола, локтями поддернул сползавшие в поясе бриджи.

— Не виновата? А вас принимала? На чердаке прятала? Что, думаешь, не знала, кого прятала? Отлично знала! Покрывала, значит. А по законам военного времени что за это полагается?

Рыбак уже знал, что за это полагается по законам военного времени, и подумал, что, пожалуй, придется отказаться от непосильного теперь намерения выгородить Дёмчиху. Было очевидно, что на каждую такую попытку следователь будет реагировать, как бык на красный лос-

кут, и он решил не дразнить. До Дёмчихи ли тут, когда неизвестно, как выкарабкаться самому.

— Так, хорошо! — Следователь подошел к окну и бодро повернулся на каблуках; руки его были засунуты в карманы брюк, пиджак на груди широко распахнулся. — Мы еще поговорим. А вообще должен признать: парень ты с головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что, не веришь? — Следователь иронически ухмыльнулся. — Мы можем. Это Советы ничего не могли. А мы можем казнить, а можем и миловать. Смотря кого и за что. Понял?

Он почти вплотную приблизился к Рыбаку, и тот, почувствовав, что допрос на том, наверно, кончается, почтительно поднялся со стула. Следователь был ему по плечо, и Рыбак подумал, что с легкостью придушил бы этого маломерка. Но, подумав так, он почти испугался своей такой нелепой тут мысли и с деланной преданностью взглянул в живые, с начальственным холодком глаза полицейского.

— Так вот! Ты нам расскажешь все. Только мы проверим, не думай! Не наврешь — сохраним жизнь, вступишь в полицию, будешь служить великой Германии...

— Я? — не поверил Рыбак.

Ему показалось, что под ногами качнулся пол и стены этого заплеванного помещения раздались вширь. Сквозь минутное замешательство в себе он вдруг ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле.

— Да, ты. Что, не согласен? Можешь сразу не отвечать. Иди подумай. Но помни: или пан, или пропал. Гаманюк!

Прежде чем он, ошеломленный, успел понять, что будет дальше, дверь раскрылась, и на пороге вырос тот самый Стась.

— В подвал!

Стась дурашливо уставился на следователя.

— Так это... Будила ждет.

— В подвал! — взвизгнул следователь. — Ты что, глухой?

Стась встрепенулся.

— Яволь в подвал! Биттэ, прошу!

Рыбак вышел, как и входил, в крайней растерянности, на этот раз, однако, уже по другой причине. Хотя он еще и не осознал всей сложности пережитого и в еще большей степени предстоящего, но уже чувствовал остро

и радостно — будет жить! Появилась возможность жить — это главное. Все остальное — потом.

— Гы, значит, откладывается? — дернул его за рукав полушубка Стась, когда они вышли во двор.

— Да, откладывается! — твердо сказал Рыбак и впервые с вызовом посмотрел на красивое, издевательски-улыбчивое лицо полицая.

Тот хохотнул хрипловатым, вроде козлиного блеяния, голосом.

— Никуда не денешься! Отдашь! Добровольно, но обязательно — требуха из тебя вон!

«Дурной или прикидывается?» — подумал Рыбак. Но Стась теперь мало беспокоил его: у него появился защитник.

13

Сотникова спасала его немощность: как только Будила начинал пытку, он быстро терял сознание. Его отливали, но ненадолго, мрак опять застилал сознание, тело не реагировало ни на ременные чересседельники, ни на специальные стальные щипцы, которыми Будила сдирал с пальцев ногти. Напрасно провозившись так с полчаса, двое полицейских вытащили Сотникова из помещения и бросили в ту камеру, к старосте.

Некоторое время он молча лежал на соломе, в мокрой от воды одежде, с окровавленными кистями рук и тихо стонал. Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Когда за дверью утихли шаги полицейских, к нему на коленях подполз староста Петр.

— Ай-яй! А я и не узнал. Вот что наделали...

Сотников услышал новый возле себя голос, который показался ему знакомым, но истерзанное его сознание уже не в состоянии было восстановить в памяти, кто этот человек. Впрочем, человек вроде был расположен к нему, Сотников почувствовал это по голосу и попросил:

— Воды!

Человек, слышно было, поднялся, не сильно, хотя и настойчиво, постучал в дверь.

— Черти! Не слышит никто.

Плохо соображая уже, Сотников все же понял, что помощи здесь не будет. И он ничего не просил больше, погружаясь в забытье и оставаясь один на один со свои-

ми муками. Все время очень хотелось пить. Какой-то густой знойный туман обволакивал все вокруг, Сотников долго тащился в нем на ватных ногах, пока не увидел у забора колодец с ведром на цепи. Такими же ватными, бессильными руками он опускал это ведро в колодец, как вдруг из его черной бездны с тревожным фырканьем бросился врассыпную шустрый кошачий выводок. Сотников терпеть не мог кошек и почти в испуге отпрянул от сруба, медленно приходя в себя. Затем он каким-то образом очутился на улице их довоенного городка и вдруг увидел перед собой Редькина, давнишнего своего ординарца, как раз несшего связку мокрых, наполненных водой фляг. Сотников схватился за одну из них, но фляга в его руках сразу же превратилась в противогазную сумку, а в сумке какая же вода...

Спустя некоторое время он все-таки дождался котелка с водой и долго и мучительно пил. Но вода была теплая, невкусная, она не утоляла жажды, только противно наполняла желудок. Вожделенное это питье не принесло ему облегчения, лишь усилило муки, его стало тошнить. Было очень жарко от полуденного солнца, в окопчике, где он стоял, всюду пересыпался раскаленный песок с клочками сухой колючей травы. Он ничуть еще не напился, как рядом послышался окрик руководителя стрельбами полковника Логинова: «Темп! Темп!» Сотникова это удивило и обеспокоило одновременно: показалось странным, как он мог отвлечься на этот водопой во время стрельбы? Он испугался, что не уложится в темп подачи команд, который вместо полагавшихся шести-десяти секунд, наверное, перевалил за минуту.

Потом его видения стали тускнеть, сознание заволокло бессмыслицей, за которой едва пробивались ускользающие причудливые образы, усиливающие и без того нестерпимые его страдания...

Когда в камеру вернули Рыбака, Сотников, как труп, тихо лежал на соломе, с головы до пят накрытый шинелью. Рыбак сразу же опустился рядом, откинул полу шинели, поправил ему руку. Сломанные пальцы Сотникова слиплись в кровавых сгустках, и он ужаснулся при мысли, что то же самое могли сделать и с ним. На первый раз расправа каким-то образом миновала его. Но что будет завтра?

— Хлопец, тут это... Воды надо... — сказал из угла Петр, пока Стась запирал дверь.

— Я тебе не хлопец, а господин полицай! — злобно заметил Стась.

— Пускай полицай. Извините. Человек помирает.

— Туда и дорога бандиту. Тебе тоже.

С громовым грохотом захлопнулась дверь, стало темно; Петр, вздохнув, опустился на солому в углу.

— Звери!

— Тихо, вы! — сказал Рыбак. — Услышат.

— Пусть слышат. Чего уж бояться...

Закрылась и наружная дверь, на ступеньках заглохли шаги полицая. Сделалось очень тихо, и стало слышно, как неподалеку, в подвале, кто-то тихонько плакал — короткие всхлипывания, пауза, — наверно, ребенок или, возможно, женщина. На соломе все еще в забытьи промычал что-то Сотников.

— Да-а, этого изувечили. Выживет ли? — сказал Петр.

Рыбак подумал: «Вряд ли он выживет». И вдруг ему открылось чрезвычайно четко и счастливо: если Сотников умрет, то его, Рыбака, шансы значительно улучшатся. Он сможет сказать что вздумается, других здесь свидетелей нет.

Конечно, он понимал всю бесчеловечность этого открытия, но, сколько ни думал, неизменно возвращался к мысли, что так будет лучше ему, Рыбаку, да и самому Сотникову, которому после всего, что случилось, все равно уже не жить. А Рыбак, может, еще и вывернется и тогда уж наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже. Он вовсе не собирался выдавать им партизанских секретов, ни тем более поступать в полицию, хотя и понимал, что уклониться от нее, видно, будет не просто. Но ему важно было выиграть время — все зависело от того, сколько дней он сумеет продержаться в этом подвале.

Сотников тяжело и хрипло дышал, слегка постанывая, и Рыбак подумал: нет, не вытянет. Тут и с крепким здоровьем недолго загнуться, где уж ему!

— А тебе, гляжу, больше повезло, — рассудительно и вроде бы со смыслом намекнул старик.

Эти его слова неприятно задели Рыбака — какое ему дело? Но он спокойно ответил:

— Мое все впереди.

— Ясное дело — впереди. Так они не оставят.

Рыбак неприязненно посмотрел в угол — становилось

не по себе от непрошеных пророчеств этого человека: откуда ему знать, простят или нет? У него шел зачет по особому от прочих счету, в благотворную силу которого он почти что поверил и старался подробнее все обдумать.

Но, видимо, это место было мало подходящим для длительных размышлений: только он сосредоточился на своих заботах, как по ступенькам опять застучали каблуки. Шаги замерли возле их камеры, громыхнул засов, и на пороге вырос тот самый Стась.

— Нá воды! Живо! И чтоб этот бандюга к завтраму был как штык! А ты, старый хрен, марш к Будиле!

Рыбак притушил в сердце вспыхнувшую было тревогу, взял из рук полицая круглый котелок с холодной водой. Петр из угла недоуменно уставился на Стася.

— А зачем, не знаешь?

Полицай с неподдельным весельем заржал:

— Знаю: в подкидного сыграть. Ну, живо!

Старик тяжело поднялся, подобрал с пола тулупчик и, нагнув голову, вышел из камеры. Все с тем же грохотом захлопнулась тяжелая дверь.

Встав на колени, Рыбак начал тормошить Сотникова. Тот, однако, только стонал. Тогда он одною рукой наклонил котелок, а другой приподнял голову Сотникова и немного влил в его рот воды. Сотников вздрогнул, но тут же жадно припал губами к шершавому краю котелка, несколько раз сдавленно, трудно глотнул.

— Кто это?

— Это я. Ну как ты? Лучше?

— Рыбак? Фу ты! Дай еще.

Рыбак снова придержал его голову — стуча зубами о котелок, Сотников выпил еще и пластом слег на гнилую солому.

— Что, мучили здорово? — спросил Рыбак.

— Да, брат, досталось, — выдохнул Сотников.

Рыбак заботливо оправил на нем шинель и привалился спиной к стене, рассеянно вслушиваясь в шумное дыхание товарища, которое, однако, помалу выравнивалось.

— Ну, как самочувствие?

— Теперь хорошо. Лучше. А тебя?

— Что?

— Били?

Этот вопрос застал Рыбака врасплох. Он не знал, как коротко объяснить товарищу, почему его не пытали.

— Да нет, не очень.

Сотников закрыл глаза. Его изможденное, серое, с отросшей щетиной лицо едва выделялось в сумерках на серой соломе. В груди все хрипело. И тогда Рыбаку пришло в голову, что, пока имеется такая возможность, надо бы кое о чем условиться относительно предстоящих допросов.

— Слушай, я вроде их обхитрю, — шепнул он, склонившись к товарищу. Тот удивленно раскрыл глаза — широкие белки в глазницах тускло блеснули отраженным светом. — Только нам надо говорить одно. Прежде всего — шли за продуктами. Хутор сожжен, притопали к Лесинам, ну и ...

— Ничего я им не скажу, — перебил его Сотников.

Рыбак прислушался, нет ли кого поблизости, но, кажется, всюду было тихо. Только сверху доносились голоса и шаги, как раз над их камерой. Но сверху его не услышат.

— Ты брось, не дури. Надо кое-что и сказать. Так слушай дальше. Мы из группы Дубового, он сейчас в Борковском лесу. Пусть проверят.

Сотников задержал дыхание:

— Но Дубовой действительно там.

— Ну и что?

Рыбак начинал злиться: вот же несговорчивый человек, разве в этом дело! Безусловно, Дубовой с группой в Борковском лесу, но оттого, что они назовут место его расположения, тому хуже не станет — полицаям до него не добраться. Остатки же их отряда как раз в более ненадежном месте.

— Слушай! Ты послушай меня! Если мы их не проведем, не схитрим, то через день-два нам каюк. Понял? Надо немного и в поддавки сыграть. Не рвать через силу.

Сотников, слышно было, будто насторожился, притих, дыхание его замерло — сдается, он что-то обдумывал.

— Ничего не выйдет, — наконец сказал он.

— Как не выйдет? А что тогда выйдет? Смерти достукаться легче всего.

«Вот дурила», — подумал Рыбак. Уж такого неразумного упрямства он не ожидал. Впрочем, сам одною ногой в могиле, так ему все нипочем. Не хочет даже шевельнуть мозгами, чтобы не потащить за собой и товарища.

— Ты послушай, — помолчав, горячо зашептал Рыбак. — Нам надо их пова́дить. Знаешь, как щуку на удочке. Иначе перетянешь, порвешь — и все пропало. Надо прикинуться смирными. Знаешь, мне предложили в полицию, — как-то сам не желая того, сказал Рыбак.

Веки у Сотникова вздрогнули, затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза.

— Вот как! Ну и что ж — побежишь?

— Не побегу, не бойсь. Я с ними поторгуюсь.

— Смотри, проторгуешься, — язвительно просипел Сотников.

— Так что же, пропадать? — вдруг озлясь, едва не вскрикнул Рыбак и замолчал, выругавшись про себя. Впрочем, черт с ним! Не хочет — его дело; Рыбак же будет бороться за себя до конца.

Сотников задышал труднее — от волнения или от хвори; попытался откашляться — в груди зашипело, как на жаровне, и Рыбак испугался: помирает, что ли? Но он не умирал и вскоре, совладав с дыханием, сказал:

— Напрасно лезешь... в дерьмо! Позоришь красноармейскую честь. Живыми они нас не выпустят.

— Как сказать. Если постараться...

— Для кого стараться? — срываясь, зло бросил Сотников и задохнулся. Минуту он мучительно кашлял, потом шумно дышал, затем сказал вдруг упавшим голосом: — Не в карты же играть они тебя в полицию зовут.

«Наверное, не в карты», — про себя согласился Рыбак. Но он шел на эту игру, чтобы выиграть себе жизнь — разве этого недостаточно для самой, пусть даже отчаянной игры? А там оно будет видно, только бы не убили, не замучили на допросах. Только бы вырваться из этой клетки, и ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?

— Не бойсь, — сказал он. — Я тоже не лыком шитый.

Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом.

— Чудак! С кем ты вздумал тягаться?

— А вот увидишь.

— Это же машина! Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок! — задыхаясь, просипел он.

— Я им послужу!

— Только начни!

«Нет, видно, с ним не сговоришься, с этим чудаком человеком», — подумал Рыбак. Как в жизни, так и перед смертью у него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы, а вообще все дело в характере, так понимал Рыбак. Но ведь кому не известно, что в игре, которая называется жизнью, чаще с выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит. Да и как иначе? Действительно, фашизм — машина, подмявшая под свои колеса полмира, разве можно, стоя перед ней, размахивать голыми руками? Может, куда разумнее будет подобраться со стороны и сунуть ей меж колес какую-нибудь рогатину. Пусть напорется да забуксует, дав тем возможность потихоньку смыться к своим.

Сотников замолчал или, может, впал в забытье, и Рыбак, перестал набиваться к нему с разговором. Пусть поступает как хочет — он же, Рыбак, будет руководствоваться собственным разумом.

Он лег на бок, подобрал ноги, повыше натянул воротник полушубка. Пока суд да дело, было бы неплохо вздремнуть, чтобы прояснилось в голове, потому как скоро, наверно, будет уже не до сна. Однако он верил в свою счастливую звезду и постепенно убеждался, что его отношения с полицаями обрели правильное направление, которого и нужно держаться. Если только Сотников своим нелепым упрямством не испортит все его планы. Но, видно, Сотников долго не протянет. Странным это было и противным — думать о скорой смерти товарища. Но иначе не получалось. В его смерти он видел единственный для себя выход из этой западни.

Задумавшись, Рыбак не сразу услышал, как что-то живое тихонько корябнуло по его сапогу, потом снова. Он двинул ногой и вдруг ясно увидел крысу — серый ее комок метнулся к стене и затих там; длинный и тонкий хвост настороженно пролег по соломе. Содрогнувшись, Рыбак пнул туда каблуком — крыса, тоненько пискнув, проворно скрылась в темном углу. По донесшейся из соломы тихой возне Рыбак, однако, понял, что там она не одна. Наверно, надо бы чем-то бросить в них, но под руками не было ничего подходящего, и Рыбак, сорвав с головы шапку, швырнул ее в угол.

Когда там притихло, он на четвереньках сползал за шапкой и опять привалился спиной к стене. Однако спать он уже не мог, сидел и с неясным брезгливым страхом вглядывался в крысиный угол.

14

Петра привели не скоро, уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились и окошко вверху едва светилось скудным отсветом морозного дня. Да и в двери, когда та отворилась, уже не было прежней яркости — нагнув белую голову, староста молча переступил порог и сунулся на свое усиженное место в углу.

Полицай не спешил закрывать двери, и Рыбак у стены весь болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой вонючей камеры. Было страшно, что следующим опять вызовут его, хотя он понимал, что от полицая это ничуть не зависело. Но не вызвали никого, дверь наконец затворилась, надежно звякнул засов. Полицай, однако, — на этот раз кто-то другой, не Стась — направился не к ступенькам: его шаги в коридоре повернули в другую сторону. Вскоре в глубине подвала застучали другие засовы, раздались глуховатый окрик и женский короткий всхлип.

В этот раз брали женщин.

Как только в подвале опять все затихло, к Рыбаку начало помалу возвращаться его самообладание. Что ж, беда пока миновала его, настигнув другого, и это, как всегда на войне, вопреки всему успокаивало. Будто тем самым давало ему дополнительные шансы выжить.

Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой, которого, похоже, пытали не очень, во всяком случае не так, как Сотникова. Но то обстоятельство, что он, не проронив ни слова, отчужденно затих в своем мрачном углу, обеспокоило Рыбака.

— Ну как? Обошлось? — нарочито бодро спросил Рыбак.

Петр после непродолжительной паузы отозвался невеселым голосом:

— Нет, уже не обойдется. Плохи наши дела.

— Хуже некуда, — согласился Рыбак.

Староста высморкался, видно было, привычно разгладил усы и сообщил как бы между прочим, ни к кому не обращаясь:

— Подговаривали, чтоб я выведал от вас. Про отряд, ну и еще кое-что.

— Вот как! — неприятно удивился Рыбак, вспомнив свой недавний разговор с Сотниковым. — Шпионить, значит?

— Вроде того. Шестьдесят семь лет прожил, а под старость на такое дело... Не-ет, не по мне это.

Рядом на соломе, как-то испуганно вздрогнув, привстал на локтях Сотников.

— Кто это?

— Да тот, лесиновский староста, — подавленно сказал Рыбак.

Разговор на этом прервался. Рыбак и Петр притихли каждый в своем углу. Окошко, погаснув, едва серело под потолком, четко разделенное решеткой на четыре квадрата. В камере воцарилась темень. Разговаривать никому не хотелось, каждый углубился в себя и свои далеко не веселые мысли.

И тогда опять затопали шаги на ступеньках, слышно было, раскрылась наружная дверь и неожиданно громко звякнул засов их камеры. Они все насторожились, одинаково обеспокоенные единственным в таких случаях вопросом: за кем? Тем не менее и теперь, видно, не забирали никого — напротив, кого-то привели в эту камеру.

— Ну! Марш!

Кто-то невидимый в темноте почти неслышно проскользнул в дверь и затаился у порога возле самых ног Рыбака. Когда дверь со стуком закрылась и полицай, посвистывая, задвинул засов, Рыбак бросил в темноту:

— Кто тут?

— Я.

Голос был детский, это стало понятно сразу, — маленькая фигурка нового арестанта приткнулась у самой двери и молчала.

— Кто я? Как зовут?

— Бася.

«Бася? Что за Бася? Будто еврейское имя, но откуда она тут взялась? — удивился Рыбак. — Всех евреев из местечка ликвидировали еще осенью, вроде нигде никого не осталось — как эта оказалась тут?! И почему ее привели в камеру к ним, а не к Дёмчихе?»

— Откуда ты? — спросил Рыбак.

Девочка молчала. Тогда он спросил о другом:

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать.

В углу, трудно вздохнув, зашевелился Петр.

— Это Меера-сапожника дочка. Допрашивали тебя?

— Ага, — тихо подтвердила девочка.

— Меера тогда изничтожили вместе со всеми. Вот... одна дочка и уцелела. Что ж мы теперь будем делать с тобой, Бася?.. — И Петр вновь тяжко вздохнул.

Рыбак вдруг потерял интерес к девочке, встревоженный другим: почему ее привели сюда? В подвале были, наверно, и еще места — где-то поблизости сидели женщины, — почему же девочку подсадили к мужчинам? Какой в этом смысл?

— Чего ж они добивались от тебя? — помолчав, тихо спросил Петр Басю.

— Чтоб сказала, у кого еще пряталась.

— А-а, вон как! Ну что ж... Это так. А ты не сказала?

Бася затаилась, будто обмерла, молчала.

— И не говори, — одобрил погодя староста. — Нельзя о том говорить. Мое дело все равно конченое, а про других молчи. Если и бить будут. Или тебя уже били?

Вместо ответа в углу вдруг послышался всхлип, за которым последовал сдавленный, болезненный плач. Он был коротеньким, но столько неподдельного детского отчаяния выплеснулось с ним, что всем в этой камере сделалось не по себе. Сотников на соломе, слышно было, осторожно задержал дыхание.

— Рыбак!

— Я тут.

— Там вода была.

— Что, пить хочешь?

— Дай ей воды! Ну что ты сидишь?

Нащупав под стеной котелок, Рыбак потянулся к девочке.

— Не плачь! На вот, попей.

Бася немного отпила и, присмирев, затихла у порога.

— Иди сюда, — позвал Петр. — Тут вот место есть. Будем сидеть. Вот подле стенки держись.

Послушно поднявшись и неслышно ступая в темноте босыми ногами, Бася направилась к старику. Тот подвинулся, освобождая ей место рядом.

— Да-а! Попались! Что они еще сделают с нами?

Рыбак молчал, не имея желания поддерживать разговор, рядом тихонько постанывал Сотников. Они ждали. Все их внимание было приковано к ступенькам — оттуда являлась беда.

И действительно, долго ждать ее не пришлось.

Спустя четверть часа со двора донеслось злое: «Иди,

иди, падла!» — и не менее обозленное в ответ: «Чтоб тебя так и в пекло гнали, негодник!» — «А ну шевелись, не то как двину!» — прорычал мужской голос. На ступеньках затопали, заматерились — сомнений не было: это возвращали с допроса Дёмчиху.

Но почему-то ее также не поволокли в прежнюю камеру — полицаи остановились возле их двери, загремели засовом, и тот самый, хорошо знакомый им Стась сильно толкнул Дёмчиху через порог. Женщина споткнулась, упала на Рыбаковы ноги и громко запричитала в темноте:

— Куда ты толкаешь, негодяй! Тут же мужчины, а, божечка мой!..

— Давай, давай! Черт тебя не возьмет! — прикрикнул Стась. — До утра перебудешь.

— А утром что? — вдруг спросил Рыбак, которому послышался какой-то намек в словах полицая.

Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру:

— А утром грос аллес капут! Фарштэй?

«Капут? Как капут?» — тревожно пронеслось в смятенном сознании Рыбака. Но страшный смысл этого короткого слова был слишком отчетлив, чтобы долго сомневаться в нем. И эта его отчетливость ударила как оглоблей по голове.

Значит, утром конец!

Почти не ощущая себя, Рыбак механически подобрал ноги, дал пристроиться у порога женщине, которая все всхлипывала, сморкалась, потом начала вздыхать — успокаиваться. Минуту они все молчали, затем Петр в своем углу сказал рассудительно:

— Что же делать, если попались. Надо терпеть. Откуда же ты будешь, женщина?

— Я? Да из Поддубья, если знаете.

— Знаю, а как же. И чья же ты там?

— Дёмки Окуня женка.

Стараясь как-либо отделаться от недобрых предчувствий, Рыбак под стеной стал прислушиваться к Дёмчихе. Ему не хотелось обнаруживать себя разговором, тем более что Дёмчиха, возможно, не узнала его в темноте. Они уже познакомились с ее сварливым характером, и теперь, оказавшись в таком положении, Рыбак думал, что эта женщина очень просто может закатить им скандал — было за что. Но она мало-помалу успокоилась,

еще раз высморкалась. Голос ее понемногу ровнел, становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне.

— Да-а, — озадаченно вздохнул Петр. — А Демьян в войске...

— Ну, Дёмка там где-то горюшко мыкает. А надо мной тут измываются. Забрали вот! Деток на кого покинули? И как они там без меня? Ой, деточки мои родненькие...

Только что смолкнув, она расплакалась снова, и в этот раз никто ее не утешал, не успокаивал — было не до того. В камере продолжали звучать зловещие слова Стася, они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, остававшегося по-прежнему внешне спокойным и рассудительным. Между тем Дёмчиха как-то неожиданно, будто все выплакав, вздохнула и спокойно уже заметила:

— Вот люди! Как звери! Гляди, каким чертом стал Павка этот!

— Портнов, что ли? — поддержал разговор Петр.

— Ну. Я же его кавалером помню — тогда Павкой звали. А потом на учителя выучился. Евонная матка на хуторе жила, так каждое лето на молочко да на яблочки приезжал. Нагляделась. Такой ласковый был, «добрый день» все раздавал, с мужчинами за ручку здоровкался.

— Знаю Портнова, а как же, — сказал Петр. — Против бога, бывало, по деревням агитировал. Да так складно...

— Гадина он был. И есть гадина. Не все знают только. Культурный!

— А полицайчик этот тоже с вашего боку будто?

— Стась-то? Наш! Филиппёнок младший. Сидел за поножовщину, да пришел в первые дни, как началось. И что выделывать стал — страх! В местечке все над евреями измывался. Убивал, говорили. Добра натаскал — божечка мой! Всю хату завалил. А теперь вот и до нас, хрищеных, добрался.

— Это уж так, — согласился Петр. — С евреев начали, а гляди, нами кончат.

— Чтоб им на осине висеть, выродкам этим.

— Я вот думаю все, — беспокойно заворошился староста, — ну пусть немцы. Известно, фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать. Ну, а наши, которые с ними? Как их вот понимать? Жил, ел который, людям в

глаза глядел, а теперь заимел винтовку и уже застрелить норовит. И стреляют! Сколько перебили уже...

— Как этот, как его... Будила ваш! — не сдержавшись, напомнил Рыбак.

— Хватает. И Будила, и мало ли еще каких. Здешних и черт знает откуда. Любителей поразбойничать. Что ж, теперь им раздолье, — глухим басом степенно рассуждал лесиновский староста.

Что-то вспомнив, его нетерпеливо перебила Дёмчиха.

— Это самое, говорят, Ходоронок их, которого ночью ранили, сдох. Чтоб им всем передохнуть, гадовью этому!

— Все не передохнут, — вздохнул Петр. — Разве что наши перебьют.

На соломе задвигался, задышал, опять попытался подняться Сотников.

— Давно вы так стали думать? — просипел он.

— А что ж думать, сынок? Всем ясно.

— Ясно, говорите? Как же вы тогда в старосты пошли?

Наступила неловкая тишина, все примолкли, настороженные этим далеко идущим вопросом. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил вдруг дрогнувшим голосом:

— Я пошел! Если бы знали... Негоже говорить здесь. Хотя что уж теперь... Отбрыкивался как мог. В район не являлся. Разве я дурак, не понимаю, что ли. Да вот этак ночью однажды — стук-стук в окно. Открыл, гляжу, наш бывший секретарь из района, начальник милиции и еще двое, при оружии. А секретарь меня знал — как-то в коллективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово, говорит: «Слышали, в старосты тебя метят, так соглашайся. Не то Будилу назначат — совсем худо будет». Вот и согласился. На свою голову.

— Да-а, — неопределенно сказал Рыбак.

— Полгода выкручивался меж двух огней. Пока не сорвался. А теперь что делать? Придется погибнуть.

— Погибнуть — дело нехитрое, — буркнул Рыбак, закругляя неприятный для него разговор.

То, что о себе сообщил староста, не было для него неожиданностью — после допроса у Портнова Рыбак уже стал кое о чем догадываться. Но теперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасал-

ся, как бы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции и не оборвали последнюю ниточку его надежды.

Сотников между тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Сознание вернулось к нему, но чувствовал он себя плохо: адски болела нога от стопы до бедра, жгло пальцы на руках, в груди все горело. Он понимал, что староста сказал правду, но от этой правды не становилось легче. Ощущение какой-то нелепой оплошности по отношению к этому Петру вдруг навалилось на Сотникова. Но кто в том повинен? Опять получалось как с Дёмчихой, которая явилась перед ними живым укором их непростительной беспечности. С опаской прислушиваясь теперь к словам женщины, Сотников ожидал, что та начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Но шло время, а она весь свой гнев вымещала на полиции и немцах — их же с Рыбаком даже и не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде. На зловещее сообщение Стася она также не реагировала — может, не поняла его смысла, а может, просто не обратила внимания.

Впрочем, поверить в это сообщение было страшно даже для готового ко всему Сотникова. Он также не мог взять в толк: то ли полицай просто пугал, то ли действительно они надумали покончить в один раз со всеми. Но неужели им не хватило бы двух смертей — его с Рыбаком, какой был смысл лишать жизни эту несчастную Дёмчиху, и незадачливого старосту, и девочку? Невероятно, но, видимо, будет так, думал Сотников. Скорпион должен жалить, иначе какой же он скорпион? Очевидно, для того и позаталкивали их в одну камеру. Камеру смертников.

15

Как-то незаметно Рыбак, сдается, заснул, как сидел — сгорбившись под стеной. Впрочем, вряд ли это был сон — скорее усталое забытье на какой-нибудь час. Вскоре, однако, тревога разбудила его, и Рыбак открыл глаза, не сразу поняв, где он. Рядом в темноте тихонько звучал разговор, слышался детский знакомый голос, сразу же напомнивший ему про Басю. Изредка его перебивал хрипловатый старческий шепот — это вставлял свое слово Петр. Рыбак прислушался к их тихой ночной

беседе, напоминавшей шуршание соломенной крыши на ветру.

— Сперва хотела бежать за ними, как повели. Выскочила из палисадника, а тетка Прасковья машет рукой: «Ни за что не ходи, — говорит, — прячься». Ну, побежала назад, за огороды, влезла в лозовый куст. Может, знаете, большой такой куст в конце огородов у речки? Густой-густой. За два шага стежечка на кладку — как сидишь тихо, не шевелишься, нисколечко тебя не видно. Ну, я и залезла туда, выгребла местечко в сухих листьях и жду. Думала, как мамка вернется — позовет, я услышу и выбегу. Ждала-ждала — не зовет никто. Уже и стемнело, стало страшно. Все казалось: кто-то шевелится, крадется, а то станет, слушает. Думала: волк! Так волков боялась! И не заснула нисколечко. Как стало светлеть, тогда немного заснула. А как проснулась, очень есть захотелось. А вылезть из куста боюсь. Слышно, на улице гомон, какие-то подводы, из хат местечковых все выгружают, куда-то везут. Так я сидела и сидела. Еще день, еще ночь. И еще не помню уже сколько. На стежечке, когда бабы полоскать идут, так мне их ноги сквозь листву видать. Все мимо проходят. А мне так есть хочется, что уже и вылезть не могу. Сижу да плачу тихонько. А однажды кто-то возле куста остановился. Я затаилась вся, лежу и не дышу. И тогда слышу, тихонько так: «Бася, а Бася!» Гляжу, тетка Прасковья нагнулась...

— А ты не говори кто. Зачем нам про все знать, — спокойно перебил ее Петр.

— Ну, тетка одна дает мне узелок, а там хлеб и немножко сала. Я как взяла его, так и съела все сразу. Только хлеба корочка осталась. А потом как схватил живот... Так больно было, что помереть хотела. Просила и маму и бога — смерти просила.

Рыбак под стенкой зябко поежился — так это прозвучало по-житейски знакомо, будто перед ним исповедовалась какая-нибудь старушка, а не тринадцатилетняя девочка. И сразу же этот ее рассказ вызвал в нем воспоминание об одной девяностолетней бабке из какой-то лесной деревушки по ту сторону железной дороги. Они тогда вышли из лесу спросить про немцев, часок отдохнуть в тепле, ну и перекусить, конечно. В избе, что стояла на отшибе, никого не оказалось, лишь одна забытая богом глухая бабка сидела на печи, свесив на полок босые ноги. Пока они курили, бабка устало сетовала на господа

бога, который не дает ей смерти и так мучительно растянул ее никчемную старушечью жизнь. Оказавшись одна и без родственников, она еще после той войны прижилась возле малознакомых, чужих людей, которым надо было растить детей, досмотреть возле хаты. Видно, хозяева рассчитывали, что лет пять старушка еще продержится, тем временем подрастут дети, а там, гляди, придет срок — и на кладбище. Но срок этот не пришел ни через пять, ни через пятнадцать лет, задержалась старушка у чужих людей. За это время повырастали малые, погиб на финской войне хозяин, хозяйка сама едва сводила концы с концами — что ей было до немощной чужой старухи? А смерть все не шла... Прощаясь тогда, Рыбак в шутку пожелал ей как можно скорее окончить свое пребывание на этом свете, и она искренне благодарила его, молясь все об одном. А теперь вот опять то же самое. Но ведь это ребенок.

Что делается на свете!

— А после мне лучше стало. Однажды очень напугалась утром. Только задремала, сдалось, какой-то зверь крадется по берегу под кустом. А это кот. Огромный такой серый котище из местечка, наверно, остался один, ну и ищет себе прокорму. Рыбу ловит. Знаете, на берегу так замрет, уставится в воду, а потом как прыгнет! Вылезет весь мокрый, а в зубах рыбка. Вот, думаю, если бы мне так наловчиться! Хотела я отнять рыбину, да не успела: удрал кот и под другим кустом съел всю, и хвостика не осталось. Но потом мы с ним подружились. Придет когда днем, заберется в куст, ляжет рядышком и мурлычет. Я глажу его и немножечко сплю. А он чуткий такой. Как только кто-либо поблизости объявится, он сразу натопырится, и я уже знаю: надо бояться. А когда очень голод донял, выбралась ночью на огород поблизости. У Кривого Залмана огурцы еще остались, семенные которые, морковка. Но кот же не ест морковки. Так мне его жаль станет...

— Пусть бы мышей ловил, — отозвалась из темноты Дёмчиха. — У нас, в Поддубье, у одних была кошка, так зайчат таскала домой. Ей-богу, не лгу. А как-то приволокла зайца огромадного, да на чердак не встащила — видно, не осилила. Утречком вышел Змитер, глядь: заяц под углом лежит.

— А, так-то, наверно, у нее котята были, — догадался Петр.

— Ну, котятки.

— Так это понятно. Тут уж для котят старалась. Как мать все равно... Ну, а потом как же ты?

— Ну так и сидела, — тихонько и доверчиво шептала Бася. — Тетка... Ну та, которая... еще несколько раз хлеба давала. А потом очень холодно стало, дождь пошел, начала листва осыпаться. Однажды меня кто-то утречком увидел, дядька какой-то. Ничего не сказал, прошел мимо. А я так напугалась, чуть до ночи додрожала. Вечером, как дождь посыпал, вылезла, бродила, бродила по зауголью, а под утро забралась в чей-то овин. Там пересидела три дня. Там хорошо было, сухо, да обыск начался. Искали какую-то рожь и меня едва не нашли. Так я перешла в сарай — свиньи там были. Ну и я возле них. Затиснусь ночью между свиньей и подсвинком и сплю. Свинья спокойная была, а кабан, холера на него, кусался...

— А, господи! Вот намучилась, бедная! — вздохнула Дёмчиха.

— Нет. Там тепло было.

— А как же с едой? Или носил кто?

— Так я же не показывалась никому. А ела... Ну там в корыте выбирала что-то...

— Ой, до чего людей довели, боже, боже!.. А хозяева что, так и не заметили?

— Заметили, конечно. Заспала однажды — уже снег был. Выскочила, чтоб перебежать через улицу — там дом был пустой, ну я и пряталась. Только улицу перебежала, оглянулась, а дядька стоит в дверях, смотрит. Я за клен, притаилась. Толстый такой клен там...

— Ой, наверно, что против аптеки? — догадалась Дёмчиха. — Так там же Игналя Супрон жил...

— А тебе что? — неласково перебил ее Петр. — Кто ни жил, не все ли равно? Зачем спрашивать?

Дёмчиха, похоже, обиделась.

— Да я так. Если и сказала, так что?

— А ничего! А что потом... Ни к чему теперь и таиться — все равно... Свет не без добрых людей: Басю ко мне переправили, в деревню. Рассудили верно — у старосты искать не будут. Через ту распроклятую овечку оба попались: меня с печки стянули, Басю из-под пола выволокли...

Рыбак совсем не удивился и этому, подумал только: плохо прятал, значит. Спрятал бы хорошо — не нашли

бы. Да и вообще, зачем тут рассказывать обо всем этом? Кому не известно, что иногда и стены имеют уши? Впрочем, черт с ними! Что они все ему? К тому же, наверно, всем им уже поздно что-то скрывать, чего-то остерегаться. Если Стась сказал правду, так завтра их всех ожидает смерть.

В камере настала гнетущая, сторожкая тишина, которую погодя нарушила Бася.

— Под полом мне было хорошо: тетка Арина мне сенничек положила. Я слышала, как те дяди заходили. А дяди ушли, я только уснула и сразу слышу — ругаются. Полицаи!.. Ой-ой!

Испуганный крик Баси заставил подхватиться с места Петра, и Рыбак понял: крысы. Обнаглели, или изголодались так, что перестали бояться и людей. Старик сапогом несколько раз топнул в углу. Бася, вскочив, стояла на середине камеры, закрывая собой светлый квадрат окна. Она вся тряслась от испуга.

— Они же кусаются. Они же ножки мои обгрызли. Я же их страх как боюсь. Дяденька!..

— Ничего, не бойся. Крысы что? Крысы не страшны. Укусят, ну и что? Такой беды! Иди вон в мой угол, садись. И я тут... Я их, чертей!..

Он потопал еще, поворошил в углу и сел. Бася приткнулась на его насиженном на соломе месте. Сотников вроде спал. Напротив то вздыхала, то сморкалась Дёмчиха.

— Так что ж... Что теперь сделаешь? — спрашивал в темноте Петр и сам себе отвечал: — Ничего уже не сделаешь. Терпи. Недолго осталось.

Стало тихо. Рыбак свободнее вытянул ноги, хотел было вздремнуть, но сон больше не шел.

Перед ним был обрыв.

Он отчетливо понял это, особенно сейчас ночью, в минуту тишины, и думал, что ничего уже исправить нельзя. Всегда и всюду он ухитрялся найти какой-нибудь выход, но не теперь. Теперь выхода не было. Исподволь его начал одолевать страх, как в том памятном с детства случае, когда он спас девчат и коня. Но тогда страх пришел позже, а в минуту опасности Коля Рыбак действовал больше инстинктивно, без размышлений, и это, возможно, все и решило. Впрочем, это случилось давно, еще до колхозов, в пору его деревенского детства — что было вспоминать о том? Но почему-то вот вспоминалось воп-

реки желанию, — видимо, тот давний случай имел какую-то еще непроясненную связь с его нынешним положением.

Жили они в деревне не хуже и не лучше других, считались середняками. У отца был ладный буланый коник, молодой и старательный, правда, немного горячий, но Коля с ним ладил неплохо. В деревне ребята рано принимаются за крестьянский труд, в свои неполные двенадцать лет Коля уже пробовал понемногу и косить, и пахать, и бороновать.

В тот день возили с поля снопы.

Это считалось совсем уже мальчишечьим делом. Дорога была знакомой, изученной им до мельчайших подробностей. Почти с закрытыми глазами он помнил, где надо взять чуть-чуть стороной, где держать по колеям, как лучше объехать глубокую, с водой, рытвину в логу. Самым опасным местом на этой дороге была Купцова гора — косогор, поворот и узкий овражек под высоким обрывом. Там надо было смотреть в оба. Но все обходилось благополучно. Отец подобрал последние кресты в конце нивы и, видно, нагрузил телегу с избытком — едва хватило веревки, чтобы увязать воз. К нему наверх взобрались еще семилетняя сестренка Маня и соседская девочка Люба.

Всю дорогу, переваливаясь из стороны в сторону, он тихо ехал на высоком возу, как всегда, уверенно управляя конем. Миновали Купцову гору, дорога пошла в лог. И тогда что-то случилось с упряжью, конь не сдержал, телега высоко задралась левой стороной и стала клониться направо. Коля бросил взгляд вниз и скатился с воза.

Ясно поняв, что должно произойти затем, он в каком-то безумном порыве бросился под кренящийся тяжелый воз, подставляя под его край свое еще слабое мальчишеское плечо. Тяжесть была неимоверной, в другой раз он, наверное, ни за что бы не выдержал, но в этот момент выстоял. Девочки скатились на землю, его завалило снопами, но лошадь все же как-то справилась с возом и отвернула передок в сторону от угрожающей крутизны оврага.

Потом его хвалили в деревне, да он и сам был доволен своим поступком — все-таки спас от беды себя, коня и девчонок — и начал думать тогда, что иначе поступить не мог. И еще Коля поверил, что он человек смелый.

Самым важным было, конечно, не растеряться и не струсить.

И вот теперь перед ним опять тот самый обрыв.

Только здесь не растеряться мало, и никакая смелость здесь не поможет, здесь нужно что-то другое, чего ему явно недоставало. Тут он связан по рукам и ногам и, видно, ничего уже сделать не сможет.

Но неужели тот следователь врал, когда что-то обещал ему, даже как будто уговаривал? Наверное, напрасно Рыбак тогда не согласился сразу — завтра как бы не было поздно. Впрочем, оно и понятно. Следователь тут, наверно, не самый большой начальник, есть начальство повыше, оно приказало, и все. А теперь поправить что-либо, переиначить, наверно, уже поздно.

Нет, на гибель он не мог согласиться, ни за что он не примет в покорности смерть — он разнесет в щепки всю их полицию, голыми руками задушит Портнова и того Стася. Пусть только подступят к нему...

16

После короткого разговора со старостой, который тем не менее совершенно обессилил его, Сотников ненадолго заснул. Проснувшись, он неожиданно почувствовал себя мокрым от пота: столько времени паливший его жар сменился потливой прохладой, и Сотников зябко поежился под своей волглой шинелью. Но голове стало вроде бы легче, горячая одурь, туманившая его сознание, исчезла, общее самочувствие улучшилось. Если бы не искалеченные, распухшие кисти рук и не набрякшая застаревшей болью нога, то он, возможно, посчитал бы себя здоровым.

В подвале было темно и тихо, но никто, наверно, не спал, это ощущалось по частым напряженным вздохам, скупым движениям, притихше-настороженному дыханию людей. И тогда Сотников вдруг понял, что истекает их последняя ночь на свете. Утро уже будет принадлежать не им.

Что ж, надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством встретить смерть. Разумеется, иного он и не ждал от этих выродков: оставить его живым они не могли — могли разве что замучить в том дьявольском закутке Будилы. А так, возможно, и неплохо: пуля мгновенно и без мук оборвет жизнь — не самый худший

из возможных, во всяком случае, обычный солдатский конец на войне.

А он, дурак, все боялся погибнуть в бою. Теперь такая гибель с оружием в руках казалась ему недостижимой роскошью, и он почти завидовал тысячам тех счастливцев, которые нашли свой честный конец на фронте великой войны.

Правда, в эти несколько партизанских месяцев он все-таки что-то сделал, исполняя свой долг гражданина и бойца. Пусть не так, как хотел, — как позволили обстоятельства: несколько врагов все же нашли смерть и от его руки.

И вот наступил конец.

Все сделалось четким и категоричным. И это дало возможность строго определить выбор. Если что-либо еще и заботило его в жизни, так это последние обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая оказавшимся теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть прежде, чем определить свои с ними отношения, ибо эти отношения, видно, станут последним проявлением его «я» перед тем, как оно навсегда исчезнет.

На первый взгляд это казалось странным, но, примирившись с собственной смертью, Сотников на несколько коротких часов приобрел какую-то особую, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднялось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни, — теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся, и это давало ему определенное преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял последнее теперь решение: взять все на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел задание, в перестрелке ранил полицая, что он — командир Красной Армии и противник фашизма, пусть расстреляют его. Остальные здесь ни при чем.

По существу, он жертвовал собой ради спасения других, но не менее, чем другим, это пожертвование было необходимо и ему самому. Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью по воле этих пьяных прислужников. Как и каждая смерть

в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу.

Было холодновато, время от времени он вздрагивал и глубже залезал под шинель. Как всегда, принятое решение принесло облегчение, самое изнурительное на войне — неопределенность больше не досаждала ему. Он уже знал, когда произойдет его последняя битва с врагами, и знал, на какие станет позиции. С них он не отступит. И хотя этот поединок не сулил ему легкой победы, он был спокоен. У бобиков оружие, сила, но и у него тоже есть на чем постоять. Он их не боялся.

Немного пригревшись под шинелью, он снова незаметно уснул. Приснился ему странный, путаный сон.

Было даже удивительно, что именно такой сон мог присниться в его последнюю ночь. Он увидел что-то из детства и среди прочего незначительного и малопонятного какую-то нелепую сцену с отцовским маузером. Будто Сотников начал вынимать его из кобуры, неосторожно повернул в сторону и сломал ствол, который, как оказалось, был не стальной, а оловянный, как в пугаче. Сотникова охватил испуг, хотя в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что нынешним или, возможно, курсантом — действие почему-то происходило в ружейном парке в училище. Он стоял возле пирамиды с оружием и не знал, как быть: с минуты на минуту здесь должен был появиться отец. Сотников бросился к пирамиде, но там не оказалось ни одного незанятого места, во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими руками рванул жестяную дверцу печки и сунул пистолет в черную, с окурками дыру топки.

В следующее мгновение там засветился огонь — раскаленные пылающие уголья, в которых как будто плавилось что-то яркое, и он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать. А рядом стоял отец. Но Сотников-старший даже не вспомнил про маузер, хотя у сына было такое ощущение, что он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустился перед топкой на корточки и вроде сожалеюще сказал шепелявым, старческим голосом: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете...»

Сотникову показалось, что это из библии — толстая

ее книга в черном тисненом переплете когда-то лежала на материнском комоде, мальчишкой он иногда листал ее желтые, источавшие особенный, обветшало-книжный запах страницы. Теперь ему было удивительно слышать, как библию цитировал отец, который не верил в бога и открыто не любил попов.

Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке, сознание Сотникова опять погрузилось во мрак. Наверно, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то невнятные звуки: стук, шорох соломы и тихий старческий голос. Когда же вернулось ощущение реальности, Сотников понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго, мучительно откашливался, все размышляя, что бы мог значить этот его сон. И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем, далеком детстве...

Маузер не странная причуда этого сна, он действительно хранился у старого Сотникова, бывшего краскома, а до того — кавалерийского поручика с двумя «георгиями» на широкой груди — офицерское фото отца он не раз видел в красивой, замысловато расписанной павлинами маминой шкатулке. Иногда по праздникам отец доставал из комода свой пистолет, и тогда сыну было позволено придержать его за желтую деревянную кобуру, чтобы отец мог вытянуть из нее маузер — вынуть его самому отцу было неловко, его искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты, но потом он мог лишь наблюдать, как отец протирает оружие — ни разу ему не было разрешено даже поиграть пистолетом. «С оружием и наградами играть возбраняется», — говорил Сотников-старший, и мальчик не упрямился, не просил. Слово отца в семье было законом, в большом и в малом дома царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным: отец его пользовался в городке известностью и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов. Вороненый, в деревянной кобуре маузер был затаенной мечтой Сотникова-младшего, но напрасно было просить его также и у матери.

И тогда мальчишка решился взять пистолет сам.

Как-то, проснувшись утром, он услышал глухую ти-

шину в доме. Отец, наверно, куда-то ушел из каморки, откуда по дому разносилась привычная разноголосица часовых механизмов; мать, он уже знал, отправилась рано в церковь — над городом плыл колокольный перезвон утренней службы.

Торопливо натянув коротенькие, до коленей, штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он скоренько прошмыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комода был плотно задвинут, но в замочной скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один оборот и вынул скользкую, лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку блестела знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть: «Красному комэску А. Сотникову от Реввоенсовета Кавармии». Первое же прикосновение к оправленной деревом рукоятке взбудоражило мальчика. Руки его уверенно управились с защелкой, и вот уже весь маузер туго, но податливо вышел из кобуры, сдержанно и таинственно засияв своими воронеными частями. Никогда прежде не испытанное тревожно-волнующее чувство охватило мальчишку, минуту он изучал пистолет — подвинул прицел, попытался отвести затвор, заглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, конечно, было прицелиться. Только не успел он как следует обхватить рукоятку и пальцем нащупать спуск, как совершенно неожиданно и непонятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно грохнуло выстрелом.

Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно-острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу катилась гильза, под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источенная жучком щепка с темным и косым следом пули.

Поняв наконец, что случилось, он сунул пистолет в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти места, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе, кинулась к сыну с расспросами, и он рассказал все как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень испугалась за него, даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен во всем признаться отцу.

Решиться на это признание было не просто. Пока набирался решимости, минул час или больше, и наконец сам не свой он открыл дверь отцовской каморки.

Отец работал. Как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в часовом механизме. Правая его рука в черной перчатке бессильно покоилась на коленях, а левая ловко колупала, винтила, разбирала и складывала разные маленькие блестящие штучки, из которых состояли часы. На стенах не в лад друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых, размалеванных по циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный накануне из райкома деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но, как всегда безошибочно узнав его, совершенно некстати теперь спросил бодрым голосом:

— Ну как дела, молодой человек? Одолел мариниста?

Мальчик проглотил неожиданно подскочивший к горлу комок — накануне он принялся читать Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном дедовском сундуке, уже мало что осталось им непрочитанного, разве что собрание сочинений Писемского и несколько разрозненных томов Станюковича, один из которых третьего дня и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг, и он сказал:

— Папа, я брал твой маузер.

Отец как-то странно мотнул головой, отложил пинцет, привычным движением руки снял очки и строго посмотрел на сына:

— Кто разрешил?

— Никто. И это... Он выстрелил, — упавшим голосом произнес сын.

Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват, и готов был принять самую беспощадную кару.

Вскоре отец вернулся.

— Ты, щенок! — сказал он с порога. — Какое ты имел право без разрешения притрагиваться к боевому оружию? Как ты посмел по-воровски лезть в комод?

Отец долго и нещадно отчитывал его — и за неосторожность, и за выстрел, который мог причинить несчастье, и больше всего за тайное его своеволие.

— Единственное, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя спасает. Понял?

— Да.

— Если сам, конечно, надумал. Сам?

Чувствуя, что окончательно гибнет, мальчик кивнул, и отец успокоенно, протяжно вздохнул.

— Ну и за то спасибо.

Это было уже слишком — ложью покупать отцовское спасибо, в глазах у него потемнело, кровь прилила к лицу, и он стоял, не в силах сдвинуться с места.

— Иди играй, — сказал тогда отец.

Так, в общем, легко обошлось ему то ослушание — наказание ремнем его миновало, но его малодушный кивок болезненной царапиной остался саднить в его душе. Это был урок на всю жизнь. И он ни разу больше не солгал ни отцу, ни кому другому, за все держал ответ, глядя людям в глаза. Видно, и мать не сказала отцу, по чьей инициативе произошло то объяснение. Так, со счастливой уверенностью в добропорядочности сына и окончил свой путь на земле этот кавалерийский командир, инвалид гражданской войны и часовой мастер, твердо надеясь, что сыну достанется лучшая доля.

И вот досталась.

17

В дремотной утренней тишине наверху застучали шаги, глуховато донеслись голоса, загрохали двери. Здесь, в подвале, особенно слышны были эти двери, временами от их громкого стука даже сыпалось с потолка. Рыбак не спал — подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Теперь все его внимание сосредоточилось в слухе. Окошко вверху понемногу светлело, на дворе, наверно, уже рассвело, и в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные, фигуры арестантов — присмиревшей Дёмчихи напротив; в углу неподвижного, с угрюмым видом Петра; Баси, правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал. Если бы не это его дыхание, можно было бы подумать, что он неживой. Наступал трудный, наверно, последний, их день, они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду.

Сапоги наверху затопали чаще, непрестанно грохала дверь. И вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился затылком к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что

там собирались, видимо строились. Но почему никто не спустился в подвал? Будто забыли о них.

Кто-то прошел возле самой стены, послышался близкий скрип подошв на снегу. Невдалеке от окна что-то звякнуло, затем громко раздался грубый, с хрипотой голос:

— Да тут три всего.

— А шуфля еще была. Шуфлю посмотри.

— Что шуфля! Лопаты нужны.

Снова что-то металлически зазвякало, потом проскрипели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул Рыбака: зачем лопаты? Лопаты только затем, чтоб копать. А что теперь можно было копать по зиме? Окоп? Канаву? Могилу? Наверно, могилу. Но для кого?

И тут он вспомнил: видно, действительно умер тот полицай.

Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Дёмчиха из-под смятого платка также тревожно-понимающе смотрела на него, в углу в напряженном ожидании застыл Петр. Никто не проронил ни слова, все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность.

Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно, что ни у кого уже не возникло сомнения — шли к ним, в подвал. Когда загремела первая дверь, Рыбак скоренько сел, почувствовав, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завозился, принялся кашлять Сотников. «Откроют — рвануть, сбить с ног — и в дверь», — с запоздалой решимостью подумал Рыбак, но тут же понял: нет, так не выйдет — за дверью ступеньки, не успеть.

А дверь в самом деле уже отворялась, в камеру шибануло стужей, ветреной свежестью, и неяркий свет со двора сразу высветил пять серых встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный Стась, за ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках.

— Генуг спать! — во все горло заревел полицейский. — Отоспались. Выходи: ликвидация!

«Значит, не ошиблись, действительно конец, — пронеслось в сознании Рыбака. — Если бы кого одного, а то всех, значит...» На минуту он как-то обмяк, вдруг лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги, поправил шап-

ку на голове и только затем оперся о солому, собираясь встать.

— А ну выскакивай! Добровольно, но обязательно! — крикливо понукал Стась.

Петр в углу первым встал на ноги, заохав, начала подниматься Дёмчиха. Пытаясь встать, залапал руками по стене Сотников. Рыбак невидящим взглядом скользнул по его бледному, еще больше осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза, и, не додумав чего-то, чего-то не прочувствовав, направился к выходу.

— Давай, давай! Двадцать минут осталось! — подгонял полицай, входя в их вонючее, устланное соломой лежбище. — Ну ты, одноногий, живо!

— Прочь руки! Я сам! — прохрипел Сотников.

— А ты, жидовка, что ждешь? А ну выметайсь! Не хотела признаваться — будешь на веревке болтаться, — сострил Стась и тут же вызверился: — Гэть, юда паршивая!

По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубка и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в смрадном подвале, в голове закружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло человек шесть полицаев с оружием на изготовку — они ждали. Утро выдалось пасмурное, был небольшой морозец, над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов.

Рыбак нерешительно стал перед крыльцом, рядом остановилась Дёмчиха и с ней вместе Бася, которая будто к матери, потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые закоревшие ступни, она со страхом оглядывала полицаев. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем седовласом старческом облике стал чуть поодаль. Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой, окровавленной шинели.

— Где следователь? Позовите следователя! — пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом и закашлялся.

Рыбак спохватился, что и ему тоже необходим следователь, но в отличие от Сотникова он произнес спокойно:

— Да, отведите нас к следователю. Он вчера говорил...

— Отведем, а как же! — с издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой наготове он решительно шагнул навстречу: — А ну, руки! Руки!

Делать было нечего, Рыбак протянул руки, тот ловко по одной заломил их назад и с помощью другого начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно, грубо и больно. Рыбак поморщился — не так от боли в запястье, как от охватившего его отчаяния: ведь это был в самом деле конец.

— Доложите следователю. Нам надо к следователю, — проговорил он не очень, однако, решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись, быстро уходит из-под его ног.

Но полицай сзади только зло выругался.

— Поздно. Отследовались уже.

— Как это отследовались! — закричал Рыбак и глянул через плечо: небритая, в белой щетине морда, узкие, бегающие, совсем свиноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему, — такого, наверно, не испугаешь. Тогда он ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить: — Ну позовите Портнова. Что вам стоит? Люди вы или нет?

Но до Портнова, наверное, было дальше, чем до его, Рыбака, смерти. Никто ему даже не ответил.

Между тем руки его были умело и туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу, и его оттолкнули в сторону. Взялись за Дёмчиху.

— Ты, давай сюда следователя! — кашляя, настырно требовал Сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле Дёмчихи.

Но тот даже не взглянул в его сторону, он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам, будто это уже были не люди. И это еще больше убедило Рыбака в том, что дело их кончено. Будет смерть. Но как же так? И почему же он не решился, когда у него были свободными руки?

Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри от сознания совершенной оплошности, и он растерянным взглядом заметался вокруг. Но спасения нигде не было. Напротив, судя по всему, быстро приближался конец. На крыльцо из помещения один за другим начало выходить начальство — какие-то чины в еще новенькой, видно только что напяленной, полицейской форме: черных коротковатых шинелях с серыми воротниками и такими же обшлагами

на рукавах, при пистолетах; двое, наверно немцы, были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно — будто гости, приглашенные на чужой праздник. Полицаи на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торопливо посчитал сзади:

— Раз, два, три, четыре, пять...

— Ну, все готово? — спросил с крыльца плечистый полицай с маленькой кобурой на животе.

Именно эта кобура, а также фигура сильного, видного среди других человека подсказали Рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул Сотников:

— Начальник, я хочу сделать одно сообщение.

Остановясь на ступеньках, начальник вперил в арестанта тяжелый взгляд.

— Что такое?

— Я партизан. Это я ранил вашего полицая, — не очень громко сказал Сотников и кивнул в сторону Рыбака. — Тот здесь оказался случайно — если понадобится, могу объяснить. Остальные ни при чем.

Начальство на крыльце примолкло. Двое, шедшие впереди, недоумевающе переглянулись между собой, и Рыбак ощутил, как в душе его вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду: а вдруг поверят? Это его обнадежившее чувство тут же породило тихую благодарность Сотникову.

Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью.

— Это все? — холодно спросил он и шагнул со ступеньки на снег.

Сотников заикнулся от неожиданности.

— Могу объяснить подробнее.

Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул:

— Ведите!

«Вот как, не хочет даже и слушать», — опять впадая в отчаяние, подумал Рыбак. Наверное, все уже решено загодя. Но как же тогда он? Неужели так ничем и не поможет ему это героическое заступничество Сотникова?

Осторожно ступая по прогибающимся деревянным ступенькам, полицаи сходили с крыльца. И вдруг в одном из них, что на этот раз также был в полицейской форме,

Рыбак узнал Портнова. Ну, разумеется, это был тот самый вчерашний следователь, который так обнадежил его своим предложением и теперь как бы отступился. Увидев его, Рыбак встрепенулся, весь подался вперед. Была не была — теперь ему уж ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким.

— Господин следователь! Господин следователь, одну минутку. Вы это вчера говорили, так я согласен. Я тут, ей-богу, ни при чем. Вот он подтвердил...

Начальство, которое уже направлялось со двора к улице, опять недовольно, по одному стало останавливаться. Остановился и Портнов. Новая полицейская шинель на нем казалась явно не по размеру и необмято топорщилась на его маленькой, тощей фигуре, черная пилотка по-петушиному торчала в сторону. Но в облике следователя заметно прибыло начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него, и следователь что-то бойко объяснил по-немецки.

— Подойдите сюда!

При пристальном внимании с обеих сторон Рыбак подошел к крыльцу. Каждый его шаг мучительным ударом отзывался в его душе. Ниточка его еще не окрепшей надежды с каждой секундой готова была навсегда оборваться.

— Вы согласны вступить в полицию? — спросил следователь.

— Согласен, — со всей искренностью, на которую был способен, ответил Рыбак.

Он не сводил своего почти преданного взгляда с несвежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого, лица Портнова. Следователь и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки.

— Так. Развязать!

— Сволочь! — как удар, стукнул его по затылку негромкий злой окрик Сотникова, который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем.

Но пусть! Что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему, вдруг стало быстро отдаляться, Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он мощно почувствовал только одно: будет жить! Развязанные руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих, —

теперь ему хотелось быть как можно от них дальше. Он отошел еще на три шага, и никто не остановил его. Кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик Дёмчихи:

— Ага, пускаете! Тогда пустите и меня! Пустите! У меня малые, а, божечка, как же они!..

Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться, и ближе других к ней оказался Портнов. Высокий немец недовольно прокартавил что-то, и следователь взмахнул рукой.

— Ведите! — сказал он и повернулся в сторону Рыбака. — Вы подсобите тому, — вдруг указал он на Сотникова.

Рыбаку это мало понравилось, от Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше. Но приказ есть приказ, и он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку.

Сквозь настежь раскрытые ворота их повели на улицу. Полицаи с винтовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр — высокий и старый, с белою, без шапки головой и заломленными назад руками. За ним, давясь плачем, тащилась Дёмчиха. Рядом в какой-то темной, с чужого плеча одежке с длинными рукавами быстренько семенила босыми ногами Бася.

Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костяно ковыряла пальцами снег, оставляя на нем неестественные зимой отпечатки. Он молчал, и Рыбак не отважился заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды. А у него какая же выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не изменник. Во всяком случае, становиться немецким прислужником не собирался. Он все ждал, чтобы улучить удобный момент — может, сейчас, а может, чуть позже, и только они его увидят...

18

Сотников ясно понял, что ровным счетом ничего не добился. Его намерение, так естественно пришедшее к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло как мыльный пузырь. Полиция была марионеткой в руках у немцев и совершенно безразлично отнеслась к его показанию — наплевать ей на то, кто из них виноват, если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве.

Едва держась на ногах, он ослабело тащился за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую теперь и противную ему Рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, совершенно сокрушило его — такого он не предвидел. Безусловно, от страха или из ненависти люди способны на любое предательство, но Рыбак, кажется, не был предателем, как не был и трусом. Сколько ему предоставлялось возможностей перебежать в полицию, да и струсить было предостаточно случаев, однако всегда он держался достойно. По крайней мере, не хуже других. Видно, здесь все дело в корыстном расчете ради спасения своей шкуры, от которого всегда один шаг до предательства.

Сотникову было мучительно обидно за свое наивное фантазерство — сам потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасать других. Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они хотя бы одной отданной за них жизни? Сколько уже их, человеческих жизней, со времени Иисуса Христа было принесепо на жертвенный алтарь человечества, и многому ли они научили это человечество? Как и тысячи лет назад, человека снедает в первую очередь забота о самом себе, и самый благородный порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны по меньшей мере чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью.

Сотников понемногу приходил в себя, его начала донимать стужа. От слабости на лбу выступил пот, который не сразу высыхал на морозном ветру, и голова оттого стыла до ломоты в мозгу. И вообще, студеный ветер, кажется, начисто выдувал из него остатки накопленного за ночь тепла, тело опять начал сотрясать озноб. Но Сотников старался дотерпеть до конца.

На пустой местечковой улице они перешли мосток, дальше с одной стороны начинался узенький огорожен-

ный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревцев. Впереди на пригорке высился белый двухэтажный дом; широкое полотнище фашистского флага развевалось на его углу. Наверное, там размещалась управа или комендатура, возле которой копошилось какое-то сборище. Сотников удивился: какая нужда собрала этих людей в одно место? Потом он подумал, что, возможно, сегодня базар. А может, что-либо случилось? Или скорее всего согнали население, чтобы устрашить расстрелом. Если так, пусть расстреливают, им еще легче будет принять смерть на виду. Что же касается страха, то его на войне и так хватает с избытком, и тем не менее борьба разгорается. На смену казненным придут другие. Смелые всегда найдутся.

Они медленно приближались к этому дому. Стопа Сотникова, будто негнущийся протез, выковыривала странные ямки в рыхлом, растертом полозьями и лошадиными копытами снегу, нога вся горела непрестанной глубинной болью и с усилием подчинялась ему. Видно, он все же преувеличивал свои силы, когда в начале пути вознамерился идти сам, — теперь он почти виснул на твердой руке Рыбака. От мостика начался пологий подъем, и ему стало еще труднее, не хватало дыхания, в глазах темнело, дорога то и дело ускользала из-под ног. Он испугался, что не дойдет, свалится, и тогда раньше времени пристрелят, как паршивого пса, в канаве. Нет, этого он не мог позволить себе — даже в его положении это казалось слишком. Свою смерть, какой бы она ни была, он должен встретить с солдатским достоинством — это стало главною целью его последних минут.

Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спину передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицаи также остановились, впереди послышался разговор по-немецки —и несколько человек из начальства ждали под стеной этого добротного дома. Напротив, через улицу, у штакетника, отгораживающего сквер, и возле двух облезлых будок-ларьков застыли пять-шесть десятков людей, также явно чего-то ожидавших. Стало похоже, что их небольшая процессия прибыла к месту назначения — дальше дороги уже не было.

И тогда Сотников увидел веревки.

Пять гибких пеньковых петель тихо покачивались над улицей, будто демонстрируя перед всеми отменную на-

дежность своих толстых, со знанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой, еще довоенной уличной арки. «Пригодилась», — мелькнуло в голове у Сотникова, сразу узнавшего это традиционное для райцентра сооружение — точно такая же арка была когда-то и в его городке. Перед праздниками ее убирали дерезой и хвоей, прилаживали наверху лозунг, написанный чернилами на куске обоев. Рядом перед исполкомом собирали праздничные митинги, и под невысоким пролетом арки проходили колонны учеников из двух школ, рабочих льнозавода, мастерских и тарного комбината. На крестовине вверху обычно горела звезда из фанеры или развевался на ветру флажок, придававшие особо торжественную завершенность всему сооружению. Теперь же там ничего не было, только на столбах из-под почерневших реек-лучин выглядывали бумажные обрывки да трепыхался на ветру какой-то вылинявший лоскут размером с уголок пионерского галстука. Оккупанты принесли на арку свое украшение в виде этих новеньких, наверно специально ради такого случая выписанных со склада, веревок.

А он думал, будет расстрел...

Двое — полицай и еще кто-то в серой суконной поддевке — несли через улицу старую, колченогую скамью, и Сотников понял, что это для них, чтобы достать до петли, прежде чем заболтаться, свернув на плечо голову — беспомощно, отвратительно и безголосо. Ему вдруг стало противно от одного лишь представления о себе повешенном, да и от всей этой унизительной, бесчеловечной расправы. За время войны он и не подумал даже о возможности другой гибели, чем от осколка или пули, и теперь все в нем взвилось в инстинктивном протесте против этого адского удушения петлей.

Но он ничем не мог помочь ни себе, ни другим. Он только мысленно уговаривал себя: ничего, ничего!.. В конце концов, это их право, их звериный обычай, их власть. Теперь последняя его обязанность — терпеть без тени страха или сожаления. Пусть вешают.

Скамейку там, наверное, уже установили. Проворный, вездесущий Стась, а также здоровенный, ниже хлястика подпоясанный по шинели Будила и другие полицаи повели их под арку. Наступая на закостеневшую, болезненную ступню, Сотников прикинул: оставалось шагов пятнадцать-двадцать, и он отнял у Рыбака руку — хотел дойти сам. Они прошли между полицаев, возле группы

немецкого и штатского начальства, которое терпеливо топталось под стеной здания. Начинался спектакль, местная полицейская самодеятельность на немецкий манер. Полицаи поторапливались, суетились, что-то у них не получалось как следует. Некоторые из начальства хмурились, а другие незло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной, не очень интересной надобности и скоро возвратятся к своим привычным делам. С их стороны доносился запах сигарет и одеколона, слышались обрывки случайных, ничего не значащих фраз. Сотников, однако, не смотрел туда — притащившись к арке, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу и в изнеможении прикрыл глаза.

Нет, наверно, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно, только жизнь может противостоять злу и насилию. Смерть же лишает всего. И если тому лейтенанту в сосняке своей гибелью еще удалось чего-то добиться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему самому, потому что он не хотел погибать овцой. Но что делать, если при всей твоей самоотверженности ты лишен малейшей возможности? Что можно сделать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы досадить этим бобикам?

Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И все же согласиться с Рыбаком он не мог, это противоречило всей его человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того не широкий круг его возможностей становился все уже и даже смерть ничем не могла расширить его, все же одна возможность у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она, единственная, в самом деле зависела только от него и никого больше, только он полновластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была его последняя милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь.

По одному их начали разводить вдоль виселицы. Под крайнюю от начальства петлю поставили притихшего в своей покорной сосредоточенности Петра. Сотников взглянул на него и виновато поморщился. Еще вчера он доса-

довал, что не застрелил этого старосту, а теперь вот вместе придется повиснуть на одной перекладине.

Петра первым заставили влезть на скамью, которая угрожающе покосилась под его коленями и едва не опрокинулась. Будила, наверно и здесь заправляющий обязанностями главного палача, выругался, сам вскочил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы, сдержанно и значительно, как в церкви, поклонился людям. Потом к скамье подтолкнули Басю. Та проворно взобралась на свое место и, зябко переступая замерзшими, потрескавшимися ногами, с детской непосредственностью принялась разглядывать толпу у штакетника — будто высматривала там знакомых.

Скамьи на всех, однако, не хватило. Под следующей петлей стоял желтый фанерный ящик, а на остальных двух местах торчали в снегу полуметровые, свежеотпиленные от бревна чурбаны. Сотников подумал, что его определят на ящик, но к ящику подвели Дёмчиху, а его Рыбак с полицаем потащили на край, к чурбанам.

Он еще не дошел до своего места, как сзади опять раздался крик Дёмчихи. От неожиданности Сотников оглянулся — женщина, упираясь ногами, всячески отбивалась от полицаев, не желая лезть под петлю.

— Ай, паночки, простите! Простите дурной бабе, я ж не хотела, не думала!

Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то скомандовал Будила, и полицай, ведший Сотникова, оставил его на Рыбака, а сам бросился к Дёмчихе. Несколько полицаев потащили ее на ящик.

Рыбак, оставшись с Сотниковым, не очень уверенно подвел его к последнему под аркой чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалась новенькая, как и остальные, пеньковая удавка с узковато затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. «Одна на двоих», — почему-то подумалось Сотникову, хотя было очевидно, что эта петля для него. Надо было влезать на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное, как ругательство: «Эх, была не была!» Бросив уныло застывшему Рыбаку: «Держи», он здоровым коленом стал на торец, свежезаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы. Рыбак тем временем обеими руками обхватил подставку. Для равновесия Сотников слегка оперся локтем о

его спину, напрягся и, сжав зубы, кое-как взобрался наверх.

Минуту он тихо стоял, узко составив ступни на круглом нешироком срезе. Затылок его уже ощутил шершавое, леденящее душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полушубке спина Рыбака, заскорузлые его руки плотно облапили сосновую кору чурбана. «Выкрутился, сволочь!» — недобро, вроде бы с завистью подумал про него Сотников и тут же усомнился: надо ли так? Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой. Рыбак был неплохим партизаном, наверно, считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин, безусловно, недобрал чего-то. Впрочем, он решил выжить любой ценой — в этом все дело.

Рядом все плакала, рвалась из рук полицаев Дёмчиха, что-то принялся читать на бумажке немец в желтых перчатках — приговор или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казнью. Шли последние минуты жизни, и Сотников, застыв на чурбане, жадным прощальным взглядом вбирал в себя весь неказистый, но такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей, чахлыми деревцами, поломанным штакетником, бугром намерзшего у железной колонки льда. Сквозь тонкие ветви сквера виднелись обшарпанные стены недалекой церквушки, ее проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек там были наспех заколочены неокоренным суковатым горбылем...

Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке; бесцеремонные руки в сизых обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные, намороженные уши, надвинули ее на голову до подбородка. «Ну вот и все», — отметил Сотников и опустил взгляд вниз, на людей. Природа сама по себе, она всегда без усилия добром и миром ложилась на душу, но теперь ему захотелось видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их неровному настороженному ряду, в котором преобладали женщины и только изредка попадались немолодые мужчины, подростки, девчата — обычный местечковый люд в тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканых свитках. Среди

их безликого множества его внимание остановилось на тонковатой фигуре мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб старой армейской буденовке. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчонка глубоко в рукава вбирал свои озябшие руки и, видно было отсюда, дрожал от стужи или, может, от страха, с детской завороженностью на бледном, болезненном личике следя за происходящим под виселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним, но Сотникову вдруг захотелось, чтобы он плохо о них не думал. И действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько сочувствия к ним, что не удержался и одними глазами улыбнулся мальцу — ничего, браток.

Больше он не стал всматриваться и опустил взгляд, чтобы избежать ненавистного ему вида начальства, немцев, следователя Портнова, Стася, Будилы. Их дьявольское присутствие он ощущал и так. Объявление приговора, кажется, уже закончилось, раздались команды по-немецки и по-русски, и вдруг он почувствовал, как будто ожив, напряженно дернулась на его шее веревка. Кто-то в том конце виселицы всхрапнул раз и другой, и тотчас, совершенно обезумев, завопила Дёмчиха:

— А-а-а-ай! Не хочу! Не хочу!

Но ее крик тут же и оборвался, морозно хрястнула вверху поперечина арки, сдавленно зарыдала женщина в толпе. На душе стало нестерпимо тоскливо. Какая-то еще не до конца израсходованная сила внутри подмывала его рвануться, завопить, как эта Дёмчиха, — дико и страшно. Но он заставил себя сдержаться, лишь сердце его болезненно сжалось в предсмертной судороге: перед концом так захотелось отпустить все тормоза и заплакать. Вместо того он вдруг улыбнулся в последний раз своей, наверное, жалкой, вымученной улыбкой.

Со стороны начальства раздалась команда, видно, это уже относилось к нему, чурбан под ногами на миг ослабел, пошатнулся. Едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз — с искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга, и Сотников едва расслышал:

— Прости, брат!

— Пошел к черту! — коротко бросил Сотников.

Вот и все кончено. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в буденовке. Тот стоял,

как и прежде, на полшага впереди других, с широко раскрытыми на бледном лице глазами. Полный боли и страха, его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел так, все ближе к нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца.

Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко скорчился внизу, боясь и, наверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. Но вот сзади матерно выругался Будила, и Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело провалился в черную, удушливую бездну.

19

Рыбак выпустил подставку и отшатнулся — ноги Сотникова закачались рядом, сбитая ими шапка упала на снег. Рыбак отпрянул, но тут же нагнулся и выхватил ее из-под повешенного, который уже успокоенно раскачивался на веревке, описывая круг в одну, а затем и в другую сторону. Рыбак не решился глянуть ему в лицо: он видел перед собой только зависшие в воздухе ноги — одну в растоптанном бурке и рядом вывернутую наружу пяткой, грязную, посиневшую ступню с подсохшей полоской крови на щиколотке.

Оторопь от происшедшего, однако, недолго держала его в своей власти — усилием воли Рыбак превозмог растерянность и оглянулся. Рядом, между Сотниковым и Дёмчихой, болталась налегке пятая веревка — не дождется ли она его шеи?

Однако ничто, кажется, не подтверждало его опасения. Будила вытаскивал из-под Дёмчихи желтый фанерный ящик, убирали из-под арки скамью. Ему издали что-то крикнул Стась, но, все еще находясь под впечатлением казни, Рыбак не понял или не расслышал его и стоял, не зная, куда податься. Группа немцев и штатского начальства возле дома стала редеть — там расходились, разговаривая, закуривая сигареты, все в бодром, приподнятом настроении, как после удачно оконченного, в общем не скучного и даже интересного занятия. И тогда он несмело еще поверил: видать, пронесло!

Да, вроде бы пронесло, его не повесят, он будет жить. Ликвидация закончилась, снимали полицейское оцепление, людям скомандовали разойтись, и женщины,

подростки, старухи, ошеломленные и молчаливые, потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались, оглядывались на четырех повешенных, женщины утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицаи наводили последний порядок у виселицы. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал Рыбаку. Тот не так понял, как догадался, что от него требовалось, и, достав из-под Сотникова подставку, бросил ее под штакетник. Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице-маске. Глаза его при этом оставались настороженно-холодными.

— Гы-гы! Однако молодец! Способный, падла! — с издевкой похвалил полицай и с такой силой ударил его по плечу, что Рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя: «Чтоб ты околел, сволочь!» Но, взглянув в его сытое, вытянутое деревянной усмешкой лицо, сам тоже усмехнулся — криво, одними губами.

— А ты думал!

— Правильно! А что там? Подумаешь: бандита жалеть!

«Постой, что это? — не понял Рыбак. — О ком он? О Сотникове, что ли?» Не сразу, но все отчетливее он стал понимать, что́ тот имеет в виду, и опять неприятный холодок виновности коснулся его сознания. Но он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе — при чем тут он? Разве это он? Он только выдернул этот обрубок. И то по приказу полиции.

Четверо повешенных грузно раскачивались на длинных веревках, свернув набок головы, с неестественно глубоко перехваченными в петлях шеями. Кто-то из полицаев навесил каждому на грудь по фанерке с надписями на русском и немецком языках. Рыбак не стал читать тех надписей, он вообще старался не глядеть туда — пятая, пустая, петля пугала его. Он думал, что, может, ее отвяжут да уберут с этой виселицы, но никто из полицаев даже не подошел к ней.

Кажется, все было окончено, возле повешенных встал часовой — молодой длинношеий полицайчик в серой суконной поддевке, с немецкой винтовкой на плече. Остальных начали строить. Чтобы не мешать, Рыбак взошел с мостовой на узенький под снегом тротуарчик и стал там, весь в ожидании того, что последует дальше.

В мыслях его была путаница, так же как и в чувствах, радость спасения чем-то омрачалась, но он еще не мог толком понять чем. Опять заявило о себе примолкшее было, но упрямое желание дать деру, прорваться в лес. Но для этого надо выбрать момент. Теперь его уже ничто тут не удерживало.

Полицаи привычно строились в колонну по три, их набралось тут человек пятнадцать — разного сброда в новеньких форменных шинелях и пилотках, а также в полушубках, фуфайках, красноармейских обносках. Один даже был в кожанке с до пояса обрезанной полой. Людей на улице почти уже не осталось — лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков и с ними тоненький, болезненного вида мальчишка в буденовке. Полураскрыв рот, он все шмыгал носом и вглядывался в виселицу, похоже, что-то на ней его озадачивало. Минуту спустя он пальцем из длинного рукава указал через улицу, и Рыбак, от неловкости передернув плечом, шагнул в сторону, чтобы скрыться за полицаями. Вся группа уже застыла в строю, с радостной исполнительностью подчиняясь команде старшего, который, скомандовав, и сам обмер в сладостном командирском обладании властью, на немецкий манер выставив в стороны локти.

— Смирно!

Полицаи в колонне встрепенулись и снова замерли. Старший повел по рядам свирепым строевым взглядом, пока не наткнулся им на одинокую фигуру на тротуаре.

— А ты что? Стать в строй!

Рыбак на минуту смешался. Эта команда обнадеживала и озадачивала одновременно. Однако размышлять было некогда, он быстренько соскочил с тротуара и стал в хвост колонны, рядом с каким-то высоким, в черной ушанке полицаем, неприязненно покосившимся на него.

— Шагом марш!

И это было обыкновенно и привычно. Рыбак бездумно шагнул в такт с другими, и, если бы не пустые руки, которые неизвестно куда было девать, можно было бы подумать, что он снова в отряде, среди своих. И если бы перед глазами не мелькали светлые обшлага и замусоленные бело-голубые повязки на рукавах.

Они пошли вниз по той самой улице, по которой пришли сюда, однако это уже был совершенно иной путь. Сейчас не было уныния и подавленности — рядом струилась живость, самодовольство, что, впрочем, и не удив-

ляло: он был среди победителей. На полгода, день или час, но чувствовали они себя очень бодро, подогретые сознанием совершенного возмездия или, может, до конца исполненного долга; некоторые вполголоса переговаривались, слышались смешки, остроты, и никто ни разу не оглянулся назад, на арку. Зато на них теперь оглядывались все. Те, что брели с этой акции вдоль обшарпанных стен и заборов, с упреком, страхом, а то и нескрываемой ненавистью в покрасневших от слез женских глазах проводили местечковую шайку предателей. Полицаев, однако, все это нимало не трогало, наверное, сказывалась привычка, на бесправных, запуганных людей они просто не обращали внимания. Рыбак же со всевозрастающей тревогой думал, что надо смываться. Может, вон там, на повороте, прыгнуть за изгородь и прорваться из местечка. Хорошо, если близко окажется какой-либо овраг или хотя бы кустарник, а еще лучше лес. Или если бы во дворе попалась под руки лошадь.

Поскрипывал снег на дороге, полицаи справно шагали по-армейски в ногу, рядом по узкому тротуару шел старший — крутоплечий, мордатый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку у него болтался низковато подвешенный милицейский наган в потертой кожаной кобуре с медной протиркой в прорезях. За мостом передние в колонне, придержав шаг, приняли в сторону — кто-то там ехал навстречу, и старший угрожающе прикрикнул на него. Затем и остальные потеснились в рядах, разминаясь, — какой-то дядька в пустых розвальнях нерасторопно сдавал под самые окна вросшей в землю избушки. И Рыбак вдруг со всею реальностью представил: броситься в сани, выхватить вожжи и врезать по лошади — может бы, и вырвался. Но дядька! Придерживая молодого, нетерпеливого коника, тот бросил взгляд на их строевого начальника и всю их колонну, и в этом взгляде его отразилась такая к ним ненависть, что Рыбак понял: нет, с этим не выйдет! Но с кем тогда выйдет? И тут его, словно обухом по голове оглушила неожиданная в такую минуту мысль: удирать некуда. После этой ликвидации — некуда. Из этого строя дороги к побегу уже не было.

От ошеломляющей ясности этого открытия он сбился с ноги, испуганно подскочил, пропуская шаг, но снова попал не в ногу.

— Ты что? — пренебрежительным басом бросил сосед.

— Ничего.

— Мабуть, без привычки? Научишься!

Рыбак промолчал, отчетливо понимая, что с побегом покончено, что этой ликвидацией его скрутили надежнее, чем ременной супонью. И хотя оставили в живых, но в некотором отношении также ликвидировали.

Да, возврата к прежнему теперь уже не было — он погибал всерьез, насовсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, самому себе тоже.

Растерянный и озадаченный, он не мог толком понять, как это произошло и кто в том повинен. Немцы? Война? Полиция? Очень не хотелось оказаться виноватым самому. Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? Даже больше и упорнее, чем тот честолюбивый Сотников. Впрочем, в его несчастье больше других был виноват именно Сотников. Если бы тот не заболел, не подлез под пулю, не вынудил столько возиться с собой, Рыбак, наверное, давно был бы в лесу. А теперь вот тому уже все безразлично в петле на арке, а каково ему-то, живому!..

В полном смятении, с туманной пеленой в сознании Рыбак пришагал с колонной к знакомым воротам полиции. На просторном дворе их остановили, по команде всех враз повернули к крыльцу. Там уже стояли начальник, следователь Портнов и те двое в немецкой жандармской форме. Старший полицай доложил о прибытии, и начальник придирчивым взглядом окинул колонну.

— Вольно! Двадцать минут перекур, — сказал он, нащупывая глазами Рыбака. — Ты зайдешь ко мне.

— Есть! — сжимаясь от чего-то неизбежного, что вплотную подступило к нему, промолвил Рыбак.

Сосед толкнул его локтем в бок.

— Яволь, а не есть! Привыкать надо.

«Пошел ты к черту!» — выругался про себя Рыбак. И вообще пусть все летит к дьяволу. В тартарары! Навеки!

Команду распустили. Рыбак метал вокруг смятенные взгляды и не знал, на что можно решиться. Полицаи во дворе загалдели, затолклись, беззлобно поругиваясь, принялись закуривать, в воздухе потянуло сладким дымком сигарет. Некоторые направились в помещение, а один пошел в угол двора к узкой дощатой будке с дву-

мя дверками на деревянных закрутках. Рыбак боком также подался туда.

Сзади с чуткой встревоженностью в глазах стоял Стась.

— Сейчас. На минутку.

Кажется, он произнес это довольно спокойно, затаив в себе свой теперь единственно возможный выход, и Стась беспечно отвернулся. Да, к чертям! Всех и все! Рыбак рванул скрипучую дверь, заперся на проволочный крючок, взглянул вверх. Потолок был невысоко, но для его нужды высоты, видимо, хватит. Между неплотно настланных досок вверху чернели полосы толя, за поперечину легко можно было просунуть ремень. Со злобной решимостью он расстегнул полушубок и вдруг застыл, пораженный — на брюках ремня не оказалось. И как он забыл, что вчера перед тем, как их посадить в подвал, этот ремень сняли у него полицаи. Руки его заметались по одежде в поисках чего-нибудь подходящего, но нигде ничего подходящего не было.

За перегородкой топнули гулко подошвы, тягуче проскрипела дверь — уходила последняя возможность свести счеты с судьбой. Хоть бросайся вниз головой! Непреодолимое отчаяние охватило его, он застонал, едва подавляя в себе внезапное желание завыть как собака.

Но знакомый голос снаружи вернул ему самообладание.

— Ну, ты долго там? — прокричал издали Стась.

— Счас, счас...

— Начальство зовет!

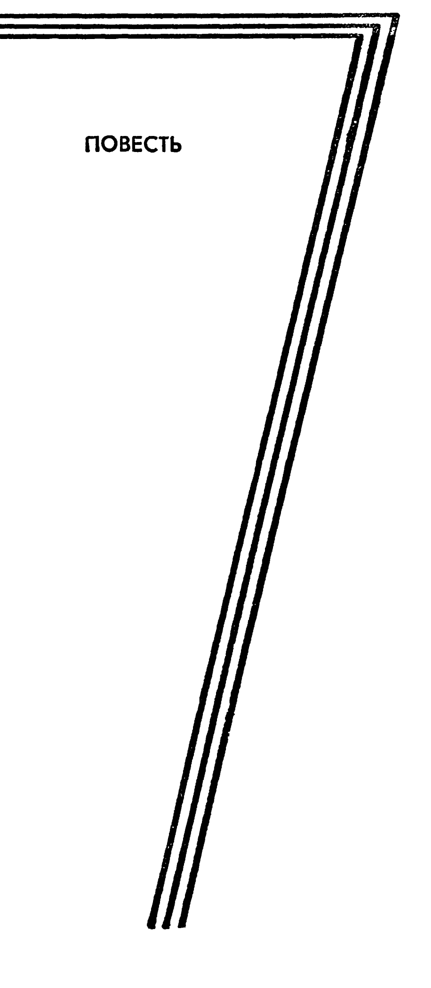
Конечно, начальство не терпит медлительности, к начальству надлежит являться бегом. Тем более если решено сделать тебя полицаем. Еще вчера он мечтал об этом как о спасении. Сегодня же осуществление этой мечты оборачивалось для него катастрофой.

Рыбак высморкался, рассеянно нащупав пуговицу, застегнул полушубок. Наверно, ничего уже не поделаешь — такова судьба. Коварная судьба заплутавшего на войне человека. Не в состоянии что-либо придумать сейчас, он отбросил крючок и, стараясь совладать с рассеянностью, вышел из уборной.

На пороге, нетерпеливо выглядывая его, стоял начальник полиции.

1970 г.

ЗАПАДНЯ



ПОВЕСТЬ

1

Первая атака сорвалась. Охватив подковой высоту, рота пробовала ворваться в траншею на самой ее вершине, но не дошла даже до середины склона. Шквальный огонь немецких пулеметов заставил автоматчиков залечь на голом, скованном утренним морозом косогоре. Вскоре бойцы поняли, что здесь им не удержаться, и перебежками вернулись туда, откуда начали атаку.

Это был глубокий и голый овраг с редкими пятнами еще не растаявшего грязного снега и замерзшим ручьем посередине. Он укрывал от огня, от неослабевающего напора студеного мартовского ветра и давал возможность подготовиться к новой атаке. Немного отдышавшись, ротный — капитан Орловец — позвал к себе командиров взводов и, недовольный и рассерженный, ни на кого ни разу не взглянув, начал:

— Бабы! Заморыши! Какой только дурак вам автоматы дал?!

Натянув на голову воротник полушубка, он лежал на склоне оврага и, держа в зубах цигарку, высекал «катюшей» искру. Обломок напильника тупо лязгал о кремень: капитан большим пожелтевшим ногтем прижимал к нему трут — пучок белых ниток, выдернутых из брезентового поясного ремня. Орловец злился, не попадая по нужному месту, и слабая зеленоватая искорка, едва сверкнув под кресалом, тут же гасла. Трут никак не загорался.

Капитану никто не отвечал — ни телефонист Капустин, курносый глазастый парень, который копошился рядом, у обшарпанного ящика УНФ, втянув от стужи голову в широкий расстегнутый ворот шинели, ни молчаливый, хмурый с виду младший лейтенант Зубков,

сидевший несколько ниже ротного на поле́ своей еще не обношенной шинели с новенькими, но уже помятыми погонами. Молчал и лейтенант Климченко.

— Черта с два от нее прикуришь! А ну высекай сам! — рассердившись, сказал Орловец и швырнул связисту его незамысловатое кресало. Связист молча отложил в сторону трубку и, заслонившись от ветра, начал лязгать напильником о кремень. Капитан вынул изо рта цигарку:

— Третий взвод отстал, первый растянулся, как кишка, порядка никакого! Вы командиры или пастухи, черт бы вас побрал? — говорил он, нахмурив брови и рассерженно глядя на взводных. Зубков от этих слов еще больше сжался, а Климченко вдруг швырнул в овраг кусок мерзлой земли.

— А что вы кричите? Мы что, в овраге отсиживались? Или струсили? Или, заняв высоту, назад драпанули? Фашист вон подойти не дает... — махнул он рукой в сторону высоты. — Его и ругайте!

Капитан злобно взглянул на лейтенанта.

— Ты это что? — выдавил он угрожающе и в то же время будто недоумевая от дерзости подчиненного.

Связист тем временем зажег трут и, приподнявшись на коленях, протянул его капитану. Но Орловец в гневе будто не замечал этого, и ветер напрасно рвал в воздухе тоненькую струйку дыма.

— Ты что, митинговать вздумал? — повторил он.

Лейтенант поднял воротник своего иссеченного осколками полушубка, из дырок которого торчали серые клочья шерсти.

— А то! Хватит на чужом горбу в рай ехать! — запальчиво сказал Климченко и отвернулся. На круглом молодом лице его, с крутым подбородком и шрамом под нижней губой, отразились обида и злость. Ротный сполз с обрыва на каких-нибудь три шага и, перепоясанный ремнями, стал напротив взводного.

— Это кто едет! Я еду? Да?

— Да и вы не прочь! — бросил Климченко.

Он не боялся капитана, хотя знал его крутой нрав, и держался уверенно, потому как сам воевал в этой роте всю зиму, знал каждого бойца так же, как и они знали и ценили его. А Орловец был тут человек новый, и хотя в трусости его никто не упрекнул бы, но все же

бойцы недолюбливали капитана за его излишнюю крикливость.

Климченко искоса взглянул на ротного. Однако первая вспышка гнева в нем уже миновала, и взводный, стараясь сдержать себя, начал каблуком сбивать с обрыва мерзляки; комья земли, подскакивая, наперегонки катились к замерзшему ручью. Ротный, стоя рядом и сдвинув брови на худом, почерневшем от стужи и щетины лице, сквозь зубы угрожающе бросил:

— Попридержал бы язык, болтун!

Климченко вскинул голову:

— Ага! Правда глаза колет!

— Ах, правда?! — вскипел Орловец. — Так и я тебе скажу правду! Твой взвод — самый худший! Самый разболтанный. Он задержал роту. Он сорвал темп наступления!

Климченко вскочил на ноги, локтем толкнул назад туго набитую кирзовую сумку.

— Мой взвод сорвал? Немцы сорвали! Вот! Шесть ихних пулеметов сорвали. Вы что, не видели? — уже не в силах сдержаться, закричал лейтенант.

Связист, пораженный этой стычкой, раскрыв рот, неподвижно сидел у аппарата. Зубков согнулся еще ниже и начал старательно счищать землю со своего кирзового сапога. На краю оврага из окопчиков высовывались и застывали в немом любопытстве головы в шапках и касках.

— Что это такое?! — топал Орловец своими порыжевшими от подпалин валенками. — Что за болтовня, лейтенант? Вы что, на гулянке или в армии?

Он не договорил: наверху, видно, кто-то неосторожно высунулся из укрытия, и длинная пулеметная очередь с высоты бешено резанула воздух над их головами. На противоположном склоне оврага посыпалась земля и, когда ветер сдул пыль, в мерзлой почве появились свежие ямки от пуль.

Орловец, набычившись, снова повернулся к Климченко:

— Ты у меня дождешься! Я тебя заставлю с одним взводом высоту брать. Тогда запищишь. Умник!..

Лейтенант криво улыбнулся:

— Вот напугали! Ну и пойду со взводом. Только когда возьму — вам докладывать в полк не придется. Сам доложу.

— Ах так?

— Так.

Капитан на полминуты застыл, что-то напряженно решая, а Климченко, стоя вполоборота к нему, ждал. Он и в самом деле готов был атаковать высоту хотя бы и одним взводом. Правда, надеждой на успех себя не тешил, но теперь больше всего не хотел в чем-либо уступить капитану.

Орловец тем временем зло сплюнул и, тяжело ступая валенками, взобрался на склон к телефонисту.

— Ну, где огонь? — вспомнил он о неприкуренной цигарке, которую все еще держал в руке. Связист снова начал звякать кресалом.

— Вот что! — бросил ротный, обращаясь к Климченко. — Я такого не допущу. Болтунам каленым железом языки поприжгу. Ишь, разгильдяй, распустил вас!

Это был намек на бывшего командира роты старшего лейтенанта Иржевского, раненного неделю назад. В полку о нем говорили разное, но Климченко знал, что командир тот был стоящий и был бы еще лучше, если бы умел ладить с начальством.

— Будь некоторые ротные такие, как Иржевский, уже на высоте пообедали бы, — сказал лейтенант.

— Что? Защищаешь?.. Понятно: коллективку устроили.

Климченко промолчал.

— Ладно, — уже мягче сказал Орловец. — На этом точка. И чтоб мне ни-ни... Я здесь командир, а не пастух. Поняли? А теперь давай сюда!

Зубков, не понимая причин перемены в настроении командира роты, медленно встал, отряхивая с шинели песок, а Климченко, насупившись, стоял внизу. Тогда капитан, сменив тон, нарочито грубо крикнул:

— А ну, чего надулись, как суслики? Давай ближе, говорю!

Зубков, пригнувшись, послушно подошел к капитану, Климченко, немного помедлив, также полез вверх.

На голом овражном склоне дул свирепый морозный ветер. Разгоряченные недавней атакой люди начали остывать. Лейтенант потуже затянул ремень и неохотно придвинулся к командиру роты. Лицо его по-прежнему было отчужденным и мрачным.

Капитан тем временем прикурил, глотнул дыма, оки-

нул взводного испытующим, но уже незлобивым взглядом и вытащил из-за пазухи карту:

— Так. Все. Точка! Слушай задачу. Ударим снова...

2

Спустя пятнадцать минут атаковали.

Без единого выстрела, все разом высыпали из оврага и бросились на высоту.

Немцы вначале молчали: может, не заметили их, а может, выжидали, и с минуту в ветреном мартовском просторе был слышен только беспорядочный топот полусотни пар ног. Люди продрогли за утро на глинистой промерзшей земле и потому сразу же дружно рванулись вперед. Однако путь их лежал в гору, бежать было далековато, и первого запаха хватило ненадолго. Правый фланг взвода вскоре загнулся, начал отставать. Это не предвещало ничего хорошего, но Климченко не решался нарушить тишину — не стал кричать на младшего сержанта Голаногу, который командовал правофланговым отделением. Сжав в руке пистолет с ремешком, одним концом прицепленным к поясу, лейтенант бежал вместе со всеми как можно быстрее, туда, в гору, где, подготовив пулеметы, ждали их немцы. Слева и дальше к лесу, несколько медленнее, отставая, трусил Орловец с ординарцем. Время от времени он оборачивался в сторону первого взвода и на ходу потрясал кулаком — быстрее! Климченко, однако, не очень обращал внимание на эти многозначительные жесты: теперь в цепи он в какой-то мере стал независим от ротного, только солдатские силы не очень подчинялись ему. Лейтенант бежал, чувствуя, как дотлевают в нем остатки прежней злости, прорвавшейся там, в овраге. Он начал уже сживаться с мыслью, что капитан «арап» и «горлопан», что он не пощадит и отца, чтобы выслужиться перед начальством. Но все же он вынужден был слушаться ротного и даже больше того: после недавней с ним стычки был полон решимости ворваться в траншею противника первым и тем доказать, на что способен его взвод. Это был рывок, рассчитанный разве что на одну только внезапность, и от его стремительности зависел исход атаки — либо они полягут здесь, на голом промерзшем косогоре, либо возьмут высоту.

«Шасть-шасть... Шасть-шасть...» — мяли струхлевшую прошлогоднюю стерню недоношенные за зиму ва-

ленки, ботинки с зелеными, сизыми, черными обмотками, запыленные «кирзачи». У кого-то поблизости в вещевом мешке или на поясе настойчиво звякал пустой котелок. «Не мог закрепить, разгильдяй!» — злобно оглянулся Климченко. Люди бежали по обеим сторонам от него, расширенные глаза их настороженно скользили по высоте, сипло дышали простуженные груди, болтались на ветру ремни автоматов. Ветер стлал по стерне длинные пряди пыли, стегал по разгоряченному лицу взводного тесемками шапки, но Климченко не замечал ничего, только бежал. Одна мысль владела теперь им — быстрее, пока не ударили немцы, пока тихо, пробежать хотя бы десяток метров к высоте, куда — это хорошо знал лейтенант — путь вот-вот оборвется шквалом огня.

Рота выбегала из-за пригорка на окрытый склон. Климченко уже увидел изрытую траншеями высоту — всю от леса до косогора под самой деревней, на котором в бороздах и под межами серели редкие пятна грязного, жесткого по утрам снега. Над бруствером показался длинный ряд глубоко надвинутых на головы касок. В тот же миг ветер донес ослабленную расстоянием команду:

— Фойер!..

Прежде чем в пространстве погас этот вскрик, тишина взорвалась тысячеголосым громом, поглотившим команду, топот ног и тяжелое сопение людей. Первые очереди разорвали упругий воздух над головами, рядом кто-то тонко, не по-мужски вскрикнул. Климченко склонился ниже, оглянулся и тут же выпрямился — в пяти шагах сзади бежал с автоматом в руках его ординарец Костя. Каска на голове бойца вдруг дернулась, наверно сбитая пулей, одним краем осела на ухо, парень толкнул ее рукавицей на место и коротко, одними глазами улыбнулся командиру. Но лейтенант не заметил его улыбки, он увидел, что правый фланг отстал еще больше. Неповоротливый, пожилой Голанога с подоткнутыми под ремень полами шинели то бежал, то останавливался, кидался в стороны, крича на бойцов, которые все заметнее замедляли бег и, видимо, уже были готовы залечь. Этого допустить было нельзя, и Климченко, слыша, как сзади матерится Орловец, вскинул вверх обе руки и, потрясая ими, закричал сорванным, осипшим голосом:

— Голанога! Так твою... Вперед! Вперед!..

Но слова его бесследно исчезали в грохоте боя. Он еще несколько раз потряс в воздухе кулаком с зажатым

в нем пистолетом и рванулся вперед. Пули густо пронизывали воздух, клевали мерзлую землю у ног, брызжа песком. Хмурое небо гудело, голосило, скулило тысячью голосов. Казалось, непостижимая бешеная сила неистово бушевала в вышине, и даже не верилось, что все это грохочущее буйство уничтожения направлено против реденькой цепочки вконец уставших людей, которые шли и бежали по серому склону, медленно приближаясь к траншее.

— Вперед! Вперед! — кричал лейтенант, нагоняя цепочку бойцов, одолевших уже половину пути.

Но шквал огня с высоты делал свое дело: бойцы замедляли бег, все ниже жались к земле, некоторые уже лежали на стерне, и невозможно было понять, убиты они или просто испугались. В какую-то секундную паузу он уловил поблизости слабый стук солдатского котелка и с мимолетной радостью подумал: «Жив!» Но тут же Климченко почувствовал, что первый порыв ослаб и что взвод вот-вот заляжет. Сердце его бешено стучало в груди, усталость распирала легкие, в висках с натужным звоном пульсировала кровь. «Быстрей! Быстрей! Быстрей!» — сверлила мозг упрямая мысль. Уже невдалеке виднелась дорога — вытаявшая из-под снега полоска серой земли с редкими гривками бурьяна по сторонам. От дороги до траншеи оставалось всего шагов сто, и ни за что нельзя было позволить взводу залечь тут, любой ценой надо было прорваться к брустверу.

Однако они не успели еще подбежать к дороге, как откуда-то из деревни во фланг им ударила автоматическая пушка. Первые ее мелкокалиберные очереди загрохотали вдали, и колючие клубки разрывов рассыпались по ниве. Несколько бойцов упали и суконными комками шинелей застыли на стерне. Кто-то в телогрейке уронил автомат и, обхватив ладонями лицо, с криком бросился назад по склону. В тот же момент хлесткие, горячие трассы пронеслись возле взводного, ударили по земле сзади, метнулись дальше вдоль неровной цепи людей. От неожиданности Климченко на миг растерялся, но тут же с необыкновенной отчетливостью сообразил, что нужно немедля, рывком вперед уходить из-под огня. Он уже не подгонял бойцов, перестал отдавать команды, мчался, опережая всех и хорошо зная, что только так можно не дать людям залечь. Сзади и по сторонам мерзлую землю зло секли очереди автоматической пушки.

Лейтенант перебежал дорогу, перескочил канаву с иссохшей прошлогодней травой и, пригибаясь, бросился дальше. Траншея была уже совсем близко, в каких-нибудь двадцати шагах, когда огненные колючие клубки разрывов взметнулись почти у самых его ног. Климченко упал — первый раз за эту атаку. Но, кажется, он уцелел. Еще не уверенный в этом, лейтенант вскинул голову и сквозь не осевшую от разрывов пыль увидел, как в траншее напротив засуетились зеленые каски; с бруствера, пульсируя белым огнем, торопливо ударил автомат, его пули брызнули в лицо Климченко песком, и он, вскинув в вытянутой руке пистолет, выстрелил туда три раза. Рядом напористо застрекотал автомат: это стрелял Костя. Одубевшим рукавом лейтенант вытер с лица пот, оглянулся. Очереди с гулким треском катились по промерзшей земле. Климченко рывком вскинул свое тело с земли и, преодолев последние метры, отделявшие его от траншеи, взлетел на бугорчатый, усыпанный гильзами бруствер, пригнулся, выстрелил несколько раз в загадочный зев траншеи и сразу же прыгнул в нее сам.

Он едва не наскочил на что-то живое внизу. Перед ним испуганно метнулась в сторону зеленая фигура в каске, казалось, без лица, с одной только худой кадыкастой шеей. Словно обороняясь, фигура вскинула навстречу локоть. Климченко, чувствуя, что в обойме осталось всего несколько патронов, рукояткой пистолета наотмашь ткнул немца в висок, потом перемахнул через него и, пригибаясь, кинулся к повороту траншеи. Сзади раздались взрывы гранат и крик: «Братцы! Братцы! Бра!..» Крик вдруг оборвался, но где-то рядом взвился другой: «Носке! Носке!» И еще: «О, Носке!..» Затем, обрушивая комья с бруствера, кто-то тяжело грохнулся в траншею. Климченко не успел оглянуться (лишь мелькнула догадка: Костя), как с обеих стен в лицо ему брызнуло землей, что-то острое толкнуло в плечо. Лейтенант, оседая, обернулся, и его взгляд на мгновение встретился с помутневшими глазами Кости. Обронив автомат, ординарец падал ничком. В шинели на его груди чернела рваная, залитая кровью дыра. Не успел он, однако, упасть, как из-за его спины на фоне серого неба вынырнул немец — молодой, простоволосый, в расстегнутом мундире, с безумным взглядом таких же белесых, как у Кости, глаз. Климченко, откинувшись к стене, ослабевшей ру-

кой поднял навстречу ему пистолет, но выстрелить не успел: что-то огненно-черное нестерпимой болью в голове погасило его сознание.

3

Было очень холодно. Знобило. Особенно мерзла спина. Климченко внутренне сжался, будто удерживая в себе последние крупицы тепла, и мелко, напряженно дрожал. Однако покоя не было, его все время толкали в плечи, затылок бился обо что-то твердое. Вскоре стало ясно, что он куда-то сползает — полушубок и гимнастерка на спине задрались, оттого и было так нестерпимо холодно. Он с усилием раскрыл глаза и увидел перед собой комья земли. Показалось, что он попал в яму, но почему тогда задрались куда-то вверх ноги? Приподняв голову, он повернулся, пытаясь удержаться руками, и увидел перед собой чью-то согнутую спину, хлястик с оловянной пуговицей и черный кожаный ремень под ним. Вторая пуговица на хлястике была оторвана, от нее осталось только проволочное, залепленное землей ушко, ниже которого болталась на ремне сумка. Климченко сразу узнал ее — это была его старенькая кирзовая сумка, выданная ему еще при выпуске из училища. Ноги лейтенанта были зажаты под мышками у этого человека, который, так нелепо впрягшись, волок его по траншее.

Поняв, где он, Климченко рванулся, пытаясь высвободить ноги. Немец сразу остановился, оглянулся: на его густо заросшем, немолодом лице отразилось переходящее в испуг удивление; нижняя губа его оторвалась от верхней, и на ней, наискось прилепясь, дымил желтый окурок сигареты.

— Майн гот! — сказал немец и, встретившись взглядом с Климченко, выпустил из рук его ноги. Кирзовые сапоги лейтенанта глухо ударились о дно траншеи. Потом немец причмокнул губами, насупил густые брови и, оглянувшись, стал снимать с груди автомат.

А Климченко, осознав, что с ним произошло, понял, что наступил конец. У него не было сил защищаться, он только попытался сесть, его почему-то испугала мысль, что он будет убит лежа. Однако автомат у немца был на коротком ремне, он цеплялся за воротник, и солдат, набычив голову, с усилием стаскивал его поверх зимней, с длинным козырьком шапки. Вверху над ним плыли

тучи, и стебли бурьяна на бровке бруствера часто-часто мельтешили от ветра. Климченко кое-как все же собрался с силами, оперся на левую руку, сел и незаметно для немца провел правой рукой по боку. Однако кобура была пустая, оборванный конец ремешка лежал на суглинке. Лейтенант прислонился к стенке траншеи. Ослабевшее сердце его едва шевелилось в груди, а в голове стоял острый звон.

Немец тем временем подавил свое удивление и, уже почти безразличный к пленному, раза два потянул окурок. Потом, прищурив от дыма глаз, дернул рукоятку автомата и отступил на шаг. С выстрелом он почему-то помедлил, поднял голову — сзади послышались шаги, и вскоре через плечо лейтенанта переступил испачканный землей сапог с множеством блестящих шипов на подошве. В следующее мгновение щеки Климченко коснулись полы длинной шинели, в разрезе которой мелькнули обшитые коричневой кожей бриджи. Немец опустил оружие, посторонился, давая кому-то дорогу, но тот остановился, усталым взглядом скользнул по лицу Климченко и что-то вполголоса буркнул. Солдат, держа автомат, с подчеркнутой готовностью ответил, и лейтенант понял: появился начальник.

Климченко поташнивало, туман то и дело застилал глаза, оба немца временами расплывались, словно тени в неспокойной воде, и лейтенант, склонив голову и закрыв глаза, безразличный ко всему, ждал выстрела. Однако вместо избавительной очереди он получил резкий удар в бедро и, вздрогнув, глянул вверх — оба немца стояли над ним, и солдат с автоматом, сплюнув окурок, наклонился, заглядывая ему в лицо.

— Вставайт, русэ! Вставайт!

С трудом преодолевая оцепенение, лейтенант понял, что смерть пока что откладывается.

И, как за спасение, он ухватился за эту коротенькую возможность жить, оперся рукой о стену, с преувеличенной уверенностью, не рассчитав силы, встал и сразу же прислонился плечом к бровке траншеи. Тогда немец-солдат сильной рукой подхватил его под мышку. Климченко от боли и слабости заскрежетал зубами, рванул руку, но немец держал крепко и, бесцеремонно толкая, повел его по траншее.

Ветер сдувал с бруствера пыль. Видно, от стужи сильно ломило в затылке. Лейтенанта бросало в озноб. Он

снова затрясся в лихорадке и, уже безразличный к тому, куда его ведут и что его ждет, тяжело переставлял ноги. Второй немец шел впереди, казалось, без всякого интереса к ним обоим. Поднявшись из траншеи, Климченко почувствовал себя лучше, появилось привычное беспокойство о взводе, он прислушался — нет, боя поблизости не было, перестрелка повсюду стихла, только где-то, видно, в землянке, какой-то немец выкрикивал одно и то же слово — наверное, это был телефонист, повторявший позывные.

Лейтенант глянул в одну сторону, в другую — траншея вела в тыл немецкой обороны. Оврага и склона со стерней, по которым они атаковали, отсюда не было видно. Вокруг было по-весеннему привольно и просторно. Дожидаясь своего часа, бродил весенними соками лес. Освободившись от снега, вот-вот готова была ожить извечно обновляемая земля. Местами на ручьях и в бороздах, на лесных опушках чахли, дотаивали жесткие на морозе, как наждак, плешины снега, неистово носился над просторами ветер и сушил землю. На смену бесконечно долгой студеной зиме шла весна, и лейтенант понял: она уже не для него.

4

Его вели все глубже и глубже в тыл, подальше от своих, от роты, и Климченко все отчетливее сознавал, что этот путь — последний, что возврата уже не будет.

Он чувствовал себя плохо, больно кололо в боку и взгляд то и дело почему-то затуманивался. Часто Климченко замедлял шаг, готовый вот-вот остановиться, и тогда солдат, идущий сзади, толкал его автоматом в спину, приговаривая: «Пшель! Пшель!» Но злости в его голосе лейтенант не чувствовал, хотя это теперь и не имело для него никакого значения.

Вскоре на тропке им встретилось шестеро солдат-связистов, обвешанных катушками с красным кабелем, сумками и оружием. Они уступили офицеру дорогу и, минуя пленного, разглядывали его настороженно враждебными взглядами. Отойдя, они еще долго оглядывались, но Климченко уже не отрывал глаз от земли: все, что происходило вокруг, его мало заботило.

Так они вышли к дороге. В неглубоком, но широком овражке, возле мостика через замерзший ручей, стояло

несколько беспорядочно расставленных, крытых брезентом машин. Машины, видимо, находились тут давно, земля возле них была вытоптана и густо залита пятнами горючего и масел, рядом валялось несколько бочек, и солдат в комбинезоне, откинув в сторону руку, нес к машине канистру. Шедший впереди офицер что-то спросил у солдата с канистрой. Тот, хлопнув по бедру рукой, коротко ответил, и они свернули в сторону — туда, где под обрывом оврага чернела дверь землянки.

Сперва Климченко показалось, что тут штаб и, прежде чем расстрелять, его допросят. Но, осмотревшись, он усомнился в этой своей мысли. Землянок было всего две; ни телефонов, ни обычной штабной суеты не замечалось. Немец открыл выкрашенную под дуб, видно снятую в каком-то доме, дверь, с крохотным, врезанным в верхней филенке окошком и зашел в землянку. Следом, подталкиваемый конвоиром, вошел Климченко, и дверь, скрипнув, захлопнулась.

Он ступил на шаткие, наспех настеленные доски пола, в лицо ударило жаром накаленной железной печки. В землянке слегка попахивало дымом. На застланном шерстяным одеялом столе лежали бумаги. Рядом мигала крохотная стеариновая плошка. Моложавый офицер в коротком, с разрезом сзади мундире подскочил к вошедшему и щелкнул каблуками. Пока они тараторили о чем-то, Климченко осмотрелся. Сзади сквозь филенчатое окошко проникал слабый свет пасмурного дня. Вместе с огоньком в плошке он скудно освещал переднюю стену землянки, в несколько рядов заклеенную одним и тем же платком с изображением широколицего красноармейца, который хлебал что-то из плоского котелка, глуповато при этом улыбаясь немцу в каске, стоящему рядом с такой же неестественной, деланной улыбкой на лице. Под платком повторялись надписи на русском и немецком языках. Плакат этот озадачил Климченко и окончательно убедил его в том, что тут не штаб. Но тогда что? Гестапо? Какой-нибудь пропагандистский отдел? От этих догадок становилось все тягостнее в душе.

Пока немец в мундире о чем-то докладывал, высокий в шинели, не снимая черных перчаток, перебрал на столе бумаги и начальственным тоном произнес длинную фразу. Второй немец сразу взглянул на Климченко, и лейтенант догадался, что речь шла о нем.

Гитлеровцы переговаривались уже втроем. Солдат-

конвоир снял с плеча сумку Климченко и, вынув из-за пазухи, подал бритоголовому пачку бумаг. Климченко узнал среди них красную обложку своего командирского удостоверения, комсомольский билет, удостоверение о наградах, расчетную книжку, справки о ранениях. Тут было все, что месяцами лежало в его карманах, кроме часов и алюминиевого портсигара с табаком, о которых конвоир, очевидно, предусмотрительно умолчал. Офицер, брезгливо скривив тонкую губу на белом, хорошо выбритом лице, без особого интереса перелистал документы и бросил их на стол. Несколько бумажек, не долетев, затрепыхались в воздухе; их услужливо подобрал с пола другой, в тесном мундирчике.

Наконец начальник что-то приказал, раза два прошелся по землянке, прогибая половицы, и, не взглянув на Климченко, вышел. Конвоир с автоматом также последовал за ним и стал за дверью. Сквозь чисто протертое стекло лейтенант увидел его плечо с погоном, козырчатую шапку, дальше был виден брезентовый край кузова с пятнистым осенним камуфляжем и буквой «Z» в белом квадрате.

Ожидая, что будет дальше, Климченко взглянул на того, кто остался с ним, и заметил, как покорно-угодливое выражение его лица уступило место самовольной уверенности.

— Ну, лейтенант, начнем разговор? — на чистом русском языке спросил он, и от этой неожиданности Климченко оторопел. Немец, словно и рассчитывая на это, снисходительно заулыбался, вынул из кармана блестящий портсигар, раскрыл его и, стоя посредине землянки, протянул Климченко:

— Куришь?

Услышав такие неожиданные здесь слова, лейтенант вдруг утратил всю свою выдержку, пошатнулся и, чтобы не упасть, оперся локтем о стену землянки; изображения солдат на плакатах запрыгали в его глазах. Немец, заметив его состояние, нерешительно прикрыл портсигар.

— Э, да ты, оказывается, ранен! Что ж они не сказали? Ну, это пустяки, подлечим! Садись вот! — Он схватил из угла крепко сколоченный табурет, поставил на середине землянки, и лейтенант обессиленно сел.

Немец раскрыл дверь, что-то крикнул во двор, в ответ послышались голоса и торопливый топот ног. От свежего воздуха, хлынувшего снаружи, в землянке сра-

зу похолодало, и Климченко постепенно овладел собой.

Немец отошел от порога, прикурил, подождал, пока где-то поблизости простучали сапоги, и в землянку ввалился грузный, немолодой уже ефрейтор с сухим, желтым лицом. От него остро запахло дустом и еще чем-то, похоже, лекарством. Недовольно ворча, он начал сдирать с Климченко перепачканный, изодранный в клочья полушубок. Лейтенант вяло подчинялся его настойчивым движениям: ему уже было безразлично, что сделают с ним. Он хотел лишь покоя и невидящим взглядом смотрел, как по доскам вокруг табурета тяжело ступают поношенные сапоги. Руки немца, бесцеремонно поворачивая его голову, пролязгали ножницами, и на пол упали светлые, спутанные пряди волос. Затылок, видно, был сильно разбит и болел, но Климченко терпел все, только раз вздрогнул, когда рану обожгло лекарство. Вскоре, однако, немец проворно обмотал голову желтоватым бумажным бинтом и собрал в сумку свое снаряжение. Все это время тот, в мундирчике, сидел на углу стола и с добродушной ухмылкой наблюдал за ним, пока санитар не вышел, прихлопнув за собой дверь.

— Ну, так лучше? — просто и будто с сочувствием спросил человек в мундире, когда они остались вдвоем. — Это излечимо. У немцев медицина, как у нас говорят, на высоте. У нас, — значит, у русских. Не удивляйся. Я русский. Как и ты. Москвич. На Таганке жил.

Климченко уже перестал удивляться и заметил про себя, что тут, очевидно, ко всему надо быть готовым. Нарочитая доброжелательность и заботы этого человека наводили лейтенанта на мысль, что ждет его тут нелегкое. Но чувство открытой враждебности к этому «русскому» как-то начало ослабевать, и он, сам не заметив того, почувствовал себя будто наравне с ним. Правда, лейтенант помнил, что это ничего еще не означает и что надо держать ухо востро.

— Интересно, а ты откуда будешь? — спросил его «русский».

— Там написано. Наверно же, грамотный? — ответил Климченко, взглянув на стол с разбросанными на нем документами.

Человек в мундире, улыбнувшись неодобрительно, но терпеливо, повел русой бровью.

— Ну конечно, там все написано! У нас, то есть у вас, на этот счет полный порядок. Как говорят, ажур.

И где родился, и где женился, и где крестился, и был ли за границей, и имел ли колебания. Я это знаю, — совсем как-то просто и даже, как показалось Климченко, с дружелюбием в тоне сказал он. — Сам был такой! — Он с ухмылкой остановился перед Климченко и выпустил над его головой струйку дыма.

«Что за тон? Чего ради?» — думал Климченко. Утрачивая безразличие к своей судьбе, зародившееся в нем там, в траншее, он вдруг задумался над тем, что бы все это могло значить? Раздетый, в одной гимнастерке, с кубиками в петлицах (погоны только недавно ввели, и он еще не успел их получить), без ремня, с перевязанной головой, он, как арестант перед следователем, сидел в непривычно обставленной землянке и настороженно слушал. А человек в немецком мундире с удовлетворенным выражением на лице, что-то соображая, оглядывал его.

— Орденишко давно получил? — кивнул он на его Красную Звезду.

— Осенью, — сказал Климченко.

— За оборону, наступление?

— За окружение.

— Ну что ж, это похвально. Заслуженный, боевой офицер, — что-то имея в виду, сказал человек и быстро предложил: — Может, все же познакомимся? Я — Чернов. К сожалению, не Белов, но что поделаешь, — засмеялся он, и внутри у Климченко что-то словно оборвалось: такой открытой показалась ему эта улыбка, что не хотелось думать, что перед ним враг. «А может, он тут по заданию наших работает? Может, разведчик? А вдруг он выручит?..» — на какое-то мгновение мелькнула у него мысль. Во все глаза глядя на этого человека, Климченко старался что-то понять, а тот, стоя напротив и покровительственно усмехаясь, мягко продолжал:

— Можешь называть меня Борисом. Ведь мы, почитай, ровесники. Ты с какого года? — Не ожидая ответа, он заглянул в удостоверение на столе. — С двадцать первого. Ну, а я с девятьсот семнадцатого. Так сказать, ровесник Октября...

Он бросил за печь сигарету и впервые сел на свое, видно, постоянное место за столом. Затем, растопырив пальцы, осмотрел ногти и маленьким ножичком стал подрезать их. Климченко, напряженно морщась и чего-то ожидая, пристально следил за его легонькой ухмылкой, которая блуждала на белом, в меру упитанном, свежевы-

бритом лице. Казалось, такой человек никому и никогда в жизни не сделал ничего плохого.

— Полагаю, мы сговоримся. Ты, наверно, думал, что в плену сразу расстрел? Глупости. Ты же не комиссар. Немцы уважают достойных противников. Строевых командиров. Работяг войны. Специалистов. Немцы к ним относятся, я бы сказал, по-рыцарски. Да ты и сам уже успел убедиться в этом. Так ведь?

Климченко молчал.

— Ну что замкнулся? — оторвав взгляд от ногтей, сдержанно упрекнул Чернов. — И чего так смотришь? Опомниться еще не можешь? Это ничего, пройдет.

— Что вам нужно? — меряя его недоверчивым взглядом, спросил лейтенант.

Чернов облегченно откинулся на спинку стула.

— Вот это деловой разговор. — Он несколько преувеличенно и потому не совсем естественно обрадовался, вышел из-за стола и присел на его уголке. Вытянув вперед ногу в начищенном щеголеватом сапоге, пошевелил носком, помолчал, собираясь, очевидно, сообщить главное.

— Очень даже немного. Я думаю, тебе не меньше нас жалко своих солдат. Не так ли? Через день-другой их погонят в наступление, и всем будет капут. А зачем? Не довольно ли России лить кровь? — спросил он. Казалось, Чернов искренне переживал то, что говорил, и Климченко снова с некоторым любопытством взглянул на него. — Зачем бессмысленные жертвы? Сколько их уже принесла Россия! Революция, классовая борьба, войны. Одним словом, лейтенант, вот что... Нужно выступить по звуковещательной установке и поговорить со своими. Нет, нет, не пугайся, выдумывать ничего не придется — есть готовый текст.

«Вот оно что, теперь все ясно!» Тягостное напряжение у Климченко вдруг спало, впервые он повернулся на табуретке и вздохнул. Чернов встал из-за стола и подошел к нему ближе:

— Так как? Рисковать тоже не придется. Динамик — на передовой, мы — в траншее. Несколько слов к конкретным лицам. Это подействует. Это всегда действует.

— Ах вот вы о чем! — сказал Климченко, взглянув в улыбчиво-спокойные глаза Чернова. — Нет, ничего не выйдет! Ищите другого.

Климченко понял все — ничего нового в этом для него

не было. Когда-то в дождливую беспросветную ночь под Вязьмой он уже слышал подобную агитацию по радио. На опушке в беспомощной ярости матерились бойцы, слушая брехню какого-то перебежчика, который сутки назад был с ними рядом и вместе из одного котелка хлебал суп, а потом агитировал их переходить на сторону фюрера.

Опершись локтями о колени, Климченко низко согнулся на табурете и опустил голову, готовый ко всему. Чернов умолк, перешел на другую сторону стола и сел, загадочно поглядывая на него. В печке догорали дрова, жара спадала, и от двери потянуло холодом. Лейтенант передернул плечами.

— Так, так, не хочешь, значит? Ну что ж... — неопределенно, что-то обдумывая и разложив на столе руки, сказал Чернов.

На дворе — слышно было — переговаривались солдаты, хлопали дверцы в кабинах машин, где-то вдали ахнули два взрыва. Огонек в плошке тихо мигал. Вдруг он резко вспыхнул, едва не погас — сзади стукнула дверь.

В землянке появился тот, долговязый, приведший его сюда. Климченко, не оборачиваясь, узнал его по кожаным бриджам (теперь он был без шинели) и медленно поднял голову. Чернов что-то буркнул, выскакивая из-за стола. Вошедший недобрым, испытующим взглядом уставился на пленного. Не сводя с Климченко взгляда, он вынул из кармана портсигар и щелкнул им перед самым лицом пленного. Климченко отвернулся. Немец что-то коротко и строго сказал Чернову, тот подскочил к Климченко, и лейтенант, получив в челюсть сильный удар, отлетел к стене. В левом его ухе при этом, кажется, что-то лопнуло, и голова наполнилась болезненным острым звоном.

Когда он медленно, держась за стену, поднялся, Чернов негромко сквозь зубы процедил:

— Отказываться у немцев не принято. Ясно?

Климченко сжал челюсти и подумал: «Вот где ты открываешься, гад ползучий!» С минуту он стоял у стены под взглядами двух пар разных, но по-прежнему, как ему казалось, совсем невраждебных глаз. Было обидно и больно, но опять почему-то не хотелось верить тому, что тут произошло: так обычно и просто смотрели на него эти глаза. Потом высокий, все в тех же черных перчатках,

медленно подняв сигарету, мизинцем бережно стряхнул с нее пепел. Он и Чернов выглядели столь спокойными, рассудительными, что можно было подумать, будто оба они шутят.

— Ты будешь испольняйт немецки бефёль? — без угрозы, спокойно спросил немец.

— Я не предатель.

— О, — только и сказал офицер и почти незаметно одним глазом моргнул Чернову. Тот подошел и так же, как в первый раз, не размахиваясь, по-боксерски коротко и сильно ударил Климченко в челюсть. Лейтенант снова отлетел к стене; падая, он задел печь — в трубе густо зашуршал посыпавшийся с потолка песок. Немец процедил: «Гут» — и, сжав тонкими губами конец сигареты, вышел из землянки.

5

Как только дверь за офицером захлопнулась, Чернов спокойно, будто ничего между ними и не произошло, подошел к Климченко:

— Ну как?

— Сволочь ты, а не земляк! Кол тебе в душу! — сказал лейтенант, сплевывая на пол кровавую слюну.

Чернов, почти не обращая внимания на его бранные слова, хитровато улыбнулся:

— Ну не сердись! Чепуха. Это так, для порядка. Иначе... Сам понимаешь: начальство!

Он подхватил Климченко под руки, рывком поставил его на ноги, сапогом пододвинул табурет:

— Садись!

Лейтенант сел и искоса поглядывал на своего палача, острые подвижные глаза которого то и дело косились на двери землянки.

— Сам понимаешь. Приходится. Иначе скомандует и все: конец. Так что иногда лучше ударить. Правда, ведь?

Чернов начал ходить по землянке. Казалось, ничто не способно было вывести его из душевного равновесия, таким он был неторопливо-уверенным, расчетливым, аккуратно, почти что элегантно одетым... На его стриженном под бокс белесом затылке шевелилась розовая складка.

— Между прочим, тебе, можно сказать, повезло. Не

каждому дается такая возможность — реабилитировать себя. У немцев заслужить доверие нелегко. Зато они ценят преданность. Сужу по собственному опыту. Я тоже, знаешь, когда-то ждал пули. Пришлось доказать кое-что. И вот видишь, вместо пули — мундир! — Он с удовлетворением ощупал свой коротенький френчик с узкими серебряными погонами. — Правда, при Советах чин побольше бы был, — с какой-то ухмылкой добавил он.

«Что за намеки? Кто он такой? Политрук? Командир? Штабист какой-нибудь?..» — думал лейтенант. И вдруг его будто осенило что-то, и он понял, что перед ним хитрый враг и что никакой он не москвич, хотя, может, когда-то и жил там.

— Зря стараешься, — злобно сказал Климченко. — Не на того напал!

Чернов вдруг остановился и круто повернулся к пленному. Выражение его лица не изменилось, только левый глаз как-то недобро округлился, и он несколько тише, чем обычно, будто затем, чтобы не услышал снаружи часовой, сообщил:

— А вообще ты того... Не слишком ерепенься. Учти: выбор у тебя не очень богатый. Либо ты выступишь, либо в землю ляжешь. Сегодня же!

После всего, что случилось, угрозы могли только взорвать, и Климченко вскочил с табурета.

— Ну и пусть! Стреляйте! Все равно пристрелите! Не к своим же отпустите? Не верю я вам. Сволочи вы все!

Чернов холодно усмехнулся.

— Не горячись. В конце концов мы сможем сделать что надо и без твоего участия. — Он выждал немного, хмуря белесые брови, потом повернулся и спокойно занял за столом свое место, с какой-то многозначительной важностью взял вынутый из сумки листок — список личного состава первого взвода автоматчиков. — Командир отделения Голанога Иван Фомич, ефрейтор Опенкин Петр Петрович, красноармеец Сиязов, Гаймадуллин... Имя и отчество не проставлены — непорядок. Чирков, Федоров, Хиль, всего двадцать два человека. Выбывшие отмечены? Отмечены, а как же! Ну вот. Командир роты также известен — Орловец. Остальное и сами сделаем. Только ты тогда, понятное дело, пеняй на себя. Немцы тебя сотрут в порошок. Да и на той стороне всё в квадрат возведут. Понял?

— Как это?

— А просто. Подумай, поймешь.

Климченко растерялся; ошеломленный еще не до конца осознанной, но, безусловно, какой-то сверхнаглой затеей этих сволочей, он во все глаза смотрел на Чернова. А тот, уже сменив свое радушное выражение на угрожающее, сложил список взвода и сунул его под сумку.

— Вот так! — сказал он и откинулся к стене. — Ну что, решаешь?

«Что они надумали? Что сделают?» — билась в голове безысходная мысль, и постепенно вырисовывалась догадка, от которой его бросило в жар. Климченко вскочил и, пошатываясь, шагнул к столу.

— Не имеете права! Провокаторы! Сволочи продажные!

— Тихо! — строго сказал Чернов и встал за столом. Рука его твердо легла на сумку, под которой находился список. — Тихо, лейтенант! Сначала подумай. Поостынь.

Климченко осатанело глядел ему в глаза — на этот раз уже холодные и жестокие. Несколько секунд они так и стояли — один против другого, разделенные только столом, и тогда к лейтенанту впервые пришло отчетливое понимание того, что эти звери сделают с ним все, что захотят. Это оглушило его, и он беспомощно опустил руки, понурил голову. Почувствовав, как запрыгали в глазах черные бабочки, вернулся на прежнее место.

Какое-то время оба молчали. В землянке стало прохладно, печка уже не светилась огнистыми щелями. Скупо серела заклеенная нелепыми плакатами стена, на которой шевелилась головастая, до самого потолка тень Чернова. На дворе, видно, темнело, слышны были ленивые шаги часового, где-то дальше, безразличные ко всему, разговаривали, смеялись солдаты и тоненько наигрывала губная гармошка.

«Сволочи! Что делают, сволочи! И надо же было вчера отметить выбывших — убитых и раненых. Тухватуллин, кажется, только не отмечен. Ночью подстрелили, не успел вычеркнуть. Нет, этого допустить нельзя. Но как?..»

И Климченко понял, что единственный выход у него — схитрить, утонченному коварству врага противопоставить такую же изощренную хитрость. Однако ему, человеку прямому и открытому, не так-то легко было сделать это. Главным теперь для него был список — лейте-

нант ясно понимал это. Ему тяжело было заставить себя не смотреть на этот прижатый сумкой листок бумаги, и все же он каждой частицей тела ощущал его там и даже опасался, что Чернов мог по какому-нибудь движению догадаться о зреющем в нем намерении. Недаром, видно, его посадили на середине землянки. Точно рассчитать бросок к столу было трудно: теперь он не чувствовал в себе необходимой для этого ловкости. Надо было что-то придумать, и Климченко решил оттянуть время.

— А что я должен говорить там? — мрачным, но несколько более ровным голосом спросил он.

Чернов повел бровями, коротко взглянул на него:

— Вот давно бы так! Это очень просто. Прочесть вот эту бумажку... Где она тут у меня затерялась? Ах вот! — Он отыскал среди бумаг какой-то листок и, привстав, через стол сунул его Климченко. Лейтенант недоуменно прочитал первые строки.

«Дорогие граждане, мои однополчане, — было напечатано мелким шрифтом. — Бойцы и командиры... полка! («Вот, сволочи, и место оставили, только проставляй!») Обращается к вам бывший командир (красноармеец)» — опять пропуск с многоточием.

Климченко взглянул ниже: там также шли пропуски — точки, обращения к бойцам с предложением сдаваться в плен. Тут же предполагалось напомнить этим людям их конкретные обиды на Советскую власть и перечислить блага плена: семьсот граммов хлеба, горячий обед, утром кофе, каждому одеяло, свобода от большевизма, для верующих по желанию — костел, кирха или церковь. В заключение — бойцов, места жительства которых были заняты немецкой армией, обещали отпустить по домам.

«Здорово расписали, складно, — подумал Климченко. — Так здорово, что и дурак не поверит». Стараясь быть более спокойным, он объявил:

— Ладно! Черт с ним. Я согласен.

— Ну вот и с богом! Поздравляю! — Чернов вышел из-за стола и пожал его руку выше локтя. — Как говорят, раскололся — и добро! Конечно, какой смысл умирать из-за какого-то там идиотского принципа! Правда? Значит, так... — Он с удовлетворением, как после нелегкого, но уже законченного дела, потер ладони. — Значит, так... По российскому обычаю надлежит размочить. Как-

никак все-таки людей от смерти спасаем. Это, брат, не измена. Это скорее доблесть!

Он пружинисто присел на своих щегольских, с высокими задниками сапогах и вытащил из-под стола желтый, похожий на чемодан ящик. Щелкнул замок, в ящике оказались какие-то свертки в блестящем целлофане, бутылки, банки консервов. Точным, заученным движением Чернов поставил на стол два алюминиевых стаканчика.

Рядом, под сумкой, лежал список личного состава взвода автоматчиков.

У Климченко расширились зрачки, когда он увидел все это. Внутри все сжалось и похолодело, мышцы в его ослабевшем теле напряглись: всего два-три шага отделяли его от бумажки, которая сейчас могла круто изменить его судьбу. Это было так необычно, что просто не верилось. «Прошляпил или нарочно?» — напряженно пытался решить лейтенант. Он не сводил глаз с ящика на полу, но искоса видел на столе сумку — в считанные секунды надо было принять решение.

— Вот мы сейчас, как наши, то есть ваши, говорят, и обмоем начало твоей новой службы! Коньяк! Видно, такого не пил? — с доброжелательностью радушного хозяина говорил Чернов, выкладывая на стол провизию. На скатерти-одеяле уже лежали несколько банок паштета, пачка галет, завернутый в целлофан кусок колбасы.

«Ошибка или провокация?» — сверлил голову лейтенанта все тот же вопрос. И какой-то неведомый, но настойчивый советчик все время твердил: «Давай! Скорей! Скорей! Ну что же ты?.. Сейчас... Сейчас...»

Климченко удобнее расставил возле табуретки свои ноги, слегка наклонился, чтобы ловчее было прыгнуть — одной рукой он намеревался столкнуть сумку, другой — схватить список.

Чернов тем временем выложил на стол две солдатские вилки, склепанные вместе с ложками, и снова запустил руку в ящик.

Климченко подвинул на полу ногу, пригнулся всем телом — и прыгнул... Правой рукой он довольно ловко откинул в сторону сумку, левой, сбросив колбасу, схватил сложенный вчетверо листок бумаги. Чернов недоумевающе вскинул голову и почему-то вместо того, чтобы ринуться на него, схватил бутылку, которая падала со стола. А Климченко отскочил шаг назад и, рванув печную дверцу, сунул бумажку в огонь. Вместе с пламенем, мгно-

венно вспыхнувшим в печке, в нем взвилась торжествующая, победная радость. Но в этот момент сзади с какой-то непонятной истерической веселостью захохотал Чернов.

Не догадываясь о причине этого смеха, но инстинктивно почувствовав неудачу, Климченко обернулся и, мучительно заломив брови, взглянул на Чернова. Тот вдруг оборвал смех, лицо его сразу одеревенело. Он сунул руку в карман брюк и почти под самым носом Климченко мотнул в воздухе листком бумаги:

— Видал?

Список личного состава взвода был в руках врага.

Чернов аккуратно засунул бумажку в нагрудный карман, старательно застегнул пуговицу и сделал шаг к пленному. В его расширенных глазах вспыхнула и погасла дикая нечеловеческая злоба.

— Скотина, кого обмануть вздумал?!

Бешеный удар в левую щеку, в правую, удар в подбородок (кажется, хрустнула челюсть), звон, треск в ушах, сноп искр из глаз... Климченко откинулся к стене и, напрасно пытаясь прикрыться руками, быстро сползал на пол. Тело помимо его воли стремилось сжаться, свернуться в малюсенький, тугой комок, чтобы как-нибудь выдержать безжалостные удары — в голову, в лицо, живот, в грудь... Чернов бил яростно и молча, как можно бить только за личную обиду, за собственные неудачи, за непоправимое зло в жизни, вымещая все на одном человеке.

Вскоре у Климченко перехватило дыхание, и он захлебнулся тягучей, вдруг поглотившей все ощущения мутью.

6

Он снова очнулся, как и там, в траншее, от нестерпимой, судорожной стужи.

Память его с необыкновенной ясностью воспроизвела последние минуты сознания. На этот раз он хорошо помнил, что с ним произошло, только не знал, сколько прошло с тех пор времени и где он лежал. Вокруг было темно. Когда он повернулся огромным усилием больного, разбитого тела, то увидел сбоку окошко — крохотные светловатые квадратики размером не более спичечной коробки. Он оперся руками о пол — ладони ощутили шер-

шавое железо обшивки. Догадался, что лежит в машине. Тело его так дрожало от холода, что он едва совладал с этой дрожью, пересиливая непрерывные мучительные судороги.

Климченко сел, сжавшись, подвинулся к стене. Железо обшивки, прогнувшись, брякнуло, и тогда он понял, что его заперли, видимо, для того, чтобы куда-то отвезти. «Хотя почему куда-то?» — невесело усмехнулся он. После того что произошло там, в землянке, выкручиваться ему уже больше, видно, не придется. «Вот сволочи! Надо же было так перехитрить! Взяли, как щуренка на блесну. Вот тебе и доблесть, дурень набитый!» — ругал себя Климченко, прижав к груди колени и локти, все еще не в силах унять дрожь. Лицо его, казалось, было сплошным струпом, шатались под языком коренные зубы, левый глаз едва раскрывался — заплыл опухолью. Болела челюсть под ухом, к ней невозможно было прикоснуться.

«Видно, кулачных дел мастер «землячок» проклятый! — с ненавистью вспомнил он Чернова. — А как подъезжал! Как мягко стлал, чуть даже коньяку не выпили. Вот тебе и «соотечественник»!»

Вокруг стояла сонная, глухая тишина. Где-то в стороне, по-видимому, на дороге, прогудела машина, с передовой донеслось несколько далеких, ворчливых пулеметных очередей. После всего, что с ним стряслось, лейтенант ждал уже самого худшего — конца, подготовил себя к нему и хотел только, чтобы он наступил по возможности быстрее и без особых страданий.

«Ну вот и все!» — думал он. Сколько раз на войне смерть обходила его стороной, даже тогда, когда надежды на жизнь уже не оставалось, когда обычная солдатская гибель в бою казалась избавлением. Это постепенно приучило лейтенанта к подсознательной надежде на то, что самое ужасное минует его, что он уцелеет. Отчасти помогало: он переставал остерегаться, заботиться о себе, больше думал о людях, о деле. Так было в каждом бою, в каждой самой безнадежной ситуации. Но вот, кажется, настигла костлявая и его.

Отдавшись наплыву своих горестных мыслей, он не сразу обратил внимание на новые звуки, что родились в дремотной тишине ночи. Сначала лейтенанту показалось, что это был разговор где-то там, на дороге, затем он почувствовал в этом разговоре что-то совсем не немецкое и как будто даже знакомое. Это сразу взволновало. Клим-

ченко вытянул шею, вслушался: показалось, словно где-то далеко-далеко говорят по радио. Так когда-то до войны было у них в лагерях, когда под выходной день он, тогдашний красноармеец пулеметной роты, стоял часовым на самом дальнем посту — у склада ГСМ [1], а в столовой «крутили» картину.

Далекие, едва доносившиеся из темноты звуки человеческой речи пробивались в кузов машины. Климченко затаил дыхание, вслушался и вдруг съежился в ужасе от страшной догадки.

Далеко, на передовой, звучал динамик.

Опираясь руками о настывшее железо пола, Климченко рванулся к двери. Тупая, неимоверная боль в боку сразу заставила его остановиться, но он все же дополз до тусклой щели в пороге и замер. Динамик звучал с переменной громкостью, то затухая, то вдруг отчетливо донося слова. Что они были русскими, лейтенант не сомневался, хотя и не сразу улавливал смысл сказанного. Он снова затаил дыхание и тогда услышал:

— ...красноармеец Круглов, младший сержант Агапитин, ефрейтор Телушкин...

Они перечисляли фамилии его автоматчиков.

Больше он не слышал уже ничего. Он вскочил на колени, вскинув над головой руки, ударил ими в дверь. Железо громко брякнуло, и он изо всей силы начал молотить по нему кулаками.

— Вы, сволочи, что вы делаете? Фашисты! Что делаете! Откройте! Откройте немедленно! Откройте! — истошно кричал он.

Но за дверью было по-прежнему тихо, никто не отозвался, казалось, никто его тут и не слышит.

— Не имеете права! Я не позволю! Что вы делаете, звери! Гитлеровцы проклятые! Гады!

Он бил и бил в двери до острой боли в кулаках. От натуги из затылка снова пошла кровь: горячая струйка ее тихо скользнула по спине меж лопаток. Но Климченко уже не жаль было крови, да и самой жизни. В отчаянной судороге зашлось его сердце перед величайшей несправедливостью.

— Откройте! Откройте! Откройте!

Ему показалось, будто кто-то появился там, снаружи. Тогда он застучал и закричал сильнее — бессвязно, за-

---

[1] ГСМ — горюче-смазочные материалы.

дыхаясь от гнева и обиды. И в минуту безмерного изнеможения услышал:

— Хальт! Шиссен будэм делайт!

— Ага! Шиссен! Черт с вами! Стреляйте! Стреляйте, сволочи!

Послышался приглушенный говор, видимо, там совещались. Динамик вдалеке все еще звучал, но задыхавшийся Климченко не мог разобрать ничего — так сильно стучало в груди сердце и билась в висках кровь. Как сквозь сон, донеслись выстрелы оттуда, с передовой: наверно, в ответ на пропаганду ударили длинные и короткие очереди «дегтярева». Это обнадежило, и он застучал сильнее:

— Сволочи! Гады! Что делаете! Откройте! Не имеете права! Дайте сюда Чернова! Чернова сюда!

Он и сам понимал, что его слова совершенно напрасны, ибо о каком праве можно говорить с этими людоедами, которые наверняка не послушают его. Но это было единственно возможным протестом, так как сделать что-либо он был уже не в силах. И он бил и бил кулаком, бил здоровым бедром, коленями. Необыкновенное душевное напряжение придало ему силы. Изредка снаружи злобно рычали немцы. Черт их побери, он готов был принять очередь сквозь дверь, это его не останавливало. Все его существо жаждало бунта и боролось.

Наконец, он совсем обессилел, голос его стал слабым, хриплым, до крови разбитые о железо кулаки распухли. В его будке-кузове уже посветлело, серая мгла расступилась, и на пол из окошка легло пятно робкого утреннего света; ярче заблестела под дверью щель. А он все бил и не слышал, как снаружи нарастал говор людей, вокруг затопали, откуда-то приехала и остановилась машина, и вот уже возле его уха щелкнул замок-засов. Неожиданно дверь раскрылась, и он едва не выпал из кузова.

На него пахнуло острой сыростью утра. На склоне оврага стыли в тумане голые ветви ольшаника, в поисках пищи куда-то пронеслась стайка воробьев. Перед дверью стояли и смотрели на него два солдата — один в каске с автоматом на груди, другой с непокрытой головой. За ними толпились по-разному одетые и разные по возрасту немцы, которые, одинаково притихнув, с нескрываемым любопытством смотрели на него. Но он не видел никого: его взгляд, бегло скользнув по этому десятку людей, сразу замер на фигуре того, кто вчера назвался Черновым. Нисколько не похожий на вчерашнего, холодно-сдержан-

ный, в высокой офицерской фуражке и подпоясанной шинели, он стоял возле входа в землянку и, засунув руки в карманы, курил сигарету. Рядом были еще два офицера — тот, вчерашний, высокий, в обшитых кожей бриджах, и другой — низенький, подвижный, в шинели с черным воротником.

Климченко все это схватил одним взглядом, раздумывать ему было некогда — сразу же он ринулся из машины к Чернову.

Конечно, его схватили за руки, заломили их за спину, скрутили. Он, как мог, рвался, выкручивался, отчаянно сопротивляясь их грубой силе, и кричал:

— Звери! Сволота фашистская! И ты — гитлеровский прихвостень! Сволочь! Ублюдок!

Чернов как-то многозначительно вытянул из карманов руки и неторопливо пошел к машине. Ближние солдаты расступились, а он подошел к Климченко и сильно ударил его по лицу. Лейтенант рванулся, закричал, но его крепко держали. Тогда он в бешенстве вскинул ногу и едва не ударил ею Чернова в живот. Тот ловко увернулся.

— Абшнайден кнопфе! [1] — бросил он кому-то из солдат и отошел на три шага.

Двое из тех, что с ехидным любопытством смотрели на все это, подскочили к пленному. Рыжий, в синем комбинезоне солдат щелкнул большим перочинным ножом и сбоку, остерегаясь удара ногами, дернул его за штаны. Второй обеими руками ловко обхватил его ноги. Климченко сначала не понял, что они придумали, рванулся, но напрасно. Рыжий резанул брезентовый поясок его штанов, и на землю одна за другой посыпались пуговицы, отлетел вырванный с клочком материи крючок.

— Гады! Что вам надо? Что вы делаете? Убейте сразу! Ты, сволота! — закричал он на Чернова. — Стреляй! Скорее, ну!

Чернов криво усмехнулся, искоса взглянул на офицеров, стоящих у входа в землянку, один из которых, низенький, пьяно хохотал, а второй лишь брезгливо кривил губы, и процедил сквозь зубы так, что услышать и понять его мог, видно, один только пленный:

— Это для тебя слишком большая роскошь. Ты еще меня попомнишь!

Вернувшись к землянке, он о чем-то заговорил с офи-

---

[1] Срезать пуговицы! *(нем.)*

церами. Высокий надменно шевельнул белыми бровями, низенький же, явно заинтересовавшись, подошел поближе и некоторое время слушал Чернова. Солдаты издали тоже вслушивались в их разговор. Наконец, высокий сказал: «Яволь», а низкий злорадно захохотал.

— О, зер гут, гер Шварц! Яволь! Рус капут!

По чьей-то команде те, что держали его, отпустили: в отчаянии скрипнув зубами, Климченко вынужден был обеими руками схватить свои брюки и держать их так, унизительно и беспомощно. Душу его раздирало от гнева, бессилия и позора. Казалось, на минуту он захлебнулся в немом внутреннем вопле. А рядом, злобно потешаясь, ржали десятка полтора немцев и злобно хмурился этот проклятый «Чернов», настоящую фамилию которого он только что узнал.

Наконец Шварц-Чернов отошел от офицеров, передвинул на ремне жесткую кобуру «вальтера» и рывком расстегнул ее. Сбоку к Климченко подступил солдат, тот, что держал его за руки; второй, раздетый, бегом бросился куда-то; через полминуты, на ходу надевая шинель, он вернулся с винтовкой. Климченко толкнули в спину и погнали.

«Конец!»

В который раз за эти сутки всеобъемлющей скорбью охватывала его эта гнетущая мысль, и в который раз она не сбывалась! Но вот, кажется, убьют. Он подумал тогда, что они сделают это где-нибудь в овраге, подальше от людей. Однако немцы вывели его на вчерашнюю тропинку и погнали по ней ближе к передовой. В нескольких шагах впереди шел Шварц-Чернов. Он все время молчал и не оглядывался. Сзади, о чем-то переговариваясь и поочередно затягиваясь одним окурком, шли конвоиры. С окровавленной головой, в одной гимнастерке, пленный брел медленно, придерживая руками брюки.

«Ну и придумали, сволочи! Не удерешь и не ударишь. Видна выучка!» — думал лейтенант о Шварце. Голова его кружилась, повязка сбилась с затылка и держалась только за ухом, гимнастерка на плечах была забрызгана кровью. Ордена на груди уже не было, — видно, вчера отвинтили в землянке.

На склонах оврага стыли клочья тумана, низко нависало матово-серое небо, было сыро и холодно. Климченко мучительно захотелось хоть какого-нибудь конца, только бы скорее...

7

Тем же вчерашним путем его гнали на передовую.

«Что им еще надо? Что они надумали, сволочи?» — сильнее, чем боль и холод, начал изводить его этот вопрос. С отчаянием и ненавистью он бросил на ходу Шварцу-Чернову:

— Ты, гад! Хватит мучить. Стреляй!

Тот повернулся и, придерживая рукой фонарик, кожаным ушком пристегнутый к груди, взглянул на него из-под влажного козырька фуражки.

— Стрелять? Нет, стрелять я подожду. Я сначала устрою тебе маленький спектакль. Знаешь, как это у вас говорят: концерт самодеятельности.

— Подлюга! Чего тебе еще надо?!

— Скоро увидишь.

Так они вышли из оврага в низину. В сырой от тумана траве набрякли влагой сапоги. Идти становилось все тяжелее. Кругом в сером туманном мареве лежала весенняя земля.

Шварц-Чернов молчал, то и дело бросая из-под козырька быстрые взгляды по сторонам. С высоты изредка доносились выстрелы — то автоматные, то винтовочные, но они только свидетельствовали о затишье на передовой. Боя там не было. Неопределенная тишина под высотой поразила лейтенанта угрюмой неизвестностью. Думалось: «Что там случилось? Где рота?» Но оттого что он шел ближе к своим, становилось все-таки легче на душе, хотя он знал, что помочь ему тут никто уже не сможет.

Знакомой тропинкой они вчетвером дошли до начала траншеи, что, извиваясь по склону, вела на высоту. Шварц-Чернов спрыгнул в траншею — тут она была неглубокой — и быстро пошел, по-прежнему поглядывая по сторонам. Впереди еще раздалось несколько выстрелов, вверху с тугим жужжанием, замирая вдали, пронеслись пули. Но это были наши выстрелы и наши пули. Сердце пленного отозвалось на них тихой печальной радостью.

Вскоре Шварц-Чернов догнал группу солдат с поднятыми воротниками и натянутыми на уши пилотками. Они прижались спинами к стене, почтительно пропуская офицера. В руках у них были плоские алюминиевые котелки, — видно, с завтраком. На Климченко пахнуло запахом кофе, и от внезапного ощущения голода у него помутилось в глазах.

Под враждебно-любопытными взглядами притихших солдат он пошатнулся, по-прежнему придерживая брюки, — темно-синие диагоналевые галифе.

Траншея петляла изгибами и все дальше и дальше взбиралась на высоту. Шварц-Чернов начал понемногу пригибаться: где-то уже совсем близко были наши. Климченко гнуть голову перед своими не хотел, раза два выглянул из-за бруствера, но кто-то из конвоиров сзади прикрикнул, и Шварц-Чернов зло оглянулся на него.

— А ну ниже! — строго сказал он.

Климченко позлорадствовал в душе над этой заботой о его базопасности. В то же время его недоумение от необычности намерения этого палача все возрастало, и как он ни старался, не мог сообразить, что с ним порешили сделать. «Может, все-таки агитировать заставят? Так я им поагитирую! Запомнят, собаки!»

Но агитировать ему не пришлось.

Минуя удивленных его появлением, мерзнущих в застланных соломой стрелковых ячейках немцев, они взобрались по траншее на самую высоту — чуть ли не в то место, куда он так неудачно ворвался вчера. Где-то совсем близко, видно в том же самом овраге, была его рота, и ощущение этой близости вызвало нестерпимую тоску по всему родному, которое было для него навсегда утрачено. Как о наивысшем счастье, мечтал он хотя бы один день провести там, хотя бы в одну атаку сходить вместе со всеми. Он бы не ругал теперь этого нерасторопного и неуклюжего, но, по существу, совсем неплохого Голаногу, готов был забыть все обиды на ротного. Он бы пошел теперь с ними в любой бой, в самое пекло, лишь бы оказаться среди своих. Где-то внутри шевельнулась в нем жалость к себе за такой нелепый и неудачный конец.

Они подошли к пулеметной ячейке, которая ближе других была к оврагу. Из ячейки выглянул молодой пулеметчик небольшого роста, ладно сбитый крепыш в длинной, выпачканной глиной шинели. Шварц-Чернов что-то сказал ему. Пулеметчик, оставив на бруствере свой МГ с лентой в приемнике, удивленно посмотрел на пленного, потом окликнул кого-то, очевидно соседа по траншее. Тот прокричал что-то дальше... Около них, скупо переговариваясь, собрались солдаты. Задымили сигареты, и сладковатый, хмельной на холодном воздухе дым закружил Климченко голову.

Шварц-Чернов терпеливо ждал, а у Климченко все внутри сжалось: он чувствовал, что вот-вот настанет развязка.

Наконец тот, кого ждали, пришел. Это был толстенький, заспанный, небритый офицер. Недовольно и бесцеремонно уставясь на пленного красноватыми, кроличьими глазами, он выслушал Шварца-Чернова, буркнул свое «яволь» и хрипловато что-то приказал солдатам. Те передали приказ по траншее.

— Ну иди! — затаив что-то явно недоброе, кивнул гитлеровец Климченко. Лейтенант почувствовал, что тот, самый последний для него час настал, и был готов, как подобает, встретить его.

Но он не понял своего палача.

— Куда?

— Вылезай. Иди. Туда, к своим. Ты же хотел, кажется?

— Как к своим?

— Очень просто. Вылезай и топай. Чего испугался? Или, может, не хочешь?

«Что он затеял? — лихорадочно размышлял Климченко. — Что он еще подготовил? Смерть? Это понятно, но почему именно такую? Ну что ж... Пусть! Может, даже так и лучше — на поле боя, на глазах у своих... Пусть!»

Лейтенант шагнул мимо Шварца-Чернова и грудью ткнулся в бруствер. Траншея была тут глубокая, а руки Климченко были заняты брюками, и он сорвался, ударившись подбородком. Это было унизительно: сзади, сдерживая любопытство, стояли немцы, сопели, кашляли, топали сапогами — все глядели на него, и он в совершенной беспомощности вдруг растерялся. Тогда молодой крепыш-пулеметчик, чью ячейку они заняли, щелкнул пряжкой своего ремня и, сняв его с длинной шинели, подал Климченко. Мучаясь от стыда и унижения, лейтенант даже не взглянул на него, машинально подтянул и туго подпоясал брюки. Потом, напрягшись каждым мускулом, он оперся грудью о бруствер и вылез из траншеи.

— Зондерпривет коллегам! — с ухмылкой бросил ему напоследок Шварц-Чернов.

Впереди распростерлась необъятная, притуманенная ширь поля, близкий, у подножия высоты, овраг, покатый склон с полегшей стерней и уходящая под самое небо весенняя даль. Это предсмертное приволье неудержимой то-

ской резануло сердце. Климченко не мог ни понять, ни почувствовать даже откуда: то ли из этого серого, печального, но такого до боли родного и свободного простора, то ли, может, из самой его исстрадавшейся души — вдруг загремел в нем где-то внутри удивительно чудесный хорал вечного, величественного и почти святого, перед чем человек и все его заботы были бессмысленны и ничтожны. В какой-то короткий миг Климченко почувствовал себя муравьем и богом одновременно, будто с порога вечности на секунду заглянула в его лицо великая, не познанная в жизни сущность бытия. На несколько коротких секунд, утратив собственное ощущение, как бы растворившись в небытии, он вознесся над этим простором, над огромной искровавленной землей, траншеей, оврагом и даже собственной скорой гибелью. Правда, мимолетный взгляд туда, назад, в одно мгновение низвергнул его к земле, к смерти, и он, отсчитывая последние мгновения, шагнул с бруствера.

Потом медленно, уже реально ощущая себя и все земное вокруг и прощаясь с жизнью, он пошел от траншеи в поле, вниз к оврагу, ожидая всем телом очереди или, может, залпа и зная, что все кончится как нельзя более просто. Смерть слишком простая штука, на войне он убедился в этом и давно не боялся ее. Ему только хотелось теперь не прозевать последний миг, отметить его, как точку, как последнюю грань жизни.

Но выстрелов сзади все не было, и он шел дальше. Ветер тугой волной толкал его в грудь, лохматил на голове волосы и концом бинта хлестал по щеке. Климченко сорвал его и вместе с окровавленным комком ваты отбросил в сторону. Цепляясь за жнивье, повязка запрыгала на ветру.

«Ну стреляйте! Стреляйте же, сволочи!.. Где же выстрелы?» — молил он.

Выстрелов, однако, не было. Тогда Климченко остановился, выждал, оглянулся. Вдоль всей траншеи над бруствером торчали, шевелились каски, стволы винтовок, короткие дула автоматов. Видимо, то, что он остановился, не входило в их расчеты, и несколько голосов закричало:

— Рус, шнель! Дом, дом шнель! Рус пуф-пуф! — Потом раздался хриплый солдатский хохот.

«Почему же они не стреляют? Почему не убивают? Чего медлят?» Удивление исподволь начало перерастать

в тревогу, которую уже не могло заглушить и безнадежное ожидание смерти. Встревоженный, он почувствовал, что все не так просто, что Шварц-Чернов что-то затеял — не худшее ли, чем сама гибель? Возбужденный и озадаченный, он был не в силах сообразить, что происходит. Он лишь чувствовал опасность сзади, все дальше отходил от нее и невольно прибавил шаг. В то же время он был твердо уверен, что с этого склона они не выпустят его живым. Может, впереди минное поле? Может, ударит вчерашняя автоматическая пушка?

И он шел. Вот уже и дорожка с бурьяном в канавках, рядом распластанное тело в шинели — кто-то ихний. Но Климченко даже не взглянул на труп. Неподалеку второй — с взъерошенными на спине остатками вещмешка. Лейтенант узнал гармониста и запевалу Прошина.

Он все быстрее шагал вниз, вниз к оврагу и, напрягаясь каждым нервом, ждал. Но там, на высоте, молчали. До него долетали лишь бессвязные чужие голоса и хохот.

Наконец он отошел настолько, что убить его первыми выстрелами было уже не так легко. Он снова оглянулся — нет, за ним не бежали. И тогда все его существо вдруг окрылило желание: «Жить! Жить! Жить!» Пригнувшись, он рванулся что было сил вперед, побежал сверху вниз по полю, шатко, неуверенно, от слабости почти не управляя телом и все время ожидая, как какого-то оправдания, как исхода мучительной неопределенности, выстрелов оттуда, с высоты.

Но выстрелов не было. Ни одного. Ниоткуда. Высота замерла, притаилась, стихла. Тогда его внезапно охватил мгновенный, не осознанный еще страх. Он споткнулся — ослабевшие ноги не держали его. Бессмысленным, блуждающим взглядом лейтенант глянул вниз, где уже так близко было спасение, и остановился как вкопанный.

По всему берегу оврага, из траншей и окопчиков-ровиков торчали каски, шапки автоматчиков. Он не видел еще ни их лиц, ни взглядов, но что-то страшное вдруг подсознательно передалось ему. И он отчетливо, как это может быть только за секунду до смерти, понял, что и для этих людей он почему-то стал врагом.

Это новое открытие ошеломило его. Что-то в нем сразу надломилось. Ноги сами рванулись в сторону. Не зная и не понимая, что случилось и что делать дальше, он обе-

жал по стерне кривую — безвыходную замкнутую петлю, — еще раз увидел молчаливую высоту и тогда окончательно понял, что́ произошло.

Климченко опустил руки; голова его бессильно поникла на грудь. Шатаясь от ветра, он медленно побрел в овраг. Там увидел чьи-то руки на свеженарытой земле, пустые закопченные гильзы, рассыпанные в сухой траве, клочок газеты, прибитый ветром в бурьяне. Дойдя до обрыва, он немного боком, чтоб не свалиться, ступил в него, потом, едва держась на ногах, сошел вниз. Рядом были люди. Они все молчали. Из-под ног лейтенанта сыпался и шуршал по обрыву гравий. Потом в поле зрения Климченко попали знакомые валенки с желтыми старыми подпалинами, и он, вздрогнув, поднял голову: напротив стоял Орловец.

Страшное, черное от густой щетины лицо ротного, на котором бешено горели глаза, не удивило его и не испугало. Лейтенант онемело и безразлично взглянул в гневную пропасть его зрачков. Он не удивился также, когда в следующее мгновение с нестерпимым звоном в ухе полетел на землю. Молча, затаив дыхание от боли в голове, он медленно встал и изо всей силы, еще сохранившейся в нем, ударил ротного. У него не было уже ни злости, ни обиды, было только прежнее постоянное ощущение беды, которая так несправедливо обрушилась на него и скинуть которую просто уже не было возможности. Он молча ждал за этим ударом другого — более сильного или, может, выстрела — в грудь или спину. Сзади и по сторонам стояли бойцы. Кто-то из них зло крикнул:

— Предатель!

Он ждал этого выкрика, оправдываться у него не было сил, да он и не находил слов, чтобы опровергнуть эту чудовищную несправедливость. Впервые со всей ясностью он понял коварный замысел Чернова-Шварца и с новой силой почувствовал, что действительно смерть теперь для него — роскошь.

Но почему молчит, не стреляет в него Орловец, чего он ждет, непонятным окаменевшим взглядом уставившись в его лицо? Лейтенант поднял глаза и, встретившись с этим взглядом, вдруг неожиданно для себя увидел в нем почти что растерянность. Показалось, что ротный обо всем уже догадался, прочитал на окровавленном лице лейтенанта его страшную беду, и теперь ему оправдываться уже и не надо. Тотчас в душу хлынула нестерпимая оби-

да, Климченко расслабленно опустился на землю, зажал меж колен лицо и выдавил из себя полный отчаяния и боли стон:

— Братцы мои!..

Больше он ничего сказать уже не мог. Кругом гневно гудели бойцы.

— Ти-хо! — покрывая гомон, вдруг крикнул Орловец. — Молчать! Коли ни черта не понимаете!..

Тогда бойцы, видимо что-то почувствовав, сразу притихли. Климченко услышал ругань и угрозы уже по адресу немцев. В безысходном отчаянии он затаил дыхание, стараясь заглушить в себе свое горе, и услышал поблизости знакомый, такой рассудительный, родной голос Голаноги:

— Что ж, сынок! Что теперь сделаешь! Стерпи! Как-нибудь...

Эти сочувственные тихие слова пожилого человека, с которым у лейтенанта бывало всякое — и плохое и хорошее, неожиданно словно восстановили в его душе что-то сдвинутое, сбитое несчастьем со своего обычного места. Может, в этих словах отразился тот трудный всегдашний Голанога, терпеливый и добрый, с которым немало поборолся Климченко, и лейтенант теперь внутренне рванулся в протесте против этого «как-нибудь». Он не хотел «как-нибудь»: либо он будет прежним для них, либо никаким.

Протест превозмог все другие чувства. Климченко с новой силой, с окрепшей вдруг злостью вскочил. Жажда доказать свою невиновность неудержимо вспыхнула в нем. Казалось, он нашел выход. Минуту назад метавшийся, как в обмороке, он решился на единственно верное, избавительное... Он быстро вскочил — глаза его пылали бешенством, — рванулся к Голаноге и дернул за дуло его автомат:

— Дай!

Голанога бессмысленно моргнул запавшими, усталыми глазами, но в следующую секунду опустил руку, снял с плеча автомат и отдал его взводному. Климченко, будто обезумев, рванулся по склону из оврага и по ниве устремился туда, вверх, к высоте.

Сзади было тихо-тихо. Он не оглядывался и не слышал ничего: на мгновение все на обрыве будто онемели, и никто не задержал его, не выстрелил, только через секунду

кто-то выругался и затем над оврагом взвился зычный молодой голос телефониста Капустина:

— Сволочи! Это все они, сволочи!..

Как-то подспудно лейтенант ждал чьего-то сочувствия, жаждал его, сам себе не признаваясь в этом. Горячая расслабляющая волна окатила его с головы до ног, и Климченко вдруг почувствовал, что ожил, воскрес, что появилась надежда. А сзади уже затопали ноги бегущих бойцов, — значит, его не бросили, поверили ему, — все это быстро возвращало его к жизни. Теперь перед ним были только немцы, был проклятый Шварц-Чернов, и все в нем устремилось туда — к отмщению, либо к смерти.

Столь же быстро вдруг все оборвалось.

— Отставить! Стой! Назад! — долетел откуда-то сзади крик Орловца, и уже почти что выстроенная на бегу цепь дрогнула.

— Климченко, назад! Все назад! Бегом!

«Что это? Что это? Почему? Зачем?» — вдруг снова все запротестовало в нем. Но за несколько последних минут он уже успел стать частью целого, и теперь, как и все, он обязан был подчиниться этой команде. И Климченко упал. Немцы еще не стреляли, но слаженный бег десятка людей, кинувшихся за ним, уже нарушился. Некоторые попадали, а другие побежали обратно в овраг, на краю которого стоял Орловец.

Отдавшись щемяще-тревожному чувству, Климченко встал и, волоча за ремень автомат, пошел полем вниз.

8

Климченко дошел до края оврага, где скрылся командир роты, и увидел его уже внизу, у ручья. С ним стоял офицер в белом полушубке с пистолетом в опущенной руке. Оба они настороженно смотрели на лейтенанта.

Почти физически ощутив что-то враждебное в этом ожидании, Климченко медленно спускался с обрыва. Обессиленный, растревоженный, в неподпоясанной гимнастерке, без шапки, с взлохмаченными ветром волосами, он снова, и особенно остро, почувствовал свою униженность и свою беду. И все же это было еще не самое худшее. Самое худшее произошло, когда в человеке с пистолетом в руке он вдруг узнал капитана Петухова, офицера из штаба полка.

Будто вкопанный, разрыв каблуками суглинок, лейтенант остановился.

— Пойдешь в трибунал! — злобно сказал Петухов.

— За что? — тихо, про себя, спросил Климченко кого-то, но никто не ответил ему, и тогда он выкрикнул громче: — За что?

И опять ему никто не ответил — ни Петухов, ни Орловец, который, сдвинув костлявое надбровье, хмуро глядел куда-то в сторону, ни автоматчики, что встали на обрыве почти по всему склону и также следили за ним. Тогда он вздрогнул, поняв, что западня за ним навсегда уже захлопнулась.

— За что? За что? — закричал он, едва удерживаясь на голом крутом обрыве. — За что? Капитан, скажите.

— Ладно, Климченко! Разберутся, — незлобиво сказал Орловец, сделал шаг навстречу, но потом снова вернулся назад и стал в стороне от Петухова.

«Разберутся!..» Он уже знал, как это иногда бывало. К тому же он увидел, как Петухов, приподняв пистолет, снял курок с предохранителя.

Климченко медленно опустил руку, автомат на ремне стукнулся прикладом о землю, и он впервые почувствовал его тяжесть. В это время он ясно осознал, что последняя его надежда оборвалась и все кончено.

— Ты победил, сволочь! — сказал он, будто в тумане увидев перед собой ледяные глаза Шварца-Чернова. Сказано это было совсем тихо, но в той тишине, которая воцарилась в овраге, его слова были услышаны, и Петухов с властной решимостью махнул рукой:

— Взять его!

Два сопровождавших Петухова бойца из комендантского взвода неохотно полезли на обрыв. Видно было, что они побаивались Климченко и все время настороженно поглядывали на него. Лезть по косогору было неудобно, бойцы срывались и падали, опираясь на руки. Климченко, стараясь как можно быстрее на что-то решиться и боясь, что не успеет сделать этого, негромко крикнул:

— Стой!

Бойцы разом остановились, один опустился на колено, второй стоял, широко отставив в сторону ногу. Климченко немного знал их: когда-то в Дворищах вместе они отбивали вражескую атаку, спасали штаб полка и полковое

знамя, которое тогда едва не попало к фашистам. По нахмуренному выражению курносых лиц было видно, что хлопцам не очень хотелось ввязываться во все это дело.

— Стой, хлопцы! — уже мягче сказал Климченко.

Он начал успокаиваться и, чем дальше, тем все отчетливее понимал: что вокруг происходит и что надо делать. Это придало ему уверенность, он обрел душевную слаженность — способность победить что-то непобедимое в себе. Но в это время Петухов что-то крикнул бойцам и скорым шагом направился к обрыву.

За ним шагнул Орловец:

— Постойте! Вы что? У меня в девять ноль-ноль атака! Вы соображаете или нет?

Петухов не взглянул на ротного, сквозь сжатые зубы бросил:

— Трибунал сообразит!

Это было сказано только для Орловца, но в тревожной тишине оврага Петухова услышали все, и в груди Климченко что-то безнадежно дрогнуло. На минуту в нем блеснула и погасла невольная признательность к ротному. Но тут же явилась мысль: «Нет, не надо! Не упрашивай! Бесполезно!..»

Петухов долез до крайнего бойца и с упрямой суровостью на мясистом лице толкнул его в шею. Парень упал на колени, встал и полез выше. И в то же время Климченко необыкновенно обостренно ощутил неизбежный, казалось, никем уже не отвратимый конец.

Чтоб не передумать, не дать в себе ослабнуть чему-то, как ему показалось, предельно ясному и единственно возможному, он перехватил рукой автомат и приставил его будто специально для того скошенный дульный срез к своей груди.

— Стой! С ума сошел, что ли?!

Но Голанога, стоявший сбоку и зорко следивший за ним, вдруг с силой дернул автомат.

Климченко застыл в смятении. Действительно, это было ужасно, нелепо — убить себя, коли тебя не убили немцы! Медленно созревшая его решимость была поколеблена. Но что же делать? Как быть дальше?

Лейтенант выпустил автомат, который тянул к себе Голанога, и растерянно оглянулся — по склону оврага, тревожно уставившись на него, стояли бойцы. Он так ни-

чего и не решил, как вдруг где-то за оврагом гулко ударило в воздухе — раз, второй... В пасмурном небе над головами автоматчиков с тугим шорохом прошли снаряды и, крякнув, разорвались над высотой. Через несколько минут предстояла атака.

Орловец торопливо взглянул на часы и решительно шагнул к Петухову:

— Ты вот что! Кончай!

Петухов недоуменно оглянулся:

— Вы что?

— А ничего. Убирайся к чертям! У меня атака! — мрачно сказал Орловец и, не дожидаясь ответа, зычно подал команду: — Командиры взводов — по местам!

— Ах так! — круто повернулся к нему Петухов. — Покрываешь? Кого покрываешь? Ты ответишь за это!..

— Ну и отвечу! — через плечо бросил Орловец. Видно было: он едва сдерживал себя. В другое время он ни за что не стерпел бы вмешательства в дела роты. Но теперь в роте произошло ЧП, и тут во многом он чувствовал себя скованным.

Орловец снова взглянул на часы и затянул ремень на своем полушубке. Потом, будто только заметив на склоне отчужденно-растерянного Климченко, прикрикнул на него строго и буднично:

— Чего встал? А ну марш к взводу!

Климченко обмер — так неожидан был для него этот, в сущности, такой обычный приказ. Лейтенант недоуменно поглядел на Орловца: к нему ли тот обращается? Но ошибки не было — ротный обращался к нему: сказал и пошел по ручью вверх на середину цепи, будто сразу позабыв и о нем, и о Петухове, который, с угрюмой яростью, оступаясь, быстро пошел прочь по оврагу.

С громко стучащим сердцем Климченко повернулся к взводу.

На высоте грохотали разрывы, вверху в мартовском небе яростно выло и шипело. Бойцы докуривали цигарки и, охваченные новой заботой, торопливо располагались в цепь на краю оврага. Он тоже взобрался по обрыву наверх и лег между бойцами. Еще не веря, что все обошлось, что самая большая беда миновала, и предчувствуя впереди трудное, лейтенант постепенно приходил в себя.

Впрочем, времени у него было немного, командиры взводов в цепи уже подавали команды.

Тогда и он, приподнявшись на краю обрыва и несколько громче, чем было необходимо, дрогнувшим от волнения голосом крикнул:

— Взвод, приготовиться к атаке!

Кто-то сунул ему автомат, кто-то торопливо скинул с себя и отдал ему телогрейку. С молчаливой благодарностью в душе лейтенант оглянулся и увидел, как несколько в стороне над оврагом поднялась кряжистая фигура Орловца. Ротный достал из-за пазухи пистолет и, взмахнув им, вышел из-за обрыва.

Рота автоматчиков начинала атаку...

1964 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

Впервые на русском языке повесть опубликована в журнале «Нева», № 11 за 1972 г. Первое издание повести на русском языке в книге «Обелиск». Москва, «Молодая гвардия», 1973 г.

ЕГО БАТАЛЬОН

Впервые на русском языке повесть опубликована в журнале «Наш современник», № 1 за 1976 г. Первое издание повести на русском языке в книге «Его батальон». Москва, «Молодая гвардия», 1976 г.

СОТНИКОВ

Впервые на русском языке повесть опубликована в журнале «Новый мир», № 1 за 1970 г. Первое издание повести на белорусском языке в книге «Сотников». Мінск, «Мастацкая літаратура», 1972 г., на русском — в книге «Третья ракета». Москва, «Молодая гвардия», 1972 г.

ЗАПАДНЯ

Впервые на русском языке повесть опубликована в журнале «Юность», № 7 за 1964 г. Первое издание повести на русском языке в книге «Фронтовые страницы». Минск, «Беларусь», 1966 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Дожить до рассвета 5
Его батальон 137
Сотников 305
Западня 453
Примечания 494

Быков В. В.

Б 95 Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 2. Повести / Пер. с белорус. авт. и М. Горбачева; Худож. Ю. Боярский. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 495 с.

В пер.: 2 р. 10 к. 100 000 экз.

Во 2-й том Собрания сочинений Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Василя Быкова вошли повести «Дожить до рассвета», «Его батальон», «Сотников», «Западня», в которых писатель продолжает раскрывать тему героизма и мужества советского народа в годы второй мировой войны.

Б $\frac{4702120200-199}{078(02)-85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985

ББК 84Бел7
С(Бел)2

ИБ № 4578

Василий Владимирович Быков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 2

Редактор
В. Пелихов

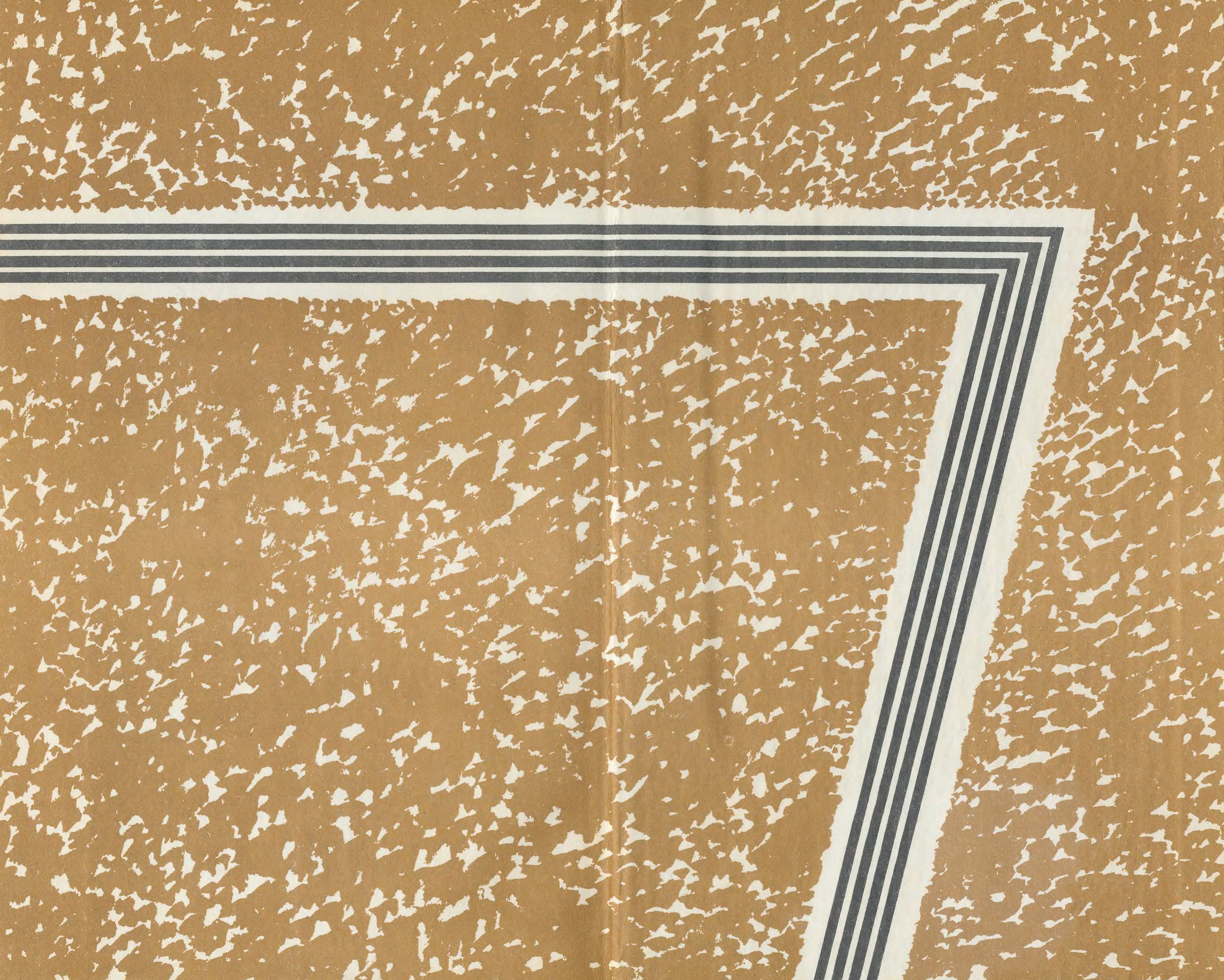
Художественный редактор
А. Романова

Технический редактор
Н. Носова

Корректоры Л. Четыркина, Т. Пескова, В. Назарова

Сдано в набор 17.01.85. Подписано в печать 12.06.85. А02294. Формат 84×108$^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,44. Учетно-изд. л. 27,8. Тираж 100 000 экз. (1-й завод 50 000 экз.). Цена 2 р. 10 к. Заказ 2276.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.



2р. [illegible]

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ